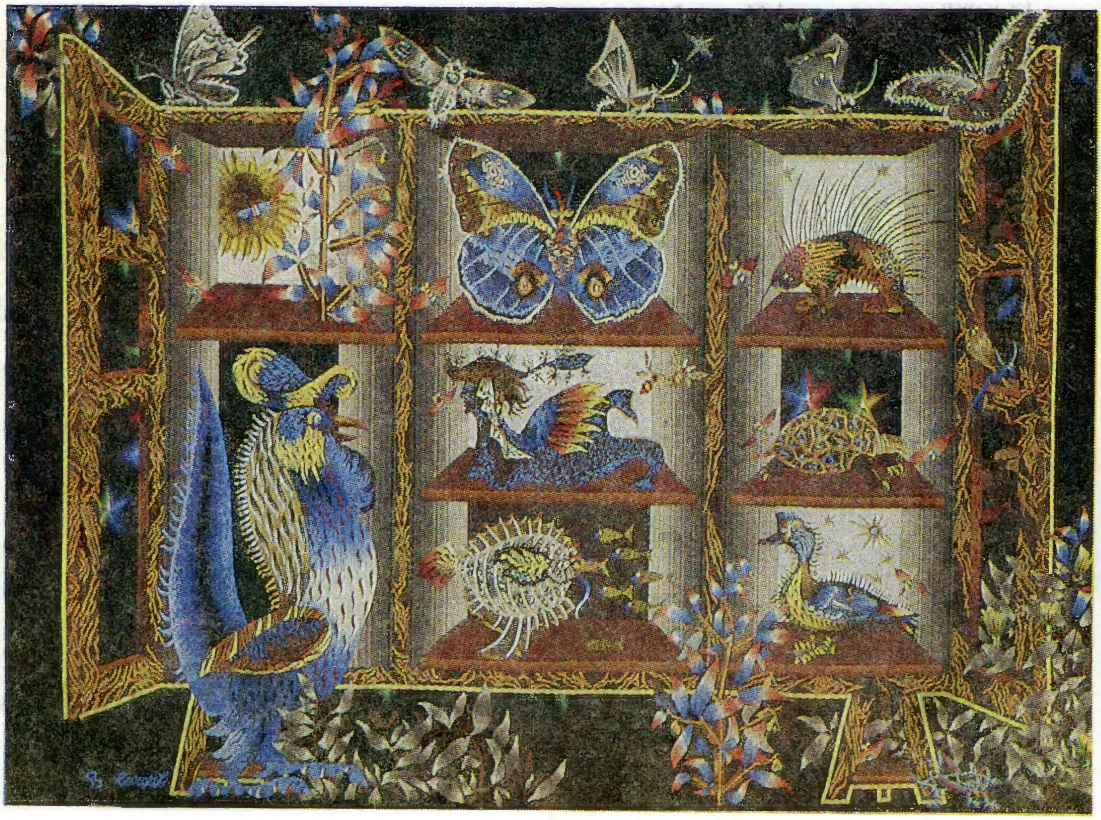
ISSN 0130–6545

1. 1982

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



ые иллюстрации номера~
ана Люрса (1892~1966)

Иностранная литература

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

1 январь 1982

Содержание

ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН — Бранденбургские изыскания. Повесть для любителей истории литературы. *(Перевод с немецкого Е. Кацевой)* 3

Из ирландской поэзии

ШЕЙМАС ХИНИ. ТОМАС КИНСЕЛЛА. ДЖОН МОНТЕГЮ. ИВЕН БОЛАНД *(Вступление А. Саруханян. Перевод с английского Г. Кружкова)* 62

МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС — Кому отдаст голос сеньор Кайо? *(Роман. Перевод с испанского и вступление Л. Синянской)* 73

АЙИ КВЕИ АРМА — Целители *(Роман. Перевод с английского Андрея Сергеева)* 143

Критика

М. ЛАНДОР — Трагический герой Фолкнера *(Тяжкое наследие американских веков в романе «Авессалом, Авессалом!»)* 170

Сопоставляя точки зрения

ЧАРЛЬЗ ДЖОНСТОН, ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ — Диалог о Пушкине *(Диалог подготовлен с участием В. Исакович)* 179

Писатель и время

Н. ФЕДОРЕНКО — Неразделимость жизни и творчества *(К проблеме героя в современной болгарской литературе)* 185

В ТОЖДЕСТВЕ С СУДЬБОЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ (Отклики зарубежных деятелей культуры на книгу Л. И. Брежнева «Воспоминания») 196

Культура и современность

Заметки на полях

Л. ЗАМОЙСКИЙ — Бомба, интеллигенция, народ 199

Публицистика

С. КОНДРАШОВ — В Аризоне, у индейцев *(Из американских записок)* 202

Антирубрика

НГУЕН ТУАН — Сон. Прекрасное расположение духа *(Рассказы. Перевод с вьетнамского Мариана Ткачева)* 230

Наши гости

В. Феонова — Сулейман Лаек (Афганистан) 236

Среди книг

Издано в СССР

Евг. Долматовский — На злобу дня — против ночи! ✦
Юрий Суровцев — «Ощутить себя вместе со всеми...» ✦
В. Маркова — Бессмертная птица народной песни 238

Издано за рубежом

Сергей Белов — Гольф, любовь и абсурдный мир ✦
В. Фурника — Книга индийского критика 245

Из месяца в месяц

249

На 1-й и 4-й страницах обложки — гобелены французского художника ЖАНА ЛЮРСА.

©«Иностранная литература», 1982 г.

ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН

Бранденбургские изыскания

ПОВЕСТЬ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

■

Перевод с немецкого Е. КАЦЕВОЙ

Пролог в театре

Театр переполнен, но это еще ни о чем не говорит, поскольку он самый маленький в столице — скорее театральная комната, нежели театральный зал. Сегодня здесь не спектакль, а доклад, первый из цикла «Забытые писатели — открытые заново».

Докладчик вымучивает заключительные фразы. Другой человек на сцене, тот, кто произнес вступительное слово, готов уже сказать слова благодарности и прощания. Вот он отделяется от спинки кресла, сидя выпрямляется, поворачивает лицо от докладчика к публике и, улыбаясь, приподнимается, чтобы коротким и остроумным заключением опередить аплодисменты, тут же бурно разражающиеся.

Хлопают долго. Даже зрители, которые торопятся и держат наготове гардеробные номерки, не решаются уйти. Докладчик несколько секунд судорожно улыбается публике, не вставая, делает нечто вроде поклона и нервно собирает свои бумаги. Но тот, другой, который, повернувшись к докладчику, аплодировал, широко взмахивая руками, быстро подходит к нему, тянет его вперед, к рампе, где и оставляет, а сам отступает в сторону и, то и дело указывая на него вытянутой рукой, продолжает хлопать. Докладчик кланяется раз, еще раз, озирается в поисках возможности удрать, но тот, другой, снова удерживает его. Рука об руку они спускаются в зрительный зал. На сцене остаются только два кресла в стиле ампир, красное с золотом. Реквизит тех времен, о которых в течение двух часов шла речь. На заднике возникает изображение некогда забытого и вот теперь открытого заново поэта, портрет, который когда-нибудь украсит школьные хрестоматии: выступающее из кружевного жабо длинное,

© Mitteldeutscher Verlag, Halle-Leipzig, 1978.

ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН — GÜNTER DE BRUYN (род. в 1926 г.).
Немецкий писатель (ГДР). Его первые повести «Встреча на Шпрее» («Wiedersehen an der Spree») и «Свадьба в Вельцове» («Hochzeit in Weltzow») появились в 1960 г. Затем вышли сборник рассказов «Черное, бездонное озеро» («Ein schwarzer, abgrundtiefer See», 1962) и роман «Овраг» («Der Hohlweg», 1963).
Широкую известность Гюнтеру де Бройну принесли романы «Буриданов осел» и «Присуждение премии»; наши читатели познакомились с ними по переводам в «Иностранной литературе» (1969, № 11, 12 и 1973, № 5). На русский язык переведен также роман «Жизнь Жан-Поля Фридриха Рихтера», М., «Прогресс», 1978). Творчество Г. де Бройна отмечено премиями имени Генриха Манна и Лиона Фейхтвангера. Повесть «Бранденбургские изыскания» («Märkische Forschungen». Halle-Leipzig, Mitteldeutscher Verlag) вышла в 1978 г. Она включена в том Библиотеки ГДР «Гюнтер де Бройн. Избранное», готовящийся к печати издательством «Прогресс».

узкое лицо, высокий лоб, доходящий чуть ли не до макушки, редкие светлые волосы, большие глаза, маленький рот, от углов которого к ноздрям пролегают строгие линии,— и аплодисменты вспыхивают с новой силой.

Каждый, кто бывает на лекциях, литературных вечерах или выступлениях писателей, думает, что знает, чем заканчиваются подобные вечера: после того как затихают аплодисменты, основная масса посетителей более или менее поспешно покидает зал и проталкивается к гардеробу, некоторые любознательные и охочие до знаменитостей слушатели пробираются вперед, чтобы задать вопрос докладчику, высказать свои соображения или рассыпаться в похвалах. Но на сей раз картина несколько иная. Правда, у выходов действительно столпились люди, спешащие к гардеробу, человек двенадцать — пятнадцать действительно устремились к сцене, но целью их был не докладчик с глубоко сидящими глазами на узком мечтательном лице (его, стоявшего между сценой и первым рядом, они едва ли замечали), а другой господин, который весь вечер просидел на сцене молча, внимательно слушая, и произнес лишь несколько скупых, хотя и полных глубокого смысла фраз: лицо его было не узким, а круглым и цветущим.

Итак, именно к этому человеку устремились люди: одни — полные ожидания, улыбающиеся, другие — серьезные, почтительные или робкие. Это к нему тянутся руки, это его поздравляют, это ему предназначены слова похвалы, благодарности, удивления, восторга, это ему задают вопросы, это с ним делятся своим мнением.

Каждому он отвечает — благодарит, возражает, спорит, объясняет — громким, полнозвучным голосом человека, привыкшего к публичным выступлениям и любящего их. Вокруг него толпятся. Робкие тоже отваживаются на какое-нибудь замечание, слышен смех. Фоторепортер взбирается на сцену и сверху фотографирует группу. Когда виновник торжества замечает это, он машет рукой, встает на цыпочки, оглядывается вокруг, прокладывает себе путь сквозь толпу почитателей. Он ищет докладчика, настигает его в гардеробе и приводит обратно.

Теперь фотографируют их обоих перед сценой и на сцене, стоя и сидя. Но в радио- и телепрограмме следующей недели будет опубликована только одна фотография: известный по серии передач «Наша история и мы» профессор Менцель отвечает на вопросы зрителей. Так или примерно так будет написано под фотографией.

Первая глава

Встреча в лесу

Винфрид Менцель и Эрнст Пётч впервые встретились на тихой дороге между Липросом и Шведеновом в один из январских дней. Менцель без труда одолел покрытые лесами холмы, песчаная почва которых с готовностью всасывала зарядившие с рождества дожди, но в долине, переходящей в торфяное болото, там, где сточные канавы оказались переполнены, вода затопила луга и залила дорогу,— там автомобильное путешествие прервалось. Вопреки совету жены повернуть обратно, Менцель решил пересечь трясину по луговому пригорку слева, но застрял в черной, превращенной лесоперевозочным транспортом в топь земле. Попытки выбраться на твердую почву задним ходом только глубже вгоняли колеса в торфяное месиво, пока в конце концов машина не легла на брюхо. Теперь всякие дальнейшие попытки сдвинуться с места потеряли смысл. Иронические восторги фрау Менцель по поводу шоферского мастерства мужа были излишни, атмосфера в накрененной машине была и так накалена. Но поскольку супруги были достаточно натренированы в ситуациях

подобного рода, раздражение нашло косвенную разрядку в обсуждении вопроса, кому отправиться за помощью в Шведенов, прошлепав по грязи в изысканной городской обуви три километра. Каждый из двух вариантов имел свои мнимо объективные обоснования, а так как Менцель, когда дело касалось количества и весомости аргументов, всегда был более находчивым, то промокнуть предстояло скорее ее, чем его ногам, если бы в этот момент не произошла та самая встреча, которая сыграла столь решающую роль: на велосипеде прикатил Пётч.

Будущая дружба началась с того, что в машине торопливо опустили стекло, позвали велосипедиста, который неуклюже слез с сиденья, приблизился, осторожно ступая в резиновых сапогах, покивал в ответ на словоизвержение женщины, исследовал взглядом колеса, затем, не обращая внимания на дождь, двинулся с велосипедом через мост на пригорок, а супруги остались в тепле, курили, ждали, озабоченно отмечали, что расстояние между правой дверцей и уровнем воды все сокращается, и спорили о том, в чем причина: машина ли погружается или вода поднимается. Дождь лил не переставая.

Когда сумерки начали сгущаться и вода достигла дверцы машины, раздался грохот тягача, на котором за спиной угрюмого водителя стоял Пётч. Пётч прикрепил трос и, когда машина достигла тверди, сообщил, сколько нужно заплатить трактористу; Менцель счел эту сумму недостаточной и, протянув из окна в три раза больше денег, сказал, чтобы Пётч поделил их с водителем,— что потом заставило его устыдиться. Ибо Пётч, не глядя, протянул деньги трактористу (кстати, это был его брат), поднял для прощального приветствия руку и намеревался уже взобраться на тягач, как его снова позвали из машины.

Менцель задал еще один вопрос, и ответ на него явился тем заветным словом, что и свело их вместе. Менцель спросил, есть ли еще опасные места по пути к шоссе в Липрос; Пётч ответил: да, не доезжая деревни, там, где лес спускается в низину у Шпрее и пересечение трех дорог перед рукавом реки, заросшим камышами, образует своего рода площадь, называемую Драйульмен (Три Вяза), надо держаться поближе к лесу, чтобы не угодить в новую грязевую ванну.

— Драйульмен? — спросил Менцель. — Она так до сих пор и называется? Может быть, и богадельня сохранилась?

— Вы знаете эту местность?

— Только из книг.

— Из книг?

— Да, из книг Макса Шведенова.

Тут Пётч, чье лицо и манеры выдавали человека, которого надо трижды попросить, прежде чем он решится воспользоваться чьей-либо любезностью, открыл без приглашения заднюю дверцу машины, опустил свои облепленные грязью (у фрау Менцель дух перехватило) резиновые сапоги на ковровую подстилку, уселся, насквозь промокший, на мягкое сиденье и в крайнем изумлении спросил:

— Вы знаете Макса фон Шведенова? Так вы, наверное, профессор Менцель?

Вторая глава

Забытый

Читателю ясно, что на этот вопрос мог быть дан только утвердительный ответ. Да, это был профессор Менцель — это он, с женой, пробирался через Бранденбургские болота и пески и едва не стал жертвой непокоренных сил природы. Велосипедист, вызволивший супругов из мокряди, тоже знаком читателю. Однако кто же, спро-

сит читатель, тот третий, который здесь хотя и назван по имени, но никогда не сможет предстать самолично, этот книготворец, по-видимому, небесспорно дворянского происхождения, этот Макс фон (а может, и не «фон») Шведенов?

Наиболее полную (для нашего повествования излишне подробную) информацию о нем могли бы дать эти два человека, которые во имя его и заключили дружеский союз и никогда не уставали говорить о своем Шведенове. Но прислушиваться к их разговорам о нем мало толку, потому что каждый из них исходил (вполне справедливо) из знания другим того, чего лишен читатель: самого элементарного и вместе с тем самого фундаментального знания — школьного знания и энциклопедической премудрости, какую пока что негде почерпнуть, ибо в толковых словарях, справочниках о писателях и ученых, историко-литературных и научно-исторических энциклопедиях его имя не значится, ничего не сказано о нем и во «Всеобщем немецком биографическом словаре». Потому-то и уместно использовать короткую автомобильную поездку этой троицы от торфяного болота до Липроса (ничем, кроме разговоров, недоступных пониманию непосвященных, не примечательную) для краткой информации, хотя будущим поколениям читателей она уже не понадобится, поскольку они получат ее в начальной школе из хрестоматии или учебника по истории, где будет помещен и неизвестно кем написанный масляными красками портрет, с которого серьезно и строго смотрит на нас тощий молодой человек с детскими глазами.

По всей вероятности, под портретом будет написано: «Макс Шведенов, 1770—1813, прогрессивный историк и революционный поэт»,— а этого пока достаточно, чтобы понять, что породило заключенный на темной лесной дороге дружеский союз: объект исследования и толкования, к которому наши два персонажа пришли очень разными путями.

Совсем недавно об этом говорил профессор Менцель в своем радиоинтервью. Исходной точкой он взял известное высказывание Гёте (которое он наверняка знает наизусть), касающееся культурного наследия. Сперва он назвал его чрезвычайно важным, ключевым, сказал, что его значение выходит далеко за рамки своего времени, а затем поставил вопрос, охватывает ли оно весь круг относящихся сюда проблем, и смело ответил на свой вопрос отрицательно. Культурное наследие, которое нам надлежит освоить, обширнее того, что мы унаследовали от наших отцов: к нему относится и то, что было отброшено, растрачено или позабыто ими. Ибо те, кого Гёте метафорически назвал «отцами», для нас ведь буржуазия, которая, хотя и искусно драпировала свою страсть к наживе интересом к культуре, все же не стремилась поддерживать прогрессивные тенденции. Давно, еще студентом, он пришел к мысли, что на карте нашего прошлого есть белые пятна, которые ждут исследования; эта мысль постепенно в нем зрела и дала ему силы систематически и последовательно изучать в своей области науки (как всем известно, он историк) несправедливо, но не случайно забытые имена. Скрытый намек Меринга натолкнул его на Шведенова. То обстоятельство, что последний был весьма значительным поэтом, оказалось созвучным индивидуальным склонностям профессора. Вскоре он познакомит общественность со своей книгой об этом представителе немецкой революционной демократии, плодом многолетних изысканий. Само заглавие — «Бранденбургский якобинец» — делает, собственно говоря, излишним сообщение о том, что данное открытие обогатит сокровищницу революционных традиций драгоценным камнем особого сияния. «Ибо в исторических и литературных творениях Макса Шведенова,— завершил свои рассуждения профессор Менцель,— дан блистательнейший ответ на вопрос, который штурм Бастилии поставил и перед Германией».

Когда Менцель однажды спросил, что привело его к Шведенову (мы забегаем вперед и говорим о том времени, когда оба друга были уже на «ты»), Эрнст Пётч не мог ничего сказать ни о такой систематичности, ни о такой последовательности, ни о таком широком взгляде, которым охватываешь и общие задачи, чтобы решать их в своей специальной области. После долгих колебаний, после длительных размышлений, после попытки отделаться от вопроса кратким «случайно» он в конце концов смог повести речь лишь о себе самом, о своих чувствах, своих пристрастиях, своих интересах, даже об одной быстротечной любовной истории, о своих уроках, которые он стремился оживить краеведением или по крайней мере использовал краеведение как повод, чтобы заставить вместо церковных книг изучать учебники, когда, например, ему казалось важным документально обосновать упоминание в одном из писем Шведенова жительницы Липроса по имени Доретта.

Всегда, когда Пётчу приходилось говорить о себе, он сбивался с одного на другое, и Менцель, не имея терпения следовать за рассказом, резюмировал: «Значит, ты пришел к М. Ш. через краеведение», попав тем самым почти в точку.

Ибо Пётч любил лишь то, что было ему близко, и овладеть для него значило — изучить как можно глубже. Если Менцель словно стоял на наблюдательной вышке и глядел вдаль в подзорную трубу, то Пётч как бы стоял с лупой на плоской земле, где любая изгородь закрывала обзор. Его знания были ограниченны, но в пределах этих границ универсальны. Он не интересовался ботаникой, но окружающие деревню сосны были изучены им вплоть до структуры древесины. Строительная техника не была его специальностью, но он хотел знать, каким образом сто пятьдесят лет тому назад, когда строили дом, в котором он живет, раскалывали валуны, чтобы наружные стены были гладкими. Рытье котлована толкало его к геологическим исследованиям, разговор с землемерами — к математическим. Всякая поездка вызывала у него сравнение с родными местами, и лучшей частью путешествия оказывалось возвращение домой. Он был исследователем не дерзким, но дотошным, фанатиком детали, эрудитом частного. Макс фон Шведенов родился в Шведенове — значит, надо им заниматься. Липрос — место действия его романов, и этого достаточно, чтобы они стали Пётчу любы и дороги.

Менцель был прав: увлеченность краеведением, конечно, источник одержимости Шведеновым, который никогда не иссякал, но это только один источник. Другой: Пётч ощущал душевное родство с этим человеком. В поэзии Шведенова он находил себя. В ней были сформулированы его чувства, описаны его страсти, предвосхищены его мысли. Пётч глядел в стихи и романы Шведенова как в зеркало, и его охватывал восторг.

Все это простительно, но называть это, вслед за Пётчем, чудом, все же не стоит — не стоит хотя бы потому, что многое из того, что он, как ему казалось, обнаружил своего в поэзии, наверняка он сам перенял из поэзии. Кто знает, любим ли мы что-то потому, что оно похоже на нас, или же мы начинаем походить на то, что любим?

Менцель долгое время подозревал, что, родись знаменитый Людвиг Лейхгардт не в отдаленном на десять километров Требаче, а в Липросе или Шведенове, Пётч стал бы специализироваться на изучении Австралии. Когда Менцель задал этот вопрос, Пётч очень серьезно и долго раздумывал, прежде чем дать отрицательный ответ: он обижался на Лейхгардта за то, что ни в «Проблемах геологии Австралии», ни в «Дневнике экспедиции из Моретон-Бея в Порт-Эссингтон» нет речи о Требаче или Верхней Шпрее.

Третья глава

Испытание

Как свидетельствуют топографические карты, в том месте, которое называется Драйульмен и где сходятся лесные дороги из Арндтсдорфа, Шведенова и Гёрца, еще в начале нашего века стояла Липроская богадельня. В этом доме (когда он еще не был приютом для бедных) с 1804 до 1810 года жил уже известный читателю историк, романист и поэт; там же были созданы его поздние творения: «Достопримечательные события коалиционных походов до Базельского мира» в трех томах, памфлет «Мирный союз», сборник стихотворений «Увядший весенний венок», романы «Барфус», «Мужлан», а также «История Эмиля Германского». Вязов («Весело ввысь вознеслись вы из крепких корней»,— говорится в стихотворении «Родные места») не было уже во времена Франца Роберта, первого исследователя Шведенова, дом, который никогда не украшала мемориальная доска, был снесен после первой мировой войны, когда село, строясь, растянулось до рукава Шпрее. Чтобы разыскать фундамент, Пётчу пришлось заняться раскопками.

Он стоял с Менцелем в темноте среди сосен и объяснял, какой вид здесь открывался при выходе из дверей дома сто семьдесят лет назад, когда склоны еще не были покрыты лесом: в центре село, спрятанное за липами, слева озеро, в которое впадал тогда еще судоходный речной рукав, справа замок на острове, образуемом Шпрее, рукавом Шпрее и защитным рвом вокруг замка. Кстати, габаритами и предполагаемым внешним видом (судя по форме кирпича, дом построен до 1730 года) богадельня в точности соответствовала той, что описана в «Эмиле». Пётч был уверен, что нашел даже остатки той увитой жимолостью беседки, где состоялось решительное объяснение Эмиля со своим отцом.

Когда речь шла о деталях, он умел говорить увлекательно и образно, и ему удалось свершить чудо (разумеется, не подозревая об этом) — превратить профессора в молчаливого слушателя.

Интерес Менцеля был велик, но еще больше он боялся простудиться. Он уже чувствовал на плечах сырость, и поскольку оставшаяся в машине жена каждую минуту сигналила, он решил вернуться.

Вскоре они остановились на широкой аллее посреди села, где в скупом свете уличных фонарей, сквозь запотевшие стекла можно было полюбоваться контурами дома пастыря, церкви и старого господского дома. Как раз на этом месте, объяснил Пётч, молодой граф Барфус выпрыгнул из кареты, когда вернулся из Франции и увидел пылающий замок. А вон к той липе справа, должно быть, прислонился в темноте двадцатилетний Макс, когда пробрался из Шведенова, чтобы увидеть хотя бы тень Доретты в окне пасторского дома. Но узкой тропинки к Требачской роще, где, прошептав «Твоя навек», Доретта обручилась с ним, больше не существует; она ответвлялась вон там впереди, где теперь стоит новый магазин. На месте рощи совсем недавно построена башня.

После многих лет исследования встретить наконец человека, который знает объект твоих изысканий столь же глубоко, как ты сам, было равно знаменательным событием как для Менцеля, так и для Пётча,— его можно сравнить с радостью человека, путешествующего, не зная языка, по чужой стране и встретившего там соотечественника, который его понимает и с которым можно разговаривать, словно ты дома, он понимает все оттенки, до него доходит каждая шутка, каждый намек.

Они говорили о Максе и Доретте, о графе Барфусе, об Эмиле и полковнике как об общих близких знакомых, обсуждали (намек,

большего не требовалось) разговоры, приключения, жесты и выражения лиц так, будто обменивались собственными сокровенными воспоминаниями. Один начинал стихотворение, другой восторженно подхватывал его. Они коснулись и неисследованных вопросов, кратко высказывая свои соображения. Действительно ли он встречался — как можно предположить по одной записи в парижском дневнике — с Робеспьером? Кого он имел в виду, говоря о «высокородной женщине» — графиню Липрос или, может быть, королеву Луизу? Где находятся последние дневники? Кто тот друг, который издал сохранившиеся письма? Какова точная дата смерти их кумира, где он похоронен?

Радость эти беседы доставляли обоим равную, но потребность в них была разного рода. Если Пётч давал выход распиравшему его желанию поделиться своими знаниями, то Менцель с первого же момента шел к определенной цели. Кажущийся беспорядочным разговор незаметно направлялся им. Вопросы, которые он ставил, не адресовались впрямую Пётчу — это были своего рода тесты. Он испытывал потенциального союзника. И Пётч это испытание выдержал в целом блестяще, хотя и не во всех областях одинаково. Никаких объяснений не требовалось при упоминании даже третьестепенных фигур, любая дата, любое место действия назывались правильно, безошибочны были и сведения социально-исторического и политического характера. Вот только когда речь заходила об историографии, философии и немецкой литературе, Пётч оказывался не на высоте. Но детали биографии поэта и их отражение в его творчестве испытуемый знал лучше испытателя. Правда, профессор не обратил на это внимания.

— Нет, в другой раз! — Это сказала жена, хотя вопрос был адресован не ей, а мужу, который с улыбкой лишь пожал плечами. В своем безмерном воодушевлении, лишившем его способности почувствовать настроение фрау Менцель, Пётч предложил осмотреть замок, до которого можно было добраться только пешком — через бывшее поместье. Даже указание на близость замка (всего лишь метров двести) не могло повлиять на решение фрау Менцель. Одной только мысли о том, сколько грязи налипнет на рубчатую подметку резиновых сапог и окажется в машине (чистить которую было ее обязанностью), да еще желания поужинать было бы достаточно, чтобы она осталась непреклонной. К тому же она — с полным основанием — чувствовала себя забытой.

Правда, она привыкла, что в ее дом приходили ради мужа, а ее делом (она была детским врачом) интересовались лишь тогда, когда она была нужна (то есть когда милые детки болели); но это всегда были хорошо воспитанные люди, они старались скрасить ее второстепенную роль, время от времени заставляли мужа отвлечься от профессиональной тематики, поболтать о том о сем, наводили разговор на общие медицинские темы, чтобы дать ей возможность вставить слово, или же пытались флиртовать, хвалили придуманное ею (хотя и не ею сшитое) платье, отмечали ее моложавую стройность. А для этого Пётча она словно вообще не существовала. Если он, живописуя исторические детали, устремлял на нее свои глубоко сидящие глаза, он смотрел на нее точно так же, как и на ее мужа. В этих глазах она была не красивой женщиной, едва ли старше самого Пётча, а всего лишь супругой или придатком (в гневе это выражение показалось ей особенно метким) профессора. Пётч считал само собой разумеющимся, что она обладает такими же знаниями и одержима такими же интересами, и он был настолько нечуток, что не заметил, как быстро в ней пробудился рефлекс, выработанный осточертевшими ей шведеновскими проблемами: простого упоминания имени историка было достаточно, чтобы вызвать у нее неодолимую зевоту. Не обратил Пётч внимания и на неоднократные поглядыва-

ния на часы. Ее непрерывное молчание лишь подстегивало его непрерывное словоизвержение. Только ее резкое «нет» в ответ на предложение осмотреть замок заставило его умолкнуть, причем так внезапно, что она пожалела о своей грубости. Поэтому, прощаясь, она излишне долго распространялась по поводу того, что для ее мужа (не для нее) их встреча много значит.

Когда Пётч снова стоял под равномерно падающим дождем, Менцель еще раз открыл дверцу и ошарашил его вопросом: где он собирается напечатать свои изыскания.

Графически наиболее выразительной передачей реакции Пётча были бы три строчки вопросительных знаков. Ибо он не знал, что ответить, он даже не смог сказать, что еще не думал об этом.

Менцель же, в свою очередь, не смог верно истолковать это молчание. Он счел это тактикой, внушающей уважение.

— Мы еще поговорим об этом. Когда вы приедете?

— Скоро, если позволите.

— Позвоните прежде.

Впервые в жизни Пётчу была вручена визитная карточка. Он бережно спрятал ее во внутренний карман своей стеганой куртки. Час ходьбы до Шведенова не показался ему долгим. Едва ли он заметил, что дождь перешел в снег. Он пытался определить тему статьи, которую напишет. Пройдя затопленный участок пути у торфяного болота, он уже знал, как озаглавит ее: «Поиски одной могилы».

Четвертая глава

Золотые мечты

Вместе с фрау Пётч в наш рассказ входят сразу четыре других человека, которых во избежание перенаселенности можно было бы обойти, если бы мы не боялись исказить сцену возвращения домой,— а ведь именно тогда в душе Пётча впервые пробились ростки, коим со временем предстояло вымахать в ядовитые растения внушительных размеров.

Имена этих четырех: Альвина, Фриц, Людвиг и Доретта. Это мать, брат и дети Пётча; обслуживаемые снующей между столом и плитой хозяйкой дома, они сидели в кухне за обеденным столом, шумно и много ели, запивая колбасным бульоном, и не прервали разговор, когда в кухню вошел Пётч, насквозь промокший и продрогший, но согреваемый мыслями о статье. Взрослые, то есть мать Альвина (называемая бабулей) и братец Фриц, говорили о продаже сена, дети — об интимных делах липросских учителей. Принять ли предложение Паквица об обмене (сена на поросенка) или лучше подождать весны, когда сена будет мало и оно вздорожает? Родится ли у учительницы русского языка ребенок или нет, и если да, то когда и от кого?

Переполненному впечатлениями и мечтами Пётчу не терпелось поделиться ими, а его втягивали в разговоры, которые его совершенно не интересовали. Он ел и пил, высказался по поводу конъюнктуры рынка, уклонился от конкретных суждений о степени правдивости школьных слухов и ждал конца обеда, казавшегося ему как никогда долгим. Впервые он признался себе, что всегда страдал в этом кругу, выбрав для этого признания классическую формулу: чужой в собственном доме.

Наконец обед кончился. Бабуля прошлепала в гостиную к телевизору. Братец Фриц, натянув кепку и куртку, двинулся в пивную. Дети после многократных увещеваний отправились спать. Он остался наедине с женой. Теперь он мог говорить. Но прежде чем позволить Пётчу заговорить, надо объяснить читателю, что означают его

первые слова («твой знаменитый однофамилец...»). Дело в том, что фрау Пётч, по имени Элька, родилась хотя и не в Шведенове, а в районном центре Бескове, в девичестве носила фамилию Шведенов, как, кстати, еще две из одиннадцати семей, населявших Шведенов. Тот, кому знакомы эти края, знает, что это не столь уж необычно. В Липросе тоже есть семья по фамилии Липрос, а в Арндтсдорфе есть пекарь Арндтсдорф, а если в Гёрце отправиться на кладбище, можно найти там напоминание о многочисленных покойниках, звавшихся при жизни так же, как место их рождения. Этот факт не ускользнул от внимания Франца Роберта, первого исследователя Шведенова, и он побудил его предположить, что утверждение, которое распространили друзья историка и писателя после его смерти, будто Макс фон Шведенов — это псевдоним и означает он только то, что Макс происходит из Шведенова,— утверждение это неверно. Согласно теории Франца Роберта, Шведенов происходил из шведеновской крестьянской семьи по фамилии Шведенов и присвоил себе приставку «фон» из юношеского тщеславия. Поскольку документальные подтверждения отсутствовали, это положение было столь же недоказуемо, сколь и первое; тем не менее профессор Менцель охотно принял его, то есть зачеркнул «фон», зато присвоил писателю почетное определение «мелкобуржуазно-революционный демократ барщинно-крестьянского происхождения», а фрау Пётч превратится в прапраправнучку Шведенова, когда он, спустя несколько месяцев, в начале лета представит ее большому обществу как урожденную Шведенову из Шведенова, чтобы затем, обратясь к Пётчу, шутливо заметить: теперь мы наконец знаем, что приводит к научным открытиям, а именно — любовь к женщинам.

Замечание остроумное, но в данном случае неверное: Пётча привела к писателю не любовь к жене. Уж вернее было бы сказать: писатель привел Пётча к жене. Ибо нельзя отрицать, что фамилия избранницы имела значение для молодого человека. Робкому ученику средней школы-интерната эта фамилия не только дала повод сблизиться с ее носительницей — фамилия придала ей особый интерес в его глазах. Он почитал Макса фон Шведенова и сам происходил из Шведенова; могла ли Элька Шведенов, и так не лишенная привлекательности, не стать в его глазах тем более привлекательной? И разве исключено, более того — разве не вполне вероятно, что писатель Макс и девушка Элька состояли в каком-нибудь родстве? Можно, однако, надеяться, что даже твердая уверенность в этом не сыграла бы решающей роли при выборе. Будь Элька черства, болтлива, толста или одержима стремлением к роскоши, любовь наверняка не вспыхнула бы. Он любил ее не из-за фамилии, но фамилия была одним из источников его любви; и он настолько был одержим своими изысканиями, что лелеял мысль (хотя и не высказывал ее): а может быть, наши дети в родстве с Максом фон Шведеновым.

Когда родился второй ребенок — Доретта, он уже не думал об этом, потому что тем временем ему пришлось, хотя и с неохотой, признать, что опровергаемая Францем Робертом легенда, будто Макс фон Шведенов — псевдоним, к сожалению, справедлива.

И потому, когда дети наконец улеглись, бабуля задремала перед телевизором, а братец Фриц продолжил свои переговоры о сене с Паквицем в пивной, он начал в этот дождливо-снежный вечер свой рассказ не словами «твой знаменитый предок...», а заговорил об однофамильце жены, который теперь прославит и его самого.

Поскольку настроение у него было хорошее и его позабавило сравнение своей будущей малой славы с будущей великой славой писателя, он засмеялся, и его жене было бы очень к лицу, если бы она посмеялась вместе с ним. Однако она этого не сделала. Не переставая мыть посуду, не обернувшись, она спросила, склонясь над тазом: «Как так?» — что тоже неплохо, ибо вопросы свидетельствуют об ин-

тересе, и теперь он мог приступить к рассказу, начиная с застрявшей машины до вопроса профессора, где он собирается публиковать свой труд. Он рассказывал живо, подробно воспроизводя и слова и интонации, но когда дверца машины (в его рассказе) захлопнулась и он блаженно стоял под дождем, переполненный счастьем первой профессиональной беседы о Шведенове и захваченный золотой мечтой напечататься, жене ничего другого не пришло в голову, как заметить: а отвезти своего спасителя домой господин профессор не догадался?

Вместо того чтобы ответить, Пётч стал мечтать вслух о планах статьи, которую он напишет, с упоением излагал сложные ходы своей мысли, которые уже привели его к постижению простого факта, что писать стоит лишь о том, чего никто другой не знает. Сам профессор Менцель (чье имя он никогда, даже на кухне, не называл без титула) будет поражен! Он, ученый, узнает от него, деревенского учителя, нечто новое, можно сказать сенсационное, если ему удастся доказать, что не только имя, но и год смерти Макса фон Шведенова установлены неправильно (эта мысль совершенно неожиданно озарила его в темноте под дождем).

Тут Пётч сделал паузу, чтобы дать жене возможность выразить свои эмоции. Она воспользовалась ею; но не для возгласа удивления или вопроса, свидетельствующего об интересе, а для того, чтобы (после слова «дождь») дотронуться до его пуловера и, ощутив его влажность, посоветовать сменить его.

Воодушевления Пётчу хватало на двоих, и потому когда жена (а вслед за ней и муж) отправилась в спальню, открыла шкаф, достала пуловер, подождала, пока Пётч стянул влажный и надел сухой, вернулась в кухню, это прервало мытье посуды, но не рассуждения Пётча, доведшего свою тему до раздела: «документы». Франц Роберт не нашел никаких документов. На то обстоятельство, что в день, который Макс фон Шведенов неоднократно называл своим днем рождения, в Липросской церковной книге (Шведенов не имел собственного прихода) было записано рождение некоего Фридриха Вильгельма Максимилиана фон Массова, сына полковника в отставке и управляющего лесничеством Шведенов Королевства Прусского,— на это обстоятельство Франц Роберт не обратил внимания, вероятно, потому, что вслед за этой записью другой рукой и другими чернилами помечено: умер в 1820-м в Берлине. Ибо он, по-видимому, не сомневался в правильности распространенного друзьями Шведенова сообщения: писатель погиб в 1813 году под Лютценом.

Фрау Пётч кончила мыть посуду, вытерла стол, подмела пол — все время сопровождаемая речами мужа, который стоял возле таза с полотенцем в руках, но посуду так и не начал вытирать, ибо им овладело нечто более высокое — например, десятки свидетельств: военное прошлое отца, упоминаемые в письмах родственники, позволяющие полагать, что речь идет о влиятельной аристократической семье, художественно малозначительная, но в биографическом аспекте, по-видимому, многозначащая повесть «Потерянная честь», в которой некий полковник ф. М. (!), уволенный в отставку якобы за трусость в битвах под Йеной и Ауэрштедтом, борется за свою реабилитацию; и многое другое.

Кухня-столовая была достаточно просторной, чтобы ходить по ней взад-вперед, что Пётч и делал, развивая перед женой план предстоящей работы. Каждый раз, проходя мимо жены, давно забравшей у него кухонное полотенце, он получал в руки тарелки, чашки и миски, которые он, продолжая говорить, относил в шкаф и там расставлял их так нескладно, что вскоре жена, не перебивая его, подошла и навела порядок, в то время как он, проговаривая, уточнял свои мысли, намечал разбивку статьи на главы и прикидывал, какие усилия потребуются, чтобы просмотреть все берлинские книги регистрации смертей за 1820 год, усилия, которые могут оказаться и тщет-

ными. Ибо доказательство того, что некий Максимилиан фон Массов умер в Берлине, еще не опровергает утверждения, что Макс фон Шведенов пал в 1813 году за короля, отчизну и свободу. Возможно, ему придется реконструировать жизнь этого фон Массова.

— Мне придется много разъезжать, Элька,— закончил он, когда жена, стоя уже в дверях, еще раз посмотрела, хорошо ли убрана кухня. Осмотр не удовлетворил ее, и она снова взялась за веник, поскольку его научная ходьба оставила следы.

Но о резиновых сапогах она не проронила ни слова, а просто усадила мужа на стул и сняла их с него.

— Может быть, лучше заняться сперва списками павших,— сказал он, когда она принесла ему домашние туфли.

Пятая глава

Деревенские известия

Липросское почтовое отделение обслуживало также Шведенов и Гёрц. Заведующей почтой и почтальоном была фрау Зеегебрехт. Лучше ее никто не был информирован о жителях всех трех общин. Но считать ее хорошим информатором, разумеется, нельзя — она настолько серьезно относилась к почтовому запрету на разглашение чужих секретов, что делилась лишь частью известного ей. О людях, которые ей нравились, она рассказывала только хорошее, о других — плохое, но в обоих случаях не в полном объеме. Таким образом, она могла считать свою профессиональную совесть чистой, а слушатели должны были понять, что она знает больше, чем говорит. Имена она называла неохотно, но за два десятилетия своего пребывания на посту заведующей установила такую четкую систему описаний, что всякие ошибки исключались. А когда собеседник, догадавшись, называл имя, она торжествующе восклицала: «Но это сказали вы, а не я!»

Наряду с традиционными источниками информации — открытками, телеграммами, посещениями на дому (почтовые ящики она принципиально игнорировала) — монополия на телефон также служила утолению ее жажды знаний. Ведь в Липросе и Шведенове личных телефонов нет. И если не хотелось улещивать бухгалтершу сельскохозяйственного кооператива, или школьную делопроизводительницу, или секретаршу общинного совета, то приходилось звонить от фрау Зеегебрехт, которая обязана была при сем присутствовать, поскольку она не имела права оставлять без надзора почтовую кассу, когда в помещении находился клиент. Она звонила на коммутатор в Бесков, обменивалась новостями со знакомыми телефонистками или знакомилась с незнакомыми, а когда абонент оказывался на проводе, неохотно передавала трубку и, даже и не пытаясь скрыть своего любопытства, усаживалась рядом с говорящим — с озабоченным или улыбающимся лицом, в зависимости от темы разговора. Ей явно стоило великого труда не вмешиваться, но, серьезно относясь к своим обязанностям, она превозмогала себя и после окончания разговора возвращалась к его теме лишь в том случае, если чувствовала, что не досадит этим клиенту.

Любой разговор по телефону был для Пётча волнующим событием, а уж с профессором Менцелем тем более. И особенно трудно было вести разговор при свидетеле, стараясь не дать пищи любопытству.

Восьмидневная отсрочка, которую Пётч считал необходимой для соблюдения приличий, была наполнена разнообразнейшими размышлениями о характере предстоящего разговора, которые, однако, не привели ни к каким результатам, ибо реакцию профессора невоз-

можно было предугадать. В конце концов он зашел в своем пессимизме так далеко, что решил: надо сперва осторожно напомнить Менцелю о встрече под дождем. Поэтому он отказался от придуманных в первые дни остроумных вариантов своих начальных фраз, обыгрывающих тождество имени писателя и названия местности, и твердо остановился на неоригинальном начале: «Простите, пожалуйста, за беспокойство, господин профессор, меня зовут Пётч, может быть, вы помните: я учитель из Липроса, с которым вы на прошлой неделе говорили о Шведенове».

Все это он в точности и сказал после того, как фрау Зеегебрехт получила у телефонистки информацию о снегопадах последних дней и нерасчищенных улицах,— вернее, все это он в точности хотел сказать, но едва успел произнести свое имя, как профессор прервал его словами: «Как хорошо!» Пётч очень обрадовался, и маленький рот фрау Зеегебрехт растянулся в улыбке.

Она подвинула свой служебный стул так, чтобы можно было удобно сидеть и вместе с тем видеть разговаривающего по телефону. Ее взгляд был благожелателен, его же судорожно метался мимо нее, к окну, к полу или потолку. При всем том, что Пётч был сосредоточен на важном разговоре, в глубине души его мучило сознание, что он невежлив по отношению к женщине, терпеливо выжидавшей на своем посту, хотя информационная ценность разговора для нее ничтожна. Ее лицо свидетельствовало об этом: с каждой минутой оно становилось все более недовольным.

Ибо кроме слов: «Простите за беспокойство, господин профессор, меня зовут Пётч...» — и его минутной радости, что-то ей тоже сказавшей, она слышала лишь часть этого безбожно дорогого, потому что длинного, диалога, носившего необыденный (она это понимала) характер,— часть, которая ничего не означала или что-то скрывала. «Да... Да... Конечно... Я понимаю... Разумеется. Непременно... Вот как!..» — и это продолжалось пять, десять, двенадцать минут, без малейшего смысла для нее. Фрау Зеегебрехт редко приходилось так скучать при телефонных разговорах.

Пётч, напротив, совсем не замечал, как бежало время. «Как хорошо!» — сказал Менцель и, обойдясь без всяких банальных вопросов о здоровье и погоде, сразу заговорил об их общем деле, то есть о своей книге, которую он окончательно отделывает, шлифует стиль, вносит небольшие поправки и в содержание, уточняет биографические детали, увиденные им в новом свете после разговора под дождем у Драйульмена («Вам, наверное, доставит удовольствие услышать это, господин Пётч»). Правда, в его произведении биографическое отступает перед идеологическим на задний план, тем не менее оно играет свою, хотя и небольшую роль. И поскольку это наверняка интересует Пётча, а рукопись как раз у него под руками, Менцель тут же прочитал упомянутый пассаж и еще один, тесно связанный с ним, но нуждающийся в некоторых пояснениях, чтобы Пётч понял направленную против буржуазных историков иронию, а это в полном объеме возможно лишь при уяснении структуры всего отрывка, который надо рассматривать в контексте рассуждений об историзме, образующих своего рода аппендикс.

Так это и продолжалось минута за минутой, и хотя Пётч никогда не слышал об историзме и понятия не имел, что такое аппендикс, он время от времени произносил свое да, да, да, причем это кратчайшее из всех слов было слишком длинно для тех пауз, которые Менцель допускал между разделами своей речи. Но интерес Пётча был не менее велик, чем радость оттого, что Менцель воспринимает его как собеседника, и он не перебивал. Он ведь и не собирался излагать по телефону волновавшие его проблемы. Для этого требовался визит к Менцелю, о чем в заключение и зашла речь.

Столь же внезапно, как и начал, профессор оборвал разговор и спросил, может ли Пётч прибыть к нему в среду в 16 часов, и попрощался. Лишь по размеру счета Пётч узнал, как много своего драгоценного времени пожертвовал ему профессор.

Но прежде чем об этом сообщили с коммутатора, прошло несколько минут. Вот они-то показались ему действительно долгими. Потому что теперь ему пришлось разговаривать с фрау Зеегебрехт, находившейся в скверном расположении духа. Улучшить его можно было бы, поведав ей о своей беседе. Он же не сделал этого, а заговорил об уровне воды в Шпрее, о состоянии школьного питания и о предполагаемой беременности учительницы русского языка,— заговорил без малейшего успеха. Эти устаревшие новости не могли расшевелить фрау Зеегебрехт, и потому она в последующие дни поделилась с благорасположенными к ней шведеновцами обрывками новейших известий, не называя никаких имен; однако, соединив эти известия воедино, можно было понять: какой-то профессор пишет в Берлине книгу об их селе и некий неназываемый учитель снабжает его материалом,— значит, будьте осторожны!

Шестая глава

В преисподней

Не только для того, чтобы читатели лучше поняли восторг Пётча, но и ради их собственного удовольствия хотелось бы, чтобы эта глава помогла им наглядно представить себе, какие прекрасные и драгоценные вещи увидел деревенский учитель в среду ровно в 16 часов, приведя в действие звонок на садовой калитке профессора Менцеля. Из боязни опоздать он прибыл слишком рано, но чтобы не показаться назойливым, предпринял прогулку по поселку с виллами, простирающемуся до леса, стараясь упорядочить мысли, которые собирался изложить профессору, но при этом так запутался, что, погрузившись во внутренний хаос, совершенно не видел открывшейся перед ним красоты. Медная ручка звонка, представлявшая собой кольцо из сплетенных девичьих фигур с маленькими, в булавочную головку, грудями, для него ничем не отличалась от тех пластмассовых кнопок, что продавались в липросском кооперативе. Стоя у ограды с искусным орнаментом, он видел дорожки между цветочными клумбами, тщательно ухоженный (даже зимой) газон и мог бы полюбоваться неоготической виллой, если бы взгляд его не сосредоточился лишь на крошечной части ее, а именно — на двери, где мог появиться профессор.

Таким образом, пока что он был слеп к красотам, но не глух к благозвучию звонка, который он привел в действие, подняв кольцо из сплетенных девичьих фигур. Сквозь послеобеденную пригородную тишину до него донеслось трезвучие гонга в сопровождении радостного собачьего лая, сперва приглушенного стенами дома, но внезапно загремевшего из каменных привратных столбов у самого его уха.

Электроакустическое разговорное устройство, которое несколько десятилетий назад было свидетельством особой изысканности жилища, теперь знакомо любому жителю высотного дома и нисколько его не пугает. Но Пётч, деревенский житель, отделенный почти десятью годами от поры четырехгодичного студенчества в Берлине, хотя и знал о существовании подобных устройств, никогда не имел с ними дела, и потому неожиданное усиление лая испугало его, и он не сразу догадался, что и куда говорить, когда сквозь шум и лай раздался женский голос: «Кто там?»

Последовало второе «Кто там?» и раздраженное «Да кто же там?», пока Пётч не увидел незамеченную прежде переговорную решетку и столь же громко не прокричал в дверной косяк свое имя. Обнародованная таким способом неосведомленность имела свои преимущества: голос дал Пётчу подробные указания, как открыть дверь, что он в точности и выполнил. По дорожке, выложенной красными и серыми гранитными плитками, он дошел до дома, из которого ему навстречу прыгнул длинношерстный сенбернар величиной с теленка, быстро притихший, когда Пётч стал поглаживать и похлопывать его.

Красота собаки — вот единственное, что из всех красот, в течение нескольких часов окружавших его, он отметил в своем сознании — и то не без расчета. Он боялся первых минут разговора, обычно заполненных ничего не значащими любезностями, на что он, с глазу на глаз с профессором, в особенности с этим профессором, не чувствовал себя способным. Но поскольку шведеновские крестьяне, вступив в кооператив и обретя больше досуга, обратили свою нереализованную частную инициативу на разведение породистых собак, местный универсализм Пётча распространился и на эту область любительского промысла. Он разбирался в собаках и надеялся, что сенбернар, которого при известной осторожности он уже мог держать около себя, послужит незаметным поводом для целенаправленного разговора.

Но этот расчет, к сожалению, оказался неправильным, ибо Менцель, как только появился, во-первых, прогнал собаку в ее чулан (по размерам равный, кстати, детской в доме Пётча) и, во-вторых, умудренный посетителями, которых, как правило, осеняла та же оригинальная идея, что и Пётча, сразу заявил, что сенбернар принадлежит его жене, а сам он собак и вообще животных не любит, да-да, не любит ничего из того, что, в отличие от культуры в узком смысле слова, называют природой, и это означало, что все восторженные слова о газоне, розах и остальной растительности в доме и саду можно сберечь на тот случай, если жена почтит их своим присутствием.

Пётч пытался казаться веселым, а не смущенным. Но это ему не удавалось. Неестественный смех не очаровывал Менцеля, но и не разочаровывал. Вместе с сознанием своего превосходства в нем скорее росла симпатия к Пётчу, и он сделал все, что, по его мнению, могло бы порадовать молодого человека. Даже продемонстрировал ему сокровища дома.

Разумеется, при этом он подавал и себя, причем таким образом, что Пётч многое счел собственным открытием. Например, он обнаружил в профессоре странное сочетание черт характера, слывущих несоединяемыми,— поначалу он обозначил их такими понятиями, как цинизм и наивность, но они настолько неточно определяли сущность профессора, что ему постоянно приходилось, поясняя их самому себе (а потом Эльке), обращаться к примерам. Так, Менцель, едва показав, сколь проницательно он распознает лесть, тут же, если речь заходила о предметах, которые он считал своей собственностью, требовал таких неумеренных восхвалений, что Пётч не постеснялся мысленно назвать это желание детским — конечно, после того как убедился, что Менцель всерьез добивался комплиментов. Правда, произошло это нескоро, потому что Пётч не мог поверить, что подобное тщеславие возможно у столь знаменитого и уверенного в себе человека. Зато потом он хвалил как только умел, вот только умел он, к сожалению, плохо. И хотя вскоре понял, что здесь никакое преувеличение не может быть чрезмерным, он не сумел бы произнести соответствующих слов, приди они ему в голову.

Первая остановка после обхода дома привела его в смущение, ибо он еще думал, что в ответ на любезный вопрос профессора «Как вы считаете?» должен проявить свои критические способности. Речь

шла о сокровище особого рода — об экономке, голос которой напугал Пётча еще у калитки. Теперь же Менцель представил ее со словами: «Наша незаменимая фрау Шписбрух», а как только она вышла, добавил, что, собственно говоря, ее зовут Шписбрюх, но он не мог допустить подобного оскорбления человека его именем и потому в первый же день объявил ей, что изменением одной буквы приведет ее имя в соответствие со стилем дома. И вот на это Пётч реагировал неверно: вместо того чтобы одобрительно посмеяться, он вспомнил аристократов, называвших всех своих слуг Антонами.

Это вызвало столь явное недовольство, что подобной ошибки он больше не совершил, зато допустил другую. Проходя через первую комнату, заставленную прекрасной старинной мебелью, он, к несчастью, вспомнил остроту Шведенова о том, что качество книги зачастую находится в обратной связи с качеством стола, за которым она написана. Менцель помрачнел, но на его лице было написано: я и сам могу быть остроумным.

Пётч не обиделся. Он теперь понял свою роль и старался играть ее получше. Комментарии Менцеля указывали ему направление прицела. Тот хотел, чтобы в нем ценили не владельца, а образованность, вкус и остроумие; любил понимающую улыбку, восхищение, любознательные вопросы. То, чему Пётч здесь с трудом учился, вовсе не было лицемерием. Он ведь и в самом деле был исполнен восторга и почтения. И искренне смеялся анекдотам, связанным с каждой вазой, каждым предметом мебели. У него была уйма вопросов о фаянсе и инкрустациях, об ампире и бидермайере. Учился же он явственно выражать свои чувства в благодарность за извлекаемую пользу. Ибо этот отличный педагог увеличивал его познания в области искусства и литературы, развивал его чувство стиля, на примере одного портрета Ранке мог объяснить буржуазную иконографию или рассказом о каком-нибудь письмоводителе 1810 года раскрывал жизненный уклад в наполеоновские времена.

Но все это было лишь началом. Главное было впереди: библиотека. Иной библиофил при виде ее немел от зависти. Но не Пётч. Он охмелел от счастья. Никогда он не играл так хорошо свою роль, потому что начисто о ней забыл.

После краткого осмотра всего фонда в целом Менцель подвел его к святыне: к первоизданиям периода с 1789 по 1815 год. Здесь были редкие, никогда больше не публиковавшиеся книги таких историографов, как Бюлов, Массенбах, некоторых философов, много журналов, мемуарная литература, Гёте, Шиллер, Форстер, Рихтер, Клейст и Кёрнер, оба Шлегеля, Тик — длинные ряды книг и, наконец,— Пётч затрепетал от благоговения — Макс фон Шведенов: «Барфус», «Эмиль», «Союз мира» в переплетах того времени, журналы с «Историей коалиционных походов», публиковавшейся в нескольких номерах. Пётч не знал, что сначала взять в руки.

Собирать произведения Шведенова — это было не хобби для его исследователя, а необходимостью, ибо только два романа (единственные, которыми владел Пётч) были переизданы на рубеже веков Францем Робертом. Остальные Пётч мог читать только в читальном зале государственной библиотеки. Это надо иметь в виду, чтобы понять, почему он, сидя на ступеньке лестницы, листал книгу и выглядел как человек, достигший наконец своей цели.

Но у Менцеля были твердые планы. «Вниз, в преисподнюю!» — скомандовал он, поглядев на часы, и, видя, что Пётч не в силах оторваться, добавил завлекающе, что там он найдет еще больше книг М. Ш.

Подразумевался при этом погреб, которым профессор, по его словам, владел столь же безраздельно, как Аид подземным царством. Элизиум, то есть финская баня, был удостоен лишь одного взгляда, затем путь вел мимо котельной к дощатой двери, которую Менцель

открыл со словами: «Вы вступаете в тартар». Здесь был его рабочий кабинет — помещение без окон, с побеленными стенами, скудно обставленное: длинный стол с пишущей машинкой, магнитофон, стопки бумаги и книг, стул, табуретка, полки с книгами, тетрадями, папками — вот и все. Ценность помещения состояла в его тишине, изолированности.

Едва они сели, как пришла фрау Шписбрух, молча сервировала кофе; вид у нее был такой, словно с первого же дня ей было запрещено открывать рот в этом помещении. Менцель опять посмотрел на часы и сказал: остался всего час, потом придет машина, чтобы везти его в телестудию. Предстояло еще многое обговорить — пункты первый, второй, третий, четвертый, которые он так четко изложил, что его речь можно было бы назвать готовой к печати, будь такое определение уместно, если учесть содержание, которое хотя и касалось общественности, но для нее не предназначалось. Рассуждения Менцеля носили на себе незримый гриф «Совершенно секретно!», а Пётч при всей своей взволнованности полностью осознавал, какая честь ему выпала. Он столь же мало замечал жесткость табуретки, как и вынужденное молчание, позволявшее ему лишь время от времени вставлять свои «да».

Когда он в половине седьмого в сопровождении собачьего лая покидал преисподнюю и дом, чтобы совершить свой обратный четырехчасовой путь на электричке, автобусе и велосипеде, сумка его отяжелела, потому что к букету альпийских фиалок, который он забыл вручить фрау Менцель, добавились две книги Шведенова и трехтомная машинописная рукопись. Но на душе было легко и весело. В поезде он читал важные для его замысла «Посмертно опубликованные письма к друзьям» 1815 года, в предисловии к которым содержалось единственное сообщение о загадочной смерти Шведенова. В Арндтсдорфе он сел на оставленный там велосипед и, катя морозно-ясной ночью по лесу, обдумывал, в каком порядке наилучшим способом преподнести Эльке свою программу, состоящую из четырех пунктов и разукрашенную описаниями профессорской виллы, экономки и самого профессора. Лишь очутившись в теплой, пахнущей пирогами кухне, где все еще трудилась Элька, он почувствовал голод. Но не об этом были его первые слова, а о городе, откуда прибыл:

— Что ты думаешь о переезде в Берлин?

Седьмая глава

Воздействие альпийских фиалок

Элька Пётч относилась к числу людей, которые говорят о себе, что они стоят обеими ногами на земле. Это означает: они не цепляются за воспоминания, не забегают мечтами в будущее, живут настоящим, делают (очень расторопно) что требуется и крепко спят. Они не терзаются вопросами и сомнениями. Они радуются праздникам, по одежке протягивают ножки и никогда не сокрушаются о принятых решениях — последнее дается им легко, ибо серые или черные последствия этих решений они не покрывают сверкающей позолотой предвкушения. В противоположность мечтателям, утопистам, умникам, мерящим реальность масштабом своих желаний (всегда ее превосходящих), они довольствуются тем, что есть, и любы дому своему и миру. Они никогда не ноют и не жалуются, никогда не пытаются, держась за идеалы, подпилить или хотя бы поменять сук, на котором они сидят. Элька никогда не спрашивала даже о погоде. Для нее не существовало плохой или хорошей погоды: речь могла идти только о неподходящей одежде.

Следуя великому примеру своей матери, которая прилежно, мужественно, стойко и без жалоб вырастила четверых детей и терпела бездельника мужа, она не позволяла себе ни болезней, ни брюзжания. Хотя у нее было только двое детей, она, отказавшись от своей профессии преподавателя физкультуры, возглавляла семью в шесть человек. Ей было не в тягость одной вести большой дом мужниных родителей с огородом в два моргена, двумя разваливающимися хлевами и развалившимся сараем, собакой, двумя кошками и тринадцатью курами. Муж и деверь, как заведено, зарабатывали деньги, бабуля была стара, дети малы, но при надобности Элька умела заставить всех пятерых потрудиться в доме и во дворе.

Односельчане любили Эльку, ибо она охотно вникала в их дела. С чужими она умела разговаривать лучше, чем с мужем,— о детском ли питании или о ценах на дрова. Измеряя шагами поленницу, определяя на глаз количество кубометров, она производила впечатление человека, разбирающегося в жизни. К ней ходили посоветоваться о лечебных травах, о грибах, сливовом муссе. Занятая по горло, она всегда находила время для других. Не торопливая, она умела не затягивать разговора.

Более длительные беседы она вела по воскресеньям после обеда — в гостях и на прогулке,— она строго соблюдала все предписанные воскресеньями и праздниками радости. Уже с утра глаз ласкала чистота в доме и во дворе. Исполненное торжественности приготовление обеда венчала единственная за всю неделю совместная трапеза в большой зале. Мытье посуды откладывалось на понедельник. Когда Фриц забирался на кушетку, бабуля задремывала в кресле, муж, по обыкновению, уходил в свою рабочую комнату, она наряжалась, звала собаку и детей и отправлялась — то далеко, до самых гор, откуда открывалась путаная сеть ручьев, через которые торфяное болото изливало свои воды в Шпрее, то в Гёрц к подруге. Там сперва, шаг за шагом, осматривали сад, восторгались им, а то и критиковали его, потом усаживались за кофе, за которым она могла сидеть долго, пока собака и дети веселились у деревенского пруда. Исходящий от нее воскресный покой передавался другим, снимал с них груз постоянной гонки; муки собственной неудовлетворенности стихали перед ее умением довольствоваться жизнью. Подруги говорили о том о сем, разумеется о детях, о старении, но никогда не заходила речь о браке Эльки, в котором физическая близость давно была забыта.

Она наверняка считала это совершенно нормальным, ибо другого и не знала. С этим покончено, ну и ладно, такова жизнь, у них есть двое детей, больше не будет. Смирение в этом пункте вполне вписывалось в равномерное течение ее жизни.

И вот это равномерное течение нарушил муж — неумышленно, конечно. В тот вечер, когда Пётч, вернувшись из Берлина, задал свой вопрос, он не думал о душевном покое жены. Ему даже и не нужен был ответ. Его не интересовало, как относится Элька к возможному переезду. Ему хотелось говорить, хвастать успехами, расписывать свое счастье. Не мнения ему нужны были, а только внимание. Элька правильно сделала, что не попыталась дать ответа, которого и не знала. Она сказала: «Ты, должно быть, голоден» — и подала на стол.

Вопрос не сразу вызвал в ней заметное беспокойство. Она привыкла многое не принимать всерьез. И ей легко было держать себя как обычно: примерная слушательница, от которой не требуется особой заинтересованности. Но она старалась не пропустить решающих ходов в шведеновской игре. Когда от второстепенных подробностей (не показавшихся ей такими уж занятными) Пётч перешел к главному, она отметила про себя два тревожных симптома: его чрезмерную веселость и тактичные (правда, никогда до конца не удававшиеся) попытки избавить ее от скучных литературно-историче-

ских деталей. Но она не заметила, что четыре предназначенных для ее внимания пункта он расположил таким образом, чтобы наиболее важный для нее огласить в конце.

Совершенно необходимо, излагал Пётч, заедая цитаты из Менцеля бутербродами с ливерной колбасой, «вдолбить Шведенова в сознание нашей общественности», притом вдолбить столь основательно, чтобы отныне ни один историк и литературовед его не обходил, ни один учебный план не считался полным без его имени и чтобы через год были проведены в государственном масштабе торжества по случаю 165-летия со дня его смерти. Само собой, Менцель активизирует все средства массовой информации. Остальное довершит его книга «Бранденбургский якобинец».

Здесь Пётч подошел к собственным задачам. Он отложил в сторону бутерброд с сыром, смахнул крошки с губ, вытер замаслившиеся пальцы и вынул из сумки рукопись ныне знаменитой монографии о Шведенове. Шестьсот с лишним листов машинописной копии занимали три папки. После первого общего пункта программы (кампания за популяризацию Шведенова) следовал второй: Менцель вверяет Пётчу будущее каноническое произведение — на предмет исправления ошибок, проверки биографических дат и фактов. Пётч не скрыл от Эльки, сколь горд он этим доверием.

— Куча работы.

— Что значит работы? Я сгораю от любопытства.

— А третий пункт?

В нем-то и сказалась маневренность Менцеля. Как Элька легко поняла, было бы неразумно воздействовать на общественность усилиями лишь одного человека. Нельзя допустить подозрения, будто дело тут в чьей-то причуде. Поэтому не самолично профессор, а один его знакомый подал в «Урании»[1] идею серии докладов на тему «Забытые писатели — открытые заново» и в качестве блистательного начала предложил научно-популярный доклад, патронирование которого Менцель, хотя как будто и неохотно, все же взял на себя, но докладчиком предложил другого человека, чтобы создать видимость уже существующего широкого интереса. Элька сочла это очень ловким маневром, потому что на самой себе заметила: восторженное увлечение мужа Шведеновом показалось ей менее смешным, когда она узнала, что он не одинок в своем пристрастии. Отгадать имя предполагаемого докладчика ей было нетрудно, поскольку она видела его, сияющего.

Тем временем настала полночь. Они не смотрели на часы, но узнали об этом по вернувшемуся из пивной деверю и брату, привлеченному в кухню запахом пирога. Фриц и не думал, что мешает. Любое общество было ему по душе, и поэтому ему никогда не приходило в голову, что сам он может оказаться некстати. Вдохновленный пивом, он болтал без умолку, преимущественно о задуманных им сделках, связанных с сеном, и свеклой, и свиньями (которым никогда не дано было осуществиться), и так долго восторгался запахом пирога, что Элька достала его и даже сварила для всех троих кофе. Пётч был слишком счастлив, чтобы рассердиться. Но вполне сумел разыграть неимоверную усталость. Фриц — сейчас он не мог себе представить, каково ему будет в шесть утра, когда придется снова сесть на свой тягач,— безуспешно протестовал против внезапного окончания беседы.

Обсуждение супругами четвертого пункта пока так и не состоялось. Само место действия (спальня), слова, жесты, цветы — все это заставило отложить разговор. Окольными путями мысль Пётча добралась до газона Менцеля, и Пётч вспомнил про свои альпийские фиалки. Жене профессора он не смог их преподнести, зато теперь их получила его собственная жена. Поскольку она не знала (и никогда

[1] Общество по распространению знаний. *(Здесь и далее прим. перев.)*

не узнает), что куплены они были не для нее, ей пришло в голову: в Берлине он думал не только о Шведенове, но и обо мне! Она заметалась, подалась к мужу. Они и не знали, что еще способны на такое.

Последующие полчаса ошеломили и осчастливили их. Но когда единое целое снова распалось на два отдельных существа и в пустоту, оставляемую угасающим желанием, хлынули мысли, оба, сами того не замечая, все больше и больше стали отдаляться друг от друга. И если в нем снова пробудился прежний восторг, который вознес его на светлые высоты славы, то она очнулась в низинах духа, полных тоски, недоверия и страха. В муже духовный подъем лишь разрядился физически, чтобы снова охватить его с прежней силой. А в жене что-то изменилось, сбив ее с толку, началось нечто новое, и она еще не знала, хорошее или плохое это новое. Она утратила что-то, утратила надежность. Будь она в силах говорить, она потребовала бы от него чего-то невозможного, клятв в любви, например, или заверений, что он больше не допустит, чтобы заглохли чувства. Но она молчала, ждала, что он по крайней мере коснется рукой ее волос, даст тем самым понять: она еще существует для него. Она уже осознала свое несчастье: при таком муже она постоянно обречена на такую тоску. Она запретила себе распускаться, призвала себя к порядку, обязала себя быть трезвой, твердила себе о жизненном опыте. На помощь пришли исконное недоверие, страх перед изменениями. Все опасности — в слове «Берлин». Если между вопросом мужа, заданным по прибытии домой, и альпийскими фиалками существует связь, тогда его намерение серьезнее, чем она полагала, тогда риторическим в вопросе была лишь форма, тогда, значит, мы переезжаем в Берлин! Стало быть, цветы предназначены только для того, чтобы умаслить ее; его быстро улетучившаяся нежность была не чем иным, как средством убить в ней сопротивление в самом зародыше.

Пётч и не подозревал, что означал бы в этот момент для жены один только его жест. Рука, которая должна бы коснуться ее волос, поглаживала щетину на его подбородке. Его мысли, спустя несколько мгновений облеченные в слова, были не с нею, а с профессором Менцелем, четвертый пункт программы которого настало наконец время возвестить.

Словно разговор их был прерван лишь только возвращением Фрица из пивной, Пётч продолжил теперь рассказ о самоважнейшем из важнейшего — о предложении профессора превратить исследователя-любителя в ученого, то есть принять Пётча в свой институт.

— Понимаешь ли ты, что это для меня значит, Элька?

Это она хорошо понимала. Но она понимала и то, что это значит для нее самой, и, все еще занятая попытками утопить только что родившиеся надежды, она не ответила, что нисколько ему не помешало, а лишь побудило подробнее растолковать детали, сообщить, что вопрос еще не решен окончательно (не из-за него, он-то сразу согласился), и объяснить, о каком институте идет речь.

— Может быть, ты слышала о ЦИИИ, или ЦИИсИс? Нет? Я тоже не слышал до сегодняшнего вечера. Тогда ты не знаешь еще, что означает и МП. Так шепотом, прикрывая рот рукой, называют новое место работы твоего мужа (где он, кстати, скоро должен будет получить ученую степень). Сейчас объясню тебе. «Ц» — значит центральный, единственный в республике, не относящийся ни к какому-либо университету, ни к какому-либо другому учреждению, «И» — это ясно. Между вторым и третьим «И» нужно мысленно подставить маленькое «и». И если ты знаешь, что тот, о ком идет речь, то есть Шведенов, был историком, а история называется также историографией, то ты уже знаешь, что означает первое «Ис». Сложнее дело обстоит со вторым «Ис» — оно связано с твоим мужем, который пре-

подает историю в школе и, следовательно, должен что-то знать о пригодности истории для преподавания — об историоматии. Итак, Центральный институт историографии и историоматии — вот как эта штука называется и царит над всем, что изучает историю и пишет о ней и обучает ей, включая институт и специальные журналы. Она заполняет брешь, которая зияет между этими учреждениями и министерством, и первым ее узрел профессор, или, как говорят злые языки, по его наущению узрело начальство. Ибо шепотом произносимое в университетских и академических коридорах МП сокращенно означает сообщество, именуемое Менцельским приходом. Но вот что самое восхитительное в этом человеке: он сам рассказал мне это — и от души смеялся.

Восьмая глава

Интерпретация

Три недели спустя Пётчу пришлось внести поправки в мысленно нарисованную им картину институтского здания. Он представлял себе нечто солидное, не обязательно с колоннами перед порталом, но по крайней мере с большой стеклянной дверью и издали приметной надписью. И вот он увидел обшарпанное строение конторского типа, в котором кроме ЦИИИ размещались всякие торговые фирмы, редакции и конторы. Маленькая деревянная дверь была облеплена вывесками. Стенная газета на лестничной площадке призывала к повышению производства пластмассы и эластика. Коридоры без окон благоухали соусами. Пётч пришел в обеденное время, и надо было ждать.

Он не удивился, что его имя ничего не сказало секретарше, указавшей ему на стул для посетителей, но равнодушное молчание, с которым она восприняла его слова о том, что он вызван к директору института, смутило его, так как он приготовился к расспросам. Вызван — это в конце концов может каждый заявить, а потом станет пустячными делами отнимать у профессора время. Он ожидал, что его по меньшей мере спросят, какое время ему назначили. После обеда, ответил бы он не без гордости, ибо считал знаком доверия то, что профессор не указал точно часа и минут.

Думать о доверии не так уж непозволительно человеку, которому за последние двадцать дней профессор пять раз звонил (по школьному телефону), первый раз — уже через восемнадцать часов после посещения Пётчем преисподней, то есть в час дня, во время последней перемены. Менцель хотел знать, как понравился Пётчу (который успел пока только бегло полистать рукопись) «Бранденбургский якобинец».

— Прекрасно,— сказал Пётч, гордый своей способностью быстро найтись, хотя он не любил лгать.

— Какую страницу вы читаете?

Пётч понял, что профессор не представляет себе, как это человеку, держащему в руках его рукопись, работа или сон могут помешать читать ее, и быстро ответил:

— К сожалению, только шестьдесят третью.

— Значит, мою критику Генца вы уже прочитали. Как я разделался с ним, блестяще или нет?

— Блестяще — точнее не скажешь.

— Я рад слышать это, в самом деле, очень рад! Желаю вам получить удовольствие от остальных пятисот тридцати страниц и всего хорошего!

Вот как это просто, подумал Пётч, когда первый страх прошел. При следующих телефонных разговорах ему было легче. Теперь

больше незачем было умалчивать действительное положение дел с чтением, он всегда знал, за что именно Менцель хвалит себя. А когда возник вопрос о неточностях, Пётч уже мог бы кое-что сказать профессору. Но Менцеля не интересовали критические замечания, да он и не оставлял между своими словами достаточно больших пауз, чтобы такие замечания можно было вставить. Для маленьких же пауз Пётчу следовало бы точнее знать, что именно вызывает его возражение. Ибо кратко выражать он умел только ясные мысли. А его критика была в высшей степени сумбурной. От страницы к странице ему становилось все более не по себе, однако его преклонение перед Менцелем было столь велико, что он не решался облечь свои ощущения в слова. Как известно, трудно хулить, когда хочешь хвалить.

При пятом звонке Пётч смог доложить, что чтение, исправление ошибок и контрольная проверка закончены, и Менцель позвал его в институт.

— Я буду там после обеда.

И вот оно, обеденное время. Оно чувствовалось по запахам, о нем говорил вид секретарши, которая питалась хрустящими хлебцами, читала газету и ни словом, ни взглядом не удостаивала посетителя, пришедшего раньше назначенного срока, чтобы по возможности продлить время разговора. Ведь обсуждению подлежали не только его поправки, хотя и это займет немало времени; он хотел также помочь конструктивной критикой — по одному вопросу, который его особенно занимал. Это будет нелегко. Он не хотел обидеть Менцеля и потому собирался свои сомнения выразить в форме вопросов. Чтобы Менцель считал, будто сам помогает, когда в действительности помогали ему.

Звяканье ключей в коридоре словно послужило сигналом для секретарши, чтобы вспомнить о Пётче. Она направила его этажом выше, где его приветствовала пестро одетая, ярко раскрашенная и очень эмоциональная дама. Пётча подавила ее импозантность. Теплый материнский тон, призванный, видимо, уменьшить робость Пётча, только усилил ее. Она держала его руку до тех пор, пока не узнала, кто он и чего хочет, и за те минуты, что он ждал, когда вернется с обеда д-р Альбин, Пётч ничего не услышал о Менцеле, на которого пытался навести разговор, зато получил много заслуживающих внимания сведений о ней, фрау д-р Эггенфельз, правой руке Менцеля во всех делах, при решении которых требуется такт и шарм. Из подвального ребенка (существа, которого Пётч не вполне мог себе представить) она, не без помощи Менцеля, выросла в официально признанного ученого с тремя публикациями, вызвавшими большой интерес, хотя еще не достигла даже возраста Пётча (тем более удивительны были ее материнские манеры).

Стремясь уклониться от взгляда больших, томных очей, Пётч задавался вопросом, одолел ли бы он стеснение, охватившее его в этом помещении, если бы он осел здесь и поближе познакомился со всеми здешними дамами. Покидая через три часа дом, он так и не смог ответить на свой вопрос. Обстановка в расположенных на трех этажах комнатах, где он побывал, была ему столь же неясна, как и его отношение к людям, с которыми он встретился.

Д-р Альбин, называвший себя заместителем Менцеля, а на самом деле ведавший административно-кадровыми делами, знал о намерении Менцеля повидаться с Пётчем. Он вежливо сказал: «Я рад, что вы пришли, господин Пётч» — и сообщил ему, что профессор здесь, но у него много дел, и поэтому он просит Пётча обсудить поправки с одним из своих сотрудников, коллегой Браттке, пока он не выкроит время лично повидать его. Альбин усадил Пётча в кресло для посетителей, сел за свой стол и позвонил коллеге Браттке, с которым говорил на «ты» таким тоном, будто обращался к нему со

словами: «Милостивый государь!» И даже когда Альбин второй раз сказал: «Я рад!» — никакой радости не чувствовалось. Он сказал: он рад, что осенью сможет приветствовать Пётча как коллегу, желая, видимо, дать понять, что явного неудовольствия он не испытывает.

Ледяная корректность Альбина не остудила горячей радости Пётча, вызванной этим замечанием. Его повторная попытка облечь свою радость в слова заполнила время до появления Браттке, появления акустически почти неприметного, но визуально броского.

Браттке ходил бесшумно, потому что его большие ноги были обуты в войлочные полусапоги. С д-ром Альбином он не заговорил, Пётчу что-то пробормотал, вероятно поздоровался, и предложил следовать за собой. Он тут же повернулся к выходу, явно стремясь как можно скорее покинуть комнату доктора. Пётч едва успел обменяться с Альбином прощальными любезностями.

Браттке привлекал внимание прежде всего своим ростом. Чтобы казаться неприметнее, Браттке старался, согнув спину, держать голову на уровне людей нормального роста. Но это лишь выделяло его облик, равно как и его причуды: неслышная походка в войлочной обуви, непомерно большой пуловер, греющий еще и зад, болтающаяся на груди цепь с очками для чтения.

Оригинальность рабочей комнаты Браттке, путь к которой пролегал через путаную систему переходов и лестниц, заключалась в царившем здесь беспорядке. Комната была битком набита книгами и бумагами. К письменному столу пришлось пробираться извилистой дорогой. Стул надо было сперва выкопать из книжных гор. Но поиски рукописи Менцеля заняли на удивление мало времени.

— Ну, начнем! — бросил Браттке, на сей раз внятно, в облако пыли, поднявшейся при раскрытии папки.

Пётч не осмелился вносить поправки прямо в текст Менцеля. Он написал их четким почерком на отдельных листках, которые приложил к соответствующим страницам. Браттке не испытывал подобной нерешительности. Без вопросов, без комментариев вычеркивал и вписывал он то, что диктовал Пётч. Это были мелочи, и Пётч, увидев, что Браттке все молча принимает, скоро отказался от намерения облекать свои замечания в форму предложений. Лишь несколько моментов, казавшихся ему неясными, он опустил, чтобы потом обсудить их с профессором.

Когда очки Браттке с цепью снова закачались на пуловере, он начал разговор, поначалу показавшийся Пётчу скорее похожим на допрос.

Что он думает? О чем? О книге шефа, разумеется. Пётч несколько раз начинал фразу, нашел наконец слово «значительная», однако счел его слишком слабым и заменил определением «великолепная». Но оно было чересчур сильным, и он попытался ослабить его уточнением «с одной стороны», однако Браттке сразу перебил его вопросом: а что «с другой стороны»?

Пётч не обладал способностью ответить просто: «Я точно не знаю», а Браттке был столь жесток, что не прерывал его длинное, сбивчивое, бестолковое разъяснение. Он ждал, пока все многочисленные половинки и обрывки фраз, безуспешно кружившиеся вокруг этого «с другой стороны», иссякнут, и сказал: теперь он понимает, почему шеф так восторгается им.

Пётч услышал это не без удовольствия. О чем и свидетельствовало его лицо. Он охотно спросил бы: действительно восторгается? Но он подавил в себе вопрос, ибо почувствовал, что замечание Браттке носило вовсе не дружеский, а скорее иронический характер.

Браттке не пустился в дальнейшие объяснения. Он встал, тихими шагами вышел из комнаты и вернулся с кастрюлей воды, поставил ее на электрическую плитку, скрытую за грудой книг у окна. Ища

за рядами папок банку с чаем и чайник, он задал два вопроса: любит ли Пётч чай и в самом ли деле он, как утверждает Менцель, сельский учитель?

И если разговор не так скоро утратил характер допроса и экзамена, то виноват в этом прежде всего, пожалуй, Пётч, которому робость мешала самому выбирать тему или задавать вопросы. Своей пассивностью он вынуждал собеседника быть активным. К тому же его молчаливая сдержанность возбуждала любопытство, которое Пётчу было приятно, и он считал своим долгом его удовлетворять. И потому в ответ на вопрос о чае он не только кивнул головой, но и подробнейшим образом (времени было достаточно, а тема не таила для него никаких трудностей) рассказал о своих привычках: кофе по утрам и после обеда, вечером при напряженной работе — крепкий чай. Вопрос о профессии и местожительстве он воспринял как вопрос о своей жизни и стал про нее и рассказывать, сосредоточившись, как и следовало ожидать, на описании бытия ученого-самоучки, посвятившего себя Шведенову.

Браттке стоял у плитки, слушал и время от времени спрашивал: а как вы относитесь к алкоголю? Что вы думаете об учебных планах по истории? Чем вас, собственно, привлекает этот институт? Потом он искал чашки, потом сахар. Ложечек он не нашел. Они насыпали сахар прямо из коробки и размешали перочинным ножиком.

— Вы знаете Эйнхарда? — спросил Браттке.

— Не знаю, но мне кажется, что...

— А Нитхарда?

— Погодите, кажется, это имя мне встречалось.

— Эйнхард и Нитхард: они оба мой Шведенов. А мне приходится, как видите, поправлять запятые в менцелевских фолиантах, делать сноски и составлять указатели.

На сей раз Пётч быстро сообразил, что хотел сказать Браттке.

— Вам, наверное, показалось, что я строю себе иллюзии, но вы ошибаетесь. Я знаю, что мне нужно много учиться, и рад этой возможности.

— Наивный вы ангел! — сказал Браттке, поднес чашку к губам, отпил глоток и добавил еще сахару.— Шеф упорно ищет то, чего не находит во мне, а именно — человека, с радостью несущего подневольную службу и из почтительности не отваживающегося на критические суждения.

— Вы имеете в виду меня?

— Мне кажется, вас следует предупредить.

Пётч уставился в чашку и задумался. Затем произнес:

— Если бы я только понимал, что вы хотите этим сказать! Вы считаете, что работать с охотой и любовью — это плохо?

Браттке ухмыльнулся. Ему, кажется, понравилось выражение «с охотой и любовью».

— С охотой и любовью служить — вот что я имею в виду! Превратить внешнее принуждение во внутреннюю отраду! Не только носить оковы, но еще и любить их!

— Вы хотите сказать, свободен тот, кто глумится над своими цепями?

— Не свободен, но остается самим собой.

Бедный Пётч! Хотя он внимательно слушал (он ведь стремился у каждого чему-то научиться), даже вставлял иной раз в беседу ту или иную цитату, ему было не совсем ясно, какое отношение все это имеет к нему и к этому длинному господину. Прежде чем высказаться, он попросил прощения, в ответ на что господин Браттке очень обстоятельно растолковал своему гостю то, что он называет «механизмом души». Если поверить ему, надежды, которые Менцель внушил Пётчу, являются причиной того, что Пётч так почитает Менцеля, почитание же мешает критике, а это и есть превращение фи-

зического рабства в рабство духовное. Он, Браттке, напротив, с самого начала следил за тем, чтобы у него всегда оставалась свободная зона. Оградой, всегда охранявшей его от чужого вторжения, была утыканная шипами критика.

— Критика, да, конечно,— сказал Пётч.— Ведь хочется помочь, улучшить.

— Помочь Менцелю? — Браттке опять ухмыльнулся.— Вблизи него человек нуждается в самообороне.

Пётчу вовсе не легко было снова признаться, что он все еще не понимает, но ему пришлось это сделать. Может быть, Браттке объяснит ему на каком-нибудь примере, что именно он хочет сказать.

Хотя движения Браттке были очень спокойны, совсем неторопливы и лицо сохраняло выражение превосходства, все же было видно, что он ждал этих слов. Вместо ответа он вынул ключ из кармана, открыл ящик стола и вслед за рюмкой, кофейным фильтром и дыроколом вытащил оттуда несколько густо исписанных страниц. Он зацепил дужки очков за уши, но читать пока не стал, а объяснил: он занимается этим не для опубликования или архива, а лишь для упражнения, для умственной тренировки, то есть творит для корзины, но человеку, который после шестисот страниц Менцеля хочет удостовериться в собственных мыслительных способностях, это крайне необходимо. Ему пришлось многократно прочесть менцелевский томище, как это вынужден был сделать и Пётч.

— Пожелал сделать,— перебил Пётч, но Браттке не обратил на это внимания, он продолжал говорить, говорить с горечью, о работе на шефа, которую называл гужевой повинностью, и незаметно снова дошел до своих Эйнхарда и Нитхарда, до «Vita Caroli Magni» [1] и «Historiarum Libri» [2], то есть до девятого века, раскапывать и распахивать который ему не давал возможности его феодал.

В ответ Пётч мог сказать только «вот как» и сделать грустное лицо. Для него было новостью, что историю в Германии стали писать так давно, и он решил запомнить это. Браттке еще раз хлебнул чая, поправил очки и начал читать. Он читал быстро и тихо, без всякой рисовки, сперва рецензию, содержание которой опровергало его утверждение, будто он хорошо разбирается только в раннем феодализме:

Забытый — больше натуральной величины

Славу распределяют не по справедливости: личность, о которой толкует данная книга, известна лишь нескольким специалистам, личность же, написавшую эту книгу, знают миллионы телезрителей. Вот уже несколько лет болтливый профессор читает нам лекции по истории, и я знаю людей, которые, будь эта программа передач прекращена, писали бы на телевидение сердитые письма. Я принадлежу не к их числу, а к тем брюзгам, которые не пропускают ни одной передачи лишь для того только, чтобы снова и снова убедиться: меньше профессорского остроумия дало бы больше — больше истории и больше науки.

Но теперь критикам, подобным мне, профессор предоставил шестьсот страниц учености. Нелегкий орешек, но игра стоит свеч. Менцель убеждает: вырвать у прошлого исторические и поэтические труды Макса Шведенова (1770—1813) было необходимо. Обращение Менцеля к совести нации должно побудить любителей литературы заняться творчеством прогрессивного бранденбуржца. Оно их не ра-

---

[1] «Жизнеописание Карла Великого» — сочинение (на латинском языке) франкского историка и писателя Эйнхарда (770—840).

[2] «Четыре книги истории» — сочинение (на латинском языке) франкского историка Нитхарда (ум. в 844 г.), внука Карла Великого.

зочарует, но, оглядываясь назад, они изумятся тому анализу, которому оно подвергнуто у Менцеля. Мне его книга, объясняющая все и вся до конца, задала великую загадку: как это возможно, чтобы человек, разбирающийся в искусстве (иначе он не открыл бы его), мог писать о нем в столь чуждом искусству духе? Разгадки я не знаю, предполагаю только, что она заключена не в одном только Менцеле, она лежит глубже или, если угодно, выше, а именно во взгляде, который у Менцеля находит лишь крайнее выражение: будто поэзию (как и жизнь) можно объяснить каким-нибудь тезисом.

Тезис Менцеля гласит: идеи французской революции Шведенов перенес в литературу освободительных войн. Под эту гребенку он стрижет все его творчество, и кто с этим творчеством знаком, тот знает, каким обкорнанным оно выходит после стрижки. Все противоречия, многозначность, вся прелесть и красота отбрасываются, все буйное укрощается, любая неровность сглаживается. Остается в лучшем случае героичность, человеческое же полностью исчезает.

Разумеется, каждый профессор волен исследовать любое произведение только с одной стороны. Но Менцель не исследует, он декретирует. Он, правда, не фальсифицирует (если доказывает, то доказывает филологически безупречно), он лишь опускает то, что для него неважно; а «неважно» для него — это то, что не подкрепляет его тезис или противоречит ему.

Речь идет не об антихудожественной ложной посылке, что политически самый прогрессивный поэт непременно и самый крупный (ее мы охотно простили бы историку Менцелю),— речь идет о методе, который мог бы создать школу, поскольку едва ли еще у кого-нибудь обширнейшие познания так тесно переплетаются с демагогическим талантом, как у него.

Я сказал: его доказательства точны, но не только в этом дело. Он выдвигает и недоказанные положения, которые при первом упоминании очень четко называет недоказанными, а потом сто раз использует как доказательства. Вот один из примеров: он делает предположение, что Шведенов, происхождение которого неясно, выходец из семьи барщинных крестьян, и затем это свое предположение (очень сомнительное) превращает в аргумент, и в конечном счете выводы о творчестве писателя основывает только на этом аргументе.

Но если этот маневр легко разгадать, то человеку, не знающему Шведенова, не разобраться в тех манипуляциях, которые предпринимаются с его произведениями, с «Барфусом», например. Менцель посвящает ему почти половину своей книги, триста страниц, примерно столько же, сколько в самом романе. С великим тщанием и убедительностью исследовав философские и литературные традиции, на которых зиждется «Барфус», Менцель переходит к интерпретации, на которую прежде всего и опирается смелое название его книги. Фабула романа в его изложении такова: путешествуя по Европе с целью завершить свое образование, молодой граф Барфус становится якобинцем, в ответ на что его реакционная мать сжигает себя и его наследство — замок Липрос; он возвращается, женится и привносит свои революционные идеалы в прусское восстание против Наполеона. Итак, политический роман, думает читатель, не знающий его, и приходит в замешательство, знакомясь с ним. Ибо он читает прелестную любовную историю графа Барфуса и Доретты, дочери пастора, начинающуюся возвращением из поездки во Францию и завершающуюся свадьбой.

Это не означает, что Менцель придумывает то, что ему требуется, все написано в книге, в его цитатах можно не сомневаться, но, к сожалению, можно не сомневаться и в его способности раздуть их значение, вовсе не свойственное им в романе. Возможно, мысль профессора методологически исходит из следующего: дабы читатель не проглядел место, где речь идет о революции, он посвящает этому месту сорок пять страниц. Политические мотивы страшного поступка душевнобольной

матери сконструированы остроумно, хотя и неубедительно. Я вычитал у Шведенова только возмущение предстоящим мезальянсом, на деле таковым не являвшимся, поскольку пасторская дочь в конечном счете оказывается высокородных кровей, чего Менцель, правда, не скрывает, но (и это я ставлю ему в упрек), по понятным причинам, в своей интерпретации в расчет не берет. Этот факт может разрушить его тезис о привнесении революционных идеалов в прусское восстание,— более того, пользуясь менцелевской методой, этим фактом можно доказать прямо противоположное: примирение героя со старым порядком.

Великая поэзия противится подобному обращению — это обнаруживается, когда читаешь ее. Менцеля славят как открывателя и при виде открытого богатства забывают, сколь непозволительно он его уменьшил. Опасность состоит в том, что человек, ищущий в литературе отражения жизни, после менцелевского сочинения не обратится к книгам Шведенова. Ибо хвала профессора есть, в сущности, не что иное, как хула. Будь Шведенов таков, каким его видит Менцель, его возрождение было бы подобно мертворождению. У Шведенова показан математик, который сводит всю красоту к геометрическим формулам. Его называют то Одномерным, то Плоским червем, то Бумажным человеком. Менцель не говорит о нем, мне же рисуется следующая картина:

Прочный и солидный постамент. Сам же памятник—больше натуральной величины человека, но из бумаги, и не похож на того, чье имя носит. Кого же он напоминает? Черты ведь знакомы! Лишь вспомнив о телевидении, понимаешь: этот бумажный памятник поставлен его создателем самому себе.

Браттке снял очки и посмотрел на Пётча. Пётч был растерян. Он чувствовал, что не имеет права сидеть у этого человека, а тем более молча, без возражений. А возражения не приходили ему в голову. Он не знал: то ли ему не хватает только слов, то ли самих мыслей. В лучшем случае он мог сказать: я не согласен с вами! Или честнее: я не хочу быть согласным с вами!

Но Браттке не дал ему много времени на размышления. Он сказал:

— А вот пародия. Надеюсь, вы узнáете знаменитый образец. Смеяться вы не обязаны. Я уже сам это делал, когда писал. Итак:

Призыв Красной Шапочки к национальному восстанию

Литературная интерпретация в духе проф. д-ра Винфрида Менцеля.

Буржуазная германистика никогда не понимала национально-революционного содержания наиболее популярного творения Шведенова. Она только и сумела интерпретировать «Красную Шапочку» как детскую сказку и тем самым обнаружила свою неспособность обсуждать вопросы подлинной литературы. Игнорировав призыв к действию, содержащийся в этой величайшей политической сатире немецкоязычной части мира, она сама себя сдала в утиль истории науки.

Что же на самом деле происходит в этом глубоко народном и вместе с тем насыщенном символами поэтическом творении? Чтобы понять его начало, надо вспомнить уже цитировавшееся письмо от 9 ноября (!) 1799 года, в котором Шведенов рассказывает о разговоре с аристократами и отмечает, что их мины, чем дальше он говорил, становились все более кислыми. Отдавая дань поэтической образности, он для разъяснения ситуации использовал метафору из чисто буржуазной отрасли — производства уксуса. Фермент его речи квасил физиономии эксплуататоров — таков смысл, но вместо слова «фермент» он употребил старинное наименование — «уксусная матка». Какую же тему мог развить одержимый мыслями о революции юноша перед представителями паразитической верхушки, как не тему переворота, демократических дейст-

вий. Уксусная матка, или просто мать,— вот образ, воплощавший для него идею революции.

С матери и начинается настоящее действие в этом творении. Она, мать, дает ход акции солидарности. Она направляет дитяти. Она указывает ему путь. Она наставляет его на целеустремленные, неукоснительные деяния: «Не сходи с дороги... Не смотри по сторонам».

Чтобы растолковать и самому несообразительному читателю, что именно революция дает здесь сигнал к действию, Шведенову приходит гениальная мысль сделать ребенка, отправляемого в поход, девочкой, «бесштанником», то есть санкюлотом, который несет в своей корзинке не ржаной (немецкий) хлеб и пиво, а пшеничный (добрый французский) хлеб и вино!

Время Шведенова — это и время романтизма, открывшего немецкий лес. В нем среди немецких дубов, огороженная от мира ореховой изгородью, стоит избушка бабушки. Поэт саркастически насмехается над этим захолустным счастьем. В то время как волк уже плотоядно рыщет вокруг добычи, а прогрессивное молодое поколение, презрев опасности, пустилось в путь, старуха лежит в своей филистерской постели, спит и видит сны, она не в силах даже открыть дверь. Без всякого сопротивления она позволяет волку проглотить себя. Только заскорузлое невежество реакционной клики германистов может не слышать здесь звона колоколов Йены и Ауерштедта.

Но Шведенов бичует не только общественные условия Германии. Оружие его иронии направлено и на тех стихоплетов, которые, вместо того чтобы бороться за права народа и национальное освобождение, ищут голубой цветок. Свидетельством глубокого понимания манипуляторских методов, к каким прибегают деспотические властители, является то, что у него именно волк, олицетворяющий Наполеона, советует девочке: «Посмотри-ка на прекрасные цветы, растущие кругом, почему ты не смотришь вокруг? Мне кажется, ты и не слышишь, как чудесно поют птицы?» С непревзойденной остротой и точностью тут уловлены звуки идеологической классовой борьбы, еще и сегодня и здесь доносящиеся до нас по эфиру.

Но дальше еще лучше. После известной, потрясающе комичной сцены, во время которой произносятся знаменитые слова о большом бабушкином рте, опьяненный победой Наполеон засыпает, и тут приближается вооруженный спаситель — не какой-нибудь королевско-прусский полицейский или гренадер, а охотник. Невольно напрашивается ассоциация со смелой, удалой лютцовской охотой, и на ассоциацию эту наверняка рассчитывал страстный провозвестник народного вооружения. А чтобы у читателя не возникло никакого сомнения в том, что борьбу за национальное освобождение необходимо связать с борьбой за социальное освобождение, поэт снова демонстративно взмахивает знаменем революции, еще раз пуская в ход при описании освободительной акции лютцовцев один из выразительнейших символов революции — якобинскую шапочку. Свидетельствующая о высоком художническом мастерстве фраза гласит: «Сделав несколько разрезов, он увидел блеснувшую красную шапочку». Красная шапочка! Разве случайно этот знаменательный символ вынесен в заглавие поэтического творения? Таков был Макс Шведенов!

Со времени Тильзитского мира на повестке дня истории стояли проблемы восстания — в двойном смысле слова. Восприняв их не только теоретически, но и практически — как повествователь и **вместе с тем** борец за свободу, Шведенов стал великим духовным вождем, в котором столь нуждался в свой тягчайший час поднимающийся класс буржуазии.

Читая, Браттке на сей раз то и дело поднимал глаза и наблюдал за Пётчем. Он видел, какое впечатление произвел на слушателя. Пётч не веселился, но и не растерялся. Он был возмущен и считал своим дол-

гом выразить свое возмущение. Это так легко, сказал он, чернить светоносное и осквернять возвышенное. Он подумал, что тем самым он расквитался за свое прежнее молчание.

Браттке не обиделся. Он аккуратно запер бумаги и ограничился замечанием: он вовсе не стремится переубеждать других; в конце концов, Пётч сам захотел на примерах познакомиться с его образом мыслей.

Путь к профессору снова повел их по лестнице. В переходах у Пётча возник еще один вопрос. Как почти всегда, ему пришлось искать слова, и, как часто с ним случалось, в голову приходили не собственные слова, а чужие. Вопрос, заданный им Длинному, однажды задал ему самому Менцель. Он тогда промолчал, Браттке тоже не дал ответа, а задал контрвопрос, на который не знал ответа и Пётч.

— Вы собираетесь напечатать свою работу?

— Может быть, вы мне скажете где?

Кабинет директора Браттке опять постарался покинуть как можно быстрее.

— Я позволяю себе держать и фрондеров,— сказал добродушно Менцель. Он сразу же взялся за папки с поправками, заглянул в них и тотчас восхитился — собственным текстом.

— Вы тоже считаете, что пассаж о Беренхорсте удался? — задал профессор тон хвалебному гимну, который предстояло петь Пётчу. Он охотно запел его, но уже не так радостно, как прежде, потому что время шло быстро, а ему хотелось еще обсудить поправки к тем местам, которые ему были неясны. Когда дело, наконец, дошло до них, эта часть аудиенции заняла больше времени, чем Пётч предполагал; не из-за него (ему позволялось говорить лишь до тех пор, пока профессор не схватывал сути), а потому, что к каждому вопросу Менцель привязывал целый доклад, с готовыми к печати экскурсами в отдаленнейшие области, точнехонько приводившими в конце к тем самым пунктам, что подлежали разъяснению. Пётч сидел с открытым ртом, изумлялся, радовался и — учился. А когда Менцель упомянул о будущем сотрудничестве, у Пётча покраснели щеки и он усердно закивал.

В самом начале, еще во время приветствия было оговорено, что для беседы отводится один час. Пётч вскоре забеспокоился, что ему не останется времени для критических замечаний. Один раз он тщетно попытался вставить его в ходе разговора, в другой раз забыл о нем, потом снова подступился к формулированию его, но был прерван, так как Менцелю пришлось к ранее сказанному добавить анекдот, который опять-таки увел в новые области. Остроумие его так и било ключом, а когда оно иссякло, Менцель встал: время истекло.

Однако к многочисленным хорошим свойствам Пётча относилась еще и дисциплинированность. Если он что-либо задумывал, то как только предоставлялась возможность, приводил задуманное в исполнение. Поэтому Пётч подавил свою робость, и, когда Менцель протянул руку на прощание, он выложил свою критику.

— Один только вопрос еще. Из чего вы исходили, когда не упомянули, что смерть Шведенова под Лютценом научно не доказана?

— И это вас тревожит? — спросил Менцель с улыбкой, смутившей Пётча. Ничего, кроме соответствующего истине «я-не-знаю...», он ответить не мог. Пётч надеялся, что узнает что-нибудь о намерениях Менцеля, боялся, что тот обидится, но никак не ожидал, что это его просто позабавит.

— Каждая книга,— сказал Менцель, не выпуская руки Пётча,— имеет определенный адрес. Моя книга написана не для вас, господин Пётч.

Осторожности ради теперь улыбнулся и Пётч. Если это шутка, ему не хотелось выглядеть человеком, не понявшим ее.

— Вы ведь тоже хотите,— продолжал Менцель,— чтобы имя Шведенова украшало учебные планы.

— Конечно, но...
— Ну вот видите!
С этими словами его отпустили. Пётч был в таком смятении, что пошел не той лестницей и оказался в подвале с углем. Замешательство вскоре прошло, но следы его остались, пока незримые.

Девятая глава

Поиски одной могилы

Пусть читатели, которые не совсем поняли последние высказывания Менцеля, поступят так, как Пётч: забудут их и вместе с ним отдадутся предвкушению радостей, которые еще ждут его до начала институтской деятельности (так деловито он называл начало своей новой жизни). Наряду с речами о радостном будущем, которые Элька переносила молча, это были (по восходящей линии их значимости), во-первых, подготовительные занятия, необходимые для его научной карьеры, в особенности связанные с историей исторической науки; во-вторых, работа над докладом о Шведенове и, в-третьих, самое прекрасное и волнующее — исследования, относящиеся к смерти Шведенова.

Но все это потом ранней весной было отодвинуто телеграфным сообщением на второй план.

В один из апрельских дней, когда в палисаднике еще цвели последние подснежники и дети уже находили под неубранной прошлогодней листвой первые крокусы, фрау Зеегебрехт пополудни прислонила свой велосипед к воротам и поспешно направилась через двор к двери дома, чтобы достичь ее раньше, чем Пётч, который спускался из своей рабочей каморки, но по причине крутизны лесенки не мог сделать это быстро. Соревнованием на скорость решался вопрос, где произойдет вручение телеграммы (которое никогда не бывает столь торопливым и малословным, как в городе) — во дворе, или в прихожей, как того хотелось Пётчу, или в кухне, куда фрау Зеегебрехт, если ей не препятствовали, немедленно проникала. Ибо там она всегда находила что-нибудь интересное для себя. Увидеть, вымыта ли уже обеденная посуда и печется ли пирог, для ее личной информационной службы было так же важно, как и беседа с глазу на глаз с бабулей Пётч о том, как невестка ведет хозяйство,— беседа, которая, если ей не помешать, могла длиться долго и вытащить на свет божий немало интимных подробностей семейной жизни.

Ища для доклада фразу, способную передать уныние летних сосновых лесов, Пётч устремил свои глаза поверх них, увидел подкатывающую на велосипеде почтальоншу и успел вовремя спуститься, тем самым выиграв состязание. Таким образом, он встретил ее во дворе, где пес-почтоненавистник яростно рвался с цепи, и фрау Зеегебрехт с успокоительными словами: «Ничего плохого» передала адресованную Пётчу заклеенную согласно предписанию телеграмму.

Успокоительные слова были продиктованы добрыми намерениями и вполне уместны. Нужно долго иметь дело с людьми, которые всегда спешат, всегда при деньгах и охотно общаются по телеграфу, ибо умеют быть краткими,— чтобы не испытывать страха перед телеграммами. Пётч еще испытывал его; нетерпение, подогреваемое то боязнью, то радостью, было велико, но еще большим было нежелание обнаружить перед фрау Зеегебрехт свои эмоции, чего она откровенно ждала. Однако сказать только спасибо и улизнуть в свою каморку он тоже не мог. В конце концов, женщина целых полчаса колесила по песчаным дорогам.

Когда он, решив не вскрывать телеграмму в присутствии почтальонши, произнес несколько слов о погоде и дорогах, она нетерпеливо спросила, даст ли он сейчас ответную телеграмму. Это заставило его

разорвать конверт и с равнодушнейшим в мире лицом прочитать радостное сообщение.

— Вот уж Элька обрадуется, правда? — сказала фрау Зеегебрехт с гордостью, словно она не передала, а сама послала добрую весть.

Совсем не отвечать на вопрос Пётч считал низостью, но и отвечать не хотел. Он пробормотал что-то о сумасшедших людях, посылающих телеграммы, когда вполне можно обойтись письмом, поблагодарил за труд, особенно нелегкий из-за непроезжей липросской дороги, и препроводил оскорбленного почтового работника до ворот. Затем он бросился бежать, но не к своей фразе об унылых соснах, а к Эльке, перед которой мог дать выход своей радости.

Телеграмма была от Менцеля и гласила: «Пятнадцатого июня мне исполняется пятьдесят. Если сможете отказаться от цветов и подарков, жду вашу жену и вас в двенадцать часов. Ваш Менцель».

В этот день Пётч над докладом больше не работал. Он набрасывал варианты ответного письма, которое никак не получалось, как он хотел, остроумным. В конце концов была послана телеграмма: «Большое спасибо. Мы приедем. Ваш Пётч». Потом начал тревожить запрет на подарки. Элька не хотела считаться с ним, перед ней возникла страшная картина: длинный ряд поздравителей, каждый несет цветы и подарки, и только деревенские супруги Пётч стоят с пустыми руками. Нужен по крайней мере условный подарок, который можно будет извлечь в случае необходимости. Муж ее, напротив, хотел держаться слов профессора, но аргументы выслушивал. После долгих колебаний ему пришла в голову мысль, носившая компромиссный характер. До дня рождения оставалось еще восемь недель. До тех пор можно закончить свои исследования, связанные с датой смерти Шведенова. Если он передаст юбиляру свою статью, это хотя и будет сюрпризом, но не подарком.

Поскольку Элька ничего лучшего придумать не смогла, она согласилась и попыталась заинтересовать мужа заботами о своем туалете, но это ей не удалось. Когда она демонстрировала ему то, что у нее есть и что она считала совершенно неподходящим, он отвечал: «Почему же?» — и снова заговаривал о своих штудиях, недостаточно быстро, по его мнению, продвигавшихся.

К началу восьминедельного финишного рывка он достиг уже многого. Он просмотрел и разобрал биографический материал у предшественников. Теперь он знал, что все, кто писал о Шведенове, некритически черпали данные из единственного источника: из предисловия к письмам, подписанного не фамилией, а только инициалом М. Лишь один человек задумался, когда обнаружил, что цитировавшееся в последнем письме стихотворение Кёрнера опубликовано несколькими месяцами позже; но и он подверг сомнению не дату смерти, а счел фальшивкой само письмо.

Справочники того времени тоже не помогли. Если в них и упоминался искомый, то с указанием: «Пал на полях сражений 1813 года», и только в «Ученой Тевтонии» после даты стоит вопросительный знак.

Следующая кружная дорога Пётча пролегла через армию. Судя по письмам, фон Шведенов записался в Бреслау в четвертый добровольческий егерский полк. Потребовалось много труда в библиотеках и архивах, чтобы установить, что этот полк в 1814 году вошел в состав регулярного двадцать восьмого уланского полка, чью историю, вместе с историей добровольческого полка, усердные люди написали — если и не прекрасно, то очень точно — лишь в кайзеровские времена. Это продвинуло Пётча на первый шаг вперед. В истории были зарегистрированы поименно все потери во всех войнах. У Пётча дрожали руки, когда он листал страницы со списками убитых в 1812—1815 годах. Битве под Лютценом отводилась отдельная глава, но самая маленькая, текст был набран крохотными буковками и читался с трудом: счита-

лось, что полк участвовал в сражении, хотя прибыл слишком поздно, с противником в соприкосновение не вступил и никаких потерь, кроме егеря Вильгельма Шюддекопфа, которого переехала обозная повозка, не понес. Все.

В тот день Пётч опоздал на вечерний поезд и поехал только ночью. Со свойственной ему основательностью он просмотрел списки всех павших героев, сложивших голову между Москвой и Парижем сначала за французского императора и прусского короля, затем за прусского короля и свободу и, наконец, за одного лишь прусского короля. Их было много. Но ни одного фон Шведенова. Сравнив местность и даты, встречающиеся в письмах и в истории полка, и увидев, что они в точности совпадают, так что ошибка в номерах полков исключалась, Пётч сразу же сделал первый шаг во второй части своего исследования, еще раз, теперь с новой целью, пройдясь — уже уверенный в успехе — по офицерским спискам, в которых фон Шведенов не упоминался. И палец его в самом деле скоро остановился на имени искомого: «младший лейтенант Фридрих Вильгельм Максимилиан фон Массов, род. 1770 в Шведенове, Курмарк, 1814 ротм., 1815 демоб., ум. в кач. вице-през. Крлв. ВЦК 1820 в Берлине». Пётч был счастлив.

Вот чего он уже достиг к началу восьминедельного срока. Он понимал теперь, что его гипотеза правильна: не поэт, а только его вымышленное имя умерло героической смертью, он же сам продолжал жить, отрекшись от прошлого, под своим собственным именем. Не хватало только доказательств.

Плохо то, что род фон Массов был широко разветвленным, и Пётч, затратив множество усилий, вдруг обнаруживал, что иные следы ложные: они увели его даже в Польшу, где компетентные архивариусы посоветовали ему, что́ искать в Берлине. Там он продвинулся еще на один шаг. Он установил, где 14 ноября 1820 года похоронили вице-президента ВЦК. Он уже видел мысленно, как через несколько минут будет стоять перед могилой, плита которой, может быть, даже решит загадку трех букв. Купив карту города, он взял такси и действительно всего через несколько минут очутился перед стеной, более высокой, чем обычные кладбищенские стены. Ворот здесь не было, равно как и учреждения, куда он мог бы обратиться со своей просьбой. То, в которое он обратился, не поняло его. Он не хочет в Западный Берлин, заверял он снова и снова, он хочет только осмотреть одну могилу, которая, если она еще существует, принадлежит государству, чьим гражданином он является, но кладбище, к сожалению, отгородили, из соображений безопасности, да, конечно, он ведь не против и заверяет, что ничьей безопасности не угрожает. Присущая ему настойчивость привела его наконец к офицеру, готовому выслушать его, даже понять, но помочь он не мог, зато охотно дал совет. Если успеха вообще возможно добиться, то только официальным путем, сказал он. Пётч должен подать заявление в тот орган, для которого он ведет розыск, заявление будет рассматриваться обоими соответствующими министерствами, это продлится долго и, вполне возможно, ни к чему не приведет, но другого пути нет. Пётч заявил, что он и есть тот самый орган, чем навлек на себя подозрения, и перестал настаивать. Просмотр книг о немецких кладбищах стоил ему нескольких дней. И ни к чему не привел.

Эти и подобные им разочарования и радости заполнили его отпуск, вечера, выходные дни, праздничные дни. К работе в школе он относился теперь легкомысленно: усевшись по окончании занятий на свой велосипед, он тут же выбрасывал школьные дела из головы. Дело дошло до того, что он чуть не забыл предупредить директора о своем уходе.

Узнав от мужа, что директор, как и следовало ожидать, отнесся к запланированному бегству из школы не только неодобрительно, но наотрез отказался отпустить Пётча, Элька ничего не сказала, но в

ней зародились надежды, которые уже на следующий день пришлось похоронить. Пётч не пытался проломить крепкие решетки народного образования, он попросту обошел их, он поднял не бурю, а трубку телефона, и завертелся круг телефонных переговоров, захвативший одного профессора, одного министра по имени Фриц, двух государственных секретарей и одного окружного инспектора народного образования и закончившийся там, где начался, то есть в Липросе. Рассказывая об успехе, Пётч упомянул о каком-то «проводе» наверх, и Элька справедливо сочла, что ему не к лицу перенимать речевые обороты профессора Менцеля.

Все это дало ему возможность выиграть время. Однажды ночью ему пришла в голову мысль, стоившая ему многих часов труда. Дело было простое и легкое: надо было просмотреть библиографии и каталоги и поискать, нет ли там книг этого Массова. Он нашел их, причем действительно только (как сейчас все сходилось!) за период 1815—1820 годов, и удивительно много — целых семь, пусть лишь брошюр, к тому же в последней из них были указаны должности автора и развернутое наименование места его службы. Загадочное ВЦК расшифровывалось как Высшая цензурная коллегия. Пётч не заметил комичности, заключавшейся в этом открытии, и прошло немало времени, прежде чем он понял, что перерождение этого человека и его творчества отражало все злополучное развитие тех лет. Ибо политические брошюры Массова соответствовали его должности. Явственно, хотя и не громогласно, «бранденбургский якобинец» отказался от своих юношеских прогрессивных взглядов и теперь самым постыдным образом предавал бунтующих студентов, клеймя их якобинцами.

В связи с этими сочинениями, которые подкрепляли гипотезы Пётча, но доказательств не давали, он получил (было уже начало июня) один важный документ из местности, куда он однажды писал, но ни на что не рассчитывал. Некий старик по имени Альфонс Лепетит прислал из Люнебургской Пустоши письмо с двойной франкировкой, которое находилось в пути дольше, чем если бы шло морским путем из Австралии; оно содержало фотокопию некролога на смерть вице-президента Массова. Несколько десятилетий назад Лепетит защитил диссертацию на тему «Вильгельм Гумбольдт и Карлсбадские постановления 1819», Пётч читал эту диссертацию и запросил доктора: встречалось ли ему имя цензора Массова. Встречалось, и Лепетит, ставший тем временем пишущим пенсионером, заинтересовался познаниями Пётча о Массове — в связи с подготовкой сборника под названием «Реставрации в Германии». «Можно ли в нем напечататься?» — спросил Пётч, но ответа не получил, поскольку спросил лишь самого себя и Эльку. Его письмо в Пустошь содержало много вопросов и примечание (продиктованное осторожностью), что его исследование проблемы Шведенов — Массов еще не закончено.

Через несколько дней оно было закончено. Некролог на смерть блаженной памяти господина фон Массова блистательно завершил круг предположений Пётча об идентичности. Как и следовало ожидать, там мало говорилось о периоде до 1813 года. Говорилось о путешествиях и пребывании в родных пенатах, где фон Массов и занимался «научными и искусствоведческими штудиями». Затем речь шла о некой Элизабет фон Квандт из Альтмарка, которой Массов в 1815 году отдал «руку для заключения брачного союза». Это имя повергло Пётча в замешательство, ибо он не мог вспомнить, где оно встречалось ему. На четвертый день, когда он рассказывал на уроке истории о Яне Гусе, слово Богемия привело в движение цепь ассоциаций, подсказавших место поисков — опубликованные письма Шведенова, где упоминалась Э., которая писала ему из Франценсбада полные любви письма, последовала за ним в Бреслау и, когда полк уходил, проливала горькие слезы. Лишь в последнем письме анонимность наполовину раскрывалась: «Ты спрашиваешь о ее имени, мой друг. Ее зовут Эли-

забет фон К.; но это имя, даст бог, она будет носить только до моего возвращения».

— Однако ей пришлось ждать еще два года,— торжествующе воскликнул Пётч, показывая Эльке это место. Затем он с гордостью прочитал последние страницы своего труда, где свел воедино все, что свидетельствовало об идентичности Шведенова и Массова. И хотя последних доказательств еще не хватало, аргументация была все же убедительной.

Элька поздравила его и тоже порадовалась — не успеху, а вызванной успехом веселости мужа, которая шла на пользу детям, а также и ей самой.

Десятая глава

Маленький Винни

Диктатура моды действует так же, как и другие: сперва она принуждает к внешнему подчинению, затем, после периода привыкания, подчинение становится внутренним. Что прежде являлось принуждением, то теперь—свободная воля. Что некогда казалось непривычным, нелепым, комичным, то теперь красиво. У одного этот процесс происходит медленнее, у другого быстрее, иные вообще едва ли осознают перемену и не знают даже, сколь послушно они следуют вкусам времени. Человека, который дорожит самостоятельностью мысли и чувства, охватывает ужас, когда он видит старые картины, старые фильмы, о которых нельзя сказать, что когда-то они не отвечали его чувству красоты. Иные считают попросту комичным все несовременное и всегда живут с ощущением, будто думают они не согласно моде, а правильно.

Лишь однажды, ребенком, человек со всем неведением врастает в моду, которую он, конечно же, воспринимает как единственную и правильную. Знаменательна первая сознательно пережитая перемена. Старое отметается, его считают соответствующим вкусу отцов, устаревшим, презренным, а потом и смешным, жадно хватают новое, как думают, собственное, бунтуют, а в действительности оказываются опять-таки конформистами. Бросают вызов старой диктатуре, потому что уже подчинились диктатуре новой.

Однако в нынешние времена жизнь человека длится дольше, чем мода, и требуется особая готовность к приспособлению, чтобы следовать каждому из ее веяний. Не всякий это умеет. Большинство людей все же не во всем подчиняется ее влиянию, они останавливаются на достигнутой второй фазе и позднее, при новых переменах, пытаются обходиться вариациями. Поскольку мода имеет смысл только в том случае, если человек общается с другими людьми, избежать ее диктата лучше всего удается, когда живешь одиноко, никем не интересуешься или встречаешься с людьми, у которых так же мало времени для следования моде, как у тебя самого.

Темный костюм Пётча уже более десяти лет был ему к лицу при югендвайе, конфирмациях, похоронах, на танцевальных вечерах и семейных праздниках. Теперь же Элька вдруг обнаружила, что Пётчу совершенно невозможно пойти к Менцелю в этих узких брюках, остроносых туфлях, в этом галстуке-шнурке. Сперва он рассердился и не хотел ни о чем слушать, потом заколебался и в конце концов попросил ее съездить с ним в город за покупками. Выбор был невелик, ему понравилось лишь немногое, но нужного размера не оказалось. Усталые и раздраженные, они вернулись вечером из Бескова и через несколько дней поехали в Берлин, где носились из магазина в магазин, чтобы в конце концов купить то, что видели в первом магазине: костюм и длинное платье. И если Элька вечерами теперь примеряла то одну, то другую обнову, с удовольствием заново училась краситься,

то Пётч облекся в свою новую одежду лишь в день менцелевского праздника и чувствовал себя разряженным, как клоун.

В четыре часа приехало такси, чтобы отвезти принарядившихся супругов на вокзал. Детям родители показались смешными. Исходивший от матери аромат духов они назвали вонючим. Бабуля озабоченно качала головой, считая, что все это сумасбродство, которое до добра не доведет. Пётч нес большую дорожную сумку. Кроме набело переписанной и переплетенной статьи там лежали карманный фонарь и сапоги Эльки (для обратной ночной дороги).

Был будничный день. Они сидели в поезде, в котором ехали к ночной смене живущие в деревнях рабочие. Иные из них когда-то были одноклассниками Пётча, другие — его бывшими учениками. Они думали, что Пётчи едут на свадьбу. Дабы не вдаваться в подробности, он хотел подтвердить это, но Элька рассказала, как в действительности обстоит дело, и это произвело впечатление, так как один из слушателей видел Менцеля по телевизору. Другой, считавший себя человеком бывалым, заявил, что дамы этого круга придут все в платьях до лодыжек. Тогда Элька, которая подвязала платье под пальто, чтобы не привлекать к себе внимания, продемонстрировала его и все зааплодировали, как на показе мод. Ее нашли красивой и сказали об этом. Она обрадовалась, но это не прибавило ей уверенности — ведь ни Пётч, ни эти мужчины не были людьми компетентными.

Они молча шли по поселку, сплошь застроенному виллами, которые и в будни выглядели празднично. Пахло розами. Водораспылители испускали волны влажной прохлады. Тихо жужжали машинки, подстригая газоны. На террасах сидели семьи, звучала музыка, смеялись дети. Из машин выходили мужчины, которые возвращались с работы, но были одеты как гости на именинах. Элька, за последние недели поднаторевшая в покупках, оценивала покрой брюк, воротнички на рубашках, цвет и ширину галстуков. Ни в Бескове, ни в берлинских универмагах она ничего подобного не видела. Пётчи шли медленно, чтобы не прийти слишком рано. Они ни в коем случае не хотели заявиться первыми.

Дом профессора Менцеля можно было узнать еще издали по множеству стоящих перед ним машин, среди которых выделялся один огромный черный автомобиль, хотя маленьких машин здесь не было. То и дело подъезжали такси, высаживая гостей. Когда открывались дверцы, сперва показывались туфли дам (нередко золотые или серебряные), затем ноги, над ними руки, придерживавшие юбки, кстати не всегда длинные. Кроме Пётчей, никто не прибыл пешком.

Они пошли медленней, чтобы переждать наплыв. Они никого не знали и со своей большой сумкой вполне могли незамеченными пройти мимо. Эльке очень хотелось этого. Еще можно было поспеть на восьмичасовой поезд. Она чувствовала себя здесь лишней и неуклюжей. Она видела, как уверенно и свободно держались гости. И не имело значения, что некоторые были одеты весьма небрежно, иные мужчины даже без галстуков, наоборот — она понимала: в этом кругу они чувствуют себя как дома, чего ей никогда не удастся. Выходя из такси, гости весело махали рукой фрау Менцель, стоявшей в калитке сада. Некоторые мужчины целовали ей руку, женщины обнимали ее. Разговаривали громко и непринужденно. Элька же казалась себе скованной и нескладной. Чувство неполноценности она хотела компенсировать злостью. Она вдруг ощутила пропасть, отделяющую ее и таких, как она, от людей, собравшихся здесь. Она была им чужая. Они не только иначе одеты, они и двигались иначе, говорили на другом языке, который она, правда, понимала, но пользоваться им не могла. Это были обитатели мира, знакомого ей лишь по телевидению. Люди, которые сидели на конгрессах, держали речи, во время перерывов улыбались в камеру, махали рукой с трапов, знали ответ на любой вопрос, пользовались самолетами, как другие люди — трамваями, они всегда дру-

желюбны, всегда излучают уверенность, в Москве чувствуют себя больше дома, чем она в Берлине, но ездят и во Франкфурт, в Канн, в Венецию, не стыдясь своих привилегий. Они исполнены уверенности, потому что осознают свое значение. Они никогда не попадут в такое положение, в каком она, Элька, сейчас находится. Даже вне своего круга они не чувствуют себя чужими, слабыми. Ведь это благодаря их уму, их способности планировать все стало так хорошо: в каждом доме холодильник и телевизор, во многих перестроенных конюшнях автомашины. Это они были теми миссионерами, что могли подать совет аборигенам, внедряли безвозмездно необходимую культуру, да еще и гордились выполняющими свой долг людьми, которые ночью в снег и в дождь ехали в отдаленное село, чтобы заступить на раннюю смену в наисовременнейших телятниках, которые крепко спали по утрам в автобусах, отвозивших их на комбинат. Элька становилась все более несправедливой. Она задавалась вопросом, было бы то прелестное дитя, о котором рассказывала высоченная дама, столь же прелестным, если бы его зимой невыспавшимся каждый день возили в переполненном шестичасовом поезде в детский сад. Она представила себе, как вон та разряженная старуха в летнюю жару ожидает автобус, чтобы попасть к зубному врачу, а тот красавчик работает школьным истопником, а министр едет после работы в битком набитом трамвае. Последнее, пожалуй, было уж слишком, ведь при своем окладе он мог бы купить себе дешевую машину, успела еще подумать Элька, когда ее губы уже складывались в приветственную улыбку. Но улыбнулась она попусту, поскольку сперва приветствовали Пётча.

Фрау Менцель протянула ему руку так, что было ясно — она не ждет, что эту руку поцелуют; фрау Менцель выразила уверенность, что муж будет рад. Пётч уже начал протягивать ей руку, как вдруг вспомнил, что надо сперва представить Эльку. Он сделал это со всей возможной неуклюжестью, и замороженная улыбка Эльки наконец сттаяла.

Она даже поговорила с фрау доктор, первую фразу сказала о погоде, вторую о розах и третью о своей огромной сумке, в которой не запрещенные подарки, а сапоги для дальней обратной дороги. Фрау Менцель вспомнила о плохих дорогах, о трясине, из которой их вызволил Пётч, и похвалила супругов за благоразумие, подсказавшее им оставить машину в гараже. Элька решила, что не стоит развеивать ее заблуждение.

В дверях дома стояла строгая и мрачная фрау Шписбрух и указывала прибывающим гостям дорогу. Ничто в ее лице не выдало, что она знакома с Пётчем. Молча взяла у обоих верхнюю одежду. Они были единственными, кому пришлось что-то сдать.

Первая комната почти полностью была освобождена от мебели. В нескольких оставленных креслах сидели пожилые люди; другие стояли группами и громко разговаривали и смеялись. Эльке казалось, будто ее включили в фильм,— будь она невидимым зрителем, она бы, может быть, и наслаждалась им. Но как действующее лицо она не годилась. Если она не хочет играть роль комического деревенского персонажа, ей следовало сделаться по возможности невидимой. Вот она и забралась в угол и чувствовала себя там прескверно. Ей, правда, становилось легче от мысли, что все кругом мелют чепуху, что прекрасные одежды зачастую украшали убогие тела и что она здесь самая молодая, но уверенности это ей не придавало.

Она никогда не видела профессора, но легко узнала его в толпе поздравителей. Тот, чья очередь подходила, долго держал, что-то говоря, его руку и разражался хохотом в ответ на шутку, которой профессор одарял каждого. Дамы в заключение получали от него поцелуй. В общем гуле Элька слышала его голос, но не разбирала, что он говорил. Во всяком случае что-то веселое. Весело было и то, как он после

каждой поздравительной процедуры пытался разжечь трубку, и это ему никак не удавалось, потому что протягивал руку уже следующий гость. И вот он снова торопливо засовывал трубку в карман или оставлял ее во рту до тех пор, пока не наступал черед нового поцелуя.

Как и следовало ожидать, запрет на подарки многократно нарушался. Цветы уже заполнили все дорогие вазы на подоконниках. Фрау Менцель с отчаянием восклицала, что придется пустить в ход банки для консервирования. Профессор шутливо бранил каждого дарителя, но потом внимательно выслушивал его объяснения (если они были не слишком длинными). Ибо, естественно, здесь никто не дарил то, что дарят бабуле или братцу Фрицу — конфеты, галстуки или импортную водку. Даже маленьких антикварных вещей и редких книг лежало на отведенном для подарков угловом столике не много, причем все они заключали в себе особый смысл для Менцеля. Решающим для дарителей была не денежная ценность подарка, а эмоциональная, pretium affectionis, как сказал один из ученых гостей, тут же объяснив этот термин старой юриспруденции: предметы, обладающие малой или никакой ценностью, но много значащие для особы, ими владеющей. Так, например, кто-то нашел истрепанную детскую книгу с популярными аляповатыми картинками, но особенность ее состояла в том, что когда-то она больше других нравилась мальчику Винфриду. Кто-то принес газету 1950 года, в которой Менцель, взяв заглавием слова Гёте «Меня не беспокоит, что Германия будет единой», одобрительно комментировал высказывания Сталина по германскому вопросу. Но наибольший успех имела фотография тех же времен, вставленная в позолоченную рамку в стиле барокко. Оптимистическую улыбку, которую демонстрировал на фотографии член Союза свободной немецкой молодежи Менцель (на фоне развалин, транспаранта и знамени), иначе как дурацкой, не назовешь. Фотография была пущена по кругу, и профессор, в притворном ужасе закрыв глаза рукой, сказал: «Историческая улыбка победителя».

Дружный смех как будто дал наконец профессору возможность раскурить трубку. Он уже сунул ее в зубы, достал зажигалку — и вдруг увидел Пётча, пробравшегося к Эльке в угол, и ринулся к ним сквозь толпу. Зажигалку и трубку он снова засунул в карман, чтобы обеими руками схватить руку Эльки. Не давая ей времени для поздравления, он потянул ее на середину комнаты и попросил тишины, которая быстро наступила.

Известно, что он рад каждому, кто пришел его поздравить (начал он, кланяясь то в одну, то в другую сторону), и каждый гость знает, что особенно дорог ему. Но иной раз в этом особенном заключается еще и особо особенное, и таковым сегодня для него является визит этой молодой женщины, которую он хотел бы представить уважаемым присутствующим, поскольку она вместе со своим супругом, спрятавшимся там, сзади, впервые в этом доме. Особенное в этой женщине не молодость и красота, как, наверное, сразу же подумали его старые друзья,— то и другое достаточно ярко представлено в этом кругу. И не потому он специально представляет супругов, что они олицетворяют собой новый для него круг, а именно — молодую интеллигенцию нашей страны. Он делает это скорее потому, что как раз в тот год, когда он, после десяти лет напряженной работы над своей книгой о Максе Шведенове...

В этом месте один из гостей громко застонал в наигранном отчаянии, что вызвало всеобщий смех, но не сбило с толку юбиляра. Сперва он тоже засмеялся, но затем погрозил тому господину пальцем, как грозят детям, повторил прерванную фразу, потом сам себя перебил, чтобы крикнуть нарушителю тишины, которого назвал Фрицем: сегодня его день рождения, и он может каждому докучать Шведеновом столько, сколько захочет,— что опять-таки вызвало веселья больше, чем, собственно, давала повод шутка.

Он делает это скорее потому, продолжил он, дружески положив руки на плечо Эльки, что эта молодая женщина не только прибыла из деревни Шведенов Бесков-Сторковского района, но и сама урожденная Шведенов. Короче говоря, он имеет удовольствие приветствовать сегодня в своем доме прапраправнучку историка и писателя, что он и делает.

Элька попробовала запротестовать, когда раздались аплодисменты, но Менцель с милой заговорщицкой гримасой приложил палец к ее губам и потребовал внимания: он забыл назвать сегодняшнюю фамилию той, в ком течет кровь писателя. Ибо, как ни трудно представить себе, она пожертвовала выдающейся фамилией во имя любви. Он на ее месте не сумел бы это сделать, даже если бы появился такой мужчина, как он сам. Итак, теперь ее зовут фрау Пётч, а ее мужа он назвал бы, если бы мог—но это невозможно—отвлечься от себя, лучшим знатоком Шведенова в наши дни, о чем он упоминает лишь для того, чтобы сказать: теперь мы знаем, что приводит к научным открытиям,— любовь.

Новым взрывом аплодисментов Менцель уже не смог насладиться, ибо прибыли новые гости: знакомая по телеэкрану даже Эльке актриса, посылавшая во все стороны воздушные поцелуи, а потом так повисшая на шее Менцеля, что ее ножки оторвались от пола; затем пожилая ненакрашенная и неукрашенная женщина, судорожно пытавшаяся сохранить на лице улыбку; очень высокий бородатый юноша в джинсах и пуловере, так ловко уклонившийся от менцелевского поцелуя, что последний угодил в пустоту. «Первая жена с сыном»,— услышала Элька чей-то шепот.

Господин, который недавно так забавно застонал, спросил у Эльки, был ли у ее родителей домашний алтарь для святого Шведенова, и долго смеялся, услышав, что Элька только от мужа узнала об этой знаменитости. Полная дама, представившаяся как фрау Такитакская из Москвы и источавшая захватывающий дух сладкий аромат, доверительно сообщила Эльке, что господин, с которым она, Элька, только что беседовала,— это сам министр. Глубоко декольтированная блондинка с девически стройным телом и лицом старухи с лукавой улыбкой советовала Эльке остерегаться профессора: «Поверьте мне, вы милы ему не только своим девичьим именем, уж я знаю нашего Винфрида!»

Элька очень страдала, не умея шутливо отвечать на шутливые слова, с которыми к ней обращались. Ей удавалось лишь немного варьировать одобрительный смех. Но поскольку одним этим смехом беседа поддерживаться не может, никто не оставался долго около нее, и она снова подалась в свой угол, где уже стоял ее муж, но не один. Высокий худой мужчина с согнутой спиной занимал его историями про профессора, все время называя того шефом или князем. Услышав имя Браттке, которое она знала по рассказам Пётча, Элька сразу же посмотрела на его ноги и с разочарованием увидела, что они обуты не в войлок. Не было также и цепи с очками. Лишь пуловер свисал на пядь длиннее пиджака, и разговор снова зашел о рабстве, которое муж Эльки хотел добровольно принять.

Это были первые невеселые слова, услышанные Элькой в этот вечер. Они отдавали горечью и, вероятно, имели целью предостеречь, что пробудило в Эльке симпатию к Браттке и надежду на будущее.

— Стало быть, вы не советуете?

— Безуспешно, как я вижу,— ответил Браттке и показал Эльке на мужа, с улыбкой превосходства уже минут десять заверявшего, что с тех пор как Менцель шепнул ему, что место ему теперь совершенно точно обеспечено и д-ру Альбину скоро понадобятся документы для оформления, ничто уже не сможет замутить море радости, в котором он плавал.

Даже жилищную проблему Менцель уже обдумал. Фрау Унферлорен, которая дважды в неделю, а также по праздникам приходит к ним помогать фрау Шписбрух, хочет перебраться в деревню и, возможно, согласится на обмен с Пётчами.

— Ты бы поискала ее,— сказал Пётч Эльке, и Элька не ответила: «Ты бы сперва спросил меня, хочу ли я вообще в Берлин!»—а промолчала и повернулась, как и все остальные, в сторону профессора, который захлопал в ладоши и пригласил к столу.

Длинный стол тянулся из одной большой комнаты в другую. Менцель сидел на украшенном цветами стуле во главе стола, а другой конец возглавляла — что с умилением было отмечено — его мать, беловолосая старушка; сначала она церемонилась, а потом стала развлекать Пётча, сидевшего сбоку от нее в конце стола, историями из детства Винни, одну из них она повторила несколько раз, чтобы привести ею в восторг все сидевшее за столом общество.

Действие ее разыгрывалось во времена, когда Винфрид был еще маленьким, таким маленьким, что не доставал даже до стола, и особенно плохо это было по воскресеньям, когда приходили дяди, тети и две бабушки и, громко разговаривая, сидели за кофе, а он, маленький, одиноко стоял у стола (братьев и сестер у него не было), впадая во все большее отчаяние, и слезы текли по его бледным щекам, пока однажды он не вскарабкался на стул, забил кулачками по столу и закричал: «Теперь буду говорить я!», а когда стало тихо и папа сказал: «Итак, Винни, теперь будешь говорить ты!», он стоял с покрасневшим лицом и глотал, и глотал воздух и не мог слова сказать. Сегодня этому нельзя поверить, но он действительно не произнес ни слова, ни звука, пока все не засмеялись, а у него начался такой истерический припадок, что пришлось уложить его в кровать. «И вот ему уже пятьдесят,— завершила она свой рассказ, особую прелесть которому придавал саксонский диалект,— я могу рассказать и другие истории, я знаю их множество, но Винни разрешил только эту, и я боюсь, что он сейчас снова застучит кулаками по столу и закричит. Вы не видите, а я уже вижу в его глазах злой огонек, и потому я закончу. Да и еда остывает».

Последнее, правда, было неверно, ибо сперва на очереди были разнообразные закуски, все равно подававшиеся холодными, за исключением черепашьего супа, который не успевал остыть в маленьких чашечках: не прерывая разговора и смеха, его можно было пить с ложечки или, изящно вытянув губы, отхлебывать из чашки. Но уже вскоре после сообщения матери и последовавшей вслед за тем словесной перестрелки с сыном начали вносить главные блюда, от перечисления которых мы избавим читателей, чтобы у них зря не текли слюнки. Лучше эту главу закончить, ибо большая юбилейная речь во славу Менцеля заслуживает отдельной главы. А по поводу еды следует еще добавить, что хотя она и была такой изысканной, какой у других почти никогда или вообще никогда не бывает, причины завидовать тут нет, потому что мало радости получаешь от деликатесов, если приходится постоянно демонстрировать веселье и сосед, которого не знаешь, придает большое значение тонкой застольной беседе. Пётчу же, кстати, уж и вовсе было не до радости, так как его подарок, или неподарок, статья, все еще лежал в дорожной сумке в гардеробе, и он напряженно ждал случая незаметно выйти, чтобы положить папку на стол с дарами.

Элька, напротив, наслаждалась возможностью есть то, что не ей пришлось готовить. Она скоро узнала, кто из подающих к столу женщин фрау Унферлорен. Это была худенькая блондинка, которая всякий раз краснела, когда кто-нибудь к ней обращался. Эльке, как и каждому, кто знакомился с ней, сразу же пришло в голову, что ей бы больше пристало называться фрау Ферлорен, Потерянная, а не фрау Унферлорен, Непотерянная.

Одиннадцатая глава

Хвалебная речь

С забавной бесцеремонностью профессор Менцель начал свое главное выступление. Когда министр, постучав по своему бокалу, попросил слова, он отказал ему: Фриц ведь скажет только то, что утром опубликовали газеты, он же, Менцель, наилучший знаток этой пятидесятилетней жизни, может дать немало дополнительной информации.

Само собой разумеется, никто ему не помешал, таким образом профессор Менцель сам произнес юбилейную поздравительную речь, что не лишено смысла: ведь цель юбилейных и надгробных речей — восхваление, а никто не умел хвалить так хорошо, как он, когда дело касалось его самого. Все гости единодушно признавали, что его знаменитый шарм с годами не потускнел. Они охотно поддавались его чарам, смеялись, когда представлялся повод, позволяли себе реплики (которые он тут же подхватывал и парировал, словно был подготовлен к ним), радовались удачным оборотам и один раз даже посерьезнели, когда он упомянул некоего дорогого покойника. Хорошо подготовленной, но будто импровизированной речью он управлял выражениями лиц и настроением.

Несмотря на седые волосы и полноту, в его облике было что-то молодое, даже юношеское. Его испытанный в лекционных залах и радио- и телестудиях голос был ясен и громок, четкое произношение приятно окрашено налетом средненемецкого диалекта, многопериодные фразы искусно построены, словарь обширный, не чурающийся никаких лексических слоев, включая грубые (остроумно примененные) ругательства. Он стоял на своем почетном месте непринужденно, пиджак расстегнут, рубашка на мясистой шее раскрыта, узел галстука расслаблен. Одна рука в кармане брюк, другая, с трубкой, скупыми жестами сопровождала его речь. К каждой остроте он подступал издалека или шел напрямик, возвещая о ней лукавой улыбкой, словно говорящей: меня заранее забавляет то, что я скажу, а вы сейчас сразу затрясетесь от смеха, погодите только! Когда же смех разражался, он сам не смеялся, а с достоинством пережидал его, как пережидают аплодисменты, без смущения, но как человек, который эти аплодисменты заслужил и вправе ими наслаждаться.

Откровенность, с какой он радовался аплодисментам, была подетски трогательной, но хорошо рассчитанной. Своей радостью он отвечал на дружелюбие, проявляемое слушателями, показывая тем самым, что их реакция правильна. Он, хороший оратор, свидетельствовал, что они хорошие слушатели. Достойные его. Скромность была бы не только лицемерием с его стороны, но и невежливостью по отношению к ним. Поскольку они знали и ценили его достоинства, ему не пристало делать вид, будто сам он не знает и не ценит их. Прикидываться дурачком — значило бы считать своих гостей дурачками.

Те же самые причины заставляли его усиленно хвалить себя. Его успехи — вот что выделяло его из массы ученых. И тот, кто почитал его, делал это из уважения к успехам и, стало быть, имеет право послушать о них — в форме, соответствующей веселому часу. Само собой разумеется, что преобладал при этом не тон утренней газеты, а (весьма лестный) тон «мы-ведь-в-своем-кругу». Он смело выбалтывал секреты — если они были десятилетней давности. Недостатка в знаменитых именах не ощущалось, и профессор умел использовать их для собственной славы, вкладывая, например, в уста Вальтера Ульбрихта (чью манеру говорить он мастерски копировал), в свое время вручавшего ему Национальную премию, перечень всех должностей, которыми Менцель был тогда облечен, а их было множество, начиная с постов в вузовских и государственных комиссиях и до поста главного редактора двух журналов. Бурный восторг в заключение речи

относился как к достославному прошлому Менцеля, так и к его ораторскому таланту. Гости аплодировали немножко и самим себе, ибо во время речи юбиляр то прямо обращался к одному из присутствующих, то напоминал другому о давнем происшествии, искусным приемом вызывая в каждом чувство сопричастности к хвалебной речи. Поскольку он, разумеется, не обошел молчанием и свою книгу и достаточно часто цитировал Шведенова, то и к Пётчу он неоднократно обращался. Сперва Пётч испугался, потом смеялся, кивал головой, а под конец даже возразил короткой шведеновской фразой. С этого момента он избавился от своей неуверенности. Он больше не чувствовал себя чужим. И когда Менцель закончил, он с величайшей естественностью поднялся и спокойно вышел, чтобы перенести свою статью из гардероба в первую комнату. У него нашлись даже слова признательности для фрау Шписбрух, но они, правда, впечатления не произвели.

Фриц, министр, потом все же получил, конечно, слово. Он ничего не говорил из того, что было напечатано, а вспоминал забавные случаи из времен их тридцатилетнего знакомства, но ему, как и всем выступавшим после Менцеля (а их было немало), трудно было хоть кое-как держаться на установленном юбиляром уровне, — собственно, это никому и не удалось. Мало помогало им и то, что они сами это замечали и признавали («Ты, Винфрид, рассказал бы это, конечно, остроумнее!»), и последующий час прошел бы очень скучно, если бы Менцель не приправлял ироническими словечками частично импровизируемые, частично украдкой читаемые по бумажке короткие речи.

Праздник длился еще долго, но с окончанием застолья веселье пошло на убыль. Общество распалось на группы. Начались танцы. Капелле из трех человек (представленной Менцелем со словами: «Несколько старомодна, но в пятьдесят лет это уже можно себе позволить») наказано было играть танцевальную музыку двадцатых—пятидесятых годов. С удовольствием и хорошо танцевавшая Элька вышла из комнаты только для того, чтобы найти кухню, где фрау Унферлорен, все время беспричинно краснея, сообщила ей, что родом она из деревни и жаждет вернуться туда и охотно поменяла бы свою двухкомнатную квартиру в центре города на квартиру в деревне, если там можно будет держать кур для себя и кроликов — для сыночка. В ответ на Элькино подробное описание (где фигурировал и неженатый деверь Фриц) двора и дома она предложила обменяться визитами для осмотра жилищ.

В поисках уборной Пётч попал в библиотечную комнату, уселся там и углубился в «Увядший весенний венок». Элька, желавшая поделиться сообщениями по поводу жилья, не нашла его. Зато его нашел Менцель.

Двенадцатая глава

Верная дружба

— Я не хочу вам мешать,— сказал Менцель,— читайте спокойно. Мне тоже сейчас нужен покой. После такого дня, как сегодня (говорю о нем в прошедшем времени, ибо я свое дело уже сделал), после такого дня чувствуешь себя опустошенным. Я выдал то, чего от меня ожидали, и теперь во мне ничего больше нет. Преимущество такого состояния в том, что пустоту легко обозреть. Когда полностью выкладываешься, ничто в тебе тебе не мешает.

Я так и думал что найду вас здесь. Ради вас я сегодня не запер библиотеку, хотя всегда это делаю. Не только из-за людей, которые не считают кражу книг воровством. Я не выношу пьяных в своей библиотеке. Меня заставляет запирать почтительность — скажем так. За этими стенами и здесь внутри разные миры. Я бы назвал их миром

священным и миром нечестивым. И вот вы сидите здесь, и я этого ожидал.

Вы даже не замечаете, что я сделал вам комплимент. Вместо того чтобы посмаковать его, вы смотрите на меня так, словно библиотека — ловушка, а вы — угодившая в нее мышь.

Вы, конечно, думаете, я слишком много пил, но это неверно. Я выпил ровно столько, сколько требуется, чтобы снести барьеры, которые сам же и воздвиг. Я напился только мужества, чтобы обозреть себя изнутри, но увидел я, как уже сказал, пустоту.

Сегодня мне исполнилось пятьдесят, и вы, наверное, думаете обо мне то же, что я в вашем возрасте думал о пятидесятилетних: вот уж действительно зрелые, то есть сложившиеся люди, они точно знают, чего хотят, не ведают больше любовной тоски, тщеславия и, возможно, даже становятся мудрыми. Стоит вам вспомнить, как я сегодня ломался перед этими людьми, и вы поймете, какая это чепуха. А зачем? Только чтобы не испортить хорошее впечатление, какое я на них произвожу, только чтобы они не могли сказать: он уже не тот, каким был когда-то. Хоть волком вой, ничего не поделаешь: я завишу от этого впечатления, я им живу.

Вы не обратили внимания, что стихи, которые вы держите в руках, не рассмотрены на моих шестистах страницах, едва упомянуты. Конечно, обратили и подумали: к поэзии у Менцеля нет склонности, и потому он ее игнорирует. Но вы ошибаетесь, причина в другом: они для меня слишком святы, чтобы вот так рубить их на кусочки. Я знаю их не только лучше, но и раньше всего другого из Шведенова. С «Весеннего венка» все и началось, чертовски давно это было. Когда я оставлю вас в покое, откройте стихотворение «Родные места». То, что там говорится о вязах, в том месте, которое начинается строчкой «Весело ввысь вознеслись вы из крепких корней»,— вот так, я считаю, должен уметь жить человек, расти из самого себя, а не из других, опираясь на самого себя, независимо. Шведенов сам тоже этого не умел, но он сумел это сказать.

Стихи подарил мне друг. Когда-то у меня был друг, один-единственный, кто заслуживает такое наименование. Это было примерно в конце войны, перед концом или после него. Он не только привел меня к Шведенову, но сам имел в себе что-то от шведеновских вязов, право слово, но успехов никаких не добился. Так и хочется сказать: естественно! Из него вообще ничего не получилось, теперь он уже умер и, следовательно, опять мне близок. (Это «следовательно» вы когда-нибудь поймете.) Я и сегодня не знаю, каким он был. Знаю только, что он был полной противоположностью мне. Если ключевое слово, определяющее мой характер,— честолюбие, то для него, вероятно,— любовь (но не знаю, к кому) или, может быть, достоинство. Иной раз я ловлю себя на том, что разговариваю с ним после очередного клоунского кривляния по телевизору. Мне было шестнадцать лет, когда мы подружились. Вы знаете песенку: «Нерушимой быть должна дружба верная»? Так я тогда и считал.

Потом я его потерял. Обычная история.

Ведь дорога наверх так узка, что по ней можно идти лишь одному. Тут уж никого не возьмешь с собой. Правда, сперва думаешь, что, кроме места работы и оклада, ничего не изменится, но это иллюзия. Ибо дружба основывается на общих интересах, а их теперь нет. Профессиональные проблемы стали другими, а о машинах и коллекциях фарфора не поговоришь с человеком, который экономит на всем, чтобы купить холодильник. И как тут посплетничаешь о знаменитых специалистах, если твой собеседник их не знает? К тому же, удача вызывает у неудачливого почтительность или зависть. А если и не вызывает, удачливому все равно кажется, что вызывает, и результат все тот же: незаметное отдаление. Связи тоже меняются. Люди, которыми ты раньше восхищался издали, приглашают тебя в гости. Это

почетно и обременительно. Денег, которых ты надеялся иметь теперь достаточно, по-прежнему не хватает. Раз тебя угощают шотландским виски, ты тоже должен им угощать. И если у твоих новых знакомых висят оригиналы картин, тебе уже самому не нравится репродукции, которыми ты до сих пор украшал свои стены. Но не только в деньгах дело, приходится снова и снова бороться за признание. Если внизу ты был первым, то ступенькой выше ты оказываешься вначале последним. Друзей и женщин можно оставить на нижних ступеньках, но не свое честолюбие.

А жить с ним не всегда легко. Недавно я проводил отпуск в горах. Отель стоял на крутом склоне над котловиной. Я жил на двенадцатом этаже. Покрытые лесом горы по другую сторону долины казались то очень далекими, то на расстоянии руки. В течение трех недель я ежедневно сидел на балконе на солнце, и страх перед пропастью подо мной ни на минуту не отпускал меня. Я все время старался не смотреть вниз, а только вдаль, и никогда мне это не удавалось. Когда прохожие останавливались на ведущей через долину дороге, чтобы посмотреть вверх на роскошное здание отеля, мне чудилось, что люди (они казались мне меньше спички) смотрят как раз на меня и словно ждут, что я встану на перила балкона и полечу над долиной в горы. Я крепко вцеплялся руками в шезлонг, чтобы не поддаться искушению.

Но я отклонился, простите. Я хотел использовать эти навязчивые идеи как образ, но они не годятся, скажу лучше так: мне всегда удавался полет, но я никогда не попадал туда, куда мне хотелось попасть. Как вы думаете, почему я написал эту книгу? Шестьсот страниц, десять лет работы, ладно, скажем — шесть лет. Только потому, что я понял эфемерность всех других успехов. Непреходящее создается только книгами.

Не прикидывайтесь более испуганным, чем вы есть. Вы ведь давно все знаете обо мне. С первого дня вы относитесь ко мне как к больному, требующему бережного отношения. И я действительно болен, вернее, изранен. Я добровольно приковал себя к скале под названием Общественное мнение, и орел Честолюбия выклевывает мне печень.

Вот видите, каков я: едва покончив с самоанализом, я сразу же сделал из него представление, на сей раз патетическое. А ведь все это лишь подступы к вопросу, какой я хочу вам задать, хотя отношение к нему имеет только то, что я рассказал о моем друге, которого вы мне напоминаете. Мой вопрос: не хотите ли выпить со мной на брудершафт,— в сущности, нелепая затея, никогда не знаешь, а не скрывается ли за ней наряду с надеждой еще что-то, например, попытка вступить во владение чем-то чужим, тем, что противоположно мне, что заключено в вас, а во мне отсутствует. Этим-то он и обладал, я имею в виду своего друга, который, кстати, перешагнул через перила балкона, вовсе не надеясь, что умеет летать.

Итак, если вы принимаете мое предложение просто как таковое, а не как оказываемую честь и если вы, кроме того, в состоянии забыть, что через несколько недель я стану вашим шефом, то я сейчас принесу два стаканчика, чтобы все было как полагается, иначе ничего не получится. Как известно, меня зовут Винфрид, и вот я разоблачу себя во всем великолепии: открою тебе, что не знаю твоего имени.

Эрнст? Серьезный?

Когда имена со значением метки, я их особенно не люблю. Куда охотнее я называл бы тебя Фредом, так звали того, кто умер. Но если бы я это сделал, ты опять обвинил бы меня в аристократических повадках. Я тогда обиделся,— конечно, потому, что ты не так уж неправ. Но тогда она и возникла — потребность выпить с тобой на брудершафт.

...Вот что говорил, без всяких пауз, ночью в библиотеке Менцель. Собрав все свое мужество, Пётч сказал: «Винфрид!» — и чокнулся с ним.

Тринадцатая глава

После праздника

Уже брезжило утро, когда Пётч по городской железной дороге поспел к первому раннему поезду. Он не хотел встречаться со знакомыми. Поэтому он в Кёнигс-Вустерхаузене пробрался вперед, сел в вагон для некурящих и закрыл глаза. Но все напрасно. Его увидел бывший ученик и потащил его назад, где курили и пили пиво. Мужчины, с которыми они ехали из дома, теперь возвращались с ним обратно. Он пропраздновал ровно рабочую смену. Впервые в жизни он пил до завтрака пиво. О сне нечего было и думать. Поскольку Эльки рядом не было, ему пришлось самому рассказывать, сначала, конечно, о ней, почему она не с ним,— что было сложно, ибо он не смог не коснуться планов переезда. Намеки в расчет не принимались, пришлось отвечать на расспросы. Проще было удовлетворить любопытство касательно подававшихся напитков. Он просто перечислил все знакомые ему марки вин, пива, шнапсов, так как был уверен: у Менцеля имелось все, что существует на свете.

От вокзала до Арндтсдорфа его подвез мотовелосипедист. Дорога через лес торжественно венчала праздник. Музыкой ведали птицы, восходящее солнце позаботилось о световых эффектах. То на красном фоне возникал, подобно черной колоннаде, ряд высокоствольных деревьев, то над темным заповедником золотым куполом вспыхивали освещенные вершины, то дорогу перед ним пересекали световые барьеры, ломая которые он отбрасывал метровые тени.

Когда братец Фриц встал, кофе был уже готов. Бабуля, как обычно, пришла, лишь услышав голоса детей. Как обычно по утрам, все были ворчливы. Необычным был только вопрос, который задавал каждый, входя в кухню: где Элька? И каждый получал ответ: «После объясню».

Да и как объяснишь утром, когда все спешат, почему Элька сразу после праздника поехала с фрау Унферлорен в ее квартиру в центре города. Фриц завел уже свой тягач, когда вышли дети. Дочка Пётча, которой нужно было в Арндтсдорф, с бутербродами в руке понеслась к автобусу. Потом отец с сыном на велосипедах отправились в Липрос. Дома осталась лишь одна слегка сбитая с толку бабуля, не знавшая, без указаний Эльки, что с собой поделать. Она давно позабыла времена, когда была полновластной хозяйкой дома.

Бабуля хотела помыть посуду, но для этого надо было согреть воду, а она не знала, как справиться с новой газовой плитой. Попробовала разжечь печь, топившуюся углем, но огонь не грел, печь только сильно дымила. Вместо того чтобы открыть заслонку, она, решив, что засорилась вытяжка, стала чистить печь. Сняла железные плиты, открепила кафельные затворы перед вытяжкой и с величайшим трудом, но сумела открыть заклинившую вьюшку у подножия дымовой трубы. Когда внучка днем вернулась домой, бабулю едва видно было сквозь тучи сажи и копоти, а вода для посуды так и не согрелась.

Разгром не омрачил настроения Пётча.

— Элька приведет все в порядок,— сказал он, накормил мать и дочь хлебом с колбасой и лег спать. В пять часов он отправился из дома с двумя велосипедами и вернулся с Элькой и пивом.

— Пиво? С чего это вдруг? — спросил Фриц за ужином.

Пиво предназначалось для него: неполная компенсация отмененного по воле брата похода в пивную, так как предстояло обсудить важное дело. Элька привела печь в порядок, убрала кухню и вымыла посуду. Потом в комнате начался семейный совет, вскоре превратившийся в семейную драму.

Поняв, что сын и невестка хотят покинуть ее, бабуля заплакала сразу, Элька — немного погодя, не объясняя причин. Их было много, этих причин, но охватить их можно одним понятием: предвосхищенная боль разлуки.

Супруг и сын по справедливости воспринял слезы как упрек и ответил на него бурным взрывом, который в свою очередь вызвал еще более бурный поток слез. Пётч забылся до того, что закричал: семья завидует его успеху,— и тотчас устыдился. Но когда, совершенно растерянный, он спросил: «Ты ведь поедешь со мной в Берлин?» — Элька, правда заставив его долго ждать ответа и не сказав «да», внятно кивнула.

Один только братец Фриц попивал пиво и оставался спокойным. Услышав о берлинской партнерше по обмену, он спросил: «Незамужняя? А сколько ей лет?» Бабуля вытерла слезы, сказала: как это ужасно, когда в доме чужая, но тут же поинтересовалась, крепкая ли она женщина.

Когда же в следующее воскресенье эта чужая — без мужа, с ребенком — прибыла, бабуля молчала, но при обходе все время семенила сзади и внимательно присматривалась.

Рядом с массивным Фрицем фрау Унферлорен выглядела девочкой. Каждый раз, когда она краснела, просвечивающие сквозь тонкую кожу жилки исчезали. Робость не позволяла ей посмотреть на кого-нибудь. Если она отваживалась задать вопрос, то обращалась к Эльке. Всему, что ей показывали во дворе и доме, она давала одну оценку: прекрасно, прекрасно,— так что нельзя было понять, нравится ли ей то, что показывали. Только помещение для кур и кроликов ее явно заинтересовало. Фриц, к удивлению всех, знавших его флегматичность, надавал кучу обещаний, касавшихся ремонта сарайчиков. Он посадил себе на плечи толстенького сыночка фрау Унферлорен, успевшего за час подружиться со злым цепным псом. А потом отвез гостей на кооперативном грузовике к вокзалу.

— Дело ладится,— сказал он по возвращении брату.— Как только мы перестроим твою рабочую каморку в кухню, она переедет. Как ты думаешь, к осени ведь можно справиться?

Четырнадцатая глава

Заявление

Наступившая на следующее утро жара не помешала Пётчу в его работе. Он заполнил анкету, написал заявление, написал автобиографию и штудировал историю историографии. Теперь он знал, кто такие Эйнхард и Нитхард, и если бы в институте ему повстречался специалист по Слайдану или Иоганнесу фон Мюллеру, он мог бы уже со знанием дела кивать головой и кое-что сказать о жизни кайзера Карла V и об истории Швейцарской конфедерации.

Но когда он, быстрее чем ожидалось, вновь посетил институт, подобного рода специалисты ему не встретились (или он не распознал их). Он был вызван телеграммой д-ра Альбина, в которой цель вызова не указывалась. Когда фрау Зеегебрехт, потная и раздраженная, доставила ему извещение, он не смог скрыть разочарования, ибо ждал поздравительной телеграммы: «Поздравляю с открытием!» — или по крайней мере: «Приезжай поскорее, необходимо поговорить о твоем

исследовании!». А в телеграмме Альбина даже не говорилось, прочитал ли вообще Менцель его статью.

Температура воздуха в последние дни была такой, какую почтальонша обычно сравнивала с температурой духовки. В городе Пётч убедился в точности этого сравнения. Тепловыми источниками здесь служили также асфальт и стены домов, и притом — ни малейшего дуновения. Правда, в институтском здании было несколько прохладнее, зато там Пётча мучил запах, определить который он не мог. Лишь когда фрау д-р Эггенфельз вложила свою влажную руку в его руку, он понял, чем пахло: потом.

Он встретил ее в длинном коридоре, ища комнату Альбина. Хотел, поздоровавшись, быстро пройти мимо, но она остановила его и за те несколько минут, что стоял перед ней, он узнал, что в этом громоздком теле бьется сердце, хотя и травмированное тяжкой юностью и не переносящее жары, но открытое для каждого, кого гнетут заботы, а значит, и для него.

— Если вы нуждаетесь в совете, коллега Пётч,— сказала она, снова крепко пожимая ему руку, которую так и не выпускала,— то вы не первый, кто найдет его у меня.

Пётч поблагодарил за предложение, но тотчас пренебрег им; он не спросил дорогу в комнату Альбина, а продолжил самостоятельные поиски по запутанным переходам, еще более обеспокоенный, чем прежде. Почему это он человек, которого гнетут заботы?

Конечно, первые слова, которые он скажет Альбину, у него уже были наготове. Он не упомянет о надежде на беседу с Менцелем о своей статье и сделает вид, будто думает, что его вызвали по поводу поступления на работу. Но когда он, наконец, нашел комнату Альбина и после короткой паузы, потребовавшейся для того, чтобы причесаться, вошел в нее, он услышал только приветствие, ибо Альбин, обсуждавший что-то важное с четырьмя коллегами (среди них Браттке), бросил взгляд на часы и с холодной вежливостью попросил его подождать, указав на стул.

Альбин разъяснял план основных исследований на будущее пятилетие,которые надлежит немедленно развернуть, и Пётчу было неясно, должен ли он проявить интерес к этой штурмовой атаке (как ее то и дело называл Альбин) или нет. С одной стороны, ему ведь не положено слушать разговор о служебных делах, с другой — он ведь не может не слушать, когда речь идет о работе, которой он добивается.

Браттке избавил его от этих сомнений. В жару он не носил войлочной обуви. Он был в пляжных сандалиях на босу ногу; встав из-за стола совещаний, он, шумно шлепая ими, пересел к Пётчу, чтобы пошептаться с ним.

— Слушайте внимательно,— сказал он, словно понял, что именно беспокоит Пётча,— вам надо знать, что вас здесь ожидает — не в качестве сотрудника, как это здесь неправильно называют, а работника феодала Менцеля, который, разумеется, пребывает вне стен института и, когда надо заниматься бессмыслицей, право руководить предоставляет своему надсмотрщику.

Поведение Браттке было в высшей степени неприятно Пётчу. Он не осмеливался ни улыбнуться, ни шепнуть что-то в ответ, не осмеливался он и посмотреть на Альбина, который некоторое время еще говорил, а потом сделал такую длинную паузу, что она походила на упрек. Но он не высказал его, лишь подождал, пока Браттке наконец заметит, что умолк Альбин из-за него, и, когда Браттке, ухмыльнувшись, кивнул, он продолжал свою речь на безупречном литературном языке, пока его не перебил телефонный звонок. Он снял трубку, сказал: «Так точно, Винфрид» — и объявил перерыв.

Трое мужчин ушли, Браттке остался сидеть около Пётча и шепотом поносил своего шефа, который, в отличие от того говорящего по телефону ученого нуля, охотно окружающего себя безликими людь-

ми, потому что они легко поддаются управлению, хочет оживить свой княжеский двор яркими личностями. Менцелю приятнее слушать лесть от умных подданных, нежели от дураков, и блистающее в его окружении остроумие усиливает его собственный блеск. Бунтовщикам дозволено носиться с мыслью когда-нибудь разорвать цепи, и придворный шут Браттке имеет право на дерзости; ибо кто бранит снизу, тоже признает его величие. «Только нельзя становиться ему поперек дороги. Понимаете, Пётч? В этом святилище все работают во имя его славы, а не своей».

Пётчу не нравилась манера, в которой Браттке говорил о Менцеле. Пристрастная, язвительная, она имела привкус богохульства, всегда выдающего болезненную привязанность к божеству, которое хулят. Пётчу не хотелось подвергать опасности свое уважение к Менцелю, а так как оно включало в себя и уважение к его заместителю, он вынужден был потом, в коридоре, возразить Браттке. Произошло это после того, как д-р Альбин, держа трубку возле уха и закрыв рукой микрофон, сказал: «Господин профессор Менцель просит узнать у вас, коллега Пётч, можете ли вы сегодня в 18.30 прийти к нему домой»; Браттке заявил, что Альбин сдает, ибо в его обычно столь безразличном голосе прозвучал оттенок злорадства, и Пётч, ничего подобного не услышавший, почел себя обязанным защитить Альбина.

— Не думайте, что я хочу вас напугать,— сказал Браттке.— Вы, конечно, правы: Альбин был корректен, как всегда, но во мне говорит печальный опыт, состоящий в том, что шеф приглашает в свой погреб только того, кому собирается сломать шею, а то и позвоночник.

О заявлении Альбин не спросил. Пётч вспомнил об этом, уже добравшись до выхода. Вернуться снова в лабиринт он не отважился и, чтобы не тревожить Альбина, отдал бумаги какой-то секретарше.

Пятнадцатая глава

Предостережение

Поглощая в закусочной на вокзале свой ужин (два бутерброда с сыром и пакет молока) и позднее, по дороге в лесной поселок, сидя в поезде, Пётч ни о чем другом, кроме как о подарке профессору ко дню рождения, о своей статье «Поиски одной могилы», думать, конечно, не мог. Он мельком подумал о дальнейшей работе над ней (с применением метода стилевых сравнений), но в основном мысли его были заняты, вполне понятно, вопросом, как Менцель станет реагировать на его работу. Он перебрал в уме примерно двадцать возможных реакций. Той, что последовала, среди них не было.

На сей раз он не растерялся перед переговорным устройством. Приводя в действие звонок, он придумал, как коротко сформулировать свое желание сделать статью основой диссертации. Когда прожужжал аппарат, он удрученно подумал, что не сумеет достаточно естественно произносить «ты».

С фрау д-р Менцель он встретился весьма непринужденно. Она очищала ранние розы от старых соцветий, и Пётч, проявив находчивость, спросил о почве — он в этом разбирался. Несколько минут они поговорили о садовых работах, о собаках и погоде, затем об Эльке, занимавшейся перестройкой его рабочей каморки в кухню для фрау Унферлорен Пётч обещал передать привет жене. Подошел сенбернар и дал себя погладить, потом появилась мрачная и неприступная фрау Шписбрух. Она препроводила Пётча в Преисподнюю. Кофе уже стоял на столе. Профессор молча и дольше, чем в прошлый раз, размешивал

молоко и сахар. Но Пётч вспомнил об этом, когда все уже было позади.

Попытки Менцеля казаться спокойным увенчались успехом, голос звучал ровно. Он сразу приступил к делу, то есть к разносу статьи, который он начал по испытанному образцу с осуждения формы. «Стиль, к сожалению, никудышный»,— таковы были его первые слова, за которыми последовало много других на ту же тему. Пётч часто не в ладах с употреблением времен, с сослагательным наклонением он почти все время попадает впросак, слишком часто применяет субстантивированные прилагательные, и иначе как болезненным профессор (с соответствующим выражением лица — выражением лица человека, разумеется, совершенно здорового, презирающего болезнь и слабость) не может назвать пристрастие Пётча к словам, оканчивающимся на «ание», «ение». Поскольку все претензии Менцель иллюстрировал примерами, его маленькая лекция о языке заняла больше половины отведенного для беседы времени. Затем он, опять-таки обходя содержание, перешел к методологической части, где отметил путаный ход исследования, не обнаружил предпосылок и с сожалением констатировал негативную исходную позицию.

Хотя Пётчу с каждой минутой становилось все неприятнее, он очень старался уберечь свое уважение к Менцелю. Он имел идеальное представление о том, как следует реагировать на критику, и хотел наилучшим образом осуществить его. Он внимал с интересом, время от времени кивал головой в знак понимания и делал себе заметки. Он давал критику выговориться и убеждал себя, что острое, но деловое осуждение продиктовано стремлением улучшить работу. Он все еще надеялся, что за критикой формы последует хвала содержанию. Но он недолго тешил себя этим заблуждением.

— Что подразумевается под негативной позицией? — спросил он, избегая «ты», но ответа не удостоился, ибо профессор не желал спутать свой план, следуя которому он далее отметил недостаточную общественную значимость работы Пётча, возвел понятие «любовь к детали» в «одержимость деталью», вкрапил выражение «мелкотравчатость», упрекнул в отсутствии концепции, вынес вердикт: «Жалкий позитивизм!» — и в конце похвалил усердие Пётча, к сожалению, впустую потраченное на дело, которое никого не интересует.

Пётч не очень ясно представлял себе, что такое позитивизм. Но он знал, что должен протестовать, и воспользовался маленькой паузой, которой профессор обозначал переход к следующему разделу своего плана, чтоб заявить: он мог бы назвать трех человек, которых это интересует; кроме Менцеля и Пётча, это господин Лепетит, готовый опубликовать его работу в Гамбурге,— на что профессор с улыбкой возразил: зачастую проще найти издателя, чем читателя.

Пётч и в незначительном разговоре с трудом находил веселый ответ на веселое замечание, теперь же это начисто исключалось его растерянностью, еще больше усилившейся после того, как Менцель в доброжелательном тоне стал излагать свои советы. Они касались темы диссертации Пётча и исходили из того, что бессмысленно брать за основу копание в таких мелочах, как поиски даты смерти. Особенно подходящей он считал тему «Наследственная зависимость крестьян до реформы в Среднем Бранденбурге в свете исторических сочинений Шведенова», однако заслуживал внимания и «Обзор источников исторических трудов Франца Меринга, с особым учетом сочинений Макса Шведенова».

В ответ на совет продумать эти предложения Пётч молча кивнул. Но когда Менцель дал понять, что аудиенция окончена, Пётч, против своего обыкновения без всякой подготовки, выпалил вопрос: разве о содержании работы совсем нечего сказать?

— Ладно,— резко ответил Менцель, забыв на мгновение о своей невозмутимости.— Ладно, скажу, если тебе угодно, хотя я охотнее

избавил бы тебя от этого. Чтобы пощадить тебя, скажу коротко: в работе содержатся опасные гипотезы историка-любителя, доказать которые он не способен. Тебе достаточно?

Пётч не ответил ни да, ни нет. Он вообще не мог сейчас ничего сказать. Менцель же на прощание еще и пошутил:

— Статья ведь подарена мне? Значит, она принадлежит мне, и я могу с ней делать все, что считаю нужным. Самое лучшее для тебя, для меня и для науки будет, если я положу ее в мою библиотеку и оставлю там — до скончания века.

Ночью Пётч не мог вспомнить, как оказался в постели, но помнил все фразы Менцеля, потому что они одна за другой безостановочно прокручивались у него в голове. Этот механизм не поддавался управлению; Пётч был беспомощен перед ним, как перед физической болью.

Шестнадцатая глава

Письма

Нарушить сон Эльки мог бы только муж, более бесцеремонный, чем Пётч. Лишь утром она заметила, что с ним что-то произошло, и забеспокоилась. Он мало ел, был угрюм, не обращал внимание на детей и не хотел рассказывать о поездке. Но больше всего ее беспокоили его глаза — они не устремлялись, как обычно, задумчиво вдаль, а отражали тревогу. Нервы — так сперва подумала Элька, но потом решила: страх. Может быть, страх перед приближавшимся публичным выступлением в театре?

В среду Пётч ездил в Берлин. В ночь на четверг он был как в лихорадке, в следующую ночь ему удалось избавиться от хаоса в голове, в которой снова и снова прокручивались менцелевские фразы, и встать. Он еще раз прочитал статью и сделал первые наброски писем. В пятницу вид мужа испугал Эльку, он походил на желудочнобольного и вел себя как душевнобольной. Он не отвечал, когда к нему обращались, не говорил ни слова, сразу после школы сел за пишущую машинку и ничего не ел, только выпил много крепкого чая. Когда Элька в субботу утром встала, он уже (или еще) был на ногах. В воскресенье днем он закончил писать, молча поел, лег в постель и уснул. Элька пошла с детьми на реку. Когда она вернулась, муж удивил ее просьбой почитать написанные им письма.

Рабочая каморка Пётча уже перестраивалась, поэтому вечером он сидел в комнате брата, уехавшего на конец недели в Берлин. Это была самая большая, самая холодная и темная комната в доме, прежняя «гостиная», зеленый плюш которой не утратил затхлого запаха нежилого помещения. Элька зажгла свет и стала читать. Два письма (пока без обращения) начинались с одинаковой фразы: «Настоящим позволяю себе послать Вам прилагаемую статью для возможного опубликования», но в дальнейшем тексте, где сперва подчеркивалось значение Макса фон Шведенова, а потом кратко обрисовывалась недостаточная изученность его, имелись различия, хотя и несущественные. Если в одном письме речь шла об историке Шведенове и его вкладе в историческую науку, то в другом говорилось только о поэте и романисте. Заканчивались оба письма опять одинаковой фразой: «Я уверен, что опубликование моих исследований будет способствовать более интенсивному освоению этой части нашего культурного наследия».

Первое письмо было адресовано в редакцию научно-исторического журнала в Лейпциге; второе направлялось в ежемесячный научно-литературный журнал в Берлине; третье, без даты, предназначалось, как объяснил Пётч, на крайний случай.

Эльке пришла в голову неприятная мысль, что муж позвал ее,

чтобы узнать ее мнение о третьем письме. Но она ошибалась. Решение Пётча было непоколебимо. Ему нужен был совет относительно формальной стороны дела, он хотел узнать у Эльки (которая, разумеется, знала еще меньше, чем он), существуют ли какие-нибудь правила переписки с редакциями. Надо ли, например, указывать свою профессию и возраст? Есть ли какие-нибудь нейтральные в отношении пола формы обращения к редакторам, если тебе неизвестно имя и потому не знаешь — дамы это или господа? С каким приветом заключать — почтительным, социалистическим или дружеским? И предпосылать ли подписи слово «Ваш»?

Элька оставила при себе мнения, что три письма — довольно жалкий результат работы нескольких дней и ночей, и отважно затараторила, ибо очень хорошо знала: не совет ее важен, а проявление интереса. Она так обрадовалась, что Эрнст нарушил, наконец, свое молчание, и даже выдвинула свое определение стиля, наиболее подходящего для писем: естественность,— и стала горячо защищать его. Получилась настоящая беседа, в ходе которой она наконец узнала, как обстоят дела между мужем и Менцелем. Она не произнесла вертевшиеся на языке бранные слова в адрес профессора, но запомнила их, ибо была уверена, что они ей еще понадобятся. У Эльки навсегда остался в памяти этот вечер, потому что ей в последний раз довелось увидеть, как муж освободился от своей одержимости Шведеновом. Он сидел на кушетке не то чтобы веселый, но с прекрасным чувством исполненного долга и слушал рассказ жены об их детях, у которых — к тревоге Эльки — начинался период половой зрелости. «В самом деле?» — спросил он с удивлением и стал считать быстро промчавшиеся годы, пока не вспомнил пассажи из «Эмиля», где речь идет о несостоявшемся отцовском счастье.

Ответы на оба письма не заставили себя долго ждать. Еще прежде, чем прошла жара, оба журнала прислали приветливые послания, испортившие Пётчу каникулы. Редакция литературного журнала сообщила, что его статья направлялась на консультацию компетентному в этой области специалисту — господину проф. Менцелю, который убедительно доказал, что она не годится для опубликования. Примерно таково же было мнение историков; но в их письме отсутствовала ссылка на Менцеля, что и понятно, поскольку профессор состоял у них официально членом редакционного совета.

Через день было отправлено третье письмо, с проставленной датой и приложением, заказное и срочное,— господину Лепетиту.

Семнадцатая глава

Добрая звезда

Кампания за Шведенова началась в воскресенье. Для первого вечера из цикла «Забытые поэты — открытые заново» были напечатаны афиши. В течение двух недель с афишных тумб строго смотрели большие глаза забытого. Жирными литерами сообщалась фамилия ведущего вечер, более мелкими — докладчика. К тому времени, когда столичные газеты сообщили о предстоящем мероприятии и профессор рассказал по радио о содержании доклада, билеты в маленький театр были уже распроданы.

Накануне, то есть в субботу, в Шведенов проследовал автомобиль. Сухие дороги не таили в себе особых трудностей. Песчаные участки можно было объехать. Стоявшая уже несколько недель жара высушила даже лужи в торфяных низинах. Воздух был неподвижен, и поднимаемые колесами клубы пыли долго не оседали.

Дети Пётча играли на улице. Ярко накрашенная дама, сидевшая за рулем, обратилась к ним за справкой:

— Где живет господин Пётч?
— Какой? Фриц или Эрнст?
— Эрнст.
— Оба живут здесь.

Выложенный булыжником двор мало годился для босоножек на высоких каблуках. Спотыкаясь и скользя, напуганная свирепо лаявшим псом, дама добралась наконец до дверей дома, где, выпрямившись, смогла вернуть своей пышной фигуре достоинство. Это удалось ей настолько хорошо, что Элька перед ней показалась себе уменьшившейся в объеме.

Имя дамы ничего не сказало Эльке, и, поскольку она не скрыла своего неведения, она тут же в дверях узнала, что фрау д-р Эггенфельз встречалась с ее мужем. Дважды, в институте, и они сразу так хорошо поняли друг друга, что она сочла своим долгом навестить его, раз уж находится в этой местности, в этой прекраснейшей местности, которая, конечно, хорошо известна ей — сотруднице Менцеля, даже если она и не бывала здесь, потому что все здесь дышит Шведеновом.

— Эрнст, иди сюда, к тебе гости,— позвала Элька, чтобы угомонить даму, очи которой сияли таким восторгом, что ей стало неприятно, да и дел по дому было немало. К сожалению, Эрнст, по-видимому, не услышал зова и дал посетительнице время повосторгаться еще и кухней, размеры и красный каменный пол которой вызвали воспоминания о юности, отнюдь не легкой. «Да и у кого она была легкой?»

Понимая, что за этим последуют подробности, Элька взяла даму за влажную руку, лежавшую на ее руке (видимо, для того, чтобы Элька и физически почувствовала восторг гостьи), и потянула очень тронутую таким дружеским жестом фрау Эггенфельз в комнату, где увлеченная телепередачей бабуля лишь сердито буркнула что-то в ответ на приветствие фрау доктор.

Пётч работал в комнате Фрица, который в последние недели неизменно уезжал из дома на выходные дни. Элька вызвала мужа. Неожиданный визит столь внезапно вырвал его из прошлого столетия, что он не сразу сориентировался в дне нынешнем; он растерялся и только кивал головой, вместо того чтобы ответить на слова, сопровождавшие долгое рукопожатие: да, он тоже рад, рад не меньше гостьи.

Это совершенно не соответствовало его чувствам, тем не менее Элька, увидев мужа, смущенно стоявшего рядом со столь внушительным воплощением женственности, переменила свои намерения. Она не вернулась к своим домашним делам, а уселась и стала помогать Пётчу, который пытался выяснить, чего, собственно, дама хочет.

Если измерять значение произнесенных слов их количеством, можно было подумать, что гостья хочет осмотреть шведеновскую старину. О поэте и его родине она говорила безостановочно, и когда ненадолго отвлекалась от этой темы, то снова и снова возвращалась к встрече с Пётчем в коридоре института и к данному ею тогда обещанию. Пётч не показывал виду, что не помнит про обещание, и не отвечал на задушевный тон, в который она впадала при этом, хотя обычно старался быть дружелюбным.

— Разве кофе сегодня не будет? — спросила бабуля, когда кончилась передача, и только теперь заметила гостью. Она ей не понравилась — это сразу было видно. Дама была накрашена и курила. Большего основания для неприязни бабуле не требовалось. И чтобы продемонстрировать свою неприязнь, она стала капризничать, как ребенок. Кто это, спросила она у Эльки, и хватит ли пирога на столько народу. Потом заявила: в комнате плохо пахнет,— не поясняя, что имеет в виду: сигаретный дым, пот или духи. Все эти выходки фрау Эггенфельз словно не замечала, и тогда бабуля обратилась к ней прямо:

— А зачем вы помешали моему сыну работать?

— Чтобы дать ему добрый совет.

— Напрасно стараетесь.

Пока фрау Эггенфельз приветливо и терпеливо выслушивала, что сын (сидевший с потемневшим лицом, но не смевший остановить мать) всегда имел собственную голову на плечах и отвергал советы, Элька пошла на кухню сварить кофе. Она уже нарезала пирог, когда пришла фрау доктор и попросила разрешения помочь. Ей разрешили взбить сливки, с чем она неплохо справилась. Если ей поверить, она умела даже печь пироги и помнила наизусть рецепты, которыми тут же и поделилась с Элькой. Но лучше всего фрау доктор умела, конечно, говорить — ее речь была выразительна и исполнена восторга, неизвестно, правда, к чему относившегося: к предмету разговора или к ней самой, так искусно умевшей со всеми обо всем говорить, в том числе и с Элькой о ее муже, от которого она в таком восторге, в таком восторге, что глаза ее наполнились, но не излились (пока) слезами и не попортили мастерски нанесенного грима. Элька была очарована этими большими круглыми глазами (кстати, карими), которые господствовали на несколько толстоватом лице и, казалось, для того только и были предназначены, чтобы выражать чувства, постоянно волновавшие женщину. Поражала быстрота, с какой волны души накатывали на глаза и, откатываясь, не оставляли следа, так что переход от растроганности, скажем, к злости собеседник замечал скорее по ее глазам, чем по словам.

Итак, энергия и целеустремленность, а также усердие оставшегося в комнате хозяина дома — вот чему возносилась теперь хвала на кухне, в виде вступления, как скоро выяснилось. Ибо вслед за большой похвалой коллега Эггенфельз выразила большую-большую тревогу. По вине обстоятельств, возможно усугубленных благодаря его склонностям, Предмет восхищения оказался изолированным в своей работе, одиночкой, чуть ли не человеком, варящимся в собственном соку, стоящим перед угрозой отрыва от жизни, во всяком случае отдаления от нее и потому, как бы это сказать, склонным к самоуверенности. Эту столь удручающую ее, Взбивательницу сливок, тревогу легко может унять хороший коллектив, который, как известно, умнее любой самой умной особи, старательно занимающейся наукой в своей тихой каморке.

В устах переполненной чувствами фрау Эггенфельз такие привычные понятия, как «коллектив» и «тихая каморка», облагораживались, утрачивали всякую стереотипность и казались новыми и свежими. Да Эльку они нисколько и не шокировали. В отношении языка она не была особенно чувствительной. Но ее неприятно поразило, что кто-то мог так кичиться собственными чувствами, так свободно говорить о них, и она возмутилась: с какой стати эта женщина считает себя вправе обрушивать свои чувства на ее, Элькиного, мужа?

— Зачем вы мне это рассказываете?

— Потому что я считаю: место вашего мужа в нашем институте.

— Но ведь это уже решено?

— Да,— просто и кратко ответила фрау Эггенфельз, но с такой колеблющейся, незаконченной интонацией, что это прозвучало как «да, но...». В ее просохших глазах стоял страх, и голос ее дрогнул, когда она сказала: «Я боюсь»; она отодвинула в сторону веник и вплотную приблизилась к Эльке.

— Вы должны мне помочь,— прошептала она.— Ради вашего мужа!

Она усадила Эльку на стул, взяла себе другой и села напротив Эльки — так близко, что колени их соприкасались. Она заговорила очень тихо и очень торопливо, как женщина с женщиной, и очень при этом потела. Отдав должное скромности Пётча, она повела речь о боязни и страхе. Разумеется, она боится за Элькиного мужа, она боится

за него, испытывает страх за него. Ему может повредить уже упоминавшаяся самоуверенность, его неосмотрительность, его упрямство.

— Вы понимаете?

Элька не понимала, и ей шепотом рассказали, насколько серьезно положение — так серьезно, что у фрау Эггенфельз душа болит. Ведь профессор Менцель написал книгу, а муж Эльки написал на ту же тему статью; фрау Эггенфельз, правда, ее не читала, но она знает, что профессор считает ее контрпроектом его собственного труда. Конечно, это законное право Самокопателя, и разобраться во всем мог бы помочь научный диспут, для которого нет более подходящего места, чем институт с его коллегией специалистов, с его замкнутостью.

— Семейную ссору,— шептала фрау Эггенфельз,— ведь не выносят за стены дома, не выходят с ней на улицу.

— Вы имеете в виду журналы? Так они же не печатают статью.

— Это забыто! — вскричала гостья, показав, что ее лицо может выражать и великодушие.— И угроза вашего мужа напечататься по ту сторону границы тоже забыта, хотя...

Элька, к сожалению, никогда не узнала, чем должна была закончиться фраза, ибо фрау доктор на этом месте была прервана, и продолжить фразу ей потом так и не довелось. Бабуля громко потребовала кофе, непочтительно остановив прекрасное течение речи. На экране скоро должен был появиться телелесничий Кикбуш, и к тому времени с едой следовало покончить.

— Да, да, иду,— крикнула Элька, освободилась от ученой дамы и засуетилась. Фрау доктор тоже помогала, и через несколько минут они уже сидели за столом, бабуля—нервная и раздраженная, Пётч — угрюмый, фрау Эггенфельз — восхищенная уютным семейным кругом, развлекать который она почитала своим долгом. Элька не была столь спокойной, какой казалась. Чтобы побороть свою досаду, она решила смеяться про себя над Эггенфельз. Она теперь знала цель ее визита и могла забавляться усилиями, которые та прилагала, связывая нити то и дело обрывавшегося разговора.

Но она ошибалась, думая так. Забавляться она не могла, хотя усилия ораторша прилагала немалые. Она даже не могла восторгаться ее актерской игрой. Весь спектакль все больше и больше ожесточал Эльку. Когда искусная говорунья от цветочков на посуде через цветы в саду и на кладбище перешла к ненайденной могиле Шведенова, а от нее, словно ненароком, к предстоящему докладу на вечере и явила глубокую растроганность этим венцом многолетних изысканий, Элька положила конец делу, сказав:

— Мне кажется, фрау Эггенфельз хочет предостеречь тебя, чтобы ты завтра не сказал больше того, что написано в книге Менцеля.

Как ни удивительно, фрау Эггенфельз не обиделась. Она скорее с благодарностью улыбнулась Эльке и сказала:

— Не предостеречь я хочу, а посоветовать.

Пётч захотел тоже, наконец, высказаться, но пока это ему не удалось, так как сначала пришлось послушать, что он не первый, кому она дает добрые советы. Уже не один молодой человек, сперва горевший желанием прошибить стену лбом, потом приходил благодарить ее за осмотрительность и предусмотрительность и за терпение. Один из них даже придумал прозвище, под каким она известна в институте, да и за его пределами,— в прозвище, конечно, содержится преувеличение, она от души смеялась, когда впервые услышала его, но оно продиктовано добрыми чувствами, ничего не скажешь. Ее называют Доброй звездой института.

— Пять минут осталось,— сказала бабуля, имея в виду начало передачи.

— Вы приехали по поручению профессора? — спросил Пётч, как только получил возможность.

Оказалось, глаза фрау Эггенфельз умеют излучать и достоинство.

— Кто может отличить, дорогой коллега Пётч, поручение от побуждения, когда долг и внутренняя склонность совпадают?

Она помолчала для вящего эффекта, но Элька разрушила художественную паузу:

— Я считаю, надо говорить только то, что думаешь.

— Речь идет о будущем вашего мужа! — умоляюще произнесла фрау Эггенфельз.

— Ну уж! — сказала Элька, разливая остатки кофе, и не стала объяснять, что означает ее пренебрежительный жест.— А ты что скажешь? — обратилась она к мужу, но ответа не получила. Потому что Пётч и не слушал больше. Он задумчиво уставился в пустоту, затем вдруг встал, пробормотал что-то о работе и проверке по справочникам и ушел.

Бабуля включила телевизор. Элька взялась за посуду. Фрау Эггенфельз помогала ей. В кухне она спросила, действительно ли статья появится в Гамбурге. После ответа Эльки лицо ее исказила боль. Что бы сказал муж Эльки, спросила она, если бы приготовленную для него еду жена отдала враждебно настроенным соседям, но пропустила мимо ушей ответ Эльки, что со всеми соседями она в хороших отношениях, и со словами: она очень рада, что ее миссия окончена, гордо направилась к выходу, однако ушла не сразу, ибо сочла необходимым еще раз пожать Пётчу руку.

— Я прошу вас, будьте завтра благоразумны,— сказала она вызванному Пётчу.— Я бы очень хотела передать профессору Менцелю что-нибудь положительное.

— Я напал на новый след,—сказал Пётч,—он ведет к одному дяде из Померании. Можете передать: скоро я получу его, доказательство.

Фрау д-р Эггенфельз испустила глубокий вздох. И приступила к заключительному слову. Она, которая, как уже знают супруги, выросла из подвальной сироты в ученую с тремя значительными публикациями и выдержала полную волнений и душевных потрясений жизнь, сейчас здесь, у дверей дома, где речь идет о будущем одаренного молодого ученого, падет жертвой своих чувств,— все это она не только сказала, но и наглядно показала, испуганно массируя пальцами участок толстого слоя мяса и жира, под которым, по ее предположению, скрывалось сердце. Вызвала же это ее опасное состояние, разумеется, самоуверенность Пётча, которую она на прощание, глядя грустными очами, не побоялась назвать стойкостью.

— Какое благородство тратится впустую, во имя неблагородного дела! — воскликнула она.

Тут оно и случилось: из ее глаз полились слезы. Но они, к счастью, не могли причинить больших разрушений, ибо под руками оказался кружевной платочек.

Вечером Пётч ни словом не упомянул о визите, а когда Элька заговорила о беседе на кухне, он заметил только, что эта женщина похожа на мадам де Сталь,— о ней он много знал, так как она встречалась с Шведеновом. Пестрый платок, которым были повязаны ее черные волосы, напомнил ему тюрбан де Сталь на знаменитом портрете Жерара. У обеих женщин некрасивое лицо оживляли карие глаза. Силу обеих женщин составлял дар слова. Разница состояла лишь в том, что одна была умна, другая же сентиментальна.

— Меня куда больше интересует, последуешь ли ты завтра ее советам,— сказала Элька.

— Мой доклад уже готов.

— Знаешь,— сказала Элька,— что бы ты ни сделал, все мне по душе. Для меня не имеют значения ни героизм мужа, ни его ученая степень.

Восемнадцатая глава

Гроза

На следующий день, в воскресенье, профессор Менцель и Пётч увиделись в последний раз. Закончилось знакомство, которое при иных обстоятельствах могло бы стать дружбой,— закончилось немногословно, но при громе и молниях.

— Вчера в театре было как в театре,— сказал Браттке, когда в понедельник обсуждали в институте вечер.— Трагедия для посвященных, с незримым трупом. Властелин может быть доволен: он избавился от вши, сидевшей в волосах. Бедная вошь!

Волна жары и зноя отступала. Солнце, которое уже и видеть не хотелось, затянулось дымкой. Утром влажный южный ветер усилил духоту. Даже дети плохо спали. Одна лишь Элька была бодра.

— Ко всему привыкаешь,— говорила она в ответ на жалобы.

Фриц не мог не выполнить просьбу отвезти брата и невестку в Берлин. С недавних пор он обзавелся подержаной машиной для своих поездок на выходные дни. На сей раз он тоже уехал в пятницу вечером, но в воскресенье днем вернулся. Он давно заказал на доклад брата два билета, дурашливо осклабившись при удивленном вопросе Эльки: «Два?» В его машине сквозило и грохотало. В ней не потеешь, но разговаривать нельзя, можно только перекрикиваться.

Около театра Фриц волновался больше, чем брат. Он бегал и искал повсюду особу, объявленную им спутницей, и забыл даже пожелать брату удачи. Тот и не заметил этого. Его занимали другие проблемы. Во-первых, пробиться в театр! При входе его не пропустили, потому что у него не было билетов, а сказать «я докладчик!» он не мог. За дело взялась Элька, повергнув его в смущение, ибо заговорила она не шепотом, а в полный голос, так что вокруг стали оглядываться на него. Найдя служебный вход, Элька вняла просьбе мужа и оставила его одного. Ему не хотелось, чтобы она присутствовала при встрече с Менцелем, которую он представлял себе ледяной.

Однако он снова ошибся в профессоре. Он ожидал, что натолкнется на высокомерие, но никак не на сердечность. Профессор же, представляя Пётча работникам театра, лучился ею. Он спросил, очень ли волнуется Пётч, предложил коньяку и не преминул осведомиться о мнимой прапраправнучке виновника торжества.

Алкоголь сразу ударил Пётчу в голову. От жары, которая в маленьком помещении за сценой была еще сильнее, чем на улице, у него пересохло во рту, он насквозь пропотел. Он стоял на дрожащих ногах, прислонившись к стене, не в силах следить за разговорами об освещении, управлении занавесом и проекционном изображении. Иной раз он согласно кивал в ответ на предложения профессора. Потом работники театра ушли. На несколько минут он остался наедине с профессором.

— Можешь мне не говорить, каково у тебя на душе,— сказал Менцель, вытирая платком лицо.— В одном отношении я чувствую себя так же, как ты: как и ты, я должен демонстрировать сейчас публике единодушие со своим противником (как это повседневно бывает в браке и государственных делах). Но в остальном тебе, конечно, намного хуже. После проигрыша подпольных битв ты должен решить, нападать на меня публично или нет. Такие решения даются нелегко. Если бы ты спросил моего совета, я бы сказал: оставь, ты ведь только проиграешь. Дураки в зале все равно не поймут, чего ты хочешь. А между нами все будет кончено. Ты, конечно, очень зол на меня. Я был суров с тобой, но иначе нельзя. Я говорил не со злым умыслом, а серьезно, очень серьезно. Ты носишься с фантомом, считая, насколько я тебя знаю, будто это и есть правда.

Для меня же дело заключено в большем: останусь я или не останусь в науке и в памяти потомков. Посадив Шведенова на почетное место, я обеспечил и себе почетное место в истории историографии. Я поседел за этой работой, и вот приходишь ты из своей деревни и хочешь разбить все вдребезги (охотно верю — без дурных намерений). Так пойми же: я не остановлюсь ни перед какими средствами, чтобы помешать тебе в этом.

Последние слова профессор проговорил очень быстро, так как их уже звали. Занавес был поднят. Пора было идти на сцену.

В первые минуты выступления сознание Пётча функционировало не полностью. Он, правда, чувствовал, что у него дрожат руки, рубашка прилипла к спине, но он не слышал ни слова из вступительной речи Менцеля, да и собственные начальные фразы не мог потом вспомнить. Первое, что он заметил,— он читал очень громко. Но читал он гладко и не слишком быстро, это его успокоило, и он отважился время от времени поднимать глаза от рукописи. Из темноты стали выступать лица. Он видел, как вытирали платками вспотевшие лбы. Его радовала тишина в зале как свидетельство внимания слушателей.

Он читал механически и мог даже думать о других вещах, причем так ясно и четко, как ему никогда больше не дано будет. Он вдруг понял, почему профессор пытался скрыть его изыскания: книга Менцеля не только по фактам оказалась бы устаревшей еще до своего появления; если верны утверждения Пётча, рухнет вся ее концепция, поскольку развеется миф об образце героической жизни.

Пётч полагал, что эта мысль только сейчас пришла ему в голову, и сам удивился, обнаружив, что она уже раньше жила в нем, ибо влияние ее чувствовалось в монотонно зачитываемом докладе. Доклад в значительной мере основывался на том факте, что смерть Шведенова фальсифицирована, и многие утверждения Менцеля, без упоминания имени, ставились тем под сомнение. Может быть, это был первый шаг к опровержению Менцеля. Но Пётч не думал о втором. Он хотел не опровергнуть Менцеля, он хотел его переубедить. Однако для этого ему все еще не хватало последнего доказательства. И докладчик стал о нем мечтать.

Голос Менцеля вернул его к действительности, и он понял, что доклад закончен, что он свободен. Разумеется, Менцель не упустил возможности нанести ему еще один удар, но, как человек порядочный, имени не назвал. И, кроме Пётча, только посвященные знали, кого он имел в виду, когда говорил о людях, которые копаются в мелочах, фетишизируют детали и тем самым — вольно или невольно — загоняют Шведенова в сети реакции, что, по мнению Менцеля, обречено на провал, поскольку благодаря его, менцелевскому, «Бранденбургскому якобинцу» прогрессивный историк и поэт скоро станет неотъемлемой частью традиций социалистической культуры.

Надо быть Менцелем, чтобы после столь серьезной тирады суметь развеселить публику, и она отблагодарила его смехом при первых же остроумных намеках на множество литров пролитого пота. А для той шутки, которую Менцель приберег для финала, на помощь пришли небеса. В тот момент, когда он смело свел воедино надежду на начало новой жизни Шведенова и на конец жары, началась сильная, шумная гроза. Поднялось такое ликование, словно посвежение — заслуга профессора. Принимая аплодисменты, профессор не преминул выразить сердечное согласие с докладчиком.

Элька стояла с Фрицем и его спутницей в гардеробе. Она уже пережила сюрприз, который ожидал Пётча. Он заметил фрау Унферлорен лишь тогда, когда она, покраснев, повисла на руке Фрица и попросила прощения за то, что они так долго скрытничали.

Поняв наконец, в чем дело, Пётч сказал: «Ах вот оно что, вы оба...» — и хотел было произнести нечто вроде поздравления, но в

круг вступил профессор Менцель и, дружески обняв Пётча, попросил разрешения увести на несколько минут звезду вечера, поскольку его требуют фоторепортеры.

Хоть это и излишество, там действительно был фотограф, которого Менцель накануне просил содействовать популяризации Шведенова. Профессор свою повинность уже отбыл, теперь на очереди— Учитель и ученик: на сцене, перед сценой, с серьезными лицами, смеясь, стоя, в дружеской беседе со слушателями. Две пленки были израсходованы. Но фотографий Пётч никогда не увидел.

Одним из слушателей, дружескую беседу с которыми изображал Пётч, был Браттке, но он-то не только изображал, а и на самом деле говорил, правда, с таким брюзгливым лицом, что фотограф сделал ему замечание.

— Будь я бессовестным,— говорил Браттке, наклонившись к Пётчу,— я бы гордился тем, что участвовал в процессе воспитания, результаты которого вы нам сегодня продемонстрировали. Но поскольку я не таков, я извлеку два урока из сегодняшнего события. Первый: не обучай критике человека, не умеющего смолчать; второй: моральная победа и самоубийство — почти синонимы. На прощанье я могу только сказать, что, хотя мне было бы приятнее, если бы мы не прощались, я советую вам радоваться такому финалу. Вы бы ведь никогда не стали полезным пишущим рабом наподобие Слайдана. Когда Карл Пятый назвал его (остроумно, как это случается с шефами) своим личным вралем, Слайдан не возразил. Боюсь, он был горд этим.

Профессор Менцель не затруднил себя столь длинной прощальной речью, зато он был не брюзглив, а приветлив, когда говорил:

— Извини, что я не сказал тебе о фактических ошибках, которыми пестрит твое сочинение. Может статься, они мне когда-нибудь понадобятся — для разноса, к которому, естественно, меня вынудило бы опубликование твоего доклада. Вот это и было бы верной дружбой, сумей это понять. Доброго пути домой, в твою деревню и — прощай!

Элька ждала на улице. Гроза прошла. Воздух стал влажным и прохладным. Разбрызгивая лужи, подъехал Фриц. Элька полагала, что мужу пошла бы сейчас на пользу рюмка водки, но Пётч хотел поскорее домой. Да и фрау Унферлорен очень устала.

У дверей ее дома Фриц выключил мотор.

— Мы оба,— сказал он торжественно и, чтобы показать, кого он кроме себя имеет в виду, посмотрел на фрау Унферлорен, которая вложила свою руку в его и смущенно потерлась щекой о рукав его пиджака,— мы оба хотим вам кое-что сообщить.

— Поздравляем! — сказала Элька.

— Спасибо, но это еще не все,— ответил Фриц.— Перестройка кухни теперь уже ни к чему. Знаете, мне надоел тягач. Я пересаживаюсь на такси. Хочу сказать: я переселяюсь к ней в Берлин. Вас это очень удивляет?

— Нет, вовсе нет,— сказала Элька, а у ее мужа опять оказалась под рукой цитата, на сей раз из шведеновского «Увядшего весеннего венка»: «Ах, боже милый, как славно сходится одно с другим». И до следующего утра он больше ничего не сказал,— во-первых, потому что всю дорогу машина очень тарахтела, во-вторых,— дома Элька, как только легла, сразу уснула.

Чем он всю ночь напролет занимался, стало известно лишь утром после завтрака. На вопрос Эльки, что теперь с ним будет, он ответил:

— Я должен как можно скорее найти фактические ошибки, о которых говорил профессор. Необходимые поправки я осторожности ради пошлю Лепетиту телеграммой. Мне надо еще раз проверить все даты и события. Ошибки могли вкрасться и в родственные отно-

шения, они очень запутанные. Так как старик фон Массов, полковник в отставке, был четыре раза женат и все его жены имели братьев и сестер, Шведенов был богато наделен дядьями и тетками. Различать их непросто еще и потому, что тетки со стороны матери выходили замуж за дядьев со стороны отца (и, стало быть, тоже носили фамилию Массов); к тому же, на беду, вторая жена, мать Макса, была не только в замужестве, но и урожденная фон Массов,— кстати, она сестра прусского министра юстиции, роль которого в жизни Шведенова пока неизвестна, но, вероятно, важна. В ранних дневниках Шведенова упоминается дядя, советующий ему изучать юриспруденцию. Он именуется там штольперовским дядей, по-видимому, по названию города в Померании. Если будущий министр юстиции тоже происходит оттуда, то надо поискать его корреспонденцию. Может быть, в прусском государственном архиве?

Вот как длинно и еще длиннее отвечал Пётч утром в кухне на вопрос Эльки о его будущем. Вечером она снова попыталась заговорить об этом, но услышала только новые подробности о министре. Потом она махнула рукой. Она знала, что теперь муж будет бесконечно повторять себе одно: я должен ему это доказать, я должен ему это доказать.

Девятнадцатая глава

Кладбищенский покой

Спустя несколько дней фрау Зеегебрехт доставила в Шведенов письмо, прибывшее из Люнебургской Пустоши, следующего содержания:

«Глубокоуважаемый господин Пётч!

То, что я только сегодня подтверждаю получение Вашей статьи «Поиски одной могилы», можно оправдать перегруженностью работой по изданию обширного труда (20 листов). Но ничем нельзя оправдать то, что я так долго оставлял Вас в неведении относительно характера данного труда. За первое упущение я прошу Вас простить меня, второе я хочу исправить этим письмом.

Замысел сборника «Реставрация в Германии» продиктован убеждением, что ныне политика в Европе должна покоиться на трех столпах: безопасность, стабильность и мир. В поисках традиций подобного политического гуманизма я остановился на тех силах, которые определили судьбу Германии в самый длительный период мира в XIX веке — в период так называемой реставрации, то есть после французской революции и накликанной Наполеоном почти тридцатилетней военной смуты. Совершенно очевидно, что тогдашнее положение Европы в некоторых аспектах схоже с нашим положением после гитлеровской войны, но лишь немногие решаются признать, что тогда, как и сегодня, единственное спасение состояло и состоит в здоровом консерватизме. Тогда существовали силы, которые пронесли через революцию и вызванный ею национализм идею старой Европы. Их олицетворением может служить одно имя: Меттерних. Нам следовало бы сегодня перенять его герб. Задача моей книги — очистить это имя от грязи, которой его забрасывали в течение полутора столетий писания истории. Бидермайер — эпоха, вызывающая сегодня ностальгическую тоску, эпоха покоя и защищенности,— творение его рук. До сих пор его величие было заслонено от нас прусско-немецким национализмом и верой в прогресс. Поскольку гитлеровская война разрушила первое, а атомная смерть и отравление окружающей среды — второе, мы только сегодня можем заново осознать величие этого подлинного князя мира.

Я говорил о своей книге, теперь перейду к Вашему сочинению, которому, скажу заранее, не отказываю в уважении. Я читал его не

только с интересом, но и с возраставшим напряжением и, глубоко зная то время, могу с определенностью сказать: хотя Вам и не хватает последних доказательств, нет никаких оснований подвергать сомнению результаты Вашего исследования. Когда бы в будущем ни упоминалось имя Макса фон Шведенова, придется, памятуя о Ваших заслугах, обращаться к Максимилиану фон Массову. Позвольте мне первым поздравить Вас с этим.

Таким образом, не факты вызывают в Вашей работе мои сомнения, а Ваше отношение к ним. Вы позволяете (помня о Вашем положении, я бы добавил: вынужденно) предрассудкам затуманить Ваш в остальном столь ясный взгляд. Иногда это выражается лишь в выборе слов (например, когда Вы называете мир внутри Германии кладбищенским покоем), но главным образом это касается интерпретации фактов. Так, Карлсбадская конференция является для Вас «апогеем духовного угнетения» и началом «мрачных времен». Дорогой господин Пётч, мне больно читать это! Не потому, что Вы придерживаетесь другого мнения, чем я, но потому, что Вы лишь вторите черно-белым, черно-бело-красным и красным историкам и при этом совершенно забываете, против кого направлено то, что Вы именуете «деспотией»: против националистических горлодеров, которые, заполучи они власть, могли бы стать настоящими деспотами, ибо их целью было всем и каждому навязать свою догму. Как ни парадоксально звучит, но с такой точки зрения, Карлсбадские постановления о цензуре решающим образом способствовали сохранению духовной свободы, и Шведенов-Массов, старавшийся претворить предписания в жизнь, не предал, как Вы считаете, достойные идеалы: он пришел к ним только в старости, и потому он вполне заслуживает почетного места в моей книге. Но для этого требовалась бы более свободная от предубеждений позиция, чем та, на которой Вы стоите или, точнее, можете стоять.

Посему возвращаю Вашу заслуживающую внимания работу с выражением глубочайшего сожаления, не предлагая Вам изменить ее в обозначенном мною смысле. Даже если бы Вы этого захотели, Вы не сумели бы. Для этого Вы слишком в плену у веры в прогресс, которую я не разделяю, но стараюсь уважать.

С глубоким почтением
приветствует Вас
Ваш Альфонс Лепетит».

Двадцатая глава

Камни

Весной, когда солнце выманивает горожан на вольный воздух, или осенью, в грибную пору, случается, что дорогой между Липросом и Шведеновом идут или едут нездешние. На перекрестке, названия которого — Драйульмен — они не знают, их внимание привлекает человек, занятый чем-то на проросшем корнями лесистом пригорке склона, спускающегося к низине у Шпрее. И если привыкшие к этому зрелищу местные жители, не сходя со своих мопедов или тягачей, лишь взмахивают рукой для приветствия, то пешие или моторизованные путники из Берлина или Франкфурта с любопытством поднимаются на пригорок, чтобы посмотреть, что здесь человек, один в лесу, копает или долбит. А тот, покрытый потом, не обращая ни на кого внимания, расчищает фундаментные стены дома и затем копает между ними дальше. И стоя на набросанном им земляном валу, каждый второй зритель вспоминает шутливое слово «кладоискатель». Если лопата наталкивается на препятствие, земле-

коп откладывает ее в сторону и осторожно выгребает камень руками, булыжники он небрежно кидает в лес, кирпичи же, даже в обломках, бережно очищает, осматривает со всех сторон и укладывает друг на друга. На приветствие отвечает коротко, но дружелюбно, охотно подсказывает дорогу, однако в разговоры, отвлекающие от работы, не вступает.

Он какой-то затравленный, говорят люди липросскому трактирщику, справляясь о лесном землекопе,— это видно по движениям, по глазам, глубоко сидящим на небритом лице. Трактирщик с пониманием кивает головой и заверяет, что человек этот, бывший учитель, а теперь тракторист, безвреден; он, правда, слегка заучился, но в остальном, в жизни и в работе, вполне справен, жена у него молодчина, напоминает ему о еде и питье, даже приносит их, когда он в субботу и воскресенье копает там,— о нем беспокоиться не приходится. На вопрос, что же он с таким рвением ищет, трактирщик только пожимает плечами. Он об этом знает так же мало, как и его местные клиенты, давно переставшие строить догадки.

В курсе дела только некий господин Браттке из берлинского ЦИИИ, иногда наезжающий в Шведенов; он охотно рассказывает об этом интересующимся, в надежде, что они еще раз заедут в эти края и порадуют Пётча каким-нибудь сообщением, хорошо бы касательно некоего штольповского дяди — виновника нынешних изысканий Пётча.

Имя дяди — Юлиус Эберхард Вильгельм Эрнст фон Массов, он происходил из померанского города Штольп, стал в Берлине министром юстиции и, если верны гипотезы Пётча, был тем дядей Макса, который упоминается в его дневниках. В письмах дяди, после долгих поисков найденных Пётчем в одном старом штольповском альманахе, дважды речь идет о племяннике Максимилиане, который, к ужасу семьи, упорно занимается писанием, живет в лесу в одиночестве и заболел от горя, потому что не может жениться на девушке из бюргерской семьи. Местность не названа, зато пересказывается слух, забавляющий всю родню: больной от любви родственник выцарапал на многих кирпичах своего убогого жилища имя любимой.

И вот теперь Пётч разыскивает один из этих кирпичей, который с несомненностью докажет тождество Макса фон Шведенова с Максимилианом фон Массовым. Он знает, что около Драйульмена надежда на успех мала. Там лежат только отброшенные при сносе камни. Большинство их, как известно, пущено в дело в деревне. Пётч уже знает, в какие дома, амбары, хлева они могли быть встроены. Зимой, когда земляные работы придется прекратить, он их осмотрит. Да и хлева, в которых нет больше скота, то и дело сносятся. Кто в выходные дни не найдет Пётча на Драйульмене, пусть поищет его на груде щебня, лежащей между Липросом и Требачем. Он копается там в строительном мусоре и видит в мечтах свой триумф: держа на ладони кирпич, на котором сто семьдесят лет назад было запечатлено имя Доретты, он вступает в менцелевскую преисподнюю и говорит: «Вот оно, господин профессор, вот доказательство!»

Из ирландской поэзии

■

Перевод с английского Г. КРУЖКОВА

Поэзия всегда занимала особое место в истории ирландской литературы. Средневековые школы бардов, срок обучения в которых достигал двенадцати лет, готовили профессионалов высокой категории, подлинных мастеров своего дела. В ирландском обществе культивировалось почитание художественного слова, способного воздать хвалу и сразить сатирой. Поэт выполнял роль историка рода и политического советника его главы. С порабощением Ирландии англичанами, начавшимся в XII и завершившимся в XVII веке, с разрушением родовой, клановой системы из влиятельного придворного поэт превратился в нищего бродягу, но роль поэзии, изменившись, приобрела новое историческое значение. В века наиболее жестокого колониального гнета, рассчитанного на искоренение национального языка и национальной литературы, своим выживанием ирландская культура обязана прежде всего поэзии. Ее способность распространяться в устной передаче обеспечила непрерывность традиции и после того, как в XIX веке национальная литература в основном русле перешла с ирландского языка на английский. Болезненность этого перехода до сих пор переживается литературой. Одно из многочисленных свидетельств тому — публикуемое в подборке стихотворение Джона Монтегю «Пересаженная речь».

Чувство истории, бережное отношение к традиции, сознание ответственности в условиях уже второе десятилетие не ослабевающего кризиса на севере острова определяют главные черты современной ирландской поэзии. В стихотворении «Эган О'Рейли в старости без крова» Томас Кинселла — один из крупнейших современных поэтов — обращается к своему далекому соотечественнику не только для того, чтобы отдать ему дань уважения. Очевидна близость его собственного мироощущения мыслям и образам ирландского поэта, жившего в конце XVII — начале XVIII веков. Когда-то О'Рейли, начинавший как придворный поэт, а к концу жизни лишившись крова и бродя по дорогам разоренной англичанами страны, оплакивал ее, возмущаясь пришельцами, ведущими себя как хозяева на его родной земле. Прошли века, и другой лирический герой Т. Кинселлы (см. поэму «Ночной прохожий») бредет по улицам Дублина, пораженный контрастом между видимостью и реальностью. В его потрясенном сознании рождаются мрачные видения Некрополиса, города мертвых. Кричащие рекламы не могут скрыть того, что происходит в действительности: распродажу страны иностранцам, которых привлекают пониженным налогом, дешевой рабочей силой. «Обжигающим заревом воспоминаний» проходят эпизоды трагической истории Ирландии, вызывая в душе героя «неистовую жалость».

В Ирландии сейчас часто вспоминают слова У. Х. Одена из стихотворения, посвященного памяти У. Б. Йитса: «Безумная Ирландия свела тебя с ума и сделала поэтом». Национально-освободительное движение начала века вызвало подлинное поэтическое возрождение. Нечто подобное наблюдается в Ирландии 70-х годов.

Ольстерские события стали критическим, поворотным моментом в творчестве всех четырех представленных в подборке поэтов. Расширялся и углублялся взгляд на современную жизнь в сопряженности с историей, менялось мироощущение. Поэма Т. Кинселлы «Чертова дюжина» (1972), сборники стихов Дж. Монтегю («Каменистое поле», 1972), Ш. Хини («Север», 1975), И. Боланд («Конь войны», 1975) — не только прямой отклик на трагические события, но и их осмысление в масштабах истории.

Произведения эти не остались только данью времени. О том, сколь существенно изменилось поэтическое видение, можно судить по следующим книгам Джона Монтегю и Шеймаса Хини, в которых они как бы возвращаются к своим изначальным темам.

Любовная лирика всегда доминировала в творчестве Монтегю. После размышлений о судьбе родного Ольстера в «Каменистом поле» поэт вновь обращается к вечной теме любви. Сборник под названием «Великое одеяние» — его самая личная книга, написанная как роман о любви. Мотивы одиночества, страдания, характерные для лирики Монтегю 50 — 60-х годов, уступают место любви радостной, осуществившейся, через нее утверждается вера в неисчерпаемые возможности человеческих чувств. Поэт хочет защититься любовью, как «талисманом покоя, заклятием от тревоги, от боли». Но мир личных чувств раскрывается не столько в противопоставлении, сколько в соотнесенности с миром общественным. Образ лирического героя Монтегю освещен заревом пожара, не утихающим на его родине. Мысль о нем не оставляет поэта. Об этом говорит предпосланное книге четверостишье: «Пою о любви, /Хотя моя страна в огне,/ Смогу ли разомкнуть/ Этот пылающий круг».

Название последнего сборника Хини — «Полевые работы» — отсылает к темам его ранних стихов: сельской жизни, крестьянскому труду. В нем вновь проявляется умение поэта вглядеться в детали крестьянского быта, выписать их крупно, точно найденными словами. Но мир, ограниченный крестьянским полем, ему узок. «Я чувствовал, что умение отдаваться звукам, радоваться, находя для них соответствующие слова,— еще не все: этому противостояла другая часть моего существа, которая признавала окружающий мир и требовала чего-то большего»,— говорил Хини в конце 1979 года.

В «Полевых работах» он возвращается на свою «территорию», в мир природы, в котором он видит основание жизни. Сельская тишина, уединение в Уиклоу — сюда поэт переехал из Ольстера, где ему угрожали расправой протестантские экстремисты,— рождают мелодии «Глэнморских сонетов». Но, как говорит сам Хини, «обращение к общественному кризису может происходить и на собственной территории, если она окрашена его цветом». Подобно тому как зарево пожара окрашивает любовную лирику Джона Монтегю, в его отсветах резче проступают контрасты света и тени «сельских идиллий» Шеймаса Хини. Мирная тишина Глэнмора взрывается грохотом английских бронетранспортеров. Там, на Севере, они нарушили покой древней, овеянной легендами дороги (стихотворение «Дорога в Туум»).

Чувство боли, сопричастности тому, что происходит кругом, собственной ответственности («Куда бежать, кого предупреждать,/ Стучась в глухие запертые двери, /О ранних и непрошеных гостях,/ Которых нужно поскорей спровадить?») не оставляет поэта и тогда, когда он пишет, следуя ритмической структуре знаменитого стихотворения Йитса «Рыбак», о поразившей его судьбе другого рыбака («Убитый»). 30 января 1972 года, когда английские парашютисты стреляли в мирную демонстрацию, стало «кровавым воскресеньем» в современной истории Ольстера. В знак траура по тринадцати убитым ирландцам экстремисты из ИРА объявили свой комендантский час. Пренебрегший им простой рыбак, безработный католик — в защиту таких, как он, и выступали демонстранты, борцы за гражданские права в Северной Ирландии,— поплатился жизнью, погиб от бомбы, брошенной в пивную, куда он по обыкновению зашел. Перед лицом еще одной трагической жертвы североирландской драмы поэт осознает свой неоплаченный нравственный долг.

Чувство долга, душевной муки толкает Ивен Боланд на поиски таких слов, которые бы обладали силой остановить кровопролитие, вызванное английскими колонизаторами, преградить путь «Коню войны». Еще в древней Ирландии полноправным членом поэтического цеха была женщина. Большой «удельный вес» творчества поэтов-женщин критики отмечают как уникальную черту ирландской литературы. Ивен Боланд занимает в современной литературной жизни особое место: представляя текущую ирландскую поэзию в прессе и радиопрограммах, она выступает организатором интереснейших обсуждений насущных проблем литературы. А в стихах ее звучит прерывающийся от волнения голос любящей женщины, тревога за жизнь возлюбленного, потрясенность гибелью ребенка.

Знакомство с несколькими произведениями четырех крупных ирландских поэтов, конечно же, еще не означает знакомства со всей современной ирландской поэзией. Тем более что в Ирландии, давшей миру великого У. Б. Йитса, еще не оцененного в полной мере Остина Кларка, впервые собирается такой богатый разнообразием творческих индивидуальностей поэтический урожай. Знакомство это, надо надеяться, закрепится и расширится новыми журнальными публикациями и отдельными изданиями переводов ирландской поэзии.

А. САРУХАНЯН

◆

ШЕЙМАС ХИНИ

Реквием повстанцам 1798 года

Карманы набивали ячменем —
Ни передышки, ни костра в дороге.
Нас выручали быстрота и скрытность;
Жуя ячмень, священник и бродяга
К земле холодной прижимались рядом.
Мы уходили, как могли. Сквозь конных
С дрекольем прорывались, на пехоту
Пускали перепуганное стадо,
А сами отступали за овраги,
Где кавалерия нас не могла достать.
И так до рокового дня сраженья
На Винегар-Хилл. Что могут сделать вилы
Против гремящих пушек? Склон холма
Стал красным, пропитавшись кровью павших.
Зарыли нас без савана и гроба.
А в августе ячмень пророс над нами.

Копающие

Из моего кулака
Выглядывает авторучка,
Как пушка из укрытия.

Слышен негромкий, четкий скрип
Лопаты, входящей в трудную землю.
Это отец копает. Я смотрю в окно

И вижу его напряженную,
Ссутулившуюся спину
Среди цветочных клумб.

Вот так же он картошку копал
Двадцать лет назад,
Ритмично сгибаясь и разгибаясь
Над бороздой.

Грубый башмак утвержден
На ребре лопаты. Черенок
Образует надежный рычаг,
Упираясь в колено.

ШЕЙМАС ХИНИ — SEAMUS HEANEY (род. в 1939 г.).

Ирландский поэт. Первая книга стихов «Смерть натуралиста» («Death of a Naturalist») вышла в 1966 г. Его стихи вошли во многие антологии ирландской, британской и европейской поэзии. Стихи Шеймаса Хини печатала «Иностранная литература» (1976, № 2). Публикуемые стихотворения взяты из книг «Дверь во тьму» («Door into the Dark». London, Faber and Faber, 1969) и «Полевые работы») («Field Work». London, Faber and Faber, 1979).

Он ботву выворачивал,
Он врезался в землю,
Выбрасывая картошку, которую мы
Подбирали, радуясь ее холодной
Тяжести на ладони.
Видит бог, старик умел ворочать лопатой.
И его старик тоже умел.

Дед нарезáл за день больше торфа,
Чем любой на Тонеровом болоте.
Однажды я принес ему молока в бутылке,
Заткнутой обрывком бумаги. Он распрямился,
Выпил — и снова ушел в работу,
Размечая и нарезая лопатой,
Перебрасывая через плечо
Черные брикеты,
Опускаясь все глубже и глубже
За хорошим торфом. Копая.

Запах картофельных клубней,
Стук и хлюпанье мокрого торфа,
Отрывистый скрип железа —
По живым корням памяти
Доходят ко мне.
Но у меня нет лопаты,
Чтобы пытать ту же судьбу.

Из моего кулака
Выглядывает авторучка.
Буду ею копать.

*Дорога в Туум**

Однажды утром на шоссе я встретил
Колонну бронетранспортеров,
Они прострекотали мимо на толстых шинах,
Сплошь в маскировке из ветвей ольховых,
Над люками — солдаты в шлемофонах.
С чего они разъездились так вольно
Здесь, по моим дорогам? В этот ранний час
Спала округа. Я один был стражем
Ее угодий, пустырей, скота,
Стоящих под навесом тракторов,
Ям силосных и мокрых крыш пристроек
Из красной и зеленой черепицы.
Куда бежать, кого предупреждать,
Стучась в глухие, запертые двери,
О ранних и непрошеных гостях,
Которых нужно поскорей спровадить?
О сеятели терпеливых зерен,
Могильных воздвигатели камней...

Когда несутся эти колесницы,
Щетинясь автоматными стволами,
Я ощущаю, как колеблет воздух
Языческая дрожь — перед немым,
Жестоким и таинственным кумиром.

---

* © Seamus Heaney, 1979.

Убитый *

I

Бывало, он пил один,
И заскорузлой рукой
Стакан поднимал пустой,
Заказывал снова джин
Или, красноречиво
Палец загнув крючком,
Банку крепкого пива
Требовал. А потом,
Когда кабак закрывался,
В кепке и в сапогах
Резиновых он направлялся
В сырой, моросящий мрак.
На безработном пособии,
Не лодырь, не инвалид...
Мне нравился он — особенно
За невозмутимый вид,
И то, как ронял он слово
Метко да с хитрецой,
Острый взгляд рыболова
И будничное лицо.

Непостижимо чудна́
Была ему жизнь поэта,
Порой, за стаканом вина,
Со своего табурета
Склоняясь с ножом в руках
Над черной табачной плиткой,
Он, под влияньем напитка,
Заговаривал о стихах.
И мне оставалось обычно,
Чтобы не снисходить,
Ловко и политично
Беседу переводить
На проблемы ловли сельдей,
На качество местных блюд
Или на лошадей.

Но мой сомнительный труд
Он тоже, я знаю точно,
Оценивает сейчас.
Его разорвало в клочья
В кафе, в комендантский час,
На третий день после бойни
В Дерри. Стены кричали:
ТРИНАДЦАТЬ НОЛЬ
В ПОЛЬЗУ ТОММИ,
А люди, дрожа, молчали.

II

День был сырой и туманный,
Холодный ветер клубил
Черные сутаны,
Мелкий дождь моросил,
И пробирало ознобом
Молча стоящих людей.
Гроб выплывал за гробом
Из церковных дверей,
Словно цветы проплывали
Медленною рекой.
Похороны обвивали
Длинною пеленой,
Связывая и сближая
Дальних и родных,
Юных и возмужалых,
Мертвых и живых.

Но его в этот час вечерний
Удержать не могли никак
Телефонные предупрежденья,
На воротах траурный флаг.
Я вижу его в то мгновенье,
Когда бомба влетела в зал,
Ужас и удивленье
В расширившихся глазах,
Слепнущих в пламени взрыва.

Он ушел далеко,
Ибо его, как рыбу,
По вечерам влекло
Туда, где тепло и свет,
На приманку огней,
В дымную сеть сигарет,
Стаканов, кружек, локтей
И жужжащего говорка...
В чем же его вина?
Так ли она велика,
Чтобы платить сполна?
Голос его, как прежде,
Слышу наедине:
«Ты учился в колледже,
Так растолкуй же мне».

III

Я не жалею, что не был
На его похоронах.
Серенькое небо,
Надписи на венках...
Шествие неторопливо,
Жалостный разговор,
Дребезжащий с надрывом,
Как холостой мотор.
Донка выбрана с ходу,
Пар над водой стоит,
Винт опрокинут в воду,
Лодка в туман летит.
Он меня брал с собою,
Он научил меня
Радости — встать с зарею,

Леску тянуть со дна,
Клев проклинать с улыбкой,
Словно бы ты нашел
В этой реальности зыбкой
Ритм, что тебя повел —
Милю за милей — туда,
За косяком уходящим,
В море, все дальше, вдаль...

Призрак, шумно сопящий,
Бредущий за мной сквозь дождь,
Какого ответа ты ждешь?

ТОМАС КИНСЕЛЛА

Поэт Эган О'Рейли в старости без крова

Он встал с трудом на холодной заре и снова побрел
По кремнистой дороге, ветром толкаемый в спину,
Прислушиваясь к бурчащему, как старая карга, животу.

Соленая бездна обдала его брызгами, он промокал
Все больше с каждым ударом волн об утес.
Их бессмертная ярость его забавляла.

Лепестки ириса склонялись над рвом. На ветру
Трепетали расслабленно духи, принявшие вид
Листьев, и, как обреченного, провожали его бормотаньем.

Он сомкнул багровые веки. Пришельцы ползли,
Королевские замки челюстями круша,
К небесам обращая металлические жующие морды.

«О королевичи, исчезнувшие невозвратно,
Где б я ни странствовал, всюду встречал
Эти высокие башни — закупоренные сердца.

Так же, как ваших детей, голодных досель —
Хоть я и питал их души упорной хвалой, —
Я вас заключаю в прохладный приют моего ремесла.

Враги наши множатся. Уже и море на их стороне.
Этой ночью прибой, грохоча, не давал мне уснуть.
Утром улитка с морским котом восстают в животе».

ТОМАС КИНСЕЛЛА — THOMAS KINSELLA (род. в 1928 г.).

Ирландский поэт. Первые книги его стихов появились в конце 50-х годов. Публикуемые стихи взяты из сборника «Ночной прохожий» («Nightwalker». Dublin, London, Faber and Faber, 1968).

Ночной прохожий

(Из поэмы)

... Тень моя
Выламывается пред каждым встречным
Столбом фонарным. В голубом окне —
Болотный огонек; там кто-то ходит
И вдруг проваливается словно в яму.
На маленьких экранах рты беззвучны,
Фигуры перекошены, сутулы,
Как будто бальзамируют кого-то
В мертвящем, жутком свете подземелья.
Немые жесты, паузы. Площадка
Вблизи Некрополиса.
Полночь.
Тень входит, как ночная стража, в улей
Его объемистого мозга. Окна
Угрюмо пожирает этот бледный
Нездешний свет.
Нам, видно, умереть
Не суждено, унылым привиденьям...
Любовники раскинулись устало,
Опустошенные — в журчанье сонном
Ночной реки. Устроились уютно
В своих ячейках — и мерцают слабо,
Как жирные личинки.
О луна!
Их тысячи — перегородок хрупких,
Где теплый полумрак и чревный сок,
В готовых к черту разлететься сотах!
Так размышляя, дальше прохожу,
Стреноженный бродяга. Тень моя
Выламывается в фонарном свете.

■ ■ ■

Я должен лечь со всеми, и уснуть,
И встать со всеми в час, когда рассвет,
Коснувшись серых простыней и лиц,
Разбудит нас. И нехотя, со скрипом
Мы спустимся чайку глотнуть на кухню,
Потом, с портфелями — хоть в дождь, хоть в снег —
Вдоль аккуратных садиков соседей —
Уордов, Блумфилдов — на остановку
(Готовые для подвига дневного) —
Шуршать газетой, морщиться от ветра...
Мы разве не должны служить
Нашей промышленности, нашим банкам
И государству, образуя общность,
На принципах основанную ясных,
Без всяких там навязчивых идей?
И (с треском раскрывая зонтик) верить,
Что в нашу переходную эпоху
Навязчивые старые идеи
Лишь тормозят...
Одетое в огни электросварок,
Оно маячит возле входа в гавань —
Выгодное дело,
Сзывая нации: сюда, сюда!
Всегда открыты золотые двери:
Вложите в нас свой капитал, уменье,

Энергию и все излишки жира.
А мой народ прислужит им в отелях,
Подаст им гнев свой местного разлива,
А наши деятели и бизнесмены,
Болтая, им покажут из окна
Разросшиеся кварталы, объяснят
Возможности, рабочие ресурсы,
Условия для ввоза капитала,
И как любому западному немцу
Купить себе чудесное поместье,
Даже собрать коллекцию работ
Способных наших юных живописцев...
Какая мрачная картина!
Все это — чистоплюйство, наконец.
Кирпич из грязи делают, не так ли?
Нам нужно много кирпичей,
Чтоб строить нашу башню.

ДЖОН МОНТЕГЮ

Пересаженная речь

(Отрубленная,
окровавленная голова
силится прохрипеть
слова чужого языка:
в мутном
навязчивом сне
застрявшая во мне
заикающаяся тоска.)
Плачет
ирландский мальчишка,
отвечая английский урок.
Каждую ошибку
учитель
отмечает на бирке,
болтающейся
на шее ученика,
как звонок
на корове или привязь
на шелапутном козле.
Коверкая каждый слог,
путаться
со стыдом и отчаяньем
в собственном имени
и плестись домой,
чувствуя,
как родной очаг
с тлеющим торфом
становится тебе чужд.
В овчарне
и в хижине они до сих пор
говорят на своем языке —
ты не можешь вступить в разговор.
Приживить
чужой язык —
такая же мука,
как снова родиться.
Через сто лет
внук твоих внуков
споткнется о потерянный слог
наречья, которого нет.

© John Montague, 1978.

ДЖОН МОНТЕГЮ — JOHN MONTAGUE (род. в 1929 г.).

Ирландский поэт, новеллист, критик. Печататься начал в 50-е годы. Составитель антологии ирландской поэзии. Публикуемые стихотворения взяты из «Фейберовской книги ирландских стихов» («The Faber Book of Irish Verse». London, Faber and Faber, 1974) и из сборника «Великое одеяние» («The Great Cloak». Dublin, The Dolmen Press, 1978).

Прощание Дон Жуана

Дамы с которыми я бывал
        в затененных спальнях
сладкая дрожь плоти
        сумерки от штор
длинные полосы света
        на всхолмленной груди
теплые курганы
        дышащие негой
юная плоть
        благоухающая смятыми
                розами
страстная ласковость
        увядания
шаткая свеча
        скрывающая голубизну вен
красноречивое изнеможение
        угасающий свет
когда вашу подругу
        относит дремотой
к теплым берегам сна
        и вы медленно приходите
                в себя
чтобы не поддаться
        заманчивой иллюзии
о поисках в чужом
        и уступчивом теле
чего-то нехватающего
        вам самим
пока глубокая ночь
        черным лебедем
проплывает мимо
        спрятав голову под крыло.

Разобщение

Твоя ошибка, моя ошибка.
Извивающиеся головки,
полная корзина змей.

Разъезд

Плывут две рыбы:
одна — вниз по течению
в теплых
знакомых струях;
другая, утягиваемая
против потока,
отчаянно вращается
с золотым
брачным крючком,
раздирающим гортань.

Ожидание

Еще один летний улетающий день.
Эвелин стоит коленями на валуне,
грудь ее набухла приближающимся материнством,
волосы выгорели до бледно-золотого
цвета меда, исконного символа добра.
Бабочка, приблизившаяся к ее наготе,
удивленно глядит сквозь дымку дня
на ее гладко выточенную фигуру, подобную
русалке или деревянной Венере
на носу корабля, призывающей
солнце, охраняющей от непогоды.
Чайки кружатся ореолом вокруг ее головы,
пронизанной светом, как воды Уиклоу
в полдень. Вина моя и гордость моя.

Дочь

Уне

Отблеск огня вспыхивает
на твоей щеке и гаснет.
Отныне ты скрыто присутствуешь
во всем, что я пишу;
невидимые чернила любви,
водяной знак сердца.

ИВЕН БОЛАНД

Конь войны

Этой ночью сухой — ни грозы, ни тревоги,
только стук, только цокот по темной дороге.

Бьют копыта, со звоном затишье тараня
и подковами смерть за собою чеканя.

Сдвинув штору, увижу я, как пронесется
мимо жесткая грива и круп иноходца,

до свистящих ноздрей распаленного в беге,
оборвавшего привязь на цыганском ночлеге

по пути в Эннискери!.. Вот — смолкло и скрылось.
Поглядите — особой беды не случилось!

Только крокус лежит, подвернувши неловко
изуродованную луковичную головку,

только сломана белая ветка жасмина,
да погибшая роза затоптана в глину,—

как боец ополчения, насмерть сраженный
в первом приступе, в первых рядах обороны.

Но мы, мы-то целы, и чего нам бояться,
когда страх позади, и к чему волноваться,

если куст или клумба раздавлены грубо,
и валяются роз искалеченных трупы?

Он проносится дальше, как слухи о войнах,
вдоль зашторенных окон, вдоль улиц спокойных.

Слава богу, не к нашей калитке, не к нашей!
Можно просто забыть о грозе миновавшей,

облегченно вздохнуть, зря себя не тревожа,
можно кровь успокоить и совесть... И все же

стебли роз, на ограде повисшие плетью,
разве вам не напомнили о лихолетье,

об огне, о сожженной земле — или шире —
об усильях погибших, о преданном мире?

© Eavan Boland, 1975.

ИВЕН БОЛАНД — EAVAN BOLAND (род. в 1945 г.).

Ирландская поэтесса, критик. Первый сборник ее стихов «Новая территория» («New Territory») вышел в 1967 году. Публикуемые стихи взяты из книги «Конь войны» («The War Horse», London, Victor Gollancz, 1975).

Велосипедист с охапкой цветов

В веснушках руки на руле,
летящий велик в толчее
колес, гудков, стекла
в час пик — приметился ли мне,
пригрезился — в том сентябре,
где я тебя ждала.

Как, в трубке закипая, ртуть
ни задержаться, ни свернуть
не может, хоть убей,
так я — на градусе тоски —
катилась в пропасть — вопреки
всей логике вещей.

А на руле его цветы,
как мая детские мечты
иль спелых ягод гроздь, —
так я подумала сперва,
но, приглядевшись, поняла:
то взгляды зимних звезд.

И ты — растерянным лицом —
вдруг показался беглецом
с погоней по пятам;
ведь этих веток поздний цвет —
не предсказанье лета, нет —
один самообман.

И раз уж мы отсечены —
не от корней — лишь от весны,
наш долг — благодарить
за то, что свет мы обрели,
взглянули в небо — отцвели —
и живы, чтобы жить.

■

КРУЖКОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1945 г.).

Советский поэт и переводчик англоязычной поэзии. Переводил стихи Дж. Донна, Э. Марвелла, Дж. Китса, Р. Киплинга и др.

МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС

Кому отдаст голос сеньор Кайо?

РОМАН

Перевод с испанского и вступление Л. СИНЯНСКОЙ

Новый роман известного испанского писателя Мигеля Делибеса занимает особое место в испанской литературе послефранкистского периода, когда книжные полки и внимание читателя долго и прочно были заняты так называемой «литературой свидетельства»: воспоминаниями, документами, репортажами, многие годы хранившимися в памяти или ящиках письменных столов и лишь теперь получившими возможность увидеть свет.

В романе М. Делибеса — первом крупном художественном произведении, рассказывающем о послефранкистской Испании,— нет атмосферы праздника, его тональность откровенно грустная. Это объясняется не только мироощущением писателя, но и причинами, коренящимися в испанской действительности 70-х годов. Роман отражает настроения, которые чувствуются в разговорах с испанцами, при чтении их газет и книг. Об этом, в частности, сказал Франсиско Фернандес Ордоньес, политик либерального толка, занимавший министерские посты в послефранкистских правительствах, который начал свою книгу «Испания, какая необходима» следующими словами: «Демократия в Испании похожа на невеселый праздник. Как будто полинялые декорации позаимствованы из другой торжественной церемонии, а слова не вызывают желания действовать, не рождают радужных надежд в отношении будущего. Некоторые испанцы полагают, что к случаю подходят строки из Бергамина: «Все прошло, все осталось как было». Другие устали переживать «исторические эпохи» и хотят обрести простые, повседневные ценности, которые, как им кажется, находятся под угрозой».

Казалось бы, действительно, «все прошло». С диктатурой покончено, ненавистные франкистские государственные порядки сломаны, проводятся выборы, принята конституция, легализованы политические партии,— Испания все больше становится похожей на страны Западной Европы с парламентским режимом. Однако в то же время «все осталось как было». Формальные свободы не сопровождались коренным изменением общественных структур, глубинные проблемы не были решены и лишь обострились (прежней осталась феодальная система землевладения, не ликвидировано вековое экономическое отставание ряда районов, национально-культурная разобщенность отдельных областей усугубилась). Страна охвачена беспокойством и неуверенностью. Уже после того, как был опубликован роман Делибеса, обнаглевшие «ультра» поставили демократию под серьезнейшую угрозу — вспомним попытку переворота 23 февраля прошлого года... Как будто бы действует механизм народного волеизъявления, однако Испанию тащат в Атлантический союз, хотя большинство испанцев этого явно не хочет... Не удивительно, что большие надежды сразу же после смерти кау-

---

МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС — MIGUEL DELIBES (род. в 1920 г.).

Испанский писатель. Академик. Юрист по образованию — доктор права. Получил известность после опубликования романа «Тень кипариса длинна» («La sombra del ciprés es alargada», 1947), за который был удостоен литературной премии Надаль. В последующие годы вышли романы «Пока еще день» («Aún es de dia», 1949), «Мой обожаемый сын Сиси» («Mi idolatrado hijo Sisi», 1953), «Парабола крушения» («Parábola del náufrago», 1970), «Войны наших отцов» («Las guerras de nuestros antepasados», 1975) и др. «Иностранная литература» познакомила читателей с творчеством М. Делибеса, напечатав его роман «Пять часов с Марио» (1974, № 11, 12). На русский язык переведены также роман «Крысы», повесть «Дорога».

Роман «Кому отдаст голос сеньор Кайо?» («El disputado voto del señor Cayo». Barcelona, Editiones Destino Coleccion) вышел в 1978 году.

дильо сменились чувством неудовлетворенности и разочарования. Эти настроения и заучат в романе Мигеля Делибеса.

Новые времена — новые нравы... Что принесут они сеньору Кайо, крестьянину из вымирающего эстремадурского селения, затерянного в горах? Изменят ли они что-нибудь в жизни этого человека, за голос которого на предстоящих выборах идет борьба? Возможно ли убедить его, что голос его действительно будет иметь вес в решении судеб страны? И можно ли вернуть жизнь тысячам таких селений по всей Испании, которые неокапиталистическое развитие страны, начавшееся еще при Франко, обрекло на гибель?

В романе много говорится о политике. Не о политике вообще, а о конкретной политической жизни, что прорвалась и заклокотала в стране, которую на протяжении десятилетий режим каудильо упорно пытался усыпить, множа зрелища футбольных состязаний и боя быков в национальном масштабе. Отдельные страницы романа даже напоминают репортаж: подробно разрабатывается план агитпоездки, детально рассказывается о буднях партийной ячейки — в данном случае речь идет о социалистической партии,— мимоходом упоминаются хорошо знакомые всем испанцам имена сегодняшних политических деятелей. Сеньору Кайо, поглощенному насущными проблемами существования, эта политическая жизнь, пришедшая в глухое селение из города, кажется непонятной и никчемной. Он не верит, что политика что-то может переменить. Его симпатии не подлежат сомнению. В решающий момент, когда происходит открытое столкновение молодых социалистов с фашиствующими молодчиками, пытающимися по старинке силой решить все проблемы, герой романа Делибеса — на стороне первых. И все же порой политическая жизнь в романе и впрямь выглядит суетой. Это подчеркивается сопоставлением неспешных и мудрых поступков и речей сеньора Кайо с казенными формулировками и замусоренной речью молодых агитаторов из соцпартии, приехавших в селение с намерением «научить жить» старого крестьянина. Впрочем, автор не спешит осудить молодых партийных функционеров с их расплывчатыми обещаниями, он только заставляет читателя вместе со своими персонажами усомниться в том, что демократия (в данном конкретном случае — парламентско-буржуазная система) способна решить проблемы Испании, Эстремадуры, сеньора Кайо — даже если теперь можно голосовать за того или иного кандидата; своей книгой он подталкивает к тому, чтобы еще раз задуматься над ценностью несуетных знаний, вековых обычаев и ясности восприятия жизни — всего того, что мы называем народной мудростью и что накапливается народом на протяжении тысячелетий.

С нежностью и болью следит Делибес за своим героем, умеющим слышать ритмы земли-кормилицы, черпать у нее силы, учиться у нее мудрости. В грустную тональность романа вплетается и опасение автора: как бы вместе с забвением смысла древних слов и понятий не утерять собственных корней, не утратить смысла и возможности человеческого существования на земле.

I

Он взбежал по лестнице через две ступеньки — чуть наклонившись вперед, тяжело дыша,— ко второму этажу дыхание сбилось, он остановился на площадке передохнуть и левой рукой оперся на перила. Под потолком слабая лампочка, схваченная металлической сеткой, освещала облупившиеся стены, благородные, стершиеся по краям деревянные ступени, все в пыли точеные балясины перил, двери двух квартир слева и справа, уставившиеся друг на друга бронзовыми глазками, карнизы и лепку — все излишества барочного стиля. На одной из дверей, той, что ближе к Виктору,— белая пластинка с отбитым краем: «Димас Реглеро. Врач. Ухо, горло, нос».

Виктор сделал глубокий вдох и тихонько потер подбородок. «Не тот стал, твою мать. Сказываются годы бездействия»,— пробормотал он еле слышно. На четвертом этаже хлопнула дверь и послышались ровные, размеренные шаги — кто-то спускался. Он подождал. На лестнице показался Артуро в светлом осеннем костюме с галстуком в коричнево-белую полоску, заколотым золотой булавкой с эмблемой партии. Увидев Виктора, удивился:

— Что ты тут делаешь? Как не в себе!

Они поглядели друг на друга, Артуро — несколько свысока. В лестничной клетке гулко мешались доносившиеся сверху, из помещения ячейки, голоса товарищей с говором теледиктора и пением Леонарда Коэна из передачи «Песни из одной комнаты».

— Дани наверху?

— Спрашивал тебя.

Артуро покусывал нижнюю губу и все время поводил подбородком, как будто хотел высвободить зажатую под воротником рубашки кожу. Виктор улыбнулся. Вытащил из кармана куртки рекламную брошюрку и развернул.

— Как тебе эта пропаганда по-американски? — спросил он.

Артуро кашлянул, заметно смущенный. Конечно, странно было видеть собственное изображение на фотографии, сделанной в ателье,— трубка в зубах, натужно-веселая улыбка. Он потер подбородок. Сказал глухо:

— Не поверишь, но эта пропаганда в стиле Кеннеди действует.

Виктор с сомнением покачал головой.

— Может быть,— сказал он.— А не перехватил ли ты чуток?

— Чего уж там, какие теперь угрызения...

Виктор не ответил. Он раскрыл брошюру: слева моложавый Артуро в футбольных трусах бежал по зеленой лужайке за мячом, которого не догнать. Внизу стояла подпись: «Спорт в массы». На картинке справа Артуро, откинувшись на диванные подушки и положив руку на хрупкие плечи своей жены Лали, нежно смотрел на двух светловолосых девочек, играющих у его ног с тряпичной куклой. Подпись внизу гласила: «Образование — для всех». Виктор захлопнул брошюрку, не переставая улыбаться. Поднял серые, чуть усталые глаза.

— А это? — показал он на заднюю обложку. Там Артуро, в расстегнутой рубашке без пиджака, сидел на скамейке у кирпичной стены на солнышке в окружении стариков в каком-то селении. Внизу говорилось: «Достойный третий возраст». А еще ниже, на всем остававшемся пустом месте, самым крупным шрифтом: «ЕСЛИ ТЫ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ИСПАНИИ, ГОЛОСУЙ ЗА АРТУРО ГОНСАЛЕСА ТОРРЕСА — ДЕПУТАТА В СЕНАТ». В глазах Виктора мелькнула ирония. Артуро опять сжал губы и выставил подбородок.

— Нравится тебе или нет, а идет хорошо,— сказал он,— впечатляет, старик. И не путай сенат с конгрессом. В сенат выбирают личность.

— Может быть,— сказал Виктор. И так как Артуро ничего не ответил, добавил: — Ну ладно, я пошел.

— Пока, до скорого.

Виктор медленно одолел остававшиеся до четвертого этажа пролеты и толкнул дверь, на которой кое-как обрезанная картонная табличка гласила: «Входите без стука». В прихожей с высоким потолком, загроможденной флагами, плакатами, эмблемами партии и гигантскими снопами прислоненных к стене рулонов, кипела жизнь. Сигаретный дым, голоса, смех, распоряжения, листовки и брошюрки, в кипах и рассыпанные по паркету, наспех вымытому две недели назад, а на фоне всего этого — непрекращающийся поток юношей и девушек с большими значками на груди и броскими рекламными наклейками на джинсах сзади. По временам, когда смех и разговоры чуть стихали, становилась слышна из дальних комнат ритмическая музыка радио или магнитофона, сливавшаяся с однообразным голосом теледиктора в соседнем помещении. У самой двери два парня — один рослый, со светлыми вьющимися волосами и ласковыми глазами, другой низенький, коренастый, с невероятно короткими руками — мешали клей в синих пластмассовых ведрах. У стены, под плакатом, изображавшим широко улыбающегося лидера, несколько человек пылко спорили с Хуанхо Мерино, облаченным как всегда в красный свитер, свободный, растянутый до самых колен.

Виктор остановился на пороге, перед пластмассовыми ведрами. Кудрявый парень теперь свертывал плакаты и рассказывал своему

товарищу, как прошлой ночью ребята из «Народного союза» [1] попросили у него клею.

— И ты им дал?

— А почему же нет, у меня дополна было.

— Не в этом дело, старик.

Из-за угла коридора показалась глянцевая лысина Кармело, сверкающая над очками в толстой черной оправе; он вел под руку Лали и что-то доверительно втолковывал ей — видно, давал наставления. Лали слушала, вытянув стройную шею,— волосы небрежно собраны на затылке в конский хвост, невесомая и благоухающая, словно только что из ванной. В этом разноголосом шуме и безалаберной суете тоненькая Лали казалась видением. Глаза ее на мгновение задержались на Викторе, и она едва заметно, бегло улыбнулась. И Кармело, широкий и коренастый, со сверкающей лысиной, заметил его и подал знак рукой. Выпустив руку Лали, сказал:

— Прости.

Направился к Виктору.

— Ужинал?

— Перекусил внизу,— ответил Виктор.

— Хорошо. Дани тебя спрашивал.

— Иду к нему.

Из центральной комнаты вышел Андрес и двинулся к выходу. На нем была белая рубашка, чрезмерно широкая, без воротника; длинные темные волосы свисали на уши. Проходя мимо, он похлопал Виктора по спине:

— Ну, как там было, депутат?

— Так себе,— ответил Виктор.

Кармело пальцем поправил очки на переносице и набычился:

— Нехорошо, что ли?

— Как всегда,— сказал Виктор.— Начал алькальд обычной бодягой, а кончилось все в телеклубе.

— Это еще что?

— Говорят, несколько дней назад у них побывал некий Агустин и выкинул коленце — занавесил Христа знаменем. Знаешь этих типов, они думают, что все еще тридцать шестой год.

Сверкающая лысина Кармело качнулась.

— А какое отношение к этому Агустину имеем мы?

— Никакого, разумеется, но алькальд взбеленился. Говорит, что больше никого не пустит в зал заседаний, хоть сам святой Петр с небес сойдет, что хватит с нас телеклуба, а если мы хотим собирать массы, то, пожалуйста, на площади. Чушь, одним словом.

Кармело прыснул сквозь зубы:

— Массы в Вадильосе?

— Не такой уж он и маленький, знаешь. Нас собралось больше сотни.

— Ну и что?

— Ничего, выкрутились.

— Поговорили?

— Как сказать. Сегодня крестьянин стал прагматичнее, не выносит шумихи и агитации.

Кармело снова пальцем установил очки на переносице.

— Круглый стол?

— Я бы сказал, собрание в целях информации. А впрочем, называй как нравится.

Курчавый парень задел Кармело ведром с клейстером. Тот отстранился.

— Эй, осторожнее!

---

[1] «Народный союз» — испанская политическая организация, объединяющая многих сторонников франкизма. *(Здесь и далее прим. перев.)*

— Ё-мое, осторожней! Сами встали посреди дороги, а я что?

Кармело отступил на шаг. Взял Виктора под руку и открыл первую дверь слева.

— Пройдем сюда,— сказал он.

Он закрыл дверь за собой. Феликс Барко и Айюсо, что-то старательно писавшие за кухонным столом, подняли на вошедших глаза. На столе лежали исписанные, все в вымарках страницы. Кроме стола, четырех стульев, плакатов, листовок, флагов, наклеек и эмблем, сплошь покрывавших стены, в просторной комнате ничего не было. Механический голос теледиктора здесь слышался отчетливее. Айюсо улыбнулся одной стороной рта. На правой скуле красовался огромный синяк, верхняя губа воспалилась и распухла.

— Эй, депутат, садись помогай.

— Что это?

Кармело наклонился всем своим грузным туловищем над столом и взял один лист. Рассеянно пробежал его глазами.

— Данины штучки,— пояснил он.— Хочет, чтобы каждый кандидат обратился с письмом к избирателю.

— Очередная шумиха?

— Говорит, надо противопоставить что-то стратегии Суареса [1].

Айюсо хлопал ресницами, как кукла. На нем был экстравагантный жакет из темной парусины, без рукавов и лацканов, с большими карманами по бокам, собиравшийся гармошкой на поясе. Он процедил сквозь зубы:

— Дани — он такой, немного максималист.

Виктор взял из рук Кармело лист и пробежал его, а Кармело наблюдал за ним поверх очков:

— Что там написано?

— Чушь.

Виктор дочитал, сморщился и покачал головой.

— Не нравится мне это,— сказал он.

Феликс Барко протестующе замахал маленькой темной ручкой с черными неопрятными ногтями:

— Сука ты, больше никто.— Он покосился на Айюсо.— Два часа тут ломаем голову, а приходит депутат, и ему, видите ли, не нравится.

— Пойми же,— сказал Виктор.— Эта махровая агитация никому не нужна.

— А ты мне скажи, как ты съешь орех, если вначале его не долбанешь?

Виктор задумчиво наморщил лоб.

— Очень просто,— сказал он наконец.— При помощи конкретной идеи.— На этом этапе избирательной кампании никому уже в глотку не лезут ваши дешевые штучки.

Кармело рассудил:

— Пожалуй, Виктор прав, мы душим людей литературой, дурной литературой.

Виктор невозмутимо продолжал, будто его и не перебивали:

— Избирателю надо сказать все три вещи, и очень простые. Первое: чтобы он голосовал. Второе: чтобы он не боялся. И третье: чтобы голосовал сознательно.

— Слушай, надоела мне эта бодяга! Я весь насквозь сознательный — до кишок! А если сознательность не совпадает с нашей программой?

— Тогда дело плохо.

Кармело снова склонился над столом, спокойно собрал листы, не переставая отбивать ритм по крышке стола, не читая, просмотрел их.

---

[1] Адольфо Суарес — испанский политик, с мая 1976 г. до января 1981 г.— премьер-министр, организатор и глава партии Центрально-демократический союз, которая победила на выборах в 1977 и 1979 гг.

— Это уж слишком,— повторил он.— Дани это тоже не понравится.

— Хамство, тогда пускай сам делает! — крикнул Феликс Барко.

В этот момент откуда-то из-за балконной решетки понеслись усиленные мегафоном выкрики, все громче и пронзительнее, заглушая все остальные шумы. В промежутках между ними слышался рокот мотора. И потом, так же постепенно, как и возникли, стали удаляться и смолкли, а дом снова наполнился привычными звуками.

— Что за дерьмо эти хиппари, покою людям не дают,— сказал Айюсо, с трудом шевеля распухшей губой.

Виктор кивнул, но так, будто не словам Айюсо, а собственным мыслям.

— Знаешь результаты опроса Консультационного института? — спросил он.

— Читали,— самодовольно сказал Феликс Барко, словно предупреждая, что его голыми руками не возьмешь.

— Ты ведь заметил — пока еще все неясно: сорок процентов в стране до сих пор не решили, за кого они, так? А значит, надо заставить их сделать выбор, завоевать их. Громкими словами? Ничего подобного: слов надо поменьше, но они должны быть простыми и искренними, должны нести нашу правду.

Айюсо положил руку на руку Феликса Барко:

— Фиг с ним, старик, не станем тягаться с Суаресом, сделаем, как велит депутат.

Виктор чуть улыбнулся:

— Не думай только, что власть — это сласть.

Кармело закивал своей бесстыдно блестящей лысиной. Феликс Барко задергал смуглыми, выразительными ручками:

— Но ты ведь не из тех, кто думает, что победа на выборах — это катастрофа?

— Нет, конечно,— ответил Виктор.— Просто я стараюсь быть реалистом.

— Ладно,— сказал Айюсо. И, не посоветовавшись с Феликсом Барко, взял с полдюжины листов, разорвал пополам и швырнул на пол. Глянул на Виктора, потускнев:

— Сделаем, как говоришь, и конец.

Кармело, явно довольный, поправил очки, повернулся и приоткрыл раздвижные двери в соседнее помещение — просторную комнату, освещенную мощной лампой, без абажура, свисавшей с лепной гипсовой розетки; под лампой, вокруг огромного овального стола на разномастных стульях, сидело десятка два юношей и девушек; их лица расплывались в табачном дыму. Все говорили разом, их гомон мешался с голосом телевизора, который стоял на низкой скамейке в углу у стены, рядом с дверью, выходившей в прихожую. Пахло кофейными опивками, прокисшим вином и сигаретами, неряшливо погашенными в пепельницах. В пространстве, не заставленном пустыми чашками и бутылками, не заваленном пачками сигарет и пепельницами, лежали стопками предвыборные плакаты с именами кандидатов, горы желтых и белых конвертов. И здесь, как в остальных комнатах, ошарашивала победная улыбка лидера, оглушали яркие пятна плакатов и флагов, пришпиленных кнопками к стенам. Приход Виктора разрядил обстановку.

— Ё-мое! Депутат пришел! — сказал Дарио как всегда многозначительно.

Рафа, восседавший в центре стола, справа от Лали, смешно наморщил свое детское личико.

— Бляха-муха! — воскликнул он.— Скажите на милость, что бы мы, бедные провинциалы, делали без мадридских умников?

На столе перед каждым лежали длинные списки имен и адресов, испещренные пометками. Анхель Абад протянул Виктору один из них.

— Ну что, разве не клево выглядит списочек с тобой во главе?

Виктор улыбался и кивал. С некоторыми перебрасывался фразами.

— Да, вижу, большая работа проделана,— говорил он.

Похоже, он оробел, обнаружив, что столько людей трудилось исключительно во славу его персоны. Сквозь стеклянную дверь видно было, как две совсем юные девочки, не замечая его присутствия, продолжали начинять конверты. Хотя все были очень молоды, чувствовалось, что они крайне утомлены. И только Лали, гордая и уверенная в себе, сидела на стуле прямо, в отличие от всех остальных, понурых и усталых. Виктор посмотрел на нее, и Лали движением подбородка — хорошо вылепленного, но чуть-чуть слишком энергичного и мужественного — указала на двери, которые Кармело только что закрыл за собой.

— Те закончили?

Виктор шевельнул бровями.

— Нет еще, продолжают.

Рафа взорвался:

— Продолжают, чтоб им пусто! Целый день продолжают, что они, в самом деле, не понимают, что к чему?

— А что за спешка?

— Конечно, спешка, чтоб им пусто. Пока они не кончат, мы не можем делать дело, а разослать надо больше ста тысяч конвертов.

Со стен глядели кандидаты, на полу томились стопки желтых и белых конвертов. В тишине раздался голос теледиктора:

— Не забудьте: «Сумо — надежное средство».

Рафа скрестил руки и смешно, как обезьяна, почесал под мышками.

— Надежное средство, ну и ну! А на дезодорантах в этом году кое-кто наживается: жара не спадает.

Маленькая, смуглая, не слишком миловидная девушка со значком на отвороте розовой блузки — Виктор видел ее в ячейке впервые — повелительно сказала Рафе:

— Кончай трепаться, старик, займись делом. Этот лист закончен?

Рафа церемонно поклонился:

— Закончен, сеньорита.

— Тогда отложи его в сторону, чтоб не запутаться.

Прерванная деятельность возобновилась. Педрито Недотепа семнадцати неполных лет уважительно обратился к Лали:

— Куда класть эти конверты?

Лали снова указала подбородком:

— Рядом с теми, но не перепутай их. У нас еще нет адресов с севера провинции.

Кармело посмотрел в окно и молча оглядел пустынную улицу, усеянную листовками. Наклонился, открыл нижнюю створку окна. Спросил:

— Не мешает? А то дышать нечем.

Анхель Абад помотал головой, Рафа сложил левую руку трубочкой, правой ладонью закрыл эту трубочку с одной стороны, а с другой дыхнул в нее.

— Если бы не предвыборная канитель...— сказал он.— Ах ты черт, братцы, ведь июнь на дворе!

Смуглая девушка в розовой кофточке не отставала:

— К которому часу надо приготовить для Арсенио текст письма?

— К восьми,— сказал Дарио.— Если успеем, к двенадцати будет готов весь тираж.

Рафа кивнул на раздвижные двери. Насмешливо сказал:

— Глядишь, и успеют.

Наступило молчание. В такт лившемуся с экрана монотонному бормотанию усердно двигались руки, двигались механически, со сноровкой, выработанной за многие часы. Анхель Абад оторвался от дела. Спросил Виктора:

— Видел сегодня по телику — выступали из КП [1]?

— Говорят, не очень удачно.

Рафа сделал презрительный жест:

— Рехнуться, старик.

— А мне показалось, ничего.

— Не знаю, меня от такой пропаганды с души воротит.

— А что они сказали-то?

— Все правильно сказали.

— Ничего себе! Это называется правильно — вытащили на экран Камачо [2], Рабаля [3], Ану Белен [4] и заявили, что они будут голосовать за коммунистов. А почему — потому что их левой пятке угодно, только и всего, бог свидетель.

— Ты просто бесишься из-за вчерашнего.

— Ничего подобного, старик. Я как рассуждаю: народ одурманен — сорок лет никто пикнуть не мог. И если мы хотим пробудить его сознание, надо давать ему не штампы, а аргументы. Яснее ясного.

— Вот ты и даешь аргументы, старик. Если народ темный, то появись любая знаменитость и скажи: «Я голосую за этого», как все — стадом за ним и не спросят даже почему.

Кармело примиряюще воздел толстенькие ручки — почти как в церкви. Потом, взяв Виктора под руку, уставился на него близорукими, умоляющими глазами:

— Послушай, хватит, Дани ждет тебя.

Рафа подмигнул:

— Ядрена вошь, сразу — к начальству. Ты что — не дашь депутату выпить чашечку кофе с массами? Ну, кому кофе?

Он обошел стол и сосчитал, тыча по очереди в каждого пальцем.

— Двенадцать черных, три с молоком, два коньяка,— подытожил он. И уже другим голосом, громко, позвал: — Примо!

— Не надо, я сама схожу, он все равно не слышит,— сказала Лали. Отодвинула стул и встала. Она шла к двери, неосознанно чуть покачивая бедрами. Рафа скосил глаза на ее обтянутые джинсами бедра.

— Девочка хорошеет с каждым днем,— сказал он, когда она вышла.— О чем только Артуро думает?

— Какой Артуро? — робко спросил Педрито Недотепа.

— Елки-моталки! Как какой Артуро? Ее муж.

— Сенатор,— пояснил Анхель Абад.

Рафа добавил как бы про себя:

— За два года сделал ей двоих детей, а теперь в упор не видит.

Смуглая девушка в розовой блузке вступила в разговор:

— Не думай, пожалуйста, будто все, что блестит,— золото.

— Ты о чем?

— Знаю о чем.

Открылась дверь, и появилась Лали.

— Сейчас принесут,— сказала она. И обратилась к Виктору:— Дани тебя зовет. Очень нервничает. Кофе тебе пришлю туда.

— Хорошо, спасибо,— сказал Виктор.

---

[1] КП — Компартия Испании.

[2] Марселино Камачо — испанский профсоюзный деятель, коммунист, один из создателей, а с 1976 г.— Генеральный секретарь Рабочих комиссий — классовых организаций испанского пролетариата, которые возникли на нелегальном положении в середине 60-х годов, а в 1976 г. были легализованы.

[3] Рабаль — известный актер театра и кино.

[4] Ана Белен — популярная певица, придерживается левых взглядов, часто выступает на митингах коммунистов.

II

В самой дальней комнате перед двустворчатой стеклянной дверью, выходящей на галерею, поставил Дани свой рабочий стол, вооруженный тремя телефонами — черным, белым и кремовым, старой пишущей машинкой, красной пластиковой папкой, двумя пепельницами, стаканчиком с карандашами, ручками и фломастерами, ящиком с сигарами и бутылкою виски. Вокруг — навалом — плакаты, листовки, флажки с эмблемой партии; на всем была печать краткосрочности пребывания тут. Когда Виктор вошел, Дани, в голубом свитере, прижав к уху белую телефонную трубку, закинув ногу на ногу, пинал воздух, то и дело поднимал правую бровь, а пальцами левой руки барабанил по плоскому подлокотнику узкого кресла, в котором сидел. За его спиной темнели стекла галереи, а за темными стеклами, по другую сторону большого двора, виднелись дома с застекленными галереями, кое-где освещенными. Увидев Виктора, Дани жестом — мол, ничего не поделаешь — показал на телефон и предложил сесть, кивнул на красное пластиковое кресло по другую сторону стола. А в трубку сказал иронически:

— Плевал я на это, дорогой, ты же знаешь...

Живое, худощавое лицо его нетерпеливо наморщилось. И поднятая правая бровь, и пинки, которыми он осыпал воздух под столом, и барабанная дробь пальцев — все говорило о внутреннем напряжении. Виктор оперся на подлокотник красного кресла, рядом с Кармело, как человек, невольно оказавшийся при разговоре, который ему неинтересен.

Он машинально оглядывал комнату и, заметив, что Кармело что-то шепчет, наклонился к нему. «Из Мадрида»,— указал Кармело на телефон. «Угу»,— ответил Виктор. Поглядев в сторону алькова, он увидел там новые кипы плакатов, брошюр и листовок и три больших ящика с пепельницами, значками и зажигалками с эмблемой партии, которых накануне тут не было. Виктор шепнул на ухо Кармело: «Когда будем распределять этот арсенал?» Тот поправил очки на носу и пожал плечами. Дани поднял руку, призывая их помолчать.

— Он как раз тут,— сказал Дани в трубку.— Гора... Уйма... Не ездить? Дюжина, не больше... Почти опустели... В горах, конечно...

Потом он долго и внимательно слушал. И вдруг наклонился в кресле, снял ногу с ноги, навалился на стол и заговорил с раздражением:

— Я?.. Мы?.. Елки-моталки, не могу же я сам раздавать их!.. Я не сплю четвертую ночь...

Чем больше он накалялся, тем глубже ложились паузы.

— Да... нет... Тоже нет... да, беру на себя... хорошо, а это безумие... Леонсио или сам святой Леонсио доставит мне... тот, что покажется вам самым подходящим.

Он то и дело отрицательно качал головой, чтобы Кармело с Виктором видели, как он тверд с партийным руководством:

— Елки, не могу же я разорваться, Сильвино, дорогой, как тебе объяснить!.. Нет... нет... Да нет же... Виктор нужен нам здесь... Завтра он отправляется в поездку.

Зазвонил черный телефон, Кармело протянул было руку за трубкой, но телефон замолчал. Через маленькую одностворчатую дверь в альков вошли две девушки и, потоптавшись возле кип и стопок, свернули два больших рулона из плакатов, кое-как перевязали их веревочкой и вышли. Голос Дани снова зазвучал резко, в нем пробилось волнение:

— Какие могут быть колебания, старик... Он должен показать себя... Буквально: выйти с ними один на один... Ну да... Учти, здесь его ни одна собака не знает...

Потом он замолчал на несколько секунд. И добавил:

— Елки-моталки, конечно, меня это волнует!.. Еще как волнует,

елки! Неоднозначно... Не беспокойся... Заметано... Заметано... сделаем, как ты говоришь... Заметано... Пока...

Он положил трубку. Набрал воздуха в рот, отчего обе его впалые щеки раздулись, и разом, словно избавляясь от досады, выдохнул. Обернулся к Виктору:

— Ну, старик, твои земляки — штучка с ручкой. Сами шагу не сделают. Как вам нравится: завтра ехать в Мадрид, сниматься на телевидении.

— Тебе?

— Мне и тебе. Спрашиваю: к чему эта шумиха? Отвечают, уже завязаны. Думают, что мы тут сачкуем!

Вошла Лали, неся кофе для Виктора.

— Простите,— сказала она.

Поставила кофе на край стола. Дани оттянул двумя пальцами верхнюю и нижнюю губу посередине и выдохнул с силой, так, что губы округлились в восьмерку. Опустил губы и сказал Лали глухо:

— Лали, детка, если не трудно, попроси Примо принести и мне чашку.

Лицо у Дани стало совсем другим, когда он поглядел вслед выходившей Лали.

— Ну и ну, старик, ты обратил внимание? Попочка у нее — умереть-уснуть!

Откуда-то доносилась назойливая музыка.

Виктор заметил:

— Муж ее, похоже, с тобой не согласен.

— Кто? Артуро?

— Артуро, кто же еще. Я встретил его на лестнице — разодет как картинка.

Дани улыбнулся. Правая бровь, то и дело взлетая вверх, придавала его словам ехидство, которого он часто в них и не вкладывал.

— Парень не снимает галстука со дня первого причастия.

Виктор вынул из кармана куртки брошюрку.

— Ошибаешься,— сказал он.

Развернул ее на середине и показал фотографию Артуро в футбольной форме. Перевернул и показал сценку на солнышке. Добавил:

— Он считает, это создает образ, правда, не говорит, какой именно. Единственно приличная фотография — где он с Лали, и, как назло, каждая собака знает, что с женою-то у него как раз и не клеится.

Дани помрачнел взглядом. Кивнул на брошюрку.

— Я видел. У нас их навалом.— Он указал в сторону алькова.— Он задурил мне голову. Говорит, для сената это годится, и я не решился возражать. По правде говоря, ни один черт не знает, что после сорока лет молчания в этой стране годится, а что — нет. Меня лично от этой американской рекламы жены-помощницы со стереотипной улыбочкой и белокурых невинных деток с плюшевыми медведями — меня лично прямо выворачивает. Но что же делать? Я лично ничего поделать не могу...

Отворилась входная дверь, и появились Хулия и Мигель. Хулия, коротко стриженная, в сальвадорском пестром пончо, сказала: «Как дела?» — сразу всем, а Мигель на негнущихся, словно деревянных, как у заводной куклы, ногах прошагал к столу Дани — так счетовод направляется к начальнику с отчетом.

— Ну как там с Алхерой? — спросил Дани.

— И Алхеру, и Тубильос, и Касарес... старик! Мы объехали все пять селений.

Доносившаяся откуда-то музыка зазвучала громче. Дани попросил Кармело:

— Елки-моталки, пусть сделают потише, скажи им. Чем они там думают, чтоб им было пусто?

Кармело вышел. Дани облокотился на край стола.

— И что? — спросил.

— А ничего, два с половиной человека на всю округу. И все алькальды настроены против. Сдается мне, Народный союз хорошо с ними поработал.

Музыка стихла, стала почти неслышной. Кармело вернулся через маленькую дверь. Дани изо всех сил старался поддержать моральный дух:

— Но Алхера — крупный сельскохозяйственный центр.

— Ха! Крупный! Пятьсот двадцать человек население — всего-то.

— Прокрутили все как положено?

— Как могли, старались их подковать, но не так это просто, старик. На равнине крестьянин подозрителен, как сто чертей. Мелкий землевладелец-консерватор.

Правая бровь Дани прыгала часто-часто. Он сказал:

— Это не ново, дорогой. Твоя задача — пробудить их сознание. Отнимать у них ничего не будут.

— Я так и сказал. Говорил им о необходимости новой аграрной политики, о рациональной обработке земли, уйму всякого наговорил...

— И никакого впечатления?

— Никакого, старик, стоят в отключке, точно статуи. Сами расписаться не умеют, а когда их пытаются чему-нибудь научить, им это — нож в сердце.

Дани тряхнул головой.

— А именно это от тебя и требуется,— сказал он.

— Что — это?

— Это самое. Научить их расписываться за себя. Чтобы они снова стали чуть-чуть поактивнее. Одним словом: учиться и учиться.

Зазвонил черный телефон, и Дани снял трубку.

— Да,— сказал он.

Мигель перешептывался с Кармело. Хулия с рассеянным видом взяла брошюрку, которую Виктор оставил на столе, и, улыбнувшись, спросила Виктора: «Артуро хоть раз играл в футбол?» Дани рубанул рукой по воздуху, чтобы они замолчали.

— Опять? — спросил он в трубку.— Елки-моталки, я и так со всеми вдрызг разругался. Пако!.. Ну, конечно... Я не говорю, что вы виноваты, но Мадрид не хочет никакого принуждения. Ну да... да... Значит, не лезьте на рожон, а собирайте плакаты и с музыкой валите куда-нибудь еще... Ни в коем случае... А в самом крайнем — ведите себя так, будто вы от Руиса Хименеса [1], рот на замок и подставляйте другую щеку... Давай!.. Пока!

Он повесил трубку. Моргнул несколько раз, прежде чем заговорить.

— Каждую ночь одна и та же история,— сказал он.— Этот Пако — фрукт. Заклеивают его плакаты! Какая новость, елки-моталки! А мы заклеиваем ихние. Всем известно — война лозунгов.

Хулия воспользовалась паузой и, показав на брошюрку, которую разглядывала, спросила снова:

— Артуро хоть раз играл в футбол?

Все засмеялись. Дани сразу стал серьезным.

— Оставим сенатора в покое,— сказал он.

Из-за маленькой двери хриплый голос спросил:

— Можно?

Не ожидая ответа, вошел курьер Примо с чашкой кофе для Дани. Примо, весь скособоченный, с невыразительным лицом, через каждые два шага на третий останавливался — словно ему сводило коротенькие ножки. Он поставил кофе на стол. Дани взял чашку левой рукой и отхлебнул. Посмаковал. Сказал:

— Тому, кто придумал кофе, надо поставить памятник.

[1] Хоакин Руис Хименес — лидер испанских христианских демократов, в 50-е годы был министром в правительстве Франко, затем перешел в оппозицию.

Увидев, что Примо уходит, оторвался от чашки и крикнул ему вслед:

— Примо, спроси, пожалуйста, у Айюсо, как дела с письмом, оно нужно сегодня.

Выпил кофе — до гущи, прикрыл глаза, нажимая, провел пальцами по векам, открыл глаза и посмотрел на Мигеля.

— Если не трудно,— сказал он,— подождите там. Завтра опять в дорогу.

— Опять?

— Опять, елки-моталки. Что я могу поделать? Нет людей, нет времени. Всю машину должны вертеть два с половиной человека. Будет за нас народ голосовать или не будет — это еще посмотрим, но сопротивляются они упорно.

— Ладно, елки, не психуй так.

Он обнял Хулию за плечи, и они вышли.

Дани решительно повернулся к Виктору.

— И вам тоже надо намыливаться завтра,— сказал он.— Не отвертеться...

— Хорошо,— сказал Виктор.

— Воля Мадрида,— будто извинился Дани.— На самолюбие жмут.

— Ну, ты скажешь.

— Сильвино хочет, чтобы мы донесли наше слово до самого отдаленного уголка, чтобы не забыли ни одного самого маленького селения. Так оно вообще и выходит, но если взглянуть на карту, с дюжину белых точек еще осталось. Погоди минутку, дорогой.

Он отодвинул стул и поднялся. Стоя, Дани казался еще меньше, еще тоньше, еще легче.

— Смотри,— сказал он, нажал кнопку, и на галерее, коротко мигнув несколько раз, загорелись три большие неоновые трубки, загорелись резким белым светом, перебили желтоватый свет настольной лампы и ослепили всех. Трехметровая карта провинции стояла у стены, напротив окна. Вся она была усеяна красными и синими булавочными флажками. Дани взял маленькую указку и, водя ею по карте, стал излагать Виктору ситуацию. Кармело усталым взглядом следил со стороны. Окна напротив — все кроме одного — уже погасли. Виктор сказал:

— Как в генеральном штабе.

Дани согласился:

— Так оно и есть.

Кончиком указки он обвел южную часть провинции, где названия селений громоздились одно на другое:

— Смотри. Это все охвачено. Красными булавками отмечены места, где мы побывали дважды. Как правило, районные центры. Встречаются довольно большие селения, вроде Ла-Салы, где имеются даже промышленные предприятия. Интересно, что Ла-Сала — единственное в провинции селение, которое в демографическом отношении после войны выросло. Словом, здесь мы поработали на славу. Сюда можно больше не возвращаться. Пожалуй, только в Монтехос, где пятнадцать тысяч жителей. Тринадцатого числа разбросаем листовки, и все.

— А Босигас?

— В Босигасе был Айюсо со своей командой, потом Мигель или кто-то еще, неважно. Кроме того, там ветеринаром — Чучо Медина, и он держит руку на пульсе.

Дани поднял указку и обвел круг в западной части провинции.

— Этот район,— продолжал он,— наверное, самый беспризорный. Сплошь синие булавки, а это значит, что наши там побывали всего один раз. Из этих селений народ уходит, остались почти одни старики и дети.

— Но старики тоже голосуют,— перебил его Виктор.

— Минуточку,— продолжал Дани, в котором, как видно, кофе

пробудил необычную разговорчивость.— Три дня назад там был Хуанхо и нашел, что положение вполне сносное. Все стены заклеены лозунгами. Словом, только один уголок осталось посмотреть — район Коркуэнды. Завтра Мигель и Хулия сделают туда марш-бросок. Семья Хулии родом оттуда. Ее дед был там в свое время касиком, думаю, все будет в порядке.

Дани сделал передышку. Из кармана брюк вытащил сигареты и протянул Виктору вместе с зажигалкой, украшенной эмблемой партии.

— И последнее,— добавил он, пряча сигареты и зажигалку и поднимая указку вверх, к самому краю карты,— остаются три маленьких селения между Рефико и Паласиос-де-Силос. Видишь? О них, как обо всей северной части провинции, мы знаем только из школьных учебников, не более. Может, овчинка и выделки не стоит, но все-таки...

— Это в горах? — спросил Виктор.

— Совершенно верно, дорогой, это горные селения, бедные селения с допотопными нравами, жители прозябают на крохотных участках — выращивают зерно, фрукты, собирают мед. Может, туда и ездить не стоило бы, но выхода нет.

Он опустил указку к самым ботинкам и длинно выдохнул табачный дым. Поднял правую бровь и спросил:

— У тебя завтра утром нет дел?

Виктор достал из внутреннего кармана куртки записную книжку.

— Нет, утром не могу,— сказал он.

— А в полдень?

— Никак не могу,— отказался Виктор.— В десять у меня интервью на радио, ты знаешь. В половине двенадцатого — ответы на анкету «Гасеты»[1]: «Если вы станете депутатом, что собираетесь сделать для провинции?» Чушь, конечно, согласен, но попробуй сказать «нет»,— он подмигнул.— С этими средствами массовой информации надо держать ухо востро.

Дани опустил голову и призадумался. Когда он молчал, черты его лица словно успокаивались. Наконец, он сказал, глядя в пустоту:

— Ладно, даже если вы едете в час, то пообедать сможете в Рефико. А после обеда не спеша проедетесь по селениям, темнеет сейчас поздно. Не знаю, какое там шоссе, но всего дороги километров пятьдесят, правда, наверняка крутые повороты и плохое покрытие. Накинь часа два. Да по часу на каждое селение, не больше.

Виктор согласился.

— Ладно,— сказал он.

Дани вдруг задрал голову к потолку и в такой позе продолжал:

— Пако и Анхель Абад могут выехать в одиннадцать в Дос-Кабальос и назначить собрания. На часов пять — в Куренье, на половину седьмого — в Кинтанабаде, на восемь — в Мартосе. Еще успеете поужинать здесь, воротитесь засветло.

— Ладно,— повторил Виктор.

Дани вернул голову в нормальное положение.

— Остается решить, с кем ехать,— сказал он.— Во-первых, я думаю, Рафа. Симпатяга, балагур, немного, может, легкомысленный, но молодчина. Ты его знаешь, на один день сойдет — к тому же хорошо водит машину. Во-вторых, Лали, в такой поездке нужна женщина. Лали хороша собой, ты ее тоже знаешь, лучшего украшения у нас нет; кроме того, она умница; единственно, что от нее требуется,— раз и навсегда забыть свои феминистские теории. Руссуждать об эмансипации в горах — курам на смех, ты ее убеди, что не все сразу.

Виктор еще раз согласился.

— Хорошо,— сказал он.

Дани обернулся к Кармело:

[1] «Гасета илюстрада» — популярный иллюстративный журнал.

— Не сходишь за ними?

Кармело молча вышел. Дани пожал плечами и снова задрал голову.

— Что с тобой? — спросил Виктор.

— А ничего, болит. Когда устаю, вступает в шейный позвонок, как будто током бьет.

Когда Кармело вернулся вместе с Лали и Рафой, Дани уже опять принял нормальное положение. Жестикулируя, он живо изложил программу. Рафа подошел к карте и провел пальцем от Рефико до Паласиос де Силос.

— Тут? — сказал он.— Вот те раз, да это же Урдес![1]

— Ты что, бывал там?

— Да нет, и я не бывал, и ты не бывал, никто там не бывал. С Урдесом, как с «Капиталом»: все его поминают, а никто не знает, что это такое.

— Надо бы почитать,— сказал Дани.

— Я тебе головой ручаюсь, там никого не осталось. От силы пятьдесят мужиков на все три селения наберется.

— Если они женаты, глядишь, сто голосов и получится.

— А голосов получится и того меньше, старик.

На столе зазвонил телефон.

— Может, возьмешь трубку,— попросил Дани.

Кармело снял трубку:

— Да... Да, был здесь... С плакатами, само собой... Несколько групп... Не могу вам сказать... Нет... нет... нет... Да ничего не случилось... Нечего беспокоиться...

Рафа продолжал сосредоточенно изучать карту. Виктор объяснил:

— План такой: пообедать в Рефико, а потом подняться в Куренью, Кинтанабад и Мартос. К ужину сможем вернуться.

Рафа схватился руками за голову:

— Бляха-муха! Вы обратили внимание, тут проселочная дорога? Ну и ну, старики! — Он улыбнулся.— Зато в Рефико такая форель!

Виктор подсел к Дани, Лали и Рафе.

— В час дня внизу в кафе, идет?

— Идет, депутат.

Дани вмешался.

— Еще одно,— сказал он.— Вы знаете Мигеля, он маньяк, «сеат сто тридцать первый» у него не выпросить. Ничего, если поедете на сто двадцать четвертом?

— Даже лучше,— сказала Лали.— Сто тридцать первый там выглядел бы слишком буржуйским.

— Потрясно,— поспешил добавить Рафа.— В сто двадцать четвертом есть магнитофон.— Он поглядел на Лали, обнял ее за плечи и притянул к себе: — К тому же он теснее и нам придется прижаться друг к другу.

III

Молодые люди толпились у стойки бара, курили и болтали, наполняя кафе неясным будоражащим людским гомоном. Пол был усеян скорлупой креветок, косточками от маслин, окурками, бумажками от сахара и скомканными салфетками. Виктор протиснулся к стойке у самой кассы. Одна из четырех работавших за стойкой девушек — наиболее яркая блондинка с розовыми руками в веснушках — заметила Виктора и, улыбнувшись, обратилась к нему:

— Стаканчик вина?

— Стаканчик вина,— сказал Виктор.

Она поставила на стойку стакан, взяла с полки бутылку и налила Виктору вина:

— Опять едете?

[1] Урдес — горный район на севере Эстремадуры, отличающийся суровыми природными условиями и низким жизненным уровнем населения.

— Что делать!

— Из одной поездки в другую. Как идут дела?

— Идут — уже неплохо.

Через открытую стеклянную дверь проникал влажный пар: только что прекратился ливень. Сотни разноцветных листовок осели на влажную мостовую, прилипли к ней. Проехала машина с мегафоном, что-то пронзительное выкрикивавшим, но проехала так быстро, что едва можно было расслышать начало обращения, остальное же поглотил шум других машин, проносившихся по широкой улице.

— Ну и зануды,— сказал рядом с ним безбородый юнец.

Появилась Лали в голубом с вырезом джемпере, обтягивавшем маленькие груди, и в джинсах.

— Привет! — сказала она.— Как спалось?

— Мало и плохо,— сознался Виктор.

Улыбка у Лали была сочная и мягкая, а не одеревенелая, какая бывает после сна.

— Что будешь пить?

— Ничего не хочется,— сказала Лали.

Виктор расчесал густую бороду пальцами правой руки. Лали спросила:

— Ну, как интервью?

— Чушь собачья.

— И это?

— Сама знаешь,— Виктор настроил голос на комическую торжественность: — «Что вы будете делать в кортесах, если вас выберут депутатом?» Действительно, твою мать, что же я буду делать в кортесах? Сидеть на заседаниях, слушать и выступать, если покажется нужным.

— Ты, надеюсь, не сказал так, уж больно приземленно.

Они стояли лицом к двери, но когда Рафа вошел и обнял их за плечи, Лали все-таки вздрогнула.

— О чем говорят депутаты? — сказал Рафа. Наклонился к Лали:

— Один поцелуй, любовь моя.

Лали механически чмокнула его в щеку.

— Если бы ты вложила немного больше чувства, ничего дурного не случилось бы, милочка.— И тут же обратился к белокурой официантке: — Стакан красного, живо!

— Где ты поставил машину? — спросил Виктор.

— На углу. Плохое место.

Он залпом выпил стакан и положил на стойку несколько монет. Через дверь виден был летевший над городом маленький самолет. Он летел по голубому небу, и белая лента от хвоста вилась за ним серпантином.

— Пора отваливать, старики, хватит слюни пускать на самолетик.

Лали поддержала:

— А то Суарес из кожи лезет, а мы...

Виктор посмотрел в одну сторону, потом в другую:

— Где же твоя машина?

— Иди, иди, старик, за углом.

Это был светло-желтый «сеат-124», и на правом его боку красовалась улыбающаяся физиономия лидера, а на левом — огромная эмблема партии. Рафа открыл заднюю дверцу, приглашая Виктора.

— Ты — назад.— И, видя, что тот не двигается с места, добавил:— Шевелись живее, старик, ты же все-таки кандидат в руководители какникак, а?

Виктор повиновался. Лали сказала:

— Хочешь, я поведу?

Рафа крутил на пальце ключи.

— Что? — Он сел за руль.— Ты уж давай следи за дорогой, да не забудь: пристегни свой прелестный бюст ремнем безопасности.

Машина тронулась. Улица кипела. Автомобили неслись в обоих направлениях, а пешеходы — их было множество — высыпали на мостовую, стоило движению застопориться хоть на миг. Рафа беспечно и лихо объезжал машины и пешеходов, стараясь первым подойти к светофору.

— Слушай, нельзя ли поспокойнее. Так ты до собрания все нервы нам вымотаешь,— сказал Виктор.

Улица, словно ковром, была выстлана призывами и листовками, машины, проезжая, оставляли на них отпечатки шин. С фасадов, с заборов, огораживающих строительные работы, с мрамора банковских зданий пестрые плакаты приглашали голосовать за ту или иную партию. Время от времени попадались неистребимые надписи, сделанные аэрозолем.

— Погляди-ка,— показала Лали, смеясь.

На зеркальных стеклах большого магазина тканей чья-то рука вывела: «Хочешь голосуй, хочешь нет. Как твоей левой пятке угодно».

Рафа хохотнул.

— Ничего,— сказал он.— А этот, посмотри!

Чуть поодаль та же рука написала теми же буквами: «Автономию Куриэлю!» Виктор спросил:

— Куриэль — это селение, что славится своими сосисками? Там еще церковь в мосарабском стиле?

— Оно самое,— сказала Лали.

Они домчались до моста, там машин было меньше, и Виктор чуть согнулся, достал из кармана кассету и через плечо протянул ее Лали:

— Поставь, если не трудно. Подсластим наше путешествие.

Лали прочитала надписи с одной и с другой стороны и обернулась к Виктору с жалостливой улыбкой.

— Но, Виктор... — сказала она.

— Черт подери, что там? — спросил Рафа, косясь на пленку краем глаза.

— «Букет роз»,— сказала Лали.

— Ну, депутат, нам только слюней не хватало.

Лали вставила кассету в магнитофон. Теперь улыбка ее стала доброй и снисходительной, какая появляется на лице у взрослого, имеющего дело с ребенком. Последние дома города остались позади, и они мчались средь чистого поля. Зазвучали первые такты.

— Это слишком, старик,— сказал Рафа.

Лали добавила, не переставая улыбаться:

— Виктор у нас не от мира сего, он все еще душою с сарсуэлой[1], а нам сарсуэла как рыбке зонтик.

Виктор перегнулся. Схватил Лали за волосы и тихонько дернул.

— Ты что, на самом деле думаешь: какие политические взгляды, такая и музыка?

— Нет, конечно,— сказала Лали,— но объясни, пожалуйста, как ты сочетаешь любовь к легкому жанру с прогрессивным мировоззрением?

Шедшая впереди зеленая машина вдруг резко сбросила скорость, и Рафа, тормознув, обошел ее слева.

— Эй, поосторожней!

— Поосторожней, ах ты, черт! Ну и старик, даже сигнала не включил.

Лали обернулась посмотреть.

— Старуха,— сказала она.

Динамик слащаво пел: «Промчалось и пропало, как будто не бывало, как будто не бывало, любимый, той поры!..».

— Послушайте,— сказал Виктор, покачивая в такт головой.— Раз-

---

[1] Сарсуэла — своеобразная испанская оперетта, популярная в Испании в начале века; при Франко искусственно культивировалась.

ве плохо? Мне, наверное, нравится потому, что напоминает мои шестнадцать лет, когда я поступил в университет и в первый раз влюбился.

— Бляха-муха, депутат! Ты когда-нибудь влюблялся? — спросил Рафа.

— И не раз,— ответил Виктор.— За кого ты меня принимаешь?

— Тебе уже тридцать семь стукнуло, а ты все один как перст.

Вмешалась Лали, которую все это немного задело:

— Сразу видно, ты не в курсе, из последних пятнадцати лет Виктор семь прожил за решеткой. Не рекорд, но все-таки.

Рафа на секунду выпустил руль, чтобы размять пальцы.

— Пусть так,— сказал он.— Однако кроме средних веков, на которых он застрял, чем-то еще он занимался восемь лет, что был на свободе?

Мотор жужжал весело и ровно. По обе стороны дороги неслись стройные ряды тополей. За окошком расстилалось чистое поле, покрытое нежной зеленью разных оттенков; к горизонту оно уходило мягкими холмами, меченными поверху клочками кустарника. То и дело среди всходов виднелись голые участки пористой, глубоко вспаханной, красноватой земли, а слева на лугу, заросшем амариллисами и маками, промелькнуло сбившееся в кучу стадо овец. Рафа пальцем показал на большую проплешину:

— А это, старики, почему не засеяно? Разве в Испании избыток хлеба?

— Что? — спросил Виктор, наклоняясь вперед.— Лали, сделай одолжение, прикрой этот фонтан.

Лали убрала звук и повернулась к Виктору, чтобы он слышал.

— Проплешины,— сказала она.— Рафе не дают покоя проплешины, не понимает, зачем они. До сих пор ему не ясно, что земля, как и все, кто работает, нуждается в отдыхе.

Виктор заинтересовался:

— Наверное, этот имеет свое название.

— Земля под паром,— сказала Лали.

— Бляха-муха! — вступил Рафа.— Сколько ты знаешь о деревне! Больше, наверное, чем тот, кто ее придумал.

— Под паром,— повторил Виктор.— Красиво, правда?

Рафа наклонил голову.

— С вас, селяночка, поцелуй сверх программы. От этой чертовой музыки в сон клонит.

Лали вытянула губы трубочкой и поцеловала его в щеку.

Рафа снял правую руку с руля и обнял девушку за спину.

— Побольше жару, товарищ, нельзя быть таким сухарем.— Он привлек ее к себе.

Лали повела плечами, высвобождаясь из объятия:

— Держись за руль и кончай свои штучки, сукин кот.

Виктор, задумавшись, смотрел в окошко.

Вид зеленого, недавно обработанного поля, со вздымающимися на нем красными маками, захватил его.

— Сколько маков!

— Маки — это плохо, разве не так, старики?

— Говорят, так,— сказала Лали.

Магнитофон резко щелкнул: пленка кончилась, Лали нажала кнопку.

— Поставить оборотную сторону?

— Ну ее к богу в рай! — крикнул Рафа.

Лали застыла с пленкой в руке.

— А что же?

— Там есть «Помню тебя, Аманда» и «Темная сторона луны» — всё «Пинк флойд». Любую из них.

Шоссе начало петлять, прямые участки попадались все реже. Теперь по сторонам дороги бежали каштаны, пошла пересеченная мест-

ность. Рафа переключился на третью скорость, резко прибавил газу и между двумя поворотами обогнал грузовик.

— Слушай, поосторожнее! Обгон был неправильный.

— Спокойно, старик, сплошной линии не было.

— Ну и что? Есть сплошная или нет, а пойдет встречный и долбанемся за здорово живешь.

— Черт побери! Обогнали с полным правом! — парировал Рафа.— Я готов и долбануться, если с полным правом.

Машину наводнило, разливаясь, словно запах духов, домашнее тиканье часов, звонок будильника — несвязные звуки новой пленки. Виктор недовольно поморщился:

— Неужели тебе это нравится?

— «Пинк флойд»? Обожаю!

Виктор покорно откинулся на спинку. Лали повернула голову и уткнулась подбородком в спинку сиденья:

— Кстати, как мы будем действовать сегодня?

— Как всегда, более или менее.

— Послушай, старик, что значит — как всегда? — спросил Рафа.

Виктор словно бы задумался.

— Ты, к примеру,— сказал он после короткой паузы,— расскажешь о пенсиях и социальном обеспечении. Дани говорит, с этих земель уехало много народу, в селах остались одни старики да дети.

— Лады,— сказал Рафа.— Будь спок.

Виктор продолжал монотонно, как будто сам себе:

— Я возьмусь за свое, привычное: вековая заброшенность, средневековые структуры и анализ продукции сельскохозяйственного производства.

Из магнитофона неслись резкие, сухие, не слишком мелодичные звуки ансамбля «Пинк флойд».

— А я? — спросила Лали.

Виктор откашлялся:

— Надо придумать и тебе подходящую тему.

— Может, о женском равноправии?

Виктор не ответил.

— Не нравится тема? — продолжала Лали.

— Не в этом дело, Лали, видишь ли, эти люди живут в горах и ничего не знают о движении за равноправие, просто понятия о нем не имеют.

Лали оторвала голову от спинки и сердито сказала:

— Значит, пора им в тысяча девятьсот семьдесят седьмом году узнать об этом.

Виктор сдвинулся на самый край сиденья. Его губы почти касались левого уха Лали.

— Не ершись,— сказал он.— Я с тобой полностью согласен, ты знаешь, но нельзя спешить, всему свое время.

— Оставим эту проблему для кортесов? — иронически сказала Лали.— И ты тоже наивно веришь, будто этот вопрос — для кортесов?

— Так я не считаю,— сказал Виктор не слишком убежденно.

Лали все больше раздражалась, ее лицо напряглось и раскраснелось, и она стала еще милее.

— Не обольщайся,— продолжала она.— И ты тоже подходишь к этой проблеме как типичный испанский мужчина, как мачист[1]. Битва в этом направлении уже началась, нет сомнений. Другими словами, главное — изменить образ мышления патриархального общества, а самый оплот этого ветхого патриархата именно здесь, Виктор, в горных селениях. А как ты доберешься до них из кортесов, скажи? Будь уверен, основных прав все равно не узаконят.

— Держи карман шире! — насмешливо поддакнул Рафа.

[1] Мачист — приверженец мачизма (от исп. macho — букв. «самец»), проявляющегося в гипертрофированном стремлении культивировать в себе мужское начало.

Виктор обеспокоенно заерзал на сиденье.

— Ты становишься очень хорошенькой, когда говоришь на эти темы,— сказал он с улыбкой, желая помириться.

— Пошел ты,— сказал Лали.— Избитый трюк испанского мачо. Ты, как и большинство мужчин, да и девяносто девять процентов женщин, в глубине души мачист, вот и все.

Рафа глянул на нее искоса:

— Ты уж чересчур, старуха. Я не такой.

Голос Виктора зазвучал умоляюще:

— Не злись, Лали. Ты прекрасно знаешь, что партия вас поддерживает.

Лали взорвалась.

— Ради бога, не надо! — закричала она.— Партия говорит, да, партия говорит, что она — «за», что требования женщин справедливы, одним словом, вечная песенка. А как доходит до дела — что? Пожимают плечами, изображают снисходительные улыбочки — вот что мы видим от нашей партии. Не обманывайся, Виктор, нашу борьбу воспринимают как социальную сублимацию половой активности на поприще общественной деятельности; всерьез к ней относятся каких-нибудь полсотни женщин, не более.

Виктор робко положил руку на голову Лали и тихонько привлек ее к себе, так что их лбы соприкоснулись.

— Пожалуйста,— сказал он.— Не сердись, что я назвал тебя красивой. Ты вправду кажешься мне красивой, особенно когда злишься.

— Ну и что из этого? — сказала Лали твердо.

— Ничего, наверное, но это не перестает быть важным. Скажи, пожалуйста, во что превратится мир, когда вы добьетесь своих прав, но зато женщины перестанут быть привлекательными?

Голос Лали выдал едва приметную слабость.

— Одно другому не мешает,— сказала она.

Рафа протяжно свистнул:

— Ну, скажешь!

Он выписал еще один поворот и перешел на третью скорость, чтобы дать отдых мотору. Лали наклонила голову, закурила сигарету и сказала обиженно:

— Другими словами, сегодня мне придется помолчать.

— Почему молчать? Тем сколько угодно — культура, например, право на культуру; ты ведь как-то выступала на эту тему.

— Ладно, пусть культура. Дисциплина превыше всего.

Рафа чуть наклонил голову:

— Не поднесешь мне огонька?

Лали вложила ему в зубы сигарету и поднесла огонь.

Рафа глубоко затянулся.

— Товарищи! — заговорил он с пафосом, выдыхая дым.— По-моему, это перебор. Достаточно сказать мужику, что вы поднимете пенсии и вдвое повысите цены на хлеб — и он у вас в кармане.

Из магнитофона понеслись прерывистые гудки.

— Переверни на другую сторону,— сказал Рафа.

Лали вынула кассету, перевернула и вставила в магнитофон. Настроение у нее было испорчено.

— Мигель говорит, они очень недоверчивы, и не без оснований,— высказался Виктор.

— С каких это пор? — спросил Рафа.

— А как ты думаешь?

— Вообще-то,— сказал Рафа,— заполучить голос деревенского жителя легко. Трудно переделать его сознание.

Машина одолела крутой подъем, резко свернув влево, описала крутую дугу и выбралась на ровную местность. Вдали вырисовывались чистые, синеватые зубцы гор, с убеленными вершинами.

— Черт побери, да это же снег! — воскликнул Рафа.

Посевов уже не было, и, если не считать каштанов по сторонам дороги, вокруг росли одни чахлые можжевельники, да еще не зацветшие кустики вереска и лаванды стелились по земле. Неожиданно Рафа пригнулся к рулю.

— Привет! — воскликнул он.— Смотрите, кто тут.

По обе стороны дороги, сбившись в кучку, стояли молодые люди в кричащих свитерах, а еще несколько топтались на обочине под деревьями вокруг трех автомобилей. Двое парней привязывали к стволу дерева огромный лозунг, но, завидев подъезжавшую машину, прервали свое занятие и вместе с остальными выстроились вдоль дороги. Рафа быстро опустил стекло и прибавил газу. Крайний слева парень швырнул камень, и тот громыхнул по капоту; другой, с бородкой и волосами как у негра, адресовал им неприличный жест. Остальные трясли кулаками и выкрикивали:

— Фашисты, педики!

Рафа газанул на сто двадцать, высунул в окошко левую руку и, вскинув указательный палец в непристойном жесте, крикнул:

— Катитесь вы, самцы испанские!

Он поднял стекло, хохотнул, глянул в зеркало заднего обзора.

— Только его нам не хватало,— сказал он.— Сукин сын Агустин.

— Какой Агустин?

— Бляха-муха! Как это — какой Агустин? Который поливает нас на каждом углу, который так торопился разбросать в «Канзасе» свои листовки, что не заметил стеклянной двери и вклеился в нее как почтовая марка.

Виктор улыбнулся:

— Я слышал эту историю.

Рафа продолжал:

— Если бы Старик не загнулся, сидеть бы этому Агустину еще и сидеть [1]. Как-никак три года дали.

— А тут они что делали? — спросила Лали.

— Лозунги развешивали, к вашему сведению. Наверное, украшают шоссе к празднику. Ты не знаешь, какой он, этот Агустин.

Прямая дорога кончилась, и пошел петлять спуск. За одним из поворотов внизу открылась узенькая долина, в свежей зелени фруктовых деревьев проглядывало полдюжины почерневших кровель.

— Берруэко,— сказал Рафа.— Предлагаю опрокинуть по стаканчику, плачу я.

— Который час? — спросил Виктор.

— Десять минут. Время в запасе есть.

Виктор наклонился вперед:

— Сколько до Рефико?

— Одиннадцать километров. Считай, приехали, старик.

Они катили меж двух рядов домиков из желтого камня, с цветочными горшками на окнах и белыми, нависавшими над улицей галереями. Улицы были пустынны, а на немощеной площади с одиноким вязом посередине сверкали лужи. Рафа пробрался между лужами и поставил машину у дерева, напротив кабачка. Они вышли из машины. С апсиды церкви им улыбался лидер; четыре плаката рядом были сорваны. Рафа подошел к плакату с лидером, пощупал.

— Еще сырой,— сказал он.— Анхель только что проехал.

— Какой Анхель? — спросила Лали.

— Бляха-муха, Хромой, какой же еще!

— А, Анхель Абад! Так бы и говорил — Хромой, никто его Анхелем не называет.

В полумраке кабачка, единственное зарешеченное окошечко которого смотрело на юг, у стойки перед двумя стаканами красного вина стояли и неторопливо курили два старика в надвинутых на самые

[1] Имеется в виду амнистия после смерти Франко, умершего в ноябре 1975 г.

брови беретах. Старший, лет восьмидесяти, совершенно беззубый, пискливым голосом говорил:

— Позднее лето, хуже, чем в шестьдесят пятом.

— Конечно,— сказал хозяин кабачка,— коли земля не прогрелась, коли весны вовсе не было.— И, не меняя выражения лица, спросил вошедших: — Что угодно?

— Три стакана вина,— сказал Рафа.

Хозяин медленно, сосредоточив все внимание на стаканах, в полном молчании налил им. За его спиной на полках громоздились банки консервов, пачки жевательной резинки, табака, галет и бутылки с пивом и кока-колой. С балки свисали кувшины, кастрюли, мотки веревки и связки чеснока. Лали спросила:

— Не видели — не проезжал здесь хромой парень в полосатом шарфе?

Мужчина уставился на нее и не отвечал, как будто она спросила такое, что трудно понять.

— С ним был еще один? — наконец сказал он.

— Да,— ответил Виктор.— Пако.

Мужчина снова помолчал, потом спросил:

— Они приезжали насчет выборов?

— Да,— сказала Лали.

Хозяин кабачка снова впал в задумчивость.

— Проезжали они, сеньора. Недавно,— сказал он наконец.

— Во сколько?

Взгляд мужчины выражал полное недоумение:

— Что — во сколько?

— Во сколько проезжали,— сказала Лали немного раздраженно.— Сколько было времени, когда они проезжали здесь?

Она говорила громко, четко произнося слова, как с глухим. В углу двое стариков продолжали курить и поглядывали на нее с насмешливым любопытством. Хозяин кабачка долго скреб затылок:

— Точного времени сказать не могу. Почта уже проехала.— Он обратился к двум своим землякам словно за поддержкой: — Или еще нет?

— Почта проехала два часа назад,— сказал старик с пискливым голосом.

Другой медленно покачал головой.

— Никак нет. Часа два назад я отводил козу, а почта еще не проезжала.

— Хорошо,— сказал Виктор.— Сколько с нас?

— Двенадцать песет.

Виктор протянул ему бумажку в сто песет. Хозяин помотал головой:

— Нету сдачи.

Рафа положил на стойку три монеты по пять песет.

— Вот,— сказал он.— Пока.

В машине Лали взорвалась:

— Черт знает что, ну и типы. Не знаю, пойдут они с нами или нет — такие отсталые!

Виктор улыбался. Рафа дал задний ход и вывернул руль до отказа.

Остановился. Черный, будто негр, цыган, ведя за руку ребенка, пересек им дорогу и встал под деревом. Рафа тронул машину, выехал на шоссе и расхохотался.

— Знаете про цыган?

— Что? — спросил Виктор.

— Да одну историю про цыган? — пояснила Лали.

Рафа переключил скорость, вырулил на прямую дорогу и откинулся на спинку. Заговорил.

— В цыганское поселение в Альмедине явились агитаторы и сказали, что хотят видеть цыганского вожака. Где вожак, где вожак?

Все начинают искать вожака. Наконец, вожак появляется и агитатор заводит, как положено, речь, что, мол, партия принесет им избавление, что это — партия отверженных и т. д. и т. п. А цыганский вожак не сводит глаз со знамени. Агитатор шпарит, что сами они, мол, тоже — продукт капиталистического общества, бляха-муха, и что выход один — всем вступать в их партию. Он кончил, и цыганский вожак говорит: ладно, очень хорошо, но поскольку теперь демократия, он не может принять решение единолично, не посоветовавшись с табором, и если, мол, им нетрудно, пусть приезжают на следующий день за ответом. Ничего не поделаешь, агитаторы уезжают, а на другой день возвращаются и хотят видеть цыганского вожака. Где вожак, где вожак? Все с ног сбились — ищут. Наконец, вожак является и опять стоит — глаз не сводит со знамени. «Ну,— говорит агитатор,— я полагаю, вы приняли решение, товарищи».— «Приняли, сеньор,— отвечает цыганский вожак.— Мы единодушно решили вступить в эту партию». У агитатора от радости челюсть отвалилась. «Скажи своему народу, товарищ, что мы благодарим его за доверие и...». Тут цыганский вожак поднимает руку: «Минуточку. Мы все согласны вступить в партию, но с одним условием». Агитатор улыбается и спрашивает мирно: «С каким условием?» А цыганский вожак ступает вперед, тычет пальцем в знамя и говорит совершенно серьезно: «Что ты уберешь отсюда эту штуковину».

Виктор от души расхохотался. Лали тряхнула головой и улыбнулась.

— Глупость какая-то! — сказала она.

— Да нет, ничего.

Перед знаком «стоп» при выезде на магистраль Рафа остановился, поглядел в одну, в другую сторону и тронул машину. За первым же поворотом на склоне горы показался домик.

— Рефико, приехали, а вот и постоялый двор,— сказал Рафа.

И на третьей скорости доехал до первых домиков селения.

IV

На просторной стоянке под сенью горделивого здания с башней отдыхало полдюжины грузовиков, четыре легковых автомобиля и синий пикап, в котором сидели четверо мужчин, собиравшихся отъезжать. Метрах в пятидесяти от стоянки открывалась прямоугольная площадь, которую шоссе огибало: двухэтажные каменные дома с арками и колоннами; длинные открытые галереи, оживленные цветущими геранями и петуниями. В центре площади, залитой асфальтом, возвышался каменный крест, а вокруг, с четырех сторон — четыре металлические скамьи, выкрашенные в разные цвета: красный, желтый, зеленый и синий. Надписи на спинках гласили: «Муниципальная сберегательная касса». Постоялый двор с застекленным балконом, нависавшим над улицей, выходил фасадом на дорогу; у дверей разговаривали трое мужчин, один из них, очень высокий, сутулый, по виду из образованных, улыбаясь, направился к приехавшим, как только они вышли из машины. Рафа предостерег:

— Осторожно, это алькальд. Рот на замок, если не хотите, чтобы конкуренты нас обштопали.

Они сошлись в центре площади.

— Здравствуйте,— сказал алькальд.— Снова к нам?

— Мы проездом,— сказал Виктор.

Волосы у алькальда были напомажены и точно посередине разделены пробором, а движения церемонные, как у иезуита.

— Недавно приезжали даже из фаланги[1],— сказал он.

— Из самой настоящей фаланги? — допытывалась Лали.

[1] Партия испанского фашизма, существовавшая при Франко, затем распавшаяся на отдельные группировки.

Глаза алькальда невинно округлились.

— Откуда мне знать,— сказал он.— Они от Фернандеса Куэста. Я полагаю, для них она самая что ни на есть настоящая, так ведь?

Никто не ответил. Рафа отделился от группы и медленно направился к постоялому двору, остальные последовали за ним. Алькальд посмотрел на небо.

— Привезли нам плохую погоду.

— Будет дождь?

Мужчина растянул губы в улыбке:

— Не сейчас. К вечеру, похоже, соберется гроза.

У дверей бара Рафа повернулся к алькальду:

— Может, пообедаете с нами?

— Спасибо, я уже пообедал...

Помещение было длинное и низкое, с некрашеными дубовыми потолочными балками; в центре — старая железная печь пурпурного цвета; дымовая труба у центральной балки поворачивала и дальше шла рядом с нею, исчезая за перегородкой в глубине. На экране телевизора, стоявшего справа на сосновой консоли, подпертой двумя деревянными брусками, появился диктор и начал читать последние известия — было три часа; мужчины, игравшие не то в карты, не то в домино, не обращали на него ни малейшего внимания.

— Беру!

— Мимо!

Открывая или выкладывая костяшки домино, они что было мочи лупили по мраморной поверхности стола и шумели так, будто хотели перекричать телевизор. Несколько мужчин в беретах подняли голову, когда вошедшие поравнялись с ними, и машинально, не меняя бесстрастного выражения лица, проводили взглядами бедра Лали. От самой стойки шла лестница, вывеска над нею гласила: «Столовая». Поднявшись на площадку первого этажа, Рафа толкнул стеклянную дверь, и на лестницу хлынули клубы дыма и людской гул. Все восемь столиков были заняты, и две очень молоденькие девушки бегали между столиками, обслуживая гостей. Одна из девушек с грязной салфеткой в руке подошла к Рафе.

— Если не хотите ждать,— сказала она,— идите на балкон — там свободно.

Рафа посмотрел на Виктора.

— Пошли? — отозвался тот.

На просторном балконе стояли два стола, девушка торопливо салфеткой смахнула с них прямо на пол хлебные крошки и остатки еды. За стеклами виднелась темно-серая лента дороги с желтой разметкой и закусочная под навесом; деревянные столики закусочной были разъедены дождями и ветром. А дальше — река, стремительный хрустальный поток; противоположный берег реки, поросший дубами со свежей листвой, круто шел вверх к обрывистым утесам, над которыми парили ястребы. Девушка отбарабанила, словно заученный урок:

— Осталась зеленая фасоль и овощной суп, паэлья кончилась. На второе — форель, голубятина, яичница.

Рафа потирал руки.

— Форель, форель,— воодушевился он.

— А на первое?

Лали улыбнулась девушке:

— Фасоль хорошая?

— Нет, сеньора, овощи нынче запаздывают.

Виктор вопросительно оглядел товарищей.

— Может, по супу? — спросил он. И, не дожидаясь ответа, сказал: — Давайте три супа.

Он откинулся на спинку стула и устремил взгляд на расстилавшуюся перед глазами картину.

— Невероятно,— сказал он.— Каких-нибудь восемьдесят километров, а пейзаж совсем другой. Даже не похоже на Кастилию.

Рафа обиделся:

— Черт подери! А как ты представляешь себе Кастилию? Старые мастера ввели вас в заблуждение, старик.— Он напыжился и заговорил выспренне: — «Сеньора, в Кастилии все дороги прямые, крутых поворотов нет». Как бы не так! Гад буду!

Девушка, накрывавшая на стол, спросила:

— Какое вино принести?

— Кувшин местного.

Шоферы грузовиков выходили по двое. Они вставали из-за столиков и расплачивались, зажав в зубах сигарету, и пока им отсчитывали сдачу, любезничали с девушками, сопровождая слова непристойными жестами, а девушки в ответ смеялись. Виктор пристально посмотрел на Лали и спросил:

— Конкурсные экзамены у тебя в декабре?

— Теоретически,— сказала она.— На сорок мест там больше пятидесяти человек.

— Будете судиться друг с другом?

— Никакой суд не поможет, в том-то и дело.

Рафа заговорил с набитым ртом.

— Восхитительно! — сказал он.— Такая девушка, как ты,— и в точные науки. Такая секс-бомба, у всех просто челюсть отвалится.

Лали рывком повернулась к нему:

— Чего ты хочешь? Чтобы я пошла на конкурс мисс Вселенной?

— Это тоже слишком, но разве нет других мест, елки?

Лали добавила язвительно:

— Или пойти по твоим стопам: в двадцать три года — всего-навсего на втором курсе юридического факультета. Чем мой выбор хуже любого другого?

— Вот те раз! — сказал Рафа.— Почему бы тебе не пойти в театр? Будешь играть в какой-нибудь мелодраме. Представляешь, твоя матушка — вдова, четверо малых братишек и сестричек на руках.

Виктор вытер губы бумажной салфеткой. Глотнув вина, тронул Рафу за обнаженную, белую, покрытую легким пушком руку.

— Боюсь, эта роль — для тебя.

— Хо! Для меня превыше всего — партия, разве не так?

— Ну-ка, положа руку на сердце, скажи, за последние полгода заглянул ты хоть в одну книгу?

Рафа воздел руки над головой и крепко сцепил пальцы в жесте солидарности.

— Я свято верю в демократию,— сказал он.— Не забывай, это будут демократические экзамены, впервые за сорок лет.

— И ты веришь, что их примут у всех без разбору?

— Ну, не так, конечно, старик.

— А как же?

— Не по мне экзамены — и все тут, дурацкие испытания, проверка памяти — не более, чистый пережиток.

— Чем же мы их заменим?

— А это уже другое дело. Я знаю одно: если партия хочет заполучить молодежь, она должна покончить с экзаменами раз и навсегда. Другими словами, под это знамя пойдут все, не глядя, учти, старик.

Лали, изящно действуя ножом и вилкой, расправлялась с форелью. Она подняла голову.

— Брось трепаться,— сказала она.— Первым делом партии надо покончить с барчуками и паразитами.

Виктор не сдержался, захохотал:

— Ну и ну, подруга!

— Это она про меня? — допрашивал Рафа.

— Почему обязательно про тебя? Про барчуков и паразитов,— сказала Лали.

— Ну, ты штучка, старуха,— сказал Рафа, склоняясь над тарелкой. Потом, помолчав: — Форель обалденная, правда?

Лали сжалилась, посмотрела на него.

— Ты соединяешь в себе все пороки мелкого буржуа: лень, чревоугодие и сластолюбие.

На детском лице Рафы отразилось неподдельное изумление.

— А что тут такого, черт подери! Не скрываю: я жизнелюб. Первое дело для меня — вкусно поесть и подцепить бабца. Что в этом плохого? Они сами ко мне липнут, что мне прикажете делать? Клянусь, отбоя нет.

Виктор серьезно заметил:

— Учти, мы — за воздержанность.

— Воздержанность, ну и ну! Где ж ты видел воздержанность в руководящем аппарате? Может, в Евробилдинге, где они услаждают себя черепашьим супом и уткой с апельсинами? Не свисти! На такое воздержание я согласен.

— Чего же ты хочешь от жизни?

Рафа вышел из себя:

— Черт побери! Жить. Разве этого мало? Я, старик, не доходяга какой-нибудь, я ввязался в эту кашу потому, что каждому охота жить сладко.

— Смотри не пересласти.

— Вот так раз! Я же не хапаю так, что другие из-за меня мрут с голоду,— на то есть монополии. Но я и не какой-нибудь чокнутый. Мне нравится такая жизнь: нынче здесь, завтра там. Поесть обалденной форели с двумя обалденными депутатами, а потом закусить ломтем сыра и запить стаканом вина в обществе неотесанного крестьянина. Хоть режь, старик, но нет у меня классового чувства. И те мне подходят, и другие меня устраивают.

Лали, орудуя вилкой и ножом, чистила принесенный официанткой апельсин. Неожиданно она уставилась на Рафу.

— Послушай, оболтус,— сказала она.— Если не хочешь испоганить нам праздник, не смей больше проезжаться насчет депутатов.

Рафа растерялся, потом, от души рассмеявшись, наклонился и чмокнул Лали в щеку.

— Ты обалденная,— сказал он.— Зачем же выставляешься, если не хочешь быть депутатом? Там человек двадцать было на это место.

— Я подчинилась,— сказала Лали.— Не думала, что это реально.

Виктор окинул ее критическим взглядом:

— А теперь все всерьез принимаешь?

— Все.

— И свое депутатство?

— Ну и что? Меня выставляют, и я ничего уже не могу поделать.

— С каких это пор?

— С каких надо,— отрезала Лали.

Подошла девушка. В столовой оставались занятыми всего два столика. Виктор сказал:

— Три черных кофе, пожалуйста.— А когда девушка повернулась, чтобы уйти, добавил: — И счет.

Рафа сказал:

— Лали, по-моему, прирожденная хозяйка дома.

— Слушай, кончай свои штучки.

— Я серьезно. Ты создана для семейной жизни. А я эту семейную жизнь в гробу видел. Меня на это не поймаешь.

Виктор изобразил изумление:

— Вот так раз! Значит, ты не пойдешь за меня замуж?

— Катись, ты мне вообще не подходишь. Ты старый перечник, представитель другого поколения.

— А что думает о жизни ваше поколение?

— Ну, во-первых, что дети — это занудство. Мы, молодежь, новые люди, мы — за противозачаточные средства, за аборт, за свободную любовь. Вот так.

Виктор глядел вдаль, на склон, поросший старыми дубами, взгляд у него стал отсутствующий, мечтательный.

— У меня нет семьи, но я в семью верю.— И добавил тише: — Может, потому, что у моих родителей жизнь удалась.

Рафа не унимался:

— Ты защищаешь семью, а ведь она в кризисе.

Виктор пятерней расчесал свою густую бороду.

— Ну и что? — сказал он серьезно.— Кино тоже в кризисе, однако я верю и в кино.

Рафа посмотрел на Лали, словно приглашая ее поспорить:

— Видишь, дорогая, к чему он клонит.

Лали тряхнула головой.

— Я уж лучше помолчу,— ответила она резко.— То, что я нарвалась на подонка, означает лишь одно: такие серьезные вопросы нельзя решать, как я, в девятнадцать лет.

Рафа взял ее за руку:

— А раз так — не будь недотрогой, поживи со мною месяц-другой.

Лали изобразила улыбку:

— Сто лет мечтала.

Подошла официантка, неся на тарелочке счет. Виктор взял счет, глянул в него и протянул девушке смятую бумажку в тысячу песет.

— Смотри, как дешево,— сказал он, когда девушка отошла.— Ели, ели, а наели всего на триста песет.

Он поднялся, смял в шарик бумажную салфетку и добавил:

— Не будем мешкать, до Куреньи недалеко, но кто знает, какая туда дорога.

В столовой еще сидели два усталых шофера, они курили и разговаривали вполголоса. Внизу, в баре, продолжали играть в карты и в домино, а по телевизору как раз закончилась передача на политические темы.

— Сегодня не Кантареро выступает? — спросила Лали.

— Он самый,— сказал Виктор.— А мы пропустили.

— Неужели вы бы стали слушать Кантареро? — удивился Рафа.

Виктор заметил:

— Думаю, было что послушать.

— Бляха-муха, что там слушать! Он же фашист до мозга костей.

Небо по-прежнему было обложено, однако дождь не пролился.

Садясь в машину, Рафа предупредил:

— Нам еще надо заправиться.

Заправившись на краю селения, у старой бензоколонки, он проехал через мост, свернул влево на узкую неасфальтированную дорогу красновато-лилового цвета, всю в лужах.

— Вот она, чтоб ей было пусто!

— Ладно, успокойся.

Двигатель не тянул, и Рафа переключился на вторую скорость. Дорога была очень неровной и все время петляла. Машина подпрыгивала на ухабах.

— Повезет, и до снега доберемся,— сказал Рафа.

Они поднимались, и река внизу превращалась в зеленую блестящую ленту, темную на глубоких местах и белесую там, где, разбиваясь о камни, она вскипала пеной; на противоположном берегу из плотной зелени деревьев выныривали крыши Рефико, а иногда видно было, как старушка, маленькая и черная, точно жучок, перебе-

ралась через грязную улицу. Рафа пригнулся к рулю и сосредоточился на дороге, безуспешно пытаясь не попадать в выбоины.

— Если и дальше такая,— сказал он,— средняя скорость будет километров двадцать, не больше.

— Поспеем,— сказал Виктор.— Собрание в Куренье назначено на пять.

Он вынул из кармана кассету и протянул ее Лали. Уселся поудобнее.

— Поставь эту, подходит к пейзажу,— сказал он.

Рафа глянул на кассету:

— Слушай, старик, только не это!

— А Куко Санчес тебе нравится?

— Обожаю! — отшутился Рафа.

Виктор сказал профессорским тоном:

— Вас, молодежь, от мелодии тошнит. Вы обожаете бессвязные звуки, потому что ваша страсть — все ломать.

Рафа снисходительно улыбнулся:

— Ты, конечно, перехватил, старик, но согласись, эта музыка — допотопная. Такое нравится моей матери.

— Твоя мама не такая уж старая,— парировал Виктор.

— Сорок пять! По-твоему, молодая?

Куко Санчес пел: «Гитары плачут, гитары». Рафа слушал и улыбался, покачивая в такт головой.

— Смерть мухам,— сказал он наконец.— Держу пари: Мария Долорес Прадера тоже в твоем вкусе.

— Конечно,— сказал Виктор.— А еще Баэз и Мачин, Пикир, Атауальпа и Ла-Туна.

— Хватит, старик, не продолжай! Я вижу, ты любитель муры.

— А чем плоха эта музыка? Да, мне нравится народная музыка. Она помогает сосредоточиться. Что же, значит, я реакционер?

Лали, молчавшая все время, заметила соболезнующе:

— Скорее ты просто сентиментален.

Виктор пожал плечами:

— Может быть.

Лали добавила:

— Слава богу, у тебя варит.— Она постучала пальцем по лбу.— Твое счастье.

Рафа наклонился вперед, к самым «дворникам», и посмотрел наверх.

— Похоже, тучи рассеиваются,— сказал он.

Дорога закручивалась локоном. Слева по склону шел кустарник, горевший желтыми цветами, а выше — широкая полоса дубов, казалось, поддерживала бурую массу утесов, которые уходили так далеко ввысь, что с этой стороны ничего больше не было видно. Справа земля тоже пылала от цветущего желтым кустарника, спускавшегося к реке, окаймленной кое-где бузиной и жимолостью; там же, где ничего не росло, земля пучилась почти вертикальными складками, украшенными поверху изъеденными глыбами причудливой формы, резко выделявшимися на фоне светлевшего дня.

— Черт побери! Ну, просто Колорадский каньон! — воскликнул Рафа.

Иногда ущелье становилось еще теснее, повороты еще круче. Дождевые потоки, сбегавшие к шоссе, намыли землю, и машину на поворотах заносило. Виктор посмотрел в одно, потом в другое окошко.

— Уму непостижимо,— сказал он.

Лали не могла отвести глаз от огромной каменной глыбы, дыбившейся над дубовой рощей.

— Видал? Какие иногда камни встречаются. Смотри, как вон тот! Похож на богоматерь с младенцем.

Рафа засмеялся:

— А за ним — святой Иосиф с осликом. Брось! Воображение вас губит.

За перевалом местность стала еще более суровой и безотрадной. Из-за утесов показались темные силуэты гор со снеговыми вершинами. Внизу, у подножья гор, густая растительность надвое рассекалась рекой. Виктор похлопал Рафу по спине.

— Ну-ка, останови. В жизни не видал такого.

— Слушаюсь, депутат.

Рафа остановил машину.

— Может, поставишь подальше, на обочину?

— Успокойся. Сюда с тридцать шестого года ни одна душа не являлась.

Виктор осторожно заглянул вниз, в пропасть. Неожиданно солнце, уже некоторое время сражавшееся с тучами, выглянуло, и все вокруг, до этого словно дремавшее, стало выпуклым и ожило невиданным богатством оттенков. Сонный взгляд Виктора пополз от реки к пронзительно-желтым цветам, к кожано-жестким, теперь засверкавшим листьям дубняка и остановился в выси, где прихотливо дыбились стройные зубья утесов. Со дна долины несся торжественный, бесконечно обновлявшийся рокот речного тока. Некоторое время Виктор молчал. Потом тихо, почти шепотом повторил:

— Уму непостижимо.

Рафа легкомысленно отозвался:

— Потрясающе, старик, и все-таки, если в один прекрасный день я пропаду, здесь меня не ищите. Это приют для баранов.

Взгляд Виктора проследил течение реки и задержался на зеленой прозрачной заводи, окаймленной густым орешником.

— А я бы согласился до конца дней прожить здесь с любимой женщиной и чтобы она любила меня.

Рафа скорчил уморительную рожу.

— Ну-ну,— сказал он,— только где ты найдешь такую женщину?

Вмешалась Лали:

— Скажи, пожалуйста, откуда у тебя такое своеобразное представление о женщинах?

Рафа не ответил. В тишине еще слышнее стало, как на дне теснины билась о камни вода.

— Помните спор,— сказал Виктор, вдруг становясь серьезным,— в фильме Занусси «Структура кристалла»?

— Потрясный фильм,— сказал Рафа.

Лали с интересом взглянула на него:

— А ты за кого?

— Что значит — за кого?

— На чьей ты стороне — того, кто едет в деревню, выбирает размеренную, полную труда сельскую жизнь, или другого, который из кожи лезет вон, лишь бы выбраться наверх.

Рафа поспешил ответить:

— Что за вопрос — конечно, я за того, который лезет наверх. Другой — просто лопух.

Виктор вмешался:

— Ну, ты уж слишком.

— Потрясно! — завопил Рафа.— В глушь, в деревню со своей лапочкой, со своими книжечками-пластиночками... Прекрасно, просто обалденно. А остальные пусть накроются. Очень удобная позиция, но с точки зрения общественной — бесполезная.

Виктор погладил подбородок, присел на корточки, сорвал травинку, закусил ее зубами, мягко сказал:

— Почему же бесполезная?

— Потому что он эгоист.

— Эгоист! Какой же он эгоист,— сказала Лали.— Эгоист тот, кто лезет наверх, к славе и к деньгам, карьерист.

— Но он служит обществу, лапочка. Разве мы здесь не потому оказались, что служим? А ты сама в депутаты выставилась не потому ли, что служишь?

Виктор покусывал травинку. Потом распрямился и примиряюще сказал:

— Ты слишком упрощаешь. Метеоролог тоже сидит в деревне, не в носу ковыряет, просто он не честолюбив и довольствуется скромным местом, однако и он служит. Если человек в свободное от работы время развлечется книгой, или пропустит рюмочку, или сходит на реку с удочкой — это не дезертирство.

Рафа наклонился, поднял с дороги камешек и изо всех сил метнул его, стараясь добросить до реки, но тщетно. Виктор улыбнулся и тоже бросил. Его камешек с коротким всхлипом нырнул в воду.

— Вот она, нынешняя молодежь, даже камешки бросать не умеете,— сказал Виктор со снисходительным презрением.

Лицо у Рафы вдруг стало другим. Он не мог оторвать глаз от пропасти, от тонкого снопа солнечных лучей, надвое рассекавших узкую долину. С несвойственной ему серьезностью он сказал:

— Свет и тень. Вот они, живьем, бляха-муха. Не в этом ли заключалось изобретение братьев Люмьер?

Взгляд у Виктора снова стал сонным и далеким.

— Свет и тень,— повторил он словно сам себе.— Игра со светом. И к чему привело? Голое экспериментирование для прикрытия посредственности.

К Рафе вернулась привычная беззаботность.

— Ну, старик, ты чересчур.

А Лали согласилась:

— Я — целиком «за». Кино и литература, которые не исследуют человеческого сердца, для меня не существуют. Чрезмерное экспериментирование в искусстве — это бегство от действительности.

Виктор глянул в глубь ее глаз.

— Критический реализм? — уточнил он.

Лали решительно возразила:

— Нет, не он. Я имела в виду итальянский неореализм: «Четыре шага в облаках», «Чудо в Милане», в общем, сам знаешь.

— Старье-мурье,— сказал Рафа.— Антониони давно похоронил все это.

Лали вскинула руку, в ужасе показывая часы.

— Времени-то сколько, знаете?

— Вот это да — пять, черт побери,— сказал Рафа.— Ну, мы даем, ребята. Вся деревня полчаса простоит на площади в ожидании знаменитостей.

V

Справа от дороги, на уступе скалы, утопая в зелени буков, зарослях ежевики, мяты и крапивы, лепилось селение. Селение упиралось в отвесную стену, гребнем уходившую в пасмурное небо; наверху с гомоном кружились галки. С уступа, на котором ютилось селение, срывался поток, и, рассыпаясь в брызги, падал с двадцатиметровой высоты и уходил под мостик, чтобы где-то там, на самом дне ущелья, встретиться с рекой. По этому мосту они только что проехали.

Виктор двумя пальцами постучал по плечу Рафы.

— Ну-ка, сверни сюда.

— Сюда? Бляха-муха, не проедем.

Однако Рафа вывернул руль, и машина въехала в узенькую и крутую улочку: дома из туфа, двустворчатые двери, галереи с потускневшими деревянными балясинами на верхних этажах. Обвет-

шалые крыши, выбитые стекла, соскочившие с петель оконные створки, дверные проемы, заросшие сорняками, создавали впечатление разрухи и запустения. Лали высунулась в окошко. Посмотрела в одну, в другую сторону. Сказала:

— Заброшено — никого нет.

— Давай немного дальше,— сказал Виктор.

Улица петляла, и по сторонам то и дело зияли темные дыры подвесных сеновалов, подпертых крепкими дубовыми косыгами, грязные, уходящие круто вверх тупички, закупоренные овином или кузней. Перед домом из тесаного камня с каменной аркой Рафа остановил машину. Не считая жужжания мотора да унылых галочьих криков над скалою, вокруг было тихо.

— А это? — Рафа указал на арку.— Что сие означает?

Виктор окинул дом взглядом знатока.

— Я видел такие в Рефико,— сказал он.— А на двух домах были даже гербы. В семнадцатом веке эти земли кое-что значили.

Рафа с сомнением покачал головой и тронулся дальше. Улица совсем сузилась.

— Елки, прямо-таки страшно становится, старик,— сказал Рафа.

Он свернул за пустой, выпотрошенный сарай на каменном фундаменте, и в глубине улицы мелькнул просвет. Машина выехала на довольно широкую площадь, через которую по белому каменистому руслу несся хрустально-прозрачный ручей, вырываясь откуда-то из грота, размытого в основании скалы. Меж буков, росших вдоль ручья, ходили, поклевывая, рыжие куры, а на другом берегу, у орехового дерева, к которому был привязан пепельно-серый ослик, возвышался дом с навесом над дверью и галереей, на которой красовались цветочные горшки и развешанное на проволоке постельное белье.

Лали вздохнула и вышла из машины.

— Вроде кто-то есть,— сказала она с облегчением.

С двух плакатов, приклеенных Анхелем на глухую стену сарая, смотрел лидер, а под ним — объявление приглашало жителей собраться в пять часов на митинг.

— Самое место для митингов, старики! — сказал Рафа.— Мудрец этот Дани.

— Откуда Дани мог знать?

— Но полюбопытствовать-то заранее можно было, старик.

Виктор хранил молчание. Окинул взглядом двойной ряд построек вдоль ручья, задрал голову и оглядел углубления в скалах, где бешено орали галки. Глубоко вдохнул полной грудью и улыбнулся:

— Знаете, что я вам скажу? Стоило проделать путь только ради того, чтоб увидеть все это.

— Черт побери, если ради этого — молчу.

С другого берега до них долетело негромкое, учтивое и сердечное:

— Доброго здоровья...

Все трое вздрогнули. Грузный старый мужчина в нахлобученном черном берете, залатанных брюках из серого вельвета стоял под навесом и глядел на них. Виктор, переступая с камня на камень, решительно направился к нему через ручей.

— Добрый день,— сказал Виктор, перебравшись.— Скажите, пожалуйста, где нам найти сеньора алькальда?

Мужчина смотрел на него голубыми выцветшими глазами, в которых то загоралась, то гасла искорка замешательства.

— Я алькальд,— сказал он не без хвастовства.

В правой руке старик держал корзину, а в левой — лестницу. Виктор смутился.

— Ой, простите,— сказал он.— Мы по поводу выборов...

— Ясное дело,— сказал старик.

— Вы ведь знаете, что пятнадцатого выборы, так?

— Так, сеньор, слыхал разговоры в Рефико.

Виктор смотрел на видавший виды берет и слушал размеренную, осторожную речь мужчины. Решился не сразу. Но в конце концов резко обернулся, указал на Лали и Рафу:

— Это мои товарищи.

Бесстрастное лицо мужчины тронула непонятно что значившая гримаса. Словно в оправдание, он вытянул вперед обе руки — с корзиной и лестницей.

— Очень приятно,— сказал он.— Простите, что руки не могу подать.

В дверях дома показалась дворняга — правое ухо торчит, левое повисло, хвост поджат — и бочком, бочком стала подбираться к Виктору.

— Цыц, Кита! — сказал мужчина, энергично тряхнув головой.

Пес повернул назад и занял позицию позади мужчины.

Старик опустил лестницу на землю, повесил на нее корзину. Виктор спросил:

— Скажите, пожалуйста, а найдется помещение, где собрать народ?

— Какой народ? — спросил мужчина.

— Из селения.

— У-у-у!..— Старик улыбнулся не без лукавства.— За народом вам пришлось бы отправиться в Бильбао.

— Вы что — тут один остались?

— Как один,— сказал старик, лестницей указывая в сторону улицы,— еще этот остался, только учтите: либо вы с ним имеете дело, либо со мной. Стало быть, выбирайте.

За спиной Виктора Рафа вполголоса сказала Лали: «На сей раз— точно вляпались». Вынув из кармана пачку сигарет, он протянул старику.

— Спасибо, не перевожу добра.

Виктор продолжал свое:

— Значит, вас всего двое осталось?

— Как видите, и притом из нас двоих один лишний. Чем меньше нас, тем хуже.

Виктор поставил правую ногу на порог дома и уперся в нее руками. Испытывая неловкость, сказал принужденно:

— Мы-то, собственно, хотели немного поговорить, просто проинформировать.

В глазах старика снова мелькнуло удивление.

— Ясное дело! Пожалуйста, информируйте меня.

Виктор мотнул головой.

— Вообще-то,— сказал он наконец,— вот так, под открытым небом, носом к носу, как-то неудобно, поймите меня... Но, с другой стороны, главное, что мы хотели сообщить: эти выборы пятнадцатого числа имеют для страны первостепенное значение.

— Ясное дело,— лаконично сказал старик.

— Другими словами, это — возможность, я бы даже сказал, единственная возможность, и если мы ее не используем, то пойдем ко дну раз и навсегда.

Старик помрачнел. Поморгал. Выждал немного и спросил:

— Как это, пойдем ко дну, простите за вопрос?

Виктор потер подбородок.

— Ну, это...— ответил он,— долго объяснять. Времени много отнимет.

Он сделал шаг назад и, обескураженный, выпрямился, руки повисли как плети. Лали подошла к ручью, опустила руку в воду. И отдернула, будто обожглась.

— Холодная,— сказала она.

Мужчина поднял глаза на грот.

— А как же — родниковая.

Лали подошла к нему.

— Водопад, что внизу, у въезда в селение,— из этого ручья?

— Грива-то?

— Я не знаю, как он называется, может, и Грива.

— Да, эта вода падает,— рассудил мужчина.

В черном дверном проеме, окаймленном поверху виноградной лозой, показалась старая женщина, сгорбленная, в трауре, черном платке, завязанном под подбородком, и с консервной банкой в дрожащих руках. Мужчина кивнул в ее сторону и сказал, как бы знакомя:

— А вот и моя — она у меня немая.

Лали и Виктор улыбнулись женщине:

— Добрый день.

Старуха коротко поклонилась в ответ, подошла к верстаку под ореховым деревом и принялась издавать резкие гортанные звуки, разбрасывая горстями зерно из жестянки. Рыжие куры, клевавшие выжимки, поспешили на зов и застучали клювами вокруг старухи. Рафа посмотрел вверх, на галок, сидевших по уступам.

— А эти стервятники кур не трогают?

Рот старика сложился в презрительную гримасу.

— Галки-то? — насмешливо спросил он.— Галка, она ведь не хищная.

Разбросав все зерно, женщина перевернула жестянку и забарабанила костлявыми пальцами по дну — из грота выскочили и заспешили к ней две запоздавшие курицы. Виктор потряс кистями рук. Сказал старику:

— Мы, видно, не вовремя.

— Да нет, ничего,— сказал старик. И добавил, словно в оправдание: — Я шел снимать рой, если хотите, пойдемте вместе...

Лицо Виктора осветилось.

— А не помешаем, если пойдем с вами?

— Почему вы должны помешать?

— Кстати,— продолжал Виктор, делая еще одну попытку подойти ближе,— мы ведь еще не представились. Меня зовут Виктор, это— мои друзья, Лали и Рафа. А как ваше имя?

— Кайо, Кайо Фернандес, к вашим услугам.

— Ну что ж, сеньор Кайо, позвольте, я помогу вам,— Виктор взялся за перекладину лестницы.

Сеньор Кайо улыбнулся. Острый взгляд облагораживал слабую беззубую улыбку, не то снисходительную, не то ироническую. Старик отдал ему лестницу:

— Пожалуйте, коли охота.

Виктор взял лестницу. Удивленно воскликнул:

— Легкая, как пробковая, из какого же она дерева?

— Из черного тополя. Тополь легкий и прочный.

С сеньором Кайо во главе они свернули за дом. И ступили на тропинку среди травы, забрызганной розетками маргариток. Слышно было, как по левую руку, в зарослях, бежит вода. Лали подошла к кустам и сорвала цветок — множество мелких белых звездочек, собранных в соцветие, похожее на раскрытый зонтик.

— Что за цветок? — спросила она, вращая стебелек пальцами.

Сеньор Кайо взглянул на него:

— Бузина, цветок бузины. Отвар из цветка бузины всякую глазную боль снимает.

Лали показала цветок Виктору:

— Представляешь?

Сеньор Кайо, покачивая на ходу корзиной-роевней, поднялся по тропке меж кустов кизила и остановился на небольшой площадке у входа в каменную ограду, над которой высились старые дубы.

За оградой в углу виднелся сарай для инвентаря, а вместо задней стенки стояло в ряд с дюжину колод-ульев. Повсюду, куда ни глянь, сновали пчелы. Сеньор Кайо подошел к первому дубу и поднял руку, указывая на крону.

— Глядите,— сказал он и улыбнулся довольно.— Лет пятнадцать, а то и поболе такого роя не снимал.

Лали, Виктор и Рафа смотрели на крону дуба. Вверху с ветки свисал большой темный мешок, и вокруг него суетились, сновали туда-сюда пчелы. Рафа догадался первый:

— Черт побери, да это же все — пчелы!

— Что значит — все? — спросила Лали.

— Все, черт побери! На ветке не мешок, а пчелы. Не видишь разве?

Виктор радостно закричал:

— И вправду, надо же! Друг на дружке. Видишь, шевелятся?

Старик наблюдал за ними, довольный, как ребенок. Пчелы ползали друг по другу — одни выбирались наверх, другие оказывались под ними, но с копошащегося клубка не слетали. Сеньор Кайо приподнялся на носках, отломил ветку от нижнего сука и сунул ее в корзину-роевню, продев концы меж прутьев. Пошел к навесу, взял дымарь и набил его соломой. Осторожно чиркнул спичку и поджег солому. Солома курилась, словно жаровня с дубовыми углями. Старик поставил дымарь на землю, взял на кончик пальца меду и смазал выбившиеся наружу листья ветки. Захватив роевню и дымарь, вернулся к дереву. Лали, Виктор и Рафа как завороженные следили за пчелами.

— Каково, а?

Виктор спросил, не отводя взгляда от пчел:

— Скажите, пожалуйста, а почему они держатся вместе?

— Пчелы там, где матка.

— А если матка улетит?

— Они — за ней, так водится.

Виктор сыпал вопрос за вопросом:

— А если вы их сейчас не снимете, они так тут и останутся?

Под многолетним дубом спокойная речь сеньора Кайо звучала мудро и поучительно:

— О нет, сеньор! Их гонцы, наверно, уж разлетелись по округе — ищут новый дом.

— А если не найдут?

— Едва ли. Но ежели не найдут или найдут такой, где им будет худо, детки снова вернутся к матери.

— К матери?

— В улей, откуда вылетели.

Скрестив руки на груди, Виктор улыбался. Посмотрел на Лали:

— Уму непостижимо.

Сеньор Кайо прислонил лестницу к толстому нижнему суку.

— Вот сеньор Кайо и даст им дом, который они ищут,— сказал он.— Вы не подержите лестницу?

Виктор поставил ногу на нижнюю перекладину. Сеньор Кайо взял в одну руку роевню, в другую — дымарь и, не медля, придерживаясь за лестницу запястьями занятых рук, проворно полез кверху. Забравшись наверх, он забормотал еле слышно, ровным голосом, дружески, то ли укоряя, то ли уговаривая:

— Ну, давайте все сюда. Вот так, потихоньку. Чуток дымку, и все сюда, наверх.

Он перевернул роевню кверху дном, приспособив ее так, что листья, смазанные медом, касались ветви, на которой висел клубок, и медленно обеими руками стал направлять струйку дыма.

— Потихоньку, потихоньку, сюда. Еще дымку — и все тут будете.

Черный мешок таял на глазах. Он стал дряблым и обвис: пчелы карабкались друг по дружке кверху, в корзину, но взлетать не взлетали. Когда все они были в роевне, сеньор Кайо бросил дымарь на землю и начал спускаться по лестнице тем же способом, что и забирался наверх. Виктор с изумлением, внимательно следил за ним.

— Сколько вам лет, сеньор Кайо?

— Мне-то? В день святого Хуана будет восемьдесят три.

Рафа прищелкнул пальцами.

— Вот это да: в восемьдесят три лазать по деревьям.

Лали не отрывала глаз от роевни, покачивавшейся на руке у старика, пока тот спускался по лестнице. С удивлением сказала:

— Ни одна не упала.

— А зачем им падать? Они умеют держаться,— сказал сеньор Кайо.

Спустившись на землю, он сунул руку в карман латаных-перелатанных брюк и вынул белую тряпицу. Присел на корточки подле одной из колод и расстелил тряпицу на земле так, что концы ее касались отверстия в стволе. Движения сеньора Кайо были медленными и старательными, ничего лишнего. Виктор не сводил с него глаз. Он спросил:

— А что это за колоды вместо изгороди?

Сеньор Кайо кивнул на серые с отверстиями колоды, замурованные в желтые камни изгороди.

— Эти-то? — спросил он.— Колоды и есть, иначе — ульи.

Пчелы вползали и выползали из отверстий ульев, вползали медленно, с усилием, а оттуда появлялись освобожденные, готовые к новому полету. Сеньор Кайо добавил:

— Смотрите, какие трудяги.

Он взял роевню и вытряс ее, несколько раз постучав краем о землю. Из корзины высыпался рой и, черный, копошащийся, сгрудился на тряпице. Несколько пчел поднялись и, жужжа, летали кругами. Рафа испуганно замахал руками. Сеньор Кайо сказал:

— Пускай, не трогайте их!

— Не трогайте, бляха-муха! А если покусают?

— Зачем им вас кусать, пчела в рое никогда не кусает.

Виктор изумленно следил за темным комом из насекомых, который точно так же, как только что на суку, медленно, но верно таял. Первые партии пчел, легко передвигаясь по тряпице, забирались в отверстие улья.

— Входят! — сказал Виктор.— Потрясающе.

Сеньор Кайо, наблюдавший за пчелами вблизи, нахмурил седые брови, сдерживая недовольство:

— Входят-то входят, да без охоты.

Осторожно взяв тряпицу за концы, он чуть приподнял ее, легонько подталкивая рой к улью. Несколько пчел проворно поползли по его пальцам, по рукам, забирались на спину, заползали в брюки. Другие сердито кружились над ними. Рафа не успокаивался:

— У вас сзади на брюках дюжина, не меньше, сеньор Кайо!

Сеньор Кайо, склонившийся над тряпицей, искоса глянул на него:

— Какая от них беда? — спросил он.— Пускай сидят, вот пчелиная матка войдет, и они — за ней следом.

Он склонился над роем и продолжал словно сам с собою:

— Без охоты входят, сеньор, без охоты. Не знаю, что с ними сегодня такое.

Все больше и больше пчел взлетало и, жужжа, кружилось меж дубами. Сеньор Кайо обернулся к Виктору:

— Не протянете мне дымарь?

— Вот этот, что курится?

— Он самый, сеньор.

Виктор подал сеньору Кайо дымарь. Тот сказал:

— Ну-ка, сеньор, сами, сделайте милость.

— Я? — испугался Виктор.

— Вы, сеньор, это просто. Поверните его носиком к рою и три раза тихонько дымните, три раза, не больше — слышите?

Охваченный детской радостью, Виктор три раза неуклюже нажал на мехи дымаря. Рафа захохотал, хлопнув себя по ляжкам:

— Черт побери, ну и физия у тебя, депутат!

Сеньор Кайо сказал:

— Довольно.

Подгоняемые дымом, пчелы заспешили к отверстию. Сеньор Кайо добавил:

— Как дам знак, окажите любезность, дымните еще три раза.

Скоро все пчелы исчезли в отверстии улья, и лишь несколько отбившихся от роя носились кругами, как оголтелые. Сеньор Кайо выпрямился, упершись руками в поясницу, потом свернул тряпочку и спрятал ее обратно в карман. Затем он вытряс из дымаря солому и затоптал ее ногами. Поправил берет.

— Ну, ладно,— сказал он.

И медленно пошел к сараю. Лали, Виктор и Рафа последовали за ним, обмениваясь впечатлениями. Неожиданно сеньор Кайо замер, наклонив голову, скосив глаза в сторону,— точь-в-точь собака в стойке.

— Стоп,— решительно сказал он. И, не двигаясь с места, тихо добавил: — Дайте мне, пожалуйста, палку.

Из кучи хвороста, сваленного у сарая, Виктор выбрал палку и подал ему:

— Годится?

— Сойдет.

С неожиданной живостью сеньор Кайо высоко поднял палку и принялся молотить ею по земле в зарослях тимьяна. Потом отшвырнул палку, смеясь, наклонился и поднял двумя пальцами за лапку зеленую ящерицу с размозженной головой. Обернулся и показал:

— Видали? Эта зверушка для пчелы хуже чумы. Куда хуже! Ящерице только дай волю — целый рой слизнет, ничего не оставит.

VI

Сеньор Кайо перевернул лестницу горизонтально и повесил ее на два ржавых гвоздя над полками, а рядом — роевню. Покоробившиеся полки были завалены сморщенными прошлогодними плодами. Густо пахло старыми яблоками и альольвой. В глубине сарая, за полками, было прокопченное помещение, тускло освещавшееся единственным окном, потрескавшиеся стекла заросли грязью и паутиной. Сеньор Кайо сказал с некоторой торжественностью, словно знакомя с человеком:

— Пекарня. Здесь мы с моей хлеб печем.

Виктор удивился:

— Хлеб? И хлеб насущный тоже делаете своими руками?

— Своими руками, что тут мудреного?

Глаза привыкали к полумраку, и Виктор различил на желтоватой каменной стене рядом с лестницей и роевней, только что повешенными сеньором Кайо, инструменты и сельскохозяйственный инвентарь. Виктор обвел их взглядом и, задержавшись на деревянной щетке с металлической щетиной, спросил:

— А это что?

— Чесалка.

— Зачем она?

— Лен чесать. В прежние времена наши места льном славились.

Виктор, подстрекаемый любопытством, не унимался:

— Это в какие же прежние времена?

Сеньор Кайо поскреб бороду.

— Лет семьдесят тому, никак не меньше. Я еще мальчонкой был.

— И почему же перестали выращивать лен?

— Лен, знаете, по рукам и по ногам связывает. И когда Сиприано отслужил в армии и привез сюда первые яблоньки, мы лен забросили. Кто его знает, в каком это году было! Вот считайте. Сиприано умер в семьдесят первом, а на Пресвятую деву ему сравнялось бы девяносто три.

— Черт побери! — вмешался Рафа.— Тут кого ни возьми — до глубокой старости доживает.

На лице сеньора Кайо отразилось довольство.

— Чего-чего,— сказал он,— а здоровья у нас хватает.

Виктор чуть насмешливо поддел:

— Наверное, от меда — пища богов, как-никак.

— Может, и от него, отрицать не стану.

На нижних полках были ссыпаны грецкие орехи. Рафа взял орех, бросил на пол и каблуком раздавил его. Виктор спросил:

— И орехи тоже Сиприано завез?

— Да нет, сеньор! Орехи тут испокон веков, как камни. Кто их знает, сколько лет! Тыщи две, наверно.

Собака, потихоньку пробравшаяся в сарай, терлась и вынюхивала у полок. Сеньор Кайо пнул ее:

— Цыц, Кита!

Собака взвизгнула, поджала хвост и, ткнувшись в порог, выскочила на улицу. Виктор крутил в руках диковинное изделие из проволоки с двумя ремешками:

— Что за штуковина, похожа на намордник?

— Намордник и есть.

— Ничего себе собачки у вас!

— Это не для собак, для ослов.

— Как, в этом селении ослы кусаются?

— Не то чтобы кусались, сеньор, а только не надень ему намордник и начни возить снопы — ни одного колоса до места не довезешь.

Виктор кивнул:

— А, понятно.

Лали потянулась к ближайшей полке и взяла с нее яблоко:

— Можно?

— Кушайте, кушайте, угощайтесь, нынешним летом яблок не попробуем.

— Плохой урожай? — допытывался Виктор.

— Плохой, когда есть хоть что-то. А тут апрельские заморозки побили весь цвет подчистую.

Позади из темноты послышался жалобный стон. Сеньор Кайо улыбнулся и поскреб щеку:

— Чуете?

— Кто это?

— Сова. Года два назад пустил ее свить гнездо, и вот — пожалте.

— А раньше что же — она гнездилась не в помещении?

— Никогда они под крышей не гнездились, а теперь, видать, одиноко им стало.

Левой рукой он отодвинул подпорку двери, пригнул голову, чтобы не стукнуться о притолоку, и пригласил:

— Заходите, заходите.

Он двигался легко и свободно, а они за ним — неуверенно и на ощупь в полутьме, по неровному полу. В самом темном углу сеньор Кайо остановился и чиркнул спичкой. Два живых существа, два близнеца, два комочка из ничего не весящих перьев глянули на них

с полу, из сена, своими круглыми черными глазами. Сеньор Кайо поднял соломинку и ткнул раз и другой в пушистые комочки, и совята выпустили когти — длинные, загнутые и острые как ножи. Не распрямляясь, сеньор Кайо поднял валявшиеся около птиц два серепьких, сухих, свинцового цвета катышка и загасил спичку. Зажег новую, выпрямился и показал на ладони катышки. Прищурился:

— Ну, кто знает, что это?

— Черт побери, две какашки! — не колеблясь, высказался Рафа.

Сеньор Кайо засмеялся:

— А вот и нет, сеньор, не какашки, ничего подобного. Это сова откладывает ртом. А все, что не мумиё, сплевывает отдельно, сказать яснее: косточки, волоски всякие, вот так у них водится.

Он раздавил катышки меж пальцев, показывая, какие они крепкие, потом бросил их на землю вместе со спичкой, растер подошвой и опять пригнулся, чтобы не стукнуться о притолоку. Назад, к светлому дверному проему, идти было легче. Сеньор Кайо задержался около развешенного по стене инвентаря. Тщательно выбрал мотыгу.

— А теперь мне надо спуститься в огород,— словно бы извинился он.

Виктор отряхнул руки.

— Можно, мы с вами? — спросил он.

— Вы, как погляжу, собираетесь задержаться. А коли так — чуть погодя покажу вам селение.

— Есть что-нибудь стоящее?

— А то! Как не быть. Наверху, у кладбища, можете посмотреть часовню, дорогого стоит, от тех еще времен, когда мавры тут были, вот так, сеньор. И пещеру Грива, другой такой во всей провинции нет; в войну мы прятались в ней всем селением, заметьте.

Продвигаясь за стариком к дверям сарая, Виктор внимательно слушал. Тени уже выбрались из улочки и легли на площадь, а солнце отсвечивало в ручье и золотило склон холма. Когда галки замолкали, становилось слышно, как бежит по камням ручей и где-то далеко обрушивается водопадом на дорогу. Рафа подошел к Виктору.

— Знаешь, сколько времени, депутат?

Виктор угрюмо рассудил:

— Какое это теперь имеет значение? Нам тут хорошо, так ведь? — И, будто желая успокоить собственную совесть, спросил сеньора Кайо: — А кто из жителей остался в Кинтанабаде?

— В Кинтанабаде-то? А никого.

— Никого?

— Никого ровным счетом, сеньор.

— А в Мартосе?

— А в Мартосе, сеньор, пятеро осталось. Постойте-ка, наврал: четверо. Баудильо в прошлом месяце помер.

Виктор обернулся к Рафе:

— А ты говоришь!

— Елки, ничего я не говорю! Дани до лампочки, сколько там человек, сам знаешь, ему одно нужно — пришпилить на карту последний флажок, и точка.

Виктор пожал плечами.

— Весьма сожалею,— сказал он.— Я в эти игры не играю.

Женщина в трауре вышла из дому — пес плелся за ней, и Виктор проводил ее взглядом до ореха. Подойдя к дереву, женщина отвязала осла и на веревке повела его за дом; пес не отставал от старухи. Сеньор Кайо, постукивавший мотыгой по земле, теперь поднял ее и, оглядев внимательно, сказал вроде как сам себе:

— Надо ее загнать, да получше.

— Загнать — в смысле насадить?

— Само собой.

— А в городе загнать — значит продать.

Старик словно не слышал его:

— И загонять надо не на палку, а на цельный ствол.

— На ствол?

— Цельный, от корня, простая палка не удержит.

У Виктора от возбуждения горели глаза. Он обернулся к Лали:

— Представляешь?

Лали сделала слабую, вполголоса попытку:

— Даже если в Матросе мы не будем выступать, то хоть появиться там надо, Виктор. А то Дани взбеленится.

— Дани, Дани, Дани, с языка у вас Дани не сходит, черт подери. Нельзя ли в конце концов оставить меня с вашим Дани в покое?

— Как скажешь.

И, придя в дурное расположение духа, Виктор отвернулся.

— Пойдемте в огород, сеньор Кайо.

Старик зашагал по правому берегу ручья; дойдя до откоса и оставив слева небольшой проточный водоем, ступил на тропку, петлявшую меж папоротников. На первой же террасе, образованной наносами, находился огород, разбитый на правильные квадраты, заботливо обработанные и ухоженные, и это особенно бросалось в глаза по сравнению с невозделанной, заросшей сорняками землею вокруг. Рафа наклонился, разглядывая бобы: крепкие, прямые стручки торчали на стебле, а рядом повисли кривые стручки гороха.

— Что это за растение? — спросил он.

— Бобы,— ответил сеньор Кайо.

Рафа рассмеялся. Тихонько сказал Лали:

— Видишь? Идеальный фаллический символ. Как раз для Фрейда! Вот почему говорят: «торчит как стручок».

Легкая Лалина рука легла на плечо Рафы.

— Рафа, детка,— сказала Лали.— Я серьезно опасаюсь, что ты неисправим. Сексуальный маньяк, да и только.

Виктор осматривался: террасы, спускающиеся к реке, яблони, а на другом берегу — мягкие горные пастбища, зажатые зарослями дрока.

— Ну как? — спросил сеньор Кайо, окидывая взглядом горы.

— И вправду небогатые земли, но если объединиться в кооперативы, наверное, можно хозяйствовать.

— Вряд ли, такое уже было.

— Кооперативы?

— Вот именно, сеньор. Мисаэл с односельчанами в шестьдесят четвертом согнали своих овец в одно стадо — больше трех сотен. Только как управиться с ними, если никто не хотел быть пастухом?

Виктор задумался.

— Я не это имел в виду,— сказал он.— Я имел в виду фруктовые сады. В Лериде за несколько лет деревня проделала настоящую революцию. И знаете, на чем они выбрались? На разведении карликовых фруктовых деревьев и рациональном сбыте продуктов, только и всего.

Сеньор Кайо усмехнулся:

— А в селении, о котором вы рассказываете, в мае бывают заморозки?

Виктор провел рукой по подбородку.

— Может, вы и правы.

Старик поплевал на ладонь, энергично потер руки, взял мотыгу и принялся делать маленькие лунки на грядке. Он работал спокойно, размеренно и без остановок. Виктор внимательно наблюдал за ним.

— Вы никогда не спешите, сеньор Кайо, правда?

— Ясное дело! Куда, скажите на милость, мне спешить?

Солнце снова пробилось меж туч и залило светом долину. Стараясь не наступить на картофелины, Лали добралась до Виктора, а

Рафа устало дотащился до конца огорода и присел на бугорок в тени орехового дерева. Увидев это, сеньор Кайо оторвался от работы, сдвинул берет на затылок и провел тыльной стороной ладони по потному лбу.

— Не надо бы ему там садиться,— сказал он.

— Мне? — встревожился Рафа.

— Тень орешника — обманная штука.

— Черт побери! Какая разница, чья тень?

— В том-то и дело, сеньор, что тень тени рознь. Не верите — спросите у сеньора Бенито.

— А что случилось с сеньором Бенито?

— А вот сел он в четверг под вечер, как вы, на этом самом месте, а в воскресенье мы предали его земле. Так оно вышло.

Рафа вскочил и лихорадочно, обеими руками стал отряхиваться. Деланно засмеялся.

— Будет вам,— сказал он,— не каркайте.

Сеньор Кайо только чуть кивнул, как бы говоря: «Вот так-то лучше»,— и, склонясь к земле, снова неторопливо и усердно взялся за дело. Немного спустя он положил мотыгу на землю, подошел к клочку, засеянному свеклой, оторвал от одного из растений длинный и пышный лист и показал, презрительно заметив:

— Вон что делается, в ботву пошла.— Он выдирал из влажной земли красные, еле завязавшиеся свеколки и бросал их в кучку.— Если сидят часто, то не в корень идут, как положено, а в ботву. Надо прореживать, чтоб каждой было где развернуться.

Он говорил тихим, ровным голосом и переносил рассаду на свободный клочок земли. Там осторожно, по одной, опускал растения в приготовленные лунки. Потом тремя точными, сноровистыми взмахами мотыги присыпал каждую лунку землей. Лали мрачно следила за стариком: сосредоточенное лицо, большие в набухших венах руки, цепко держащие рукоятку мотыги. И вдруг взорвалась:

— Этого нельзя допускать!

Сеньор Кайо остановился и оторвал взгляд от земли с таким выражением, словно его поймали на ошибке.

— Чего? — спросил он.

Лали заговорила с видом обвинителя.

— Этого,— сказала она,— чтобы восьмидесятитрехлетний старик тяжким трудом от зари до зари зарабатывал себе на жизнь.

Сеньор Кайо стоял, хлопая глазами,— он не мог прийти в себя от удивления. Опять провел тыльной стороной ладони по лбу, поскреб щеку.

— Ну и ну,— проговорил он наконец со сдержанным возмущением,— и вы тоже собираетесь отнять у меня работу?

Лали охватил гражданский пыл — маленькая голубенькая жилка набухла и пульсировала на лбу, предвещая ораторский выпад. Она произнесла решительно, с угрозой, твердым, казенным голосом:

— Общество, которое терпит такое,— несправедливое общество.

Сеньор Кайо был похож на рассерженного ребенка. Он смотрел на нее в изумлении. Потом сказал:

— Вот так-так! Да если вы отнимете у меня работу на огороде, чем мне заниматься?

Виктор с Рафой только успевали поворачивать головы, следя за их диалогом. Губы Виктора сложились в ироническую усмешку. Лали горячилась:

— А если завтра вы заболеете?

— Ну и что? Моя меня вылечит.

— А если заболеет она?

— А дети на что?

Лали раскинула руки в патетическом жесте. Ее фигура на фоне позолоченных солнцем обрывистых скал выглядела театрально.

— Добрались, наконец! — сказала она.— Именно этого я от вас и ждала.

Сеньор Кайо все больше приходил в замешательство.

— Так ведь положено, правда? — робко завел он.— Сперва ты за ними ходишь, пока они не оперились, потом они за тобой, когда тебя ноги носить перестают.

Похоже, Лали отказалась от усилий по преобразованию общественного уклада. Она пробормотала что-то насчет трудностей переделки патриархального общества, но, поскольку сеньор Кайо продолжал смотреть на нее с непонимающим видом, Виктор, желая снять напряженность, вмешался:

— У вас много детей?

— Двое у меня, парочка, сын и дочка,— ответил все еще не оправившийся от изумления сеньор Кайо и поглядел на Лали, словно ожидая от нее нового выпада.— Сын в Баракальдо, на заводе подшипников, а дочка в Паласиосе, замужем и, знаете, лавку держит и бар.— Он чуть улыбнулся и добавил:— У обоих машины.

В разговор вступил Рафа:

— А почему они уехали из селения?

Сеньор Кайо сделал руками неопределенный жест.

— Молодежь,— сказал он,— скучно им тут.

— Черт побери, конечно, скучно, елки-моталки. Какие у них тут перспективы?

Галки, хлопая крыльями, кружились над скалами и заунывно кричали.

— Нужды они не знали,— угрюмо уточнил сеньор Кайо.

— Елки, нужды не знали! Смотря что вы называете нуждой.

Сеньор Кайо покачал головой и постоял немного, глядя на Рафу как бы издали. Потом снова взял мотыгу и принялся размеренно и четко присыпать землею рассаду, пробормотав:

— Сдается, мы друг дружку не поймем.

Солнце медленно уходило за левый берег. Тучи, темнея и сгущаясь, неслись на юго-восток. Время от времени они накрывали долину тенью, а потом вновь пробивалось солнце и заливало все мягким оранжевым светом.

Виктор, засунув руки в карманы, примирительно обратился к сеньору Кайо:

— Скажите, пожалуйста, сеньор Кайо, а когда начался исход?

Сеньор Кайо, не понимая, уставился на него. Виктор пояснил:

— В каком году люди начали уходить из селения?

— Когда народ снялся с земли?

— Вот именно.

— Точно не скажу, но, как пришла война, люди и забеспокоились.

— Во время войны? Уже тогда?

— А как же, сеньор. На войну не одного и не двух забрали, и обратно они не воротились. А потом и пошло, и пошло.

— Когда?

— Лет эдак пятнадцать тому назад.

— Ведь селение было когда-то большое?

Водянистые глаза сеньора Кайо засветились.

— Большое, говорите? В добрые времена у нас тут сорок семь семей хозяйствовало. И повеселиться умели, к слову сказать, во всей округе другого такого селения не сыскать было. И не потому так говорю, что это мое, но на пасху к нам сюда даже из Рефико люди поднимались. Куда там!

Рафа бросил окурок на землю, затоптал его, опустил голову, усмехнулся:

— Ну, просто Нью-Йорк, черт побери!

Сеньор Кайо засыпал последнюю лунку, подошел к канаве, двумя ударами мотыги пробил запруду, и вода весело побежала по грядкам со свеклой. Старик улыбнулся. И сказал, обращаясь сам к себе:

— Вода не поторопится — свекла не примется.— Глянув на небо, добавил: — На убыль пошло, как должно.

Рафа, слонявшийся по запустелым огородам, наткнулся в зарослях на крест и остановился.

— Эй, сеньор Кайо! — закричал он.— Тут крест!

Сеньор Кайо поднял на него глаза.

— А как же,— спокойно сказал он.— Я его поставил.

— Под ним кто-то лежит?

— Как не лежит, сеньор,— мой кум Мартин. Кладбище, знаете ли, высоко в горах, мне одному туда ходить не по силам.

С мотыгой на плече он устало подошел к кресту. Лали с Виктором последовали за ним. Сеньор Кайо пояснил:

— Вернее сказать, кумовья-то мы не с ним, а с нею, с его Андреа, матерью покойной Элоисы, но он, Мартин то есть, женился по второму разу на матери своей первой жены, и они еще родили сына.

— Ё-мое! — не удержался Рафа.— Вы хотите сказать, что не успел он овдоветь, как сделал ребенка собственной теще?

— Так уж вышло, сеньор, вам это не по душе?

— Елки-моталки, ну прямо телефильм в пяти сериях!

— Не подумайте плохого. Тогда в селении народу уже почти не осталось, трудно было пару найти.

Рафа, потешаясь от души, поглядел на Виктора:

— Уму непостижимо, старик!

Сеньор Кайо с мотыгой на плече, чуть наклонившись вперед, зашагал по краю террасы.

— Всякое в жизни случается,— заметил он философски.

Спускаясь по ступенькам, выбитым в тропинке, он обернулся к ним и сказал:

— Сейчас на минутку подойдем к реке, а потом, если у вас есть время, я покажу селение.

— Хорошо,— сказал Виктор, подстраиваясь под шаг старика.

Гуськом они спустились меж рядов голых яблонь; селение осталось наверху, а внизу, в ущелье, глухо и неровно, как море, шумела река, рокотали ручьи. По берегу сеньор Кайо зашагал быстро вдоль натянутой веревки к заводи.

— Каждый день ставлю тут сеть,— пояснил он.

Виктор с сосредоточенным вниманием следил за его движениями: как он достал из зарослей ежевики вилы, нашел бечевку, привязанную в кустах, и, потянув за нее, вытащил из заводи большой перемет, металлическую сетку, в которой копошилось десятка два раков. Рафа не выдержал:

— Бляха-муха! А ты идешь в бар, и там у тебя за одну штучку глаз вынут.

Сеньор Кайо улыбнулся. Достал садок, выложенный по дну ивовыми ветками, и вывалил в него раков. Прищелкнул языком:

— В рис — для вкуса,— сказал он. И добавил: — Кому нравится, конечно.

И он тронулся обратно, вдоль веревки, через заросли колючего кустарника, вниз по ущелью, туда, где заводь расширялась. На узкой, покрытой галькой полоске берега открылся заросший мальвами луг.

— Какая прелесть! — сказала Лали.

Старик обернулся:

— Мальвы-то?

— А это мальвы?

— Мальвы, конечно. На нынешних дождях вон как вымахали. Цветок мальвы помогает от болей в животе.

Рафа усмехнулся:

— Черт побери! В этой деревне что ни возьми — все для чего-то годится.

— А как же,— откликнулся сеньор Кайо, снова трогаясь в путь.— Все, что есть, на что-то годится. Для того оно и есть, верно?

VII

Поток разбивался о скалу, пенился и несся дальше — вниз, с двадцатиметровой высоты. Внизу, рядом с белым хвостом водопада, петляла дорога, а еще ниже — зажатая тесниной и зарослями кустарника, катилась река, волоча за собой кусты и стволы деревьев. Мягкий южный ветер увлажнял лица мельчайшей водяной пылью. Сеньор Кайо оперся о скалу и сказал громко, чтобы перекричать шум падающей воды:

— Этот водопад зовется у нас Грива. Испокон веков. Проходите.— Он поставил ногу на поросший мхом узкий каменный уступ и добавил:— Смотрите не поскользнитесь.

Он прижался спиной к выступу скалы, проворно повернулся и исчез за веером пены. Виктор повторил его движение, а за ним — Лали и Рафа. Узкий вход вел в пещеру, постепенно расширявшуюся: каменный пол и потолок сочились влагой. Снаружи доносился глухой шум водопада. В глубине угадывались искривленные тени сталактитов, на полу, во впадинах, виднелись остатки кострищ, а вокруг были разбросаны головешки, глиняные черепки, пустые консервные банки, ржавые треножники. Рафа оглядел пещеру, остановился взглядом на узкой щели входа, скрытого водяной завесой, сквозь которую проникал вечерний свет. И обернулся к сеньору Кайо:

— Потрясная берлога. Спрятаться тут — ни один черт не найдет.

В полутьме сеньор Кайо казался еще более грузным. Тихонько кивнув, он сказал:

— Во время войны, знаете, то те придут, то эти, вот народ тут и прятался. Я в этих делах не смыслю, но знающие люди говорят, нелегко было у нас в ущелье фронт держать. Вот и выходило: сегодня одни занимали селение, а назавтра другие. И так без конца.

— И, конечно, сводили счеты с вами,— заключил Виктор.

— Восемнадцатого июля, к примеру, у кладбища расстреляли Габино — он у нас тогда был алькальдом. Не прошло и недели, как явились другие и расстреляли Северо, который был у нас алькальдом до тридцать первого года. Чего же еще?

— Короче, вы не знали, кого вам держаться.

— Ну да! Вот раз дон Мауро и собрал нас всех в церкви, собрал и говорит: «Надо выставить сторожевых на утесах, и, как завидим какого военного — все сразу в пещеру Грива». Сказано — сделано. Нанесли сюда всяких припасов и, бывало, только увидим на дороге солдата — живо все сюда, в пещеру.

— С детьми и со всем хозяйством? — спросил Виктор не столько ради точности, сколько желая разговорить старика.

— Со всем не со всем, но даже собаки, и те уходили, правда, скот кой-какой оставался,— улыбнулся он.— Надо было и им что-то оставить, так ведь?

— А дети не плакали? Не шумели?

— Да хоть бы и шумели. Дети, они есть дети, сами знаете. Только тут хоть из пушек пали — наверху ничего не слышно.

Лали, скрестив руки на груди, съежилась, как от холода. Рафа чиркнул спичкой, разглядывая сталактиты. Лали сказала:

— И подолгу вы тут сидели?

— Когда как,— ответил старик, помедлив.— Один раз подзадержались — две недели пробыли.

— Две недели? Что же вы делали в пещере?

— Да как вам сказать — кто вино пьет, а кто за картами или домино время коротает. А вон там на камне, где сеньор стоит, Росарио сидел и играл на флейте.

— А как решали, когда выходить?

— Ждали, пока Модесто знак подаст. Это, знаете ли, наш пастух. Такой живчик был! Ночью, бывало, выйдет на разведку, вернется и расскажет, они, мол, в доме у того или в доме у этого —как когда. А то придет и скажет: «Выходите, они ушли»,— и мы все по домам, понимаете? И живем дома, пока дон Мауро не свистнет: три коротких и один долгий — знак у нас такой был,— и мы снова в пещеру. Так вот и шло до самого сентября, если не ошибаюсь, да, сентябрь уже был в разгаре, и тут фронт укрепился наверху, в Аркосе, а у нас в церкви устроили походный госпиталь, и, помнится, был в этом госпитале один санитар, он и снасильничал Каси. Чтоб вам было понятно, Каси — дочка Паулино, и Паулино этого забыть не мог.

— А дон Мауро, о котором вы рассказываете, это, наверное, священник?

— Вот именно, сеньор, приходской священник. Высокий такой и сухой, как жердь, в толстенных очках, видели бы вы его,—сеньор Кайо уперся тоскливым взглядом в Виктора.— По тем временам в каждом селении был священник, знаете, и коли не было алькальда, он — за него, как водится.

Он поглядел на дрожавшую Лали:

— Ну, пойдемте наверх. Озябли, вижу.

Они вышли. Тучи — свинцовые, с белой кромкой — затянули все небо. Сеньор Кайо взглянул на них:

— Ну вот, гроза собирается.

Виктор снял с себя куртку и набросил ее на плечи Лали. Они поднимались по заросшей кустарником, заваленной камнями, грязной улочке; по обе стороны — выпотрошенные дома и сараи. В зиявших дверных проемах, провалившихся окнах виднелись заросшие пылью и паутиной большие ореховые лари, старые плуги, гвозди, крюки, скамьи, упряжь. Время от времени сеньор Кайо останавливался показать местную достопримечательность или рассказать какой-нибудь случай, придавая каждому особое значение:

— Видите вон тот дом, там жила сеньора Лауреанна Целительница. Она выгоняла у ребятишек глисты: брала червяка, делила напополам и заставляла съесть зараженным — половинку перед обедом, а вторую — перед ужином.

Рафа сморщился от отвращения:

— Елки-палки! Неужели вы ели глистов?

— А как же! Знаете присловье: клин клином вышибают.

На углу сеньор Кайо остановился с довольным видом. Показал на старую надпись, сделанную по камню над входом.

— Видите! — сказал с гордостью.

Виктор с трудом разобрал: «ВОЛЕЮ ИИСУСА МАРИИ СЕЙ ДОМ ВЕСЕЛИЯ ЛЮДЯМ НА РАДОСТЬ, АВЕ МАРИЯ, ГОД 1692».

Рафа возмутился.

— Не свисти,— сказал он.— Быть того не может — в этих местах и дом терпимости.

Виктор возразил:

— Не пугайся, старик. Домом веселия в деревне в семнадцатом веке называли постоялый двор.

Сеньор Кайо с улыбкой, воскрешая в памяти былое, смотрел на длинный железный балкон.

— А в этот дом каждое лето приезжал доктор Санс Кахига, он был родом из Куреньи.

— Да, большая знаменитость, особенно у себя в доме,— отозвался Рафа.

— А то! — обиделся сеньор Кайо.— Вы разве никогда не слыхали о докторе Кахиге? Раз его даже во дворец вызывали, когда король занемог.

— Знатный был доктор, черт побери! — сказал Рафа. Он дружески похлопал сеньора Кайо по плечу и добавил с состраданием: — Вы нам все рассказываете о каких-то допотопных временах, а это все для нас — как из другой оперы.

Рафа попытался не попасть в грязь и, прыгая с камня на камень, раскинул руки, точно крылья, но поскользнулся и свалился в крапиву. Его ребяческое личико сморщилось, он замахал пострадавшей рукой:

— Елки-моталки, обжегся!

Лали с Виктором рассмеялись. А сеньор Кайо спокойно сказал:

— Главное — не трогайте, щипет, когда расчесываешь.

Рафа поглаживал вмиг покрасневшую руку:

— У, елки... не трогайте! Хорошо вам говорить!

Наверху на скалах вразнобой орали галки, а потом вдруг, должно быть, чем-то занявшись, стихали, и тогда разливалась великая тишина, которую только подчеркивал стеклянный звон бегущего через селение ручья и далекий торжественный звук водопада, доносившийся снизу, из-под ног.

Лали с Виктором, шагавшие впереди, остановились у входа в узенький тупичок, в глубине которого стоял дом со свежевыкрашенными оконными рамами и крашеными зелеными дверьми; на деревянной галерее вдоль перил стояли большие консервные банки с геранями. Виктор показал на дом.

— Здесь кто-то живет,— сказал он.

Сеньор Кайо прошел мимо тупичка, не взглянув на дом. Потом сказал:

— Этот живет. Я вам про него рассказывал.

Виктор приладился к шагу сеньора Кайо:

— Вы что же, с ним не общаетесь?

Сеньор Кайо не ответил.

— Поссорились? — не отставал Виктор.

Сеньор Кайо остановился. Откашлялся, прочищая горло.

— Этот,— сказал он,— коли вам угодно знать, когда мочится, лапу задирает, как собака.

— Что вы хотите сказать?

— Что он скотина,— ответил сеньор Кайо.

— Он вам что-то сделал?

— Сделал? В прошлый четверг, недалеко ходить, повесил мне кошку на орехе около дома, вам этого мало?

— Ну, дела! — не удержался Рафа.— Вас всего-то двое, и вы не разговариваете — занятная публика!

Сеньор Кайо, не отвечая, пошел дальше. Улица вела на крошечную площадь с фонтанчиком и водопоем для скота посередине, с колоннадой, напротив которой поднималась глухая стена церкви недавней постройки; на часах, украшавших колокольню, была одна-единственная стрелка.

— Идут,— удивился Рафа.

— Еще бы! Я их завожу.

— Зачем?

Сеньор Кайо пожал плечами. Улыбнулся:

— А как же иначе?

Опираясь на два дубовых столба, потемневшая, сраженная временем балка еле удерживала тяжесть дома, готового рухнуть с минуты на минуту. На покосившейся вывеске с трудом можно было прочитать: «БАР». Сеньор Кайо обошел кучу мусора и толкнул неплотно притворенную дверь. Внутри вдоль облупившихся стен громоздились ящики с битым стеклом, пустая тара, а на источенной жучком дере-

вянной стойке — старинные весы с гирями, затянутые паутиной. Сеньор Кайо помрачнел. Сказал:

— А как славно тут собирались, бывало.

— По праздникам?

— Ну да! И по воскресеньям, и когда рекрутов провожали, да мало ли случаев собраться.— Он отвернулся от стойки и добавил: — Вот тут, бывало, сидел Паулино.

Виктор, стоя в дверях, глядел на башню, на часы под самым колоколом. И сказал:

— Вы ведь не об этой часовне говорили.

Сеньор Кайо подошел к двери:

— Ясное дело, не об этой, сеньор! Та, о которой я говорил,— наверху, у самого кладбища. Вот та — знатная.

Они вышли на улицу. Виктор продолжал:

— На сорок человек вам потребовалось две церкви?

Сеньор Кайо облизнул потрескавшиеся губы.

— Дон Сенен говорил, эту поставили позже. По нашим снегопадам зимою наверх к часовне не проберешься.

— Дон Сенен. Это что — тоже священник?

— Он самый, сеньор, последний наш священник. Это он придумал в ночь на Святую пятницу спускаться вниз, к Пресвятой деве, чтобы она не скучала. А на пасху мы ставили ее на носилки, несли наверх, в горы, и такое гулянье устраивали на Солнечном лугу.— Он покачал головой, и глаза его потеплели.— Вот, видите, в нашем селении знали толк в веселье.

Помолчал. И добавил:

— Дон Сенен-то поначалу и не разрешил хоронить Паулино на освященной земле.

Виктор полюбопытствовал:

— А это что за история?

— Всякое бывает,— заговорил сеньор Кайо размеренно и ровно, словно наново заведенный механизм.— Паулино считали колдуном, понимаете? Что-то в нем, видно, было такое, коли мог он с одного взгляда на яйцо точно сказать: кто в нем — петух или курочка.

— Сексолог,— сказал Виктор.— Японцы это умеют, только они определяют пол у вылупившихся цыплят.

Сеньор Кайо снисходительно улыбнулся:

— А вот Паулино, сеньор, узнавал их еще в скорлупе — не успеет курица снести яйцо, а он уже знает.

— Как же он это делал?

— Не скажу — не знаю; бывало, только посмотрит яйцо на свет и определит. Некоторые говорили, мол, по тени от зародыша узнавал. Не знаю. Паулино не объяснял как.

— И всегда угадывал?

— За семьдесят лет никто ни разу его на ошибке не словил.

Неторопливые рассуждения сеньора Кайо разжигали любопытство Виктора.

— И перед смертью не открыл секрета?

Сеньор Кайо наклонил голову и решительно помотал: мол, нет.

— Видите ли, он умер-то как — никто бы и не подумал.

— А как он умер?

— Так в том вся и штука! Он угадал день своей смерти, право слово, предсказал.

Под взглядом трех пар выжидающих глаз сеньор Кайо прямотаки вырастал.

— Погодите,— сказал он и поднял правую руку, словно призывая к спокойствию.— Паулино еще и на картах гадал, понимаете? И как-то вечером в баре сидим мы, то да се, а он и говорит: «Вот мы все собрались, и я скажу вам, в каком году и в какой день я умру», а Бернардо ему: «Этого быть не может, Паулино, такое ведомо только

богу».—«И мне тоже будет ведомо»,— отвечает ему Паулино. Было это, если мне память не изменяет, в пятьдесят седьмом году. При этом Паулино кладет одну карту на стол, и выпадает трефовая шестерка. «Глядите, вот он, день,— говорит,— шестое». Мы, видя такое дело, все повскакали с мест, собрались вокруг стола, а дон Сенен, помнится, и говорит: «Не шути такими вещами, Паулино, не испытывай господа бога». Но Паулино уже в раж вошел, вытаскивает еще карту — пятерка червей. Он сосчитал по пальцам и говорит: «Май», потом всех нас оглядел и опять говорит: «Шестого мая, а теперь посмотрим, в каком году», а дон Сенен снова: «Остановись, Паулино, не испытывай господа». Но Паулино уж если за что брался, то брался, страсть упорный был мужик. И опять вытаскивает карту: шестерка бубен и — не успел дон Сенен слова сказать — еще одну: четверка червей. «Шестьдесят четвертый год! — говорит.— Умру шестого мая тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года!» А Бернардино — тот страшный поперечник был — говорит: «А вот спорим на синенькую, что нет». Паулино ему: «Идет». Я разбивал их и говорю Бернардо: «А как ты ему заплатишь, если он преставится?» Бернардо почесал затылок и говорит: «Тогда я заплачу за гроб, за выпивку и за погребение, годится?»—«Годится»,— говорит Паулино. Дон Сенен тут не выдержал и ушел, а на прощанье сказал Паулино: «Дьявол надоумил тебя на это дело, не желаю быть свидетелем».

Лали, Виктор и Рафа глядели на сеньора Кайо не мигая. У Рафы в зубах тлела сигарета — он забыл про нее. Когда сеньор Кайо замолк, Рафа вынул сигарету изо рта и сказал:

— Только не говорите, сеньор Кайо, будто этот Паулино умер в тот самый день. Вы нам просто морочите голову.

Сеньор Кайо снова поднял руку.

— Погодите,— сказал он.— И вот наступает пятое мая шестьдесят четвертого года, другими словами канун, а Бернардо — в тот день все не по нем было, все не так,— как пришла пора расходиться по домам, говорит: «Завтра этому помирать, помните?», ну все, конечно: «Точно». А Паулино — в тот день был дай бог каждому какой — оглядел нас одного за другим, а глаза у него, вы бы видели, какие глаза у него были, прямо так и светились, вот оглядел он нас и говорит: «Завтра, завтра я у вас преставлюсь. Не забудь, ты платишь за гроб, за выпивку и погребение». И так он это сказал, знаете, что все мы приуныли, испугались прямо-таки, но пришел следующий день, и Паулино опять ходит гоголем, так что мы решили, все это шутка, собрались как всегда, посидели, то да се, а когда стали расходиться, он говорит: «Счастливо оставаться». Только это и сказал, а наутро вышел дон Сенен звонить к службе и увидел: висит он на галерее своего дома в выходном, праздничном костюме и шапка на голове, что скажете?

— Невероятно! — воскликнул Рафа.

Сеньор Кайо кивнул, согласился:

— Упорный был мужик этот Паулино, такой упорный, вы-то его не знали.

— И Бернардо заплатил за гроб?

— А как же, сеньор, и за гроб, и за выпивку, и за погребение, как обещал.

Наверху, на утесах, галки, сбившись в кучу, подняли страшный гвалт. А над головой, меж буков, задевая крыльями старые кровли, с криком носились стрижи. На углу, у церкви, под навесом, распушив перья, купался в пыли воробей. Виктор вдруг сказал:

— Священник не позволил хоронить на освященной земле из-за того, что самоубийство?

Сеньор Кайо поморгал.

— Поначалу не позволил, сеньор. А потом дон Сенен посоветовался об этом деле в городе, и ему сказали, что нету такого закона,

что так бывало в старину, а теперь люди поняли, что если кто сам лишил себя жизни, то, значит, он умом тронут. В общем, дали его похоронить на кладбище, все честь честью.

Наступило глубокое молчание. Немного спустя сеньор Кайо проговорил, словно бы отвечая на свое, скрытое течение мыслей:

— Дочку Паулино Каси во время войны снасильничал санитар из госпиталя. Обрюхатил и бросил. Видно, Паулино не сумел забыть этого.

Галки становились все беспокойнее и не умолкая галдели, примостившись на выступах скал. А над ними без устали кружил ястреб. Виктор сказал:

— Может, пойдем в часовню? А то стемнеет.

Сеньор Кайо словно вернулся из другого мира.

— Правда ваша,— сказал он.— Я и забыл совсем.

Он двинулся к тропинке под буками, уходившей за церковь, и в этот момент над их головами совсем по-домашнему, почти как человек, прокуковала кукушка. Сеньор Кайо обернулся к ним с недоброй улыбкой:

— Слышите, как кричит?

— Кто кричит?

— Кукушка, разве не слышали? — И добавил тише, доверительно: — Дурной повадки птица.

Кукушка снова выкрикнула «ку-ку», и Лали без успеха попробовала разглядеть ее в листве бука.

Лали спросила:

— А почему кукушка — дурной повадки птица?

Глаза сеньора Кайо ожили:

— Кукушка-то? Яйца кладет в чужое гнездо, к малым птахам, чтобы ее птенцов высиживали.

Виктор рассмеялся:

— Как некоторые люди.

— Ясное дело.

— Хозяева и начальники.

— Ясное дело.

Взгляд сеньора Кайо, нерешительно пошарив, уперся в темный и твердый подбородок Виктора.

— А вы сами-то из начальников будете?

— Я? Вовсе нет, сеньор Кайо.

— Но в начальники идете?

Виктор смутился:

— Ну... не совсем так.

Лали смотрела на него и забавлялась. Виктор добавил:

— По правде говоря, я выставляюсь в депутаты.

Сеньор Кайо поскреб затылок.

— А они не начальники разве?

Виктор заговорил тише, как будто стараясь, чтобы товарищи его не услышали:

— Видите ли, депутат в определенном смысле — человек, избранный народом для того, чтобы представлять народ.

— Ясное дело,— сказал сеньор Кайо.

Рафа язвительно рассмеялся.

— Что-то не очень ты убедителен, старик,— сказал он.

Виктор пожал плечами.

— А как бы ты объяснил?

— Я — пас,— ответил Рафа, не переставая смеяться.

Сеньор Кайо, ступив на тропинку, прервал их:

— Так вы хотите посмотреть часовню?

— Конечно, конечно, хотим,— сказал Виктор.

Они гуськом стали подниматься по тропке меж цветущего вереска. Сеньор Кайо взбирался легко, без напряжения,— чуть согнулся,

голову вобрал в плечи. Рафа шел с трудом, упираясь руками в ляжки, как будто боялся рухнуть. На уступе над самым обрывом лепилась ограда маленького кладбища, над которой высились четыре черных стройных кипариса, а подле на маленькой площадке стояла часовня. Виктор медленно подошел и остановился как зачарованный.

— Вот это да... — пробормотал он.

— Романского стиля,— сказала за спиной у него Лали.

— Или предроманского,— предположил Виктор.

Сеньор Кайо подошел к ним. Сказал с гордостью:

— Ну вот, видите, тыщу лет ей, этой часовне.

— А то и больше,— сказал Виктор.

Сеньор Кайо обернулся на запад, посмотрел на небо — густая черная туча сидела на далеких, покрытых снегом вершинах.

— Поспешим,— сказал он.— Смотрите, какая надвигается.

Лали и Виктор с восхищением разглядывали портал, причудливый греческий орнамент на архивольтах, опиравшихся на легкие, искусно выделанные капители. Виктор пальцем указал на пантократора[1] над притолокой:

— Видала?

— Угу,— отозвалась Лали.

Он подошел к портику и стал рассматривать высеченный на архивольте барельеф на библейские темы.

— Смотри-ка,— сказал он.— Какое Усекновение главы.

У Лали глаза загорелись.

— Ну, сучья лапа,— проговорила она с почтением.

— Ну и ну, какое чувство композиции!

Сеньор Кайо, стоя позади, не переставал наблюдать за горизонтом, откуда уже доносились пока еще еле слышные, глухие раскаты.

— Ползет,— сказал он.

— О чем вы? — спросил Рафа.

— Дождь будет,— ответил сеньор Кайо.

Рафа забеспокоился. Подошел к Лали с Виктором:

— Слышите? Сейчас дождь будет.

Но они его не слышали. Рафа схватил Лали за руку и потряс:

— Ты, мать, совсем очумела! Так на тебя камни эти подействовали?

— Всё вместе,— ответила Лали.

— Давай пошли, елки, вот-вот хлынет как из ведра.

Виктор безуспешно толкал дверь.

— Сеньор Кайо, у вас есть ключ?

— А как же. — Тот подошел к двери.— Я тут один привратник.

В часовне — свет едва проникал туда через два заросших грязью решетчатых окна по бокам — было холодно и сыро. Лали с Виктором не спеша пошли по проходу меж рядов почерневших, развалившихся скамей. То и дело они останавливались и, как завороженные, смотрели вверх, перед собою, по сторонам. Под апсидой Виктор задрал голову.

— Какой свод,— сказал он.— Я так и думал.

Лали кивнула, не отрывая глаз от ребер свода, и тут послышался нетерпеливый голос Рафы; стоя в дверях, он понукал:

— Кончайте выпендриваться, елки. Уже громыхает.

Они не торопясь двинулись обратно по проходу и, выйдя из дверей, опять задержались. Лали посмотрела вверх на архивольты.

— Взгляни, третий слева,— сказала она,— на самом стыке.

— Ну да,— отозвался Виктор, подбородком указав в сторону кладбища. — Эрос и смерть. Очень характерно для эпохи.

В воздухе вдруг сверкнула молния, и почти тотчас же над голова-

---

[1] Пантократор — поясное изображение Христа, благославляющего правой рукой и с Евангелием в левой.

ми грохнули раскаты и первые капли — редкие, но крупные и тяжелые — глухо застучали по земле.

— Ну, пошли,— сказала Лали.

Сразу потемнело. На мгновение даже показалось, что наступила ночь. Они не успели дойти до тропинки, как дождь припустил вовсю. Рафа быстро шагал впереди; когда он подошел к ореху, в листве забилась черная птица. Рафа вздрогнул:

— Черт, напугала проклятая галка!

Сеньор Кайо, шедший позади, рассудительно заметил:

— Это не галка, это дрозд.

Дождь незаметно превратился в яростный ливень с градом. Они торопливо спускались по тропке, а небо над головами то и дело прочерчивали молнии, и гром оглушительно скакал по скалам. Сеньор Кайо нахлобучил берет, спрятал поглубже руки в карманы и прибавил шагу.

— Сдается мне, промокнем,— заметил он.

VIII

Продымленная балка отгораживала очаг, а на ней стояли медные ковши, кувшины, светильники и даже посудина для варки шоколада, железная, с деревянной ручкой. За балкой открывался высокий шатер кухни; у стен стояли ларь из орехового дерева и скамья с короткими, отпиленными ножками. Войдя, сеньор Кайо сразу же развел огонь, и он затрещал в каменном очаге, выложенном изразцами с синим, выцветшим от времени узором. Над очагом дымился закопченный котел, а за ним виднелась вделанная в стену чугунная каминная доска с орнаментом, которого теперь уже было не разобрать. На балке, прижатые светильниками и сосудом для варки шоколада, сушились Викторова рубашка с курткой и свитер Рафы. На посудных полках по сторонам от очага громоздились кастрюли, сковороды, чугуны, тарелки, а с крюков свисали кастрюльки, шумовки и огромная латунная вилка. Над головой у Виктора, сидевшего на скамье, висела прижатая планкой к стене широкая доска, наполовину закрывавшая цветной календарь.

Лали бродила по тесному помещению, с любопытством разглядывая все подряд. Сеньор Кайо рылся в шкафу напротив очага. Рафа некоторое время сидел неподвижно на ореховом ларе, упершись локтями в колени, потом вдруг выпрямился и снял майку, обнажив хилое, бледное тело.

— Сухой нитки не осталось,— сказал он.

Виктор поглядел на него и улыбнулся снисходительно:

— Прямо Тарзан.

Рафа повесил майку на чугунную ступку. Повернулся к Виктору, с явным неудовольствием оглядел его широкую, крепкую, волосатую грудь и сказал:

— Просто самого выдающегося, что у меня есть, не видно.

Лали, разглядывавшая фотографии на комоде, сказала, не оборачиваясь:

— Ну вот, опять в нем испанский самец заговорил.

Сеньор Кайо подошел к Виктору. В руках он держал белую, тщательно выглаженную рубашку и черный, благоухавший нафталином костюм.

— Почему бы вам не надеть это? — сказал он.— В пасмурную погоду промокнуть плохо.

— Давайте,— сказал Виктор.

Сеньор Кайо посмотрел на Рафу.

— Благодарю,— отозвался тот.— Я еще молодой.

Сеньор Кайо жестом выразил согласие и повесил одежду на спинку стула. Лали, держа в руках фотографию, обратилась к старику:

— Это вы?

— Я, а как же. На свадьбе.

Лали поднесла фотографию к глазам.

— Какой красивой была ваша жена,— сказала она.

Она протянула фотографию Виктору и села рядом с ним на скамейку. Сеньор Кайо оперся на балку, перенеся вес тела на свою крепкую руку. Откашлялся, прочищая горло, запершившее, должно быть, от воспоминаний.

— И вправду,— начал он,— не потому говорю, что моя, а не было в селении никого на лицо красивее. И сестры ее — тоже, все как одна. Только ведь как бывает, ни одна из трех не говорила.— Он двумя пальцами перехватил горло для ясности и, помолчав, добавил: — С другой стороны, о чем уж так особенно с женщиной разговаривать.

Рафа поглядел на Лали, Лали поглядела на Виктора, а Виктор улыбнулся. Улыбка Виктора, похоже, подбодрила сеньора Кайо.

— Бернардо говаривал: женщине самое милое дело рот заткнуть подушкой.— Потом коротко рассмеялся и прибавил: — Так ли, эдак ли, а вышла за меня замуж, и сестры ее замуж повыходили, одна — в Рефико, вторая — в Кинтану. Все нашли свою долю.

Сеньор Кайо вдруг выпрямился, словно вспомнил что-то, и вышел из кухни, чуть наклонив голову, чтобы не стукнуться о балку. Едва он исчез, Рафа ткнул пальцем в сторону двери:

— Лали, дорогая, почему ты не расскажешь этой немой про женскую эмансипацию?

Лали, разъяренная, наклонилась к огню, схватила полуобгоревший сук и запустила в Рафу:

— Вот ведь скотина!

Рафа уклонился, не переставая смеяться:

— Ну это уж слишком, елки. Не будем воевать из-за чепухи.

Вернулся сеньор Кайо вместе с женой. В одной руке она несла глиняное блюдо с нарезанной колбасой и сыром, а другой прижимала к груди с полдюжины крендельков. Сеньор Кайо нес кувшин с вином и, поставив его на стол, отодвинул планку и опустил прикрепленную над головой Виктора доску, которая легла как раз между Виктором и Лали. Лали удивленно следила за его действиями.

— Какой забавный стол! — воскликнула она.— Откуда вы его взяли?

— Этот-то? — отозвался сеньор Кайо.— Откидной. К стене был прислонен, чтоб не мешался, вот вы его и не заметили. А теперь можно есть в свое удовольствие у огня.

Он переставил на откидной стол тарелки и кувшин, разлил вино по стаканам и подал им. Виктор взял кусочек сыру, отхлебнул вина. И сказал:

— Спорю, сыр домашнего приготовления.

— А как же, у нас есть пресс.— И он указал на столик-пресс, стоявший в углу у комода.

— И колбаса — тоже?

— Ясное дело. Какая в том хитрость? И крендельки тоже она пекла.

Старуха, неподвижно сидевшая на плетеном стульчике чуть поодаль, у шкафа, следила за ними цепкими глазками в сети мелких морщинок. Старик пояснил:

— Крендельки остались с воскресенья, от праздника.

— Вы что-то праздновали?

— Восьмой день всегда справляется, с мальчишек еще помню.

— Восьмой день чего?

— Как чего? Троицы. Бывало дело, спускались мы все в Рефико на повозках, на ослах. А у церкви торговали кренделькими и бисквитами. Вся выручка шла на содержание храма.

Сеньор Кайо, сидевший на деревянной колоде, задумался, уставившись на пламя. И после долгой паузы добавил:

— Раз возвращались с такого вот гулянья, я в тот год нес хо-

ругвь, значит, в двадцать третьем году это было, сколько с тех пор воды утекло, мы с моей тогда и обручились. Я помог ей влезть на осла, сказал: «Садись». У нас, знаете ли, такой обычай был, если сядет, стало быть, да, а не сядет — нет. Она села на осла, и к декабрю мы поженились.

— Значит, она на вас глаз положила,— сказал Рафа, прикуривая от головешки.

— Стало быть, так.

Сеньор Кайо снова наполнил стаканы, потом поднялся, вышел и вернулся с охапкой дров, которые положил на решетку очага.

— Все еще зябнете? — спросил он.

Виктор пощупал края брюк — от них шел пар.

— Почти высохли,— сказал он.

Пламя шумно охватило хворост. Рафа отвернулся от огня. Лали посмотрела по сторонам:

— А телевизора у вас нет?

Сеньор Кайо, примостившийся на низкой колоде, поглядел на нее снизу вверх:

— Телевизора? Какой нам от него прок?

Лали сделала попытку улыбнуться:

— Мало ли. Все-таки занятие!

Рафа, глянув на них, вступил:

— А радио? Радио тоже нет?

— Нет, сеньор. К чему оно нам?

Рафу передернуло.

— Как к чему, елки. Да чтобы знать, в каком мире вы живете.

Сеньор Кайо насмешливо усмехнулся:

— А почему вы думаете, что сеньор Кайо не знает, в каком мире он живет?

— Знаете, конечно, но все-таки нельзя же так, абсолютно без общения.

Виктор с интересом следил за разговором. Вмешался, желая примирить стороны:

— Другими словами, сеньор Кайо, вы месяцами не слышите человеческой речи?

— Вовсе нет, сеньор. По пятнадцатым числам каждый месяц спускается к нам Маноло.

— Какой Маноло?

— Из «Кока-колы». Он спускается из Паласиоса в Рефико, и в Мартосе тоже есть таверна.

— Он заезжает в селение?

— Заезжать не заезжает, я спускаюсь к перекрестку, и перебрасываемся словечком.

Виктор закусил нижнюю губу. Сказал:

— Ну, а зимой целыми днями что вы тут делаете? Читаете?

— Нет, сеньор, я — нет. А моя — читает.

Рафа взял неразгоревшееся полено и щипцами положил его на уголья. С остервенением начал раздувать огонь почерневшими кожаными мехами, пока пламя не вырвалось вверх. Старуха, прислонившись к шкафу, механически покачивала головой, не то слушая, не то подремывая, но стоило ее векам сомкнуться, как она тотчас же выпрямлялась. Виктор выпил еще стакан вина и подвинул его сеньору Кайо, чтобы тот снова его наполнил. Наконец, опять спросил:

— Если вы не читаете, не слушаете радио, не смотрите телевизор, что же вы делаете зимой?

— Работы, знаете ли, хватает.

Виктор не унимался:

— А если снег пойдет?

— Ясное дело, смотрю, как снег идет.

— А если он идет две недели?

— Да хоть бы месяц! Возьму какую-нибудь работу и сижу — жду, пока перестанет.

Виктор обескураженно покачал головой. На смену пришла Лали.

— Пока ждете, наверное, о чем-то думаете? — сказала она.

— Думаю? О чем мне думать?

— Откуда я знаю, об огороде, о пчелах... О чем-нибудь!

Сеньор Кайо провел шершавой большой рукой по лбу. Сказал:

— Бывает, найдет и подумается: заболеешь тут, околеешь, как собака.

— У вас нет врача?

— Как же, сеньора, есть, в Рефико.

Рафа не выдержал:

— Елки, в Рефико, рукой подать! А если крепко скрутит?

Сеньор Кайо смиренно улыбнулся.

— А уж коли крепко, тогда лучше положиться на священника,— проговорил он.

У Рафы на щеках проступил яркий румянец, отчего он стал еще больше походить на ребенка. Со смешной гримаской обратился к Лали, призывая ее в единомышленники:

— Потрясно!

Сеньор Кайо протянул девушке кренделек.

— Попробуйте, вкусные.

Лали двумя пальцами отломила кусочек и положила в рот. Серьезно, с удовольствием пожевала.

— Отдает анисом,— сказала она.

Старуха кивнула. Она издала какие-то гортанные звуки и беспорядочно замахала бледными морщинистыми руками, и на фоне черного платка, покрывавшего ее голову, они казались белыми бабочками, которые гонялись друг за дружкой. И так же неожиданно, как взметнулись, руки улеглись на колени. Сеньор Кайо, не пропускавший ничего, сказал, когда жена закончила бурные объяснения:

— Она говорит, отдает. И яйца отдают анисом, и мука, и масло, и сахар.

— Понятно,— сказала Лали.

Виктор снова принялся за свое:

— Скажите, сеньор Кайо, а как вы добираетесь до Рефико?

— На ослице.

— И всегда добирались на ослице?

— Нет, сеньор, до пятьдесят третьего года, пока тут еще был народ, по вторникам ходил автобус из Паласиоса. А раньше, уж не знаю, сколько лет назад, тут была почтовая станция.— Он чуть улыбнулся.— Тирсо [1] тут лошадей менял.

Виктор отодвинул ноги от огня.

— А теперь кто вам доставляет почту?

— Какую почту?

— Письма.

Старик рассмеялся.

— Вот еще! — сказал он.— А кто, по-вашему, станет писать сеньору Кайо?

— Дети. Разве не пишут?

Старик сказал с презрительным жестом:

— Эти не пишут. У них машина.

— Приезжают навестить вас?

— А как же. Он в будущем месяце приедет с двумя внучатами. А она не любит сюда ездить. Говорит, что делать в селении, где даже аперитива не выпьешь, вот так. Молодежь!

Виктор с Рафой пили и пили. Виктор сказал:

— Хорошо идет это вино.

[1] Имеется в виду Тирсо де Молина, испанский драматург (1571 или ок. 1583—1648).

— Здешнее.

— Виноградники рядом?

— Как сказать, ближе к Паласиосу.

По временам на Виктора нападал приступ разговорчивости:

— Судя по вашим словам, сеньор Кайо, вы тут живете, ни о чем не ведаете. Так что, если мир вдруг пойдет ко дну, вы об этом даже не узнаете.

— Ха! А что я могу поделать, если мир пойдет ко дну?

— Да нет, это так просто говорится.

Рафа наклонился. В глазах у него что-то затаилось. И он сказал мягко, вкрадчиво:

— Вот, к примеру, сеньор Кайо, в ночь, когда умер Франко, вы спали себе преспокойно...

— А почему бы мне не спать спокойно?

— И ни о чем не ведали.

— Ясное дело, а потом Маноло мне поведал.

— Елки, Маноло! Вы же только что сказали, что Маноло приезжает в середине месяца!

— Ну да, сеньор, по пятнадцатым числам, если они не падают на воскресенье.

— Ну так вот, а Франко умер двадцатого ноября, значит, четыре недели вы пребывали в неведении.

— А куда было спешить?

— Черт побери, куда спешить!

Лали вмешалась примиряюще:

— А что вы думаете об этом, сеньор Кайо?

— О чем — об этом?

— О Франко, о том, что он умер.

Сеньор Кайо чуть развел руками.

— Видите ли, по правде сказать, мне до этого сеньора как-то никакого дела не было.

— Но согласитесь, это ведь важная новость, верно? Она означает, что мы от диктатуры переходим к демократии.

— Так говорят в Рефико.

— А вы что говорите?

— Хорошо, говорю.

Лали устремила на него понимающий, дружеский взгляд. Добавила:

— И все-таки, когда Маноло сообщил вам об этом, вы что-то подумали.

— Насчет Франко?

— Ну да.

— Подумал, подумал, что, верно, его уже предали земле. В этом — так ли, эдак ли — мы все равны.

Рафа осушил еще стакан. Щеки и уши у него горели. Он заговорил возбужденно:

— Так вот теперь вам придется поучаствовать, сеньор Кайо, другого пути нет. Вы слышали, какую речь произнес король? Власть возвращена народу.

— Так говорят.

— Вы пойдете голосовать пятнадцатого?

— Да вот, если погода не испортится, вместе с Маноло и доберусь до Рефико.

— А вы голосуете в Рефико?

— Всегда там, сеньор. Мы и весь здешний народ с гор.

— А вы уже подумали, за кого будете голосовать?

Сеньор Кайо сунул палец под берет и поскреб голову. Потом оглядел свои огромные руки, будто удивляясь им. И наконец пробормотал:

— Скорей всего — «за», ясное дело, если мы и дальше будем зло копить...

Рафа расхохотался. Заговорил громко:

— Это, елки, раньше так было — просто. «За» или «против» [1], сеньор Кайо. Это все штучки Франко, теперь по-другому, а вы, я смотрю, как с луны свалились.

— Да уж,— смиренно согласился сеньор Кайо.

Рафа заговорил, все больше распаляясь и к концу — словно на митинге выступал:

— Сейчас главная проблема — выбрать, с кем вы, понимаете? Партий много и разные, а вы должны выбрать и голосовать за ту, которая вам подходит. Вот мы, например. Мы — за интересы пролетариата, крестьянства. Мои друзья, кандидаты,— за народ, за бедных, проще говоря.

Сеньор Кайо следил за ним с сосредоточенным вниманием, как на спектакле, но в некотором, однако, замешательстве. Выслушав, сказал нерешительно:

— Я же не бедный.

Рафа растерялся.

— Как,— сказал он,— вам что же, ничего не надо?

— Как это не надо! Пусть дождь перестанет и тепло возьмется.

Виктор привстал, упершись животом в стол, и сказал Рафе:

— Кончай выступать, старик, хватит.

Рафа тоже поднялся:

— Слышите, сеньор Кайо? Мой друг хочет, чтобы я замолчал. Мой друг — человек скромный и хочет, чтобы я заткнулся, но не за тем я сюда приехал, чтобы молчать.— Розовые точечки сосков на его белой, хилой груди ходили ходуном. Он продолжал: — Страна наконец-то свободна. Впервые за сорок лет мы можем выбирать для нее путь, который нам кажется разумным, понимаете? Но мы должны выбрать правильный путь. Ваша жена, вы, я, все мы будем решать, как нам управлять нашей страной, оставим ли мы бразды правления в прежних руках или передадим их народу...

Виктор обогнул стол и поставил ногу на край очага. Повторил:

— Кончай, Рафа, хватит.

Но Рафа не слушал его. Он засунул руки в задний карман брюк и вытащил полдюжины смятых листков с завернувшимися уголками — списки кандидатов партии,— наспех тыльной стороной ладони разгладил их и протянул сеньору Кайо.

— Вот,— сказал он.— Вот имена моих друзей, это — он, а это — она. Если вы считаете, что мои друзья — люди достойные, берите и голосуйте за них. Если же вы думаете, что они бессовестные негодяи, то порвите это, и дело с концом.

Не дав сеньору Кайо даже глянуть на листки, Виктор выхватил их у него из рук.

— Ну нет,— сказал он. Разорвал бумажки и швырнул их в огонь, в умирающие язычки пламени. Листовки вмиг сморщились, пламя поползло по ним, вспыхнуло и проглотило.— Голосуйте, сеньор Кайо, за ту группу или человека, которые внушают вам доверие, вы меня понимаете? А если никто не внушает доверия, то опустите чистый бюллетень или не голосуйте совсем.

Лали тоже поднялась.

— Без десяти десять,— сказала она.— Пора ехать.

Выцветшие зрачки сеньора Кайо беспокойно забегали по лицам гостей. Виктор снял с балки рубашку и облачился в нее. В углу одевался Рафа. Старуха снова задвигала руками, издавая невнятные звуки.

---

[1] «За» или «против» — практиковавшийся при Франко тип референдума, который заменял выборы и при котором легче достигался желаемый результат.

Сеньор Кайо очень внимательно следил за нею. Когда она кончила, пояснил:

— Она говорит: возьмите крендельки с собой.

Лали положила руки на плечо женщины.

— Большое спасибо,— сказала она.

Виктор с чувством пожал руку сеньору Кайо. Тот сказал:

— Погодите, я дойду с вами до машины.

На площади теперь, когда птицы спрятались, слышался только хрустальный говор ручья, бегущего по камням, и глухой гул воды — снизу, от водопада Грива. Легкий восточный ветер вымел тучи, и молнии вспыхивали далеко, над западными вершинами. И вдруг сквозь шепот ручья и далекий шум водопада прорезался ровный механический рокот. Сеньор Кайо наклонил голову.

— Машина! — сказал он удивленно.

Перед камнем, положенным на дно ручья, они молча остановились. Сеньор Кайо вглядывался во тьму, окутавшую лощину. Прежде чем заговорить, облизнул губы.

— Из Кинтаны спускается,— объяснил он.

Они долго стояли и слушали, как то нарастал, то стихал шум шедшей по извилистой дороге машины. Мотор вдруг зарокотал громко, как будто машина резко прибавила скорость. Сеньор Кайо сказал:

— Вышла на дорогу. Идет в селение.

Рафа недовольно сморщился:

— Кто это?

Сеньор Кайо подавил смешок.

— Посмотрим,— ответил он,— одно скажу: никогда еще к сеньору Кайо не ездило столько гостей.

IX

Стоя на скале над водопадом Грива, Рафа смотрел вниз на лощину, на красную дорогу, петлявшую вдоль реки меж рядов одичавших яблонь, и хотя солнце уже догорело, он приложил правую руку козырьком к глазам и прищурился, чтобы лучше видеть. Потом сказал:

— «Рено-двенадцатый», белый.

— Кто это может быть? — спросил с беспокойством Виктор.

Рафа спустился со скалы, и вчетвером они стали ждать, когда покажется машина, а когда она появилась, Рафа единственный из всех узнал водителя.

— Маурисио,— сказал он вполголоса.

— Кто такой Маурисио? — спросил Виктор.

Рафа не ответил. Машина остановилась в самом начале улицы, там, где они оставили свою. Трое молодых людей — двое на переднем сиденье и один на заднем — высокомерно смотрели из окошек машины. Первым вышел водитель, еще совсем мальчишка, в зеленой майке и в джинсах. Не поздоровавшись, он спросил у сеньора Кайо:

— Небось эти вас уже захомутали? — Он улыбался. Повернулся к Рафе, стоявшему ближе других, добавил, не переставая улыбаться:— Что вы тут делаете? В Кинтанабаде уйма народу вас дожидается. Больше двух часов ждут.

Рафа жестом показал — мол, болтай-болтай.

— Что еще?

— Ты что — не веришь?

— Ну да, с флагами и плакатами. И оркестр наяривает. Не свисти.

Из машины вышли остальные двое. Один — низенький, коренастый, стриженный ежиком, в желтой непромокаемой куртке, которая была ему так велика, что из рукавов виднелись лишь кончики пальцев. Второй — высокий и тощий, с воинственно торчащим подбородком и длинными цепкими руками. Не проронив ни слова, автоматически,

словно выполняя ритуал, он швырнул в воздух две пачки разноцветных листовок. Листовки, покружившись, тихо опали на землю и на воду ручья; никто на них даже не взглянул. Парень в зеленой майке снова повернулся к сеньору Кайо.

— Где алькальд? — спросил он.

— Я алькальд,— сказал сеньор Кайо, ударяя себя в грудь сложенными в щепоть пальцами.

— Тогда скажите, где можно собрать людей? Ненадолго.

Сеньор Кайо покачал головой.

— Уууу! — сказал он.— Для этого придется вам отправиться в Бильбао.

— Так далеко?

— А что делать!

Виктор подошел к сеньору Кайо и протянул ему руку.

— Ну, ладно, сеньор Кайо, нам пора. Мы поедем.

Парень в зеленой майке вмешался.

— Не верьте этим,—сказал он.— Они хотят отнять у вас землю.

Лоб сеньора Кайо пошел морщинами.

— Вот уж нет,— сказал он.— Земли тут хватит на всех. Видели низину? Все как есть запустело. Двенадцать лет здешние земли плуга не видали.

Парень в зеленой майке взглядом проследил, куда смотрел старик: заросшие сорняком огороды, одичавшие яблони. Сказал убежденно:

— Доверьтесь нам. Мы тут все исправим.

Сеньор Кайо предупредил:

— А ничего не ломалось.

Парень в майке обернулся к своему приятелю в желтой куртке:

— Слыхал, Гойо? Доходяга какой-то.

Лали прервала их:

— Ну, мы поехали.

Парень в зеленой майке оживился:

— Слушай, детка, мы не кусаемся!

Он стал в позу, скрестив руки на груди, и кивком головы обратился к сеньору Кайо:

— Я вижу, эти уже задурили вам голову?

Рафа примиряюще вступился:

— Слушай, Маурисио, давай разойдемся с миром.

— С миром! — завопил Маурисио глумливо.— Слышишь, Гойо? Небось и старику про мир плели. Они всегда: чуть что — за мир хватаются.— Он повернулся к сеньору Кайо:

— Что, старик, плели они тут про мир?

Виктор встал между ними. И сказал, обращаясь к Маурисио:

— Слушай, оставь его, пожалуйста, в покое.

— В покое? Ах ты, сука, в покое! Это тебе покоя хочется. А страна, народ, этот старик — они всем принадлежат. В этом и состоит демократия, так ведь?

Виктор согласился.

— Так,— сказал он.— Дело не в том, что ты говоришь, а как ты это делаешь.

Маурисио повернулся к парню в желтой куртке.

— Слышишь, Гойо? Кандидату не по нутру наши манеры, кандидат приехал добыть голос этого старика.— Он придвинулся к Виктору вплотную, все больше распаляясь.— Но чтобы добыть голос этого старика, ты должен сказать ему всю правду. Сказать ему, что не успеете вы победить на выборах, как тут же сожжете сельскую церковь, а его самого пристрелите у кладбищенской ограды. Прежде всего это ты должен рассказать старику.

Он наклонился, поднял с земли листовку, из тех, что разбрасывал его приятель, и вложил ее в безучастные руки сеньора Кайо.

— Смотрите сюда, если вы хотите порядка и справедливости, голосуйте за эту кандидатуру.

Сеньор Кайо скользнул глазами по мятой бумажке и, упершись кротким, выцветшим взглядом в Маурисио, изобразил подобие улыбки:

— Порядок, говорите? Тут его хватает. Сами видите.

Гойо шагнул было к нему, но Маурисио удержал его за руку. Виктор не сводил глаз с длиннорукавого. Маурисио сказал:

— Слышал? Здорово они его обработали, здорово промыли ему мозги, этот тип начинает действовать мне на нервы.— Он опустил голову и неожиданно, словно отказываясь от какой-то затеи, совершенно другим тоном сказал высокому парню, безучастно прислонившемуся к дверце машины: — Ну-ка, Пепе, налепи тут пару плакатов, и поехали. Одиннадцатый час, здесь нам делать нечего.

Высокий подошел к багажнику, открыл его, достал рулон, клей и кисть. Маурисио взял из рук сеньора Кайо листовку, свернул ее в трубочку и сунул себе в рот, как сигарету. Засмеялся:

— Нравится тебе это, старик, или нет, а проглотить придется.

Виктор схватил его за руку:

— Тебе не кажется, что это уже слишком?

Намазав плакат клеем, верзила подошел к глухой стене сарая и прилепил его поверх улыбающейся физиономии лидера. Виктор выпустил руку Маурисио и шагнул к верзиле.

— Не здесь,— сказал он.— Во всем селении другого места не нашел?

Он сдернул плакат и разорвал его. Верзила крутанулся к Виктору и, влепив ему прямо в лицо другой плакат, коленом ударил в пах. Все произошло в мгновение ока. В руках Гойо вдруг появилась железная цепь; вскинув цепь над головой, он с силой два раза обрушил ее на оседающее тело Виктора. Маурисио метнулся за руль, включил газ и распахнул дверцы машины. Гойо прыгнул к нему, а верзила — на заднее сиденье.

— Давай жми! — крикнул он.

Автомобиль дал задний ход и, стреляя выхлопной трубой, выехал с улицы. Лали и Рафа присели на корточки над скорчившимся на земле Виктором.

— Сволочи,— сквозь зубы пробормотал Рафа.— Ничего не повредили тебе?

Он потянул Виктора за плечи, стараясь поднять.

— Не надо,— сказал Виктор.

Руки у него дрожали, колени словно для защиты были прижаты к животу. Лицо было мертвенно-бледным, комочки клейстера прилипли к волосам, бороде, щекам. Лали хотела расстегнуть ему рубашку.

— Не надо,— повторил Виктор.— Тут — ничего.

Сеньор Кайо, окаменев словно статуя, наблюдал за происходившим. Виктор скорчился и закусил губу, заметив, что Рафа хочет поднять его.

— Погоди, не трогай, пожалуйста.

Рафа выпрямился, уперев руки в поясницу. Спросил у Лали:

— Откуда они взялись?

— Кто их знает, во всяком случае ехали они с той же целью, что и мы.

Мало-помалу Виктор приходил в себя, хотя то и дело лицо его перекашивало болью. Рафа, которого случившееся превратило совсем в беспомощного, растерянного ребенка, сказал:

— Этот Маурисио и его дружки — просто бандиты.

Из черной кроны орехового дерева донесся жалобный крик совы, и, точно повинуясь знаку, Лали взглянула на часы и сказала:

— Давай уложим его на заднем сиденье. Дани, наверное, волнуется.

— Давай,— согласился Рафа.

Он наклонился над Виктором.

— Погоди,— сказала Лали.

Она подошла к ручью, смочила бумажную салфетку. Присев около Виктора, она стерла с его лица комочки клейстера и, достав из кармана расческу, провела по волосам и бороде.

— Теперь можно,— сказала она.

Рафа подхватил Виктора под мышки и помог ему подняться, а Лали придерживала дверцу машины. Виктор забрался в машину на заднее сиденье и лег на бок, поджав ноги. Сеньор Кайо смотрел на него в окошко, и Виктор попытался улыбнуться, но вышла гримаса.

— Я приеду к вам еще раз,— сказал он.

Сеньор Кайо кивнул. Лали молча села за руль и пристегнулась ремнем. Рафа, не выпуская сигареты изо рта, послушно сел рядом. Обернулся:

— Ну как, старик?

— Лучше.

Сеньор Кайо просунул голову в открытое окошко около Лали.

— Езжайте потихоньку,— сказал он.— Дорога здесь обманчивая.

Лали тронула машину и помахала рукой в окошко. Сеньор Кайо оставался позади один, на площади у ручья, отсвечивавшего в угасающем вечернем свете. Они выехали из селения, не обмолвившись словом, и уже на дороге Рафа раздавил сигарету в полной окурков пепельнице и сказал, застегивая ремень:

— Ну, сучьи лапы!

Лали внимательно смотрела сквозь стекло на дорогу, стараясь объезжать выбоины и камни. Справа глубоко внизу бежала река, а слева над полукружием яблоневых деревьев тянулись в красноватое закатное небо тяжелые зубчатые контуры изъеденных эрозией скал. Подъехав к перекрестку, Лали сбросила скорость. Сказала, не оборачиваясь, взглянув на Виктора в зеркало:

— Больно?

— Проходит, не беспокойся.

Машина тяжело брала подъем на третьей скорости, и на крутом повороте Лали переключила на вторую и зажгла дальний свет. Дорогу перебежал кролик. Рафа автоматически взял пленку и вложил в магнитофон. Закуривая новую сигарету, сказал насмешливо:

— «Отель Калифорния» Иглза. Посвящаю ее моему начальнику Дани, который, наверное, меня слушает.— Оглушительно загремел оркестр.

— Может, сделаешь потише,— попросила Лали.— Тошно.

Рафа выключил.

— Спокойно,— сказал он.

Снова наступила тишина. На поворотах Лали не притормаживала, решительно ввинчиваясь все выше и выше в горы. Рафа, посасывая сигарету, прикрыл глаза. С наслаждением вытолкнув дым изо рта, сказал:

— Маурисио бесится. Знает, что пятнадцатого ему ничего не светит, вот и бесится.

Никто не отозвался. Ночь постепенно окутывала их, Рафа повернулся посмотреть на Виктора.

— Ну. как дела, старик? — И вдруг рассмеялся: —Черт побери! Глаза у тебя — будто апостол Иаков тебе явился!

Голос Виктора прозвучал тихо, но твердо:

— А он, знаешь, как бог, из ничего творит мир.

— Сеньор Кайо?

— Он.

Рафа опять засмеялся:

— Как на тебя это подействовало! Ты уж слишком, елки. Первый раз, что ли, мужика деревенского видишь вблизи?

— Да,— признался Виктор.— Первый.

Рафа смешно замахал руками.

— Вы, мадридцы, такие. Думаете, Мадрид ваш — пуп земли, елки, только вы ошибаетесь, и даже очень. Надо идти в народ, старик. Там, в деревне, настоящая жизнь,— добавил он язвительно.

Виктор привстал.

— Кончай кривляться,— сказал он.

Конус света выхватил из листьев первые дома разрушающегося, обезлюдевшего селения.

— Кинтанабад,— сказала Лали.

Виктор попробовал дышать носом — с каждым разом все глубже, но медленно и держась рукой за грудь, словно ждал, что боль снова вернется. Боль не возвращалась, и он повторил процедуру еще раза два, уже расслабившись. Поглядел в окошко на уходящий свет, на рушащиеся кровли, выпотрошенные сараи, пробивающуюся в стенах траву, кучу камней на грязных улицах.

— Нет, нельзя,— пробормотал он. И откинулся головой на спинку.

— Чего нельзя, старик?

— Нельзя спокойно смотреть,— сказал Виктор.— Спокойно смотреть, как гибнет цивилизация.

Рафа обернулся и посмотрел на него круглыми, как плошки, глазами:

— Да хватит тебе, елки, ты что в самом деле. Пусть твой сеньор Кайо какой угодно носитель культуры, но все-таки он не Эйнштейн.

Виктор опять откинулся на спинку сиденья. Заговорил ровно, без выражения, не рассчитывая на собеседника:

— Я вижу: что-то летает в небе, и знаю, что это птица. Вижу: нечто зеленое вцепилось в землю, и знаю, что это дерево, но не спрашивайте меня, как оно называется.— Он уронил на грудь голову и закрыл лицо руками.— Я не знаю ни одного проклятого названия.

Рафа поглядел на Лали, словно ища поддержки, и сказал:

— И не надо тебе знать, старик.

Виктор наклонился вперед.

— Как это — не надо знать?

— А зачем?

— Это и есть цивилизация, культура.

Рафа расхохотался.

— Не мели чушь,— сказал он.— Это так, одна видимость, реклама, как бы сказал наш учитель.— Он уперся указательным пальцем в середину лба и добавил: — Культура — она вот тут, внутри.

Виктор пробормотал:

— Жизнь и есть культура.

Узкая, вся в выбоинах, дорога, взобравшись наверх, выпрямилась, и теперь по сторонам в темноте бежали нечеткие пугающие тени дубов. Начался спуск, и внизу, в долине, сверкнули три огонька.

— Мартос,— объявила Лали.— За ним — Паласиос-де-Силос, а там выйдем на главную дорогу.

Виктор наклонился, почти коснувшись губами Лалиного затылка:

— Сеньор Кайо сказал, в Мартосе есть таверна. Может, остановишься на минутку? Пропустить бы глоточек.

Лали наморщила лоб. Посмотрела на светящийся циферблат на приборной доске.

— Двенадцатый час,— сказала она.— Дани будет недоволен, что мы так опоздали.

— Ты не можешь хоть на минуту забыть про Дани?

— Как хочешь.

Въехали в селение; проезжая мимо спящих домов, Лали сбросила газ и на углу под бледной, голой электрической лампочкой остановила машину. В приотворенную дверь соседнего дома видна была примитивная стойка и полки, уставленные бутылками и банками с консервами. Рафа обрадовался:

— Ну, елки, ты — штучка с ручкой.

Трактирчик был пуст, только сухая, почерневшая, немолодая женщина с ничего не выражающими глазами и плотно сжатым ртом мыла стаканы в цинковой мойке. Она подозрительно поглядела на них, но не сказала ни слова.

— Один коньяк,— сказал Виктор.

Рафа облокотился на стойку:

— Пусть будет два.

Женщина медленно, в полном молчании, словно бы против желания, наполнила рюмки. Рафа пальцем ткнул в ее сторону:

— Смотри-ка. Точно каменная.

Они выпили и снова подвинули пустые рюмки женщине. Лали нетерпеливо спросила:

— Сколько километров до Паласиоса?

Та едва шевельнула губами:

— Девять.

Рафа бессмысленно посмеивался и в четвертый раз за пять минут протянул женщине свою рюмку. Лали решительно повернулась к нему:

— Чего вы добиваетесь? Предупреждаю, со мной эти штучки не пройдут.

Виктор тихонько дотронулся до ее руки.

— Спок-койно,— сказал он.— Сеньор Кайо никогда не спешит.— Он поднял рюмку.— За сеньора Кайо!

— За сеньора Кайо, старик! — подхватил с энтузиазмом Рафа.

Они выпили. Женщина покорно наливала. Виктор, оглядев ее, приблизил губы к уху Рафы и сказал вполголоса:

— А ведь он прав.

Рафа восторженно вскинул руки, собираясь обнять его, но наткнулся взглядом на безмолвную фигуру женщины и замер на полпути. Сказал разочарованно:

— Они просто как живые мертвецы, елки, правда же?

Виктор допил коньяк, поднял пустую рюмку и продекламировал:

— Я пришел говорить вашими немыми устами.

Рафа закричал, ликуя:

— Вот именно. Как у Неруды. Нас не сдвинуть!

Они обняли друг друга за плечи, сцепив свободные руки у себя над головой. И вдруг, не сговариваясь, громко запели в ночной тишине:

Нет, нет, нет, нас не сдвинуть,
Нет, нет, нет, нас не сдвинуть,
Словно сосну на морском берегу,
Им нас не сдвинуть.

Закончив, они расцепили руки и поглядели друг на друга, словно в первый раз увидели; заметив, что глаза Виктора непривычно блеснули, Рафа коротко рассмеялся и сказал:

— Ты ведь не расплачешься, депутат?

Виктор отступил на шаг, качнулся, коснулся пальцами глаз. Пробормотал словно сам себе:

— Годы борьбы... университет...

Он протянул пустую рюмку трактирщице. Та вылила то, что оставалось в бутылке, и вышла за новой. В Лали снова проснулся обличительный зуд. Она подступила к ним, разъяренная, и, облив презрением Рафу, заговорила гневно:

— Чем же это кончится? — И, испепелив Виктора взглядом, продолжала с возмущением: — И такой собирается представлять через две недели целую провинцию? Депутат, называется! Веди себя пристойно хотя бы ради партии!

Возвратилась трактирщица, на ходу вытирая пыль с бутылки. Рафа шагнул к ней, но наткнулся на стул и, чтобы не упасть, неловко

ухватился за плечи Лали, а увидев лицо девушки совсем близко, забыл обо всем и звучно, театрально чмокнул ее в щеку.

— Не выпендривайся, Лали, любовь моя,— сказал он.

С гримасой отвращения она оттолкнула его:

— Не подходи ко мне близко, сукин сын, ясно?

Женщина, безразличная ко всему, откупорила бутылку и налила Виктору; тот выпил рюмку залпом.

— За партию,— пробормотал он, еле ворочая языком.— Я, Лали, партию уважаю, хоть ты и говоришь: нет.

Лали повернулась к нему спиной и положила на стойку бумажку в пятьсот песет.

— Получите,— сказала она женщине.

Собрала сдачу и проговорила, направляясь к двери:

— Я ухожу. А вы можете делать что угодно.

Она вышла в темноту, и Рафа, сгорбившись, поплелся за ней словно собачонка, а следом — Виктор, но в дверях он споткнулся о порог и плюхнулся на колени прямо в лужу. Рафа, держась за живот, истерически хохотал, пока Виктор не поднял на него серьезных глаз; тогда, сразу перестав смеяться, Рафа спросил:

— Что случилось, депутат?

— Случилось,— сказал Виктор со странным, задумчивым выражением,— то, что мы собрались спасать спасителя.

Рафа оглушительно расхохотался.

— Вот именно,— сказал он.— Собрались спасать спасителя.— И, продолжая хохотать, словно подчиняясь непреодолимой потребности, чуть наклонился вперед и стал мочиться.

Лали открыла дверцы автомобиля и, когда Виктор после двух безуспешных попыток наконец поднялся, запихнула его в машину. Сама села за руль и пристегнулась ремнем.

— Мы поехали,— сказала она Рафе в окошко.

Рафа, шатаясь, подошел к машине и, сев рядом с Лали, опять засмеялся, но уже вяло. И все повторял: «Здорово сказано: спасать спасителя». Он уронил голову на грудь. Лали протянула руку у него за спиной и захлопнула дверцу. Машина тронулась, Лали включила дальний свет и поехала на второй скорости. Она сердилась и вела машину молча, быстро, на поворотах не сбрасывала скорости, а только мигала фарами. Рафа еще некоторое время поклевал носом в такт качке и скоро заснул, привалившись головой к стеклу, с открытым ртом, отвисшим подбородком. Лали искоса взглянула на него и вздохнула с облегчением. Она вышла на прямую и прибавила скорость, но тут услышала, что Виктор сзади завозился и послышался его жалобный голос:

— Лали, останови, пожалуйста, меня тошнит.

Она крутанула руль, въехала правым колесом на травянистую обочину и, выйдя из машины, увидела, что Виктора выворачивает прямо на шоссе. Она поддержала его обеими руками — за лоб и затылок. Он обливался холодным потом, и с каждым приступом рвоты все его тело сводило судорогой. Лали сказала тихо-тихо:

— Потерпи, уже проходит.

Он поднял голову, вытер рот платком. Глаза у него были чужие. Он сделал глубокий вдох и посмотрел на нее.

— П... прости,— сказал он.

В ямах, по обе стороны дороги, трещали сверчки. Он поднял глаза к усыпанному звездами небу.

— Какая... прекрасная ночь,— сказал он.— Может, пройдемся немного? Я очень пьян, Лали.

Они пошли вперед по дороге: Лали — скрестив руки на груди, Виктор — рядом, пошатываясь. Она сказала:

— Вы оба вели себя как мерзавцы.

Виктор остановился. Посмотрел отсутствующим взглядом. Сказал с чувством:

— Этот человек в нас не нуждается.

Лали двинулась дальше. Сказала:

— Может, ты все-таки забудешь этого сеньора Кайо? Доисторическое существо, и не более того.

Виктор с жаром замахал руками.

— Доисторическое? Лали, ты можешь мне сказать, чем наш образ жизни лучше его?

Лали заговорила снисходительно, но стараясь не раздражать Виктора:

— Я тебя умоляю, Виктор: образ жизни у сеньора Кайо — допотопный.

Виктор зацепился ногой за ногу, и на минуту показалось, что он вот-вот рухнет, но в последний момент он удержался и, вывернувшись, вырос перед Лали, заступив ей путь:

— Т... тебе и вправду кажется: важнее пересказывать Альтюссера[1], чем знать свойства бузины?

Он смотрел на девушку пристально, с затаенным лукавством и ждал ответа. Лали опустила глаза.

— Пошли назад,— сказала она.

В самом конце прямого участка дороги виднелись габаритные огни их машины. В кюветах оглушительно трещали сверчки. Виктор помедлил. Сказал:

— По какому праву хотим мы вырвать их из родной почвы и сунуть в нашу мясорубку?

Лали подумала. Сказала:

— Знаешь, депутат, ты от пьянки прозрел.

Виктор рванулся к ней, жадно схватил ее маленькую нервную руку, словно ища защиты.

— Не оставляй меня,— почти закричал он.

Лали слабо улыбнулась.

— Успокойся,— сказала она.

Они зашагали неверным, сбивчивым шагом, то совсем рядом, то чуть расходясь, но рук не расцепляли. Подойдя к машине, остановились.

— Знаешь, что я скажу,— заговорил Виктор, и речь его становилась все горячее:— Мы, городские умники, ссадили их с осла под тем, видите ли, предлогом, что это — анахронизм... да так и оставили идти пёхом. Скажи мне, Лали, что будет с этим треклятым миром в тот день, когда не останется ни одного человека, который бы знал, в чем прок от бузины?

Возбуждение Виктора росло, и Лали с гримаской боли попробовала высвободить свою руку, которую он все еще сжимал.

— Пусти! — сказала она.— Мне больно.

— Ой, прости,— сказал Виктор.— Прости, я и не заметил.

Лали растерла пальцы пострадавшей руки, потом открыла заднюю дверцу машины и помогла Виктору усесться.

— Ну, вот,— сказала она, как ребенку.— Теперь мы можем ехать и разговаривать, только потихоньку, чтобы не разбудить этого.

X

Проспект, как и весь остальной город, был безлюден, если не считать отдельных запоздалых гуляк, которые входили или выходили из кафе и дискотек. Черная, матовая от влаги мостовая скрадывала свет, и от этого улица казалась еще темнее, а свет фар — жалким по сравне-

[1] Луи Альтюссер — французский философ-марксист, по взглядам близок к идеям структурализма.

нию с праздничным зрелищем плакатов на стенах и тысячами разноцветных листовок на земле. На площади Лали развернулась и, подъехав к светофору, остановилась, отстегнула ремень и сказала Виктору:

— Смотри, депутат, не выкидывай мне здесь номеров.

Виктор, задремавший в уголке, встрепенулся и выпрямился, но тут же схватился за грудь, словно от боли, и ошарашенно посмотрел в окошко.

— Где мы?

Лали снова тронула машину.

— Дома,— сказала она.

Она свернула на тротуар, дала задний ход и въехала в узкое пространство между домами в десяти метрах от кафе, поставила машину. Она еще не успела выключить мотор, а Виктор уже тряс Рафу за ворот:

— Эй, очнись! Приехали!

Рафа сразу открыл глаза и закрыл рот. Ощупал языком нёбо и, автоматически достав пачку сигарет, вытащил одну и зажал в губах. У дверей кафе стояло несколько человек. Лали поморщилась и пригнулась к рулю, стараясь увидеть, горит ли свет на четвертом этаже. Рафа, еще не пришедший в себя, захихикал: — Хи-хи-хи-хи! — Повернулся к Виктору, словно подхватывая шутку.

— Собрались спасать спасителя.

Виктор стал открывать дверцу.

— Подожди выходить,— властно сказала Лали.

— Почему?

— Так будет лучше, потом объясню.

Виктор заметил группу около кафе и приподнялся было, собираясь выйти.

— Пойду скажу им пару слов.

— Подожди,— сказала Лали.

— И я хочу выйти,— сказал Рафа, возясь с дверной ручкой.

Лали удержала его за руку.

— Ты останешься здесь, пока я не скажу,— проговорила она.

— Елки, Лали.

— Без всяких елок, чучело гороховое.

Виктор ватным языком старательно выговаривал слова, пытаясь делать это естественно.

— Начальник говорит...— сказал он.— Начальник говорит, что настоящий член партии должен нести истинную веру всегда: и когда работает, и когда гуляет, ест, и даже когда спит...

Не успела Лали кинуться к нему, как он настежь распахнул дверцу и вышел из машины, но левой ногой попал в свежую ямку под акацией, не удержался и шлепнулся на асфальт, смешно тараща глаза, будто удивляясь собственной неловкости. Рафа хохотал за окошком машины, потом, перестав смеяться, быстро опустил стекло и прокричал в окошко:

— Да здравствует сеньор Кайо, старик!

Люди, стоявшие около кафе, замолчали и посмотрели на них. Виктор пытался подняться, цепляясь за акацию обеими руками. Лали выскочила из машины, помогла ему встать и стала заталкивать в машину, а Виктор все повторял: «Пусти, Лали, я в полном порядке, Лали, пусти». Когда ей почти удалось запихнуть его внутрь, из машины вылез Рафа и, выписывая кренделя на тротуаре, завопил:

— Черт подери, скажи, Лали, чтоб земля остановилась!

Бросив Виктора, Лали кинулась к Рафе, схватила его за руку и потащила к автомобилю, но не успела она дойти, как увидела, что Виктор уже опять вылез и стоит, прислонившись к капоту; тогда она оставила Рафу, уцепившегося за дерево, и кинулась к Виктору, но, еще сражаясь с ним, заметила, что из подъезда показалось пестрое шерстяное платье Хулии, и громко позвала ее; за Хулией появился

Хуанхо в красном свитере, и последним выскочил Анхель Абад, волоча по тротуару правую ногу.

Хулия подошла к Лали.

— Ну, Лали, ты не женщина, а боевой конь.— И, поглядев на Виктора с Рафой, спросила:— Что с ними такое?

Лали глухо сказала:

— Помоги мне отвести их наверх.

Люди, стоявшие у дверей, не сводили с них глаз. Виктор и Рафа не слушались, выкрикивали что-то бессвязное, рвались в разные стороны. Хуанхо крепко схватил Виктора за руку.

— Ах ты дерьмо собачье, депутат, ну и набрался,— бормотал он.— Как это вышло?

Лали с Хулией, взяв Рафу с обеих сторон за руки, как пленного, старались принять непринужденный вид, но Рафа сопротивлялся, рвался из рук и твердил: «Елки, пустите! Партия — за свободу!» Когда они проходили мимо группки у дверей, один из мужчин сказал: «Какой стыд!», на что Рафа ответил: «Иди в задницу»,— и тут Хулия втолкнула его в подъезд.

В помещении ячейки царило всегдашнее оживление. Вышедший из первой комнаты Айюсо остановился при виде вошедших, и сразу же замерла вся деятельность и смолкли все разговоры. Дарио смотрел на Виктора, открыв рот.

— Вот так депутат,— проговорил он,— волокут, точно мертвое тело...

Из-за плеча Айюсо выглянула лысина Кармело. Он нервно задвигал руками, пальцем поправил очки, спросил:

— Это они?

Айюсо пожал плечами. Вчерашний синяк у него стал еще больше, расползся до самой вспухшей губы. Он сказал еле внятно, краешком рта:

— Депутат на своем боевом посту.

Кармело сказал: «Дай пройти», оттолкнул его и очутился перед группкой, шествовавшей по коридору к штаб-квартире Дани. Он открыл дверь. Дани, худой и зеленый, несколько напоминавший инквизитора, сидя в кресле, разговаривал по черному телефону. По другую сторону стола на подлокотнике красного кресла сидел и курил Мигель. Кармело победно провозгласил:

— Вот они.

Дани взмахнул рукой, прося тишины.

— Да,— говорил он.— Так и сделаем, идет, дорогой... Ну, ладно.— Он с возрастающим удивлением глядел на вошедших, на грязные лица, растрепанные волосы Виктора и Рафы.— Да, они здесь... хорошо... Пока... Обнимаю.

Он повесил трубку и, облокотившись на стол, уставился на покаянно остановившихся в дверях Лали, Хулию, Хуанхо, Виктора, Кармело, Рафу и Анхеля Абада. Наконец сказал, подняв густые брови:

— Поучительное зрелище.

Рафа, смеясь, неуклюже подошел к столу:

— Короче, Дани, мы собрались спасать спасителя.

Дани не удостоил его взглядом. Золотым обручальным кольцом он постукивал по краю стола, и брови его ходили — вверх-вниз, вверх-вниз. Виктор тяжело опустился в красное кресло, прижимая правую руку к груди, остальные покорно стояли в ожидании. Дани обратил к Лали вопрошающий взгляд.

— Полагаю, этому есть какое-то объяснение,— сказал он.

Лали не дрогнула:

— Чего ты от меня хочешь?

Дани взорвался:

— Как это, чего я хочу, елки-моталки! Сдерживать должна была,

пропади они пропадом! И если надо — вздрючку дать! Ты понимаешь, как это выглядит за четыре дня до выборов?

— Понимаю,— спокойно сказала Лали.— Но как я, по-твоему, могу их сдерживать?

Дани ударил кулаком по столу и поднялся:

— Черт подери! Ты что, хуже мужика?

— Не дури, Дани, ты нервничаешь и говоришь глупости.

Рафа смешно сморщился. И опять повторил:

— Знаешь, Дани, мы собирались спасти спасителя.

Дани схватился за голову.

— Заткнешься ты когда-нибудь, поганый твой язык! — Он обратился к Мигелю и Хуанхо: — Ну-ка выкиньте этого мерзавца отсюда куда угодно, только вон отсюда. Пусть Примо принесет ему кофе, а потом отправьте домой — проспаться.

Рафа, заикаясь, возразил:

— Ну это уж слишком, старик.

Мигель схватил Рафу за плечи:

— Пошли, борец за свободу.

Они вышли вместе с Хуанхо в узенькую дверь. Виктор, не вставая с кресла, наклонился вперед и сказал мягко, но с неожиданным напором:

— Погоди, Дани, ты же его не видел, ты судить не можешь.

Дани наморщил нос.

— О ком речь? — спросил он у Лали.

— О сеньоре Кайо, старом крестьянине из Куреньи.

Виктор опустил голову.

— Уму непостижимо, Дани. Он как бог — все умеет и все делает так легко и просто. А что мы ему можем предложить, спрашиваю я тебя. Слова, слова и еще раз слова... Это единственное, что мы научились производить.

Дани сел на место. Правая рука его беспокойно барабанила по столу.

— Я полагаю, руководители были во все времена,— заметил он.

Виктор поднял голову:

— Руководители? А зачем сеньору Кайо руководитель? Не обольщайся, Дани, мы ему не нужны.

Глаза Дани нервно забегали по лицам присутствующих. Он почувствовал, что присутствующие словно теряют почву под ногами, словно теряют уверенность и с тревогой начинают осознавать свою бесполезность. Анхель Абад сказал после паузы:

— Чудное опьянение у депутата, Дани.

Лали уточнила:

— Я бы сказала, с озарением.

Дани посмотрел на нее:

— Ты что — заодно с ним?

— Скажем, я его понимаю.

Анхель Абад сказал:

— Селенья в горах пустые, Дани, я тебя предупреждал.

Дани под столом пинал воздух ногами.

— А почему вы не вернулись, когда увидели, что там никого нет?

Ответила Лали:

— Нам следовало знать об этом заранее, Дани. Вот в чем ошибка.

Дани опять пришел в бешенство:

— Ты хочешь сказать, я виноват, что селения опустели? Хочешь сказать, так-разэтак, я виноват: зная наперед, что селения пусты, я двух наших лучших людей послал туда прошвырнуться ради забавы?

Виктор опустил тяжелый кулак на стол, да так, что телефоны, пепельницы и бутылки звякнули. Дани осекся. Виктор вцепился в край стола — ногти и пальцы побелели.

— Слушай, Дани,— сказал он отчаянно,— ты не хочешь меня понять. Этот старик может спокойно себя прокормить, он сам себе хозяин и ни от кого не зависит, понимаешь? Вот это и есть жизнь, Дани, настоящая жизнь, а не наша.— Он предостерегающе поднял вверх указательный палец и продолжал: — Мы перемудрили: ты, я, он, мы погрязли в словах. И не сумели понять этих людей вовремя, а теперь поздно. Мы говорим на разных языках.

Он замолк и уставился перед собой, куда-то за спину Дани, на погасшие стекла домов за окном. В глазах его не было пьяного блеска, они светились возвышенным сомнением провидца. Несколько секунд все молчали, потом Кармело робко кашлянул. Правый глаз Дани нервно мигнул несколько раз.

— Я говорю, что Лали...— начал было он.

— Минутку,— прервал его Виктор.— Я еще не кончил.— Он неторопливо приподнял над столом обе руки.— Вот такая гипотеза, Дани, абсурдная, какая угодно, но все-таки гипотеза. Вообрази на минуту, что в один прекрасный день все эти пресловутые американцы все-таки сделают бомбу наподобие нейтронной, которая убьет всех подчистую, кроме сеньора Кайо и меня, представляешь? Гипотеза дурацкая, я знаю, но нам годится. Итак, случись такое, мне пришлось бы рвать когти в Куренью и на коленях умолять сеньора Кайо, чтобы он спас — накормил меня, понимаешь? — Виктор чуть не плакал.— Сеньор Кайо может прожить без Виктора, а вот Виктор без сеньора Кайо не проживет. А раз так — на каком основании прошу я этого человека голосовать за меня? Дани, скажи, пожалуйста.

Глаза Виктора блестели странным блеском. Закончив свою речь, он откинулся на спинку кресла, прижимая правую руку к груди, как будто выложился до отказа.

Анхель Абад улыбнулся снисходительно.

— Совсем зашелся,— сказал он.— Видно, дело дрянь, депутат эту поездку профукал.

Дани встал. Сказал Виктору:

— Ладно, тебе надо отдохнуть. Завтра, может, ты будешь смотреть на вещи иначе.— И уже тише обратился к Лали: — А в других селениях как дела?

— Других селений не было, Дани. В Кинтанабаде вообще нет людей, а в Мартосе осталось полтора человека.

Зазвонил белый телефон. Дани повелительно сказал Кармело:

— Возьми трубку.

— Да? — сказал Кармело в трубку и посмотрел на Дани. Дани жестом показал, что его нет.

— Вышел,— сказал Кармело, поправляя указательным пальцем очки на носу.— Понятия не имею... Думаю, да, но не знаю... если срочно, лучше завтра утром... Хорошо... ладно... идет... Привет.— Он положил трубку. Сказал мягко: — Феликс.

Дани в молчании широкими шагами мерил комнату, опустив подбородок на грудь,— он думал. До груды листовок у алькова — и обратно к столу. На второй раз остановился перед Лали. Сказал раздраженно:

— Напортачили, одним словом.

— Это уж слишком, Дани.

— По-твоему, слишком.

— Я полагаю, другого выхода не было.

— Полагаю, полагаю... Ты полагаешь, что и надираться было необходимо?

Лали решительно тряхнула головой:

— Не будем, Дани, прошу тебя.

Дани скрестил руки на груди. Виктор, казалось, задремал в красном кресле. Анхель Абад закурил и сел на край стола.

— Ладно, не будем об этом,— сказал Дани.— Теперь у нас проб-

лема — что с ним делать. Отпускать его нельзя. Кто-нибудь видел его в таком состоянии?

— Несколько человек внизу, у кафе.

Дани поджал губы:

— Их было много?

— Четверо или пятеро.

— Его узнали?

— Откуда я-то знаю, Дани!

Правая бровь Дани взлетела почти до самой шевелюры. Рука нерешительно опустилась на пишущую машинку и стала нервно перебирать клавиши. Словно отвечая на сложные внутренние размышления, Дани сказал:

— Не было среди них журналистов?

— По-моему, нет.

Он оставил в покое пишущую машинку и снова зашагал по комнате, продолжая говорить:

— Подумать страшно, что это приключение может попасть в газеты. Представляете? «Кандидат Виктор Веласко, широко известный как В. В., нализавшись в стельку, объезжает провинцию перед выборами».— Он сжал кулаки.— Ах ты, сучья лапа, только этого нам не хватало!

Он осекся и снова повернулся к Лали.

— А на местах? — допытывался он.— Давай рассказывай все. Воображаю, какой вы там произвели фурор.

— Только в Мартосе,— признала Лали,— но видела одна трактирщица.

— А машину-то видели? С эмблемой партии — славную оставили визитную карточку.

Лали глубоко вздохнула. Постаралась взять себя в руки. Сказала:

— Успокойся, Дани, машину никто не видел. Та женщина из трактира не выходила, а на улицах не было ни души. От Мартоса до дома мы вообще не останавливались.

Дани снова скрестил руки на груди. Заговорил мягче, как будто хотел успокоиться сам:

— Я понимаю, что это просто ребячество, не более, но как получилось-то, Лали, с ума сойти, сознайся... Если газетчики пронюхают, все, можем складывать чемоданы.

Лали подошла к нему совсем близко. Решительно посмотрела ему в глаза.

— Хватит, Дани, переливать из пустого в порожнее,— сказала она.— Что было, то было, назад не вернешь. Самое разумное сейчас — подумать, какие еще меры можно принять.

— Совершенно верно,— отозвался Дани,— какие меры. Куда его деть на ночь, мать его за ногу? Здесь он не может оставаться, в отель в таком состоянии отправлять его немыслимо.

Звякнула маленькая дверь, и вошел Педрито Недотепа.

— Чего тебе надо? — взорвался Дани.

— Плакаты,— испуганно ответил тот.

— Бери и вали отсюда.

Перепуганный парень наклонился и взял с полу несколько свернутых в трубочку плакатов. Когда он выходил, Дани окликнул его:

— Эй, постой, вели Примо принести двойную порцию кофе, да покрепче, сделай одолжение! — Обернулся к Лали:— Наверное, с этого надо начать.— Он посмотрел на кресло, в котором спал Виктор.— Не думаю, чтобы этот словесный понос прошел у него раньше чем часа через два. Представляешь, какую предвыборную кампанию он мог бы развернуть в вестибюле отеля!

Лали мягко спросила:

— А может, отведем его ко мне?

— К тебе? А девочки?

— Девочки с моей мамой, это не проблема.

— А как Артуро?

Лали гордо вскинула голову:

— Хочешь спросить, что в такой ситуации делает у меня в доме Артуро?

Дани улыбнулся. Похлопал ее по руке:

— Ладно, Лали, не беленись, дорогая, мне твой план нравится, но тогда лучше не поить его кофе, не разгуливать.

— Все равно,— сказала Лали,— дома дадим ему две дозы валлиума-десять, и полный порядок.

— Валлиума? А не вредно после спиртного?

— Что ему сделается,— ответила Лали.— Не учи ученого!

Анхель Абад резанул воздух рукой.

— Не мешкай, Дани, давай кончать с этим к чертовой матери.

Вошел Примо, останавливаясь на каждом шагу, чашка с кофе дрожала у него в руке. Он поставил чашку на стол и вышел. Дани взял чашку, подошел к красному креслу:

— Пей, депутат.

Виктор открыл глаза — удивленные, отсутствующие; одного за другим оглядел всех и послушно стал пить. Анхель Абад наклонился к Лали:

— Видишь? Как не в себе.

Когда чашка наполовину была выпита, Дани сказал Анхелю Абаду:

— Спускайся, мы — за тобой. Открывай машину, если на улице кто-нибудь есть, дай нам знать, чтобы мы подождали в подъезде.— Потом обратился к Кармело: — Позаботься, чтобы выход был свободен, чтобы никто не путался в дверях. Чем меньше шума, тем лучше.

Лали отдала Анхелю Абаду ключи от машины, и он вышел вместе с Кармело. Дани обхватил Виктора за пояс, Лали с другой стороны взяла Виктора под руку, и они подняли его.

— Пошли, депутат.

— Куда?

— Спать. Уже поздно.

— Я... я не хочу спать.

— Все в порядке, не беспокойся.

Они шли нетвердо — хилому человечку Дани и хрупкой Лали едва удавалось удерживать Виктора. На площадке первого этажа Виктор остановился.

— Я не хочу спать,— снова сказал он.

— Не хочешь — не спи, а отдохнуть надо, Виктор. Завтра в десять тебе выступать по радио.

Виктор посмотрел на него, словно не узнавая:

— Про сеньора Кайо?

— Про сеньора Кайо и про что хочешь. Позже подумаем об этом без спешки, а теперь пошли вниз.

Им понадобилось пять минут, чтобы добраться до двери. Кармело встал на смену Лали, а она пошла вперед. Она увидела Анхеля Абада — он стоял у машины и поторапливал их. В кафе был всего один человек — молодой парень стоял облокотившись на стойку, спиною к ним. Лали обернулась в сторону подъезда.

— Идите, живо,— сказала она.

Только в машине Лали перевела дух. Дани с Кармело, посадив Виктора посередине, устроились на заднем сиденье. Дани вынул большой белый платок, несколько раз отер лоб и, склонившись набок, чтобы спрятать платок в карман, сказал:

— Ну и собачья работенка.

Лали включила мотор. Дани добавил:

— Самое опасное в этих делах — пресса, эти псы-газетчики. Из такой чепухи — ну, обделались — завтра, глядишь, горы навалят.

Машина мчалась по пустым улицам, шины мягко шуршали по влажному асфальту, усыпанному листовками. Виктор забеспокоился, попробовал выпрямиться. Пристально глядя на Дани, сказал:

— Знаешь, Дани, какая польза от цветка бузины?

Дани положил руку ему на плечо.

— Да фиг с ним, дорогой, какое тебе дело?

Виктор повернулся к Кармело:

— А ты знаешь?

Лали, разворачиваясь, сказала:

— Хоть и запрещено, я въеду отсюда, чтобы не делать крюка по Тирсо де Молина.

— Осторожно, не вляпаться бы.

Лали остановила машину перед современным кирпичным десятиэтажным домом со стеклянными дверями и алюминиевыми рамами. Вышла из машины и открыла дверцу, выпуская Кармело. Потом они помогли вылезти из машины Виктору, и тот стоял и ошарашенно оглядывался по сторонам. Лали подошла к двери, сунула ключ в замочную скважину, и в этот момент подъезд осветился. Не отперев двери, она вытащила из замка ключ.

— Живо в машину,— сказала она.— Кто-то спускается.

Анхель Абад, Дани и Кармело взялись за Виктора, который не желал двигаться с места. Без лишних слов они затолкали его в машину. Лали села за руль и включила зажигание; в этот момент двое мужчин и две женщины вышли из лифта. Лали посмотрела краем глаза.

— Кавьедес,— сказала она.

— Адвокат?

— Да.

— Нам лучше смыться. Сделай круг по кварталу.

Пары дружески прощались на углу.

— Ну-ка посмотрим, сейчас, наверное, разойдутся.

— Этот Кавьедес — и нашим и вашим, не поймешь, с кем он. Последнее время, говорят, с Арейлсой[1],— заметил Анхель Абад.

Когда они снова выехали на улицу, она была пуста, и Лали остановилась у дверей своего дома. Дани сказал Кармело:

— Останься в машине, а то нас слишком много.

Квартира Лали выглядела приятно, интеллигентно. Книги, рисунки, гравюры, плакаты на стенах, маленький красного цвета телевизор на полке среди книг, а под ним — закрытый прозрачной пластмассовой крышкой проигрыватель: динамики были укреплены у самого потолка. Под книжными полками — диван, а перед ним — низенький столик с журналами, пепельница из муранского стекла и красная роза в стакане. Виктор пошатывался, Дани с Анхелем Абадом поддерживали его.

— Где мы будем спать?

— Здесь, проходите.

Лали шла впереди и зажигала свет, открывала двери, пока по маленькому коридору они не дошли до комнаты, где стояли две одинаковые кровати с бамбуковыми изголовьями, а по бокам — две тумбочки, заваленные книгами карманного формата. Она зажгла две лампы под зелеными абажурами и откинула одеяло.

— Сюда его,— сказала она.— А я буду спать с девочками.

Она вошла в ванную рядом, и послышалось звяканье пузырька с лекарством о стеклянную полочку; Дани с Анхелем Абадом сняли с Виктора куртку, брюки и уложили его в постель. Лали вернулась с крошечным пузырьком и стаканом воды.

— Ну-ка,— сказала она,— открывай рот.— И положила на язык Виктору две голубых таблетки.— Запей.

---

[1] Х. М. де Арейлса — испанский политик умеренно консервативного толка, сторонник ограниченного реформизма

Виктор тяжело наклонился к стакану и сделал два глотка. Лали поставила стакан на стеклянный верх бамбуковой тумбочки и помогла Виктору улечься на подушке. Дани вздохнул всей грудью, и Лали улыбнулась ему:

— Успокоился?

— И еще одно,— сказал Дани,— завтра около десяти я приеду за ним. Лучше, чтобы никто не видел вас выходящими вместе.

Лали выпрямила стройную шею, рассмеялась:

— Так будет приличнее, правда?

Дани выгнул густые брови.

— Приличия надо блюсти,— сказал он.

— Дани! — раздался требовательный и мрачный голос Виктора. Лали и Дани обернулись. Виктор, лежа на подушке, хватался руками за ворот рубашки.

— Вот еще, Дани,— сказал он.— Вот еще что я не рассказал тебе про него.

— Про сеньора Кайо?

— Про сеньора Кайо.

Дани поднял густые брови, чуть склонил голову. Виктор был возбужден и явно страдал.

— Он тоже ненавидит, знаешь? — проговорил он, запинаясь.— Ненавидит, как и мы... В последний момент в селение заявились эти — с Маурисио или как его там. Смотри!

Виктор рванул на себе рубашку — отскочили две пуговицы, и обнажилась грудь с двумя кровавыми рубцами поперек. Он печально поднял глаза и добавил:

— С этим ничего не поделаешь, Дани, это как проклятье.

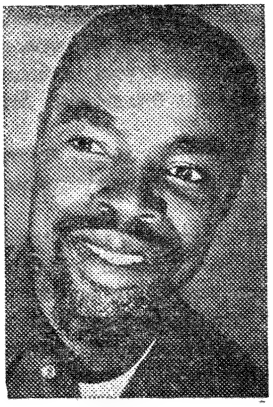
Прежде чем склониться над кроватью, Дани поглядел на Лали с молчаливым укором.

— Что это? Как получилось?

Лали инстинктивно прижала руки ко рту.

— Какой ужас! — проговорила она.— Почему же ты не сказал раньше?

■



АЙИ КВЕИ АРМА

Целители

РОМАН

Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

ЧАСТЬ I

1. Вихрь

На двадцатом году жизни молодой человек оказался в центре странных, невероятных событий. Убили его ровесника, убили жестоко, зверски. Все, кто видел изуродованное тело, сходились на том, что убийцей двигала страсть, ненависть — так мстят из распаленной ревности.

Свидетелей преступления не находилось. Убитый был князь Аппия, наследник царского дома в Эсуано. Знающие говорили, что он должен был получить в наследство не только власть, но больше того — фантастическое богатство. Князя убили, когда он с матерью вышел в дорогу. Мать пропала бесследно. Те, в ком не умерла надежда, мечтали, что мать таинственным образом уцелела, объявится и раскроет страшную тайну. Но обладатели горького опыта жизни считали иначе. Они утверждали, что тот, кто убил могучего князя, не мог не убить и его слабую мать.

Достаточно скоро трезвая уверенность опытных разбила неуверенные мечты надеявшихся. Оставалось лишь два вопроса: как было совершено двойное злодейство и, в первую очередь, кто убийца?

Когда нет знания, мыслями руководит подозрение. Широко и привольно засновали странные слухи. Одни из них, легкомысленные и вздорные, улетучивались, как только их произносили. Они порхали так быстро, что не задерживались и в легковерных умах.

Но слухи тяжелые оседали и по многу раз поворачивались в сознании. В голове начинало кружиться, и мысли по ловкой подсказке направлялись в одну сторону. Так ни о чем не догадывающийся молодой человек оказался в центре грозного, нараставшего вихря всеобщих подозрений. Его звали Денсу.

На двадцатом году жизни, когда самое время подумать о том, как прожить эту жизнь, Денсу был вынужден обратиться к мыслям о смерти. О смерти князя Аппии. О предполагаемой смерти матери князя Арабы Джесивы. О собственной смерти — ибо вихрь подозрений окружал его все плотнее, и Денсу не знал, как вырваться.

В этом месте рассказчик, потомок мастеров красноречия, должен сдержать себя. Его язык слишком быстр для слушателя, он опережает мысль самого рассказчика. Рассказчик так загордился своим искусством, что язык его легок, больше чем легок, он пьян от радости. Рассказчик забыл правило мастеров красноречия: необузданный,

© Ayi Kwei Armah, 1979.

АЙИ КВЕИ АРМА — AYI KWEI ARMAH (род. в 1939 г.).

Ганский прозаик. Окончил Ачимотский колледж в Гане, Гарвардский и Колумбийский университеты США. В настоящее время живет в Сенегале. Широкую известность К. Арма получил после выхода в свет своего первого романа «Прекрасные еще не родились» («The Beautiful Ones Are not yet Born», 1968). В последующие годы вышли романы «Почему мы так благословенны?»(«Why Are We So Blest», 1972), «2000 сезонов» («2000 Seasons», 1974), «Осколки», перевод которого был напечатан в «Иностранной литературе» (1976, № 3, 4).

Роман «Целители» («The Healers») печатается по изданию London-Ibadan, Heinemann, 1979.

не связанный с воспоминаниями мысли язык способен рассказать лишь прерывистую, спотыкливую, нечистую, глупую сказку. Середина истории, переданной необузданным языком, врывается в уши слушателя прежде, чем возникло ее начало. Конец истории скомкан, уши непонимающего слушателя терзают обрывки — без связи, без смысла, без цели.

Пусть ошибка сама исправит себя. Торопливый язык забывает о связях. Пусть кропотливый ум восстановит их. Гордый язык, сын анонских мастеров красноречия, прежде чем поспешить с речами, вслушайся в воспоминания мысли.

Ты не забыл, о каком времени, о каком веке ты начал так быстро рассказывать? Не заставил ли ты слушателя предположить, что твоя история могла иметь место в любое смутное время? Что, это случилось вчера или в прошлом году? Или это было при жизни поэта Нианкомана Дуа, семь столетий назад? Или это произошло десять веков назад, когда Гана была не воспоминаньем и твои предки, мастера красноречия, еще пели гимн духу, хранящему целость народа. Или это относится к тому прекрасному черному времени тридцать веков назад, когда пустыня еще не стала пустыней? Или ты хочешь, чтобы слушатель знал правду: эта история не такая уж старая — ей чуть больше ста лет.

Где это все случилось? Ты рассказал слушателю, на какой именно среди многочисленных рек Африки стоит город Эсуано? Может быть, слушатель в замешательстве представил себе реки-двойняшки Мфолози, у чьих берегов Маголване, поэт крылатого серебристого голоса, пением укрощал гневного сотрясателя земли? Или, может быть, слушатель думает о реке Санкарани, или о меняющей русло Джолибе, или о яростной Лимпопо? Ты не забыл сказать слушателю, что из священных рек нашей страны ближайшая к Эсуано — Пра?

Пусть слушатель знает когда. Пусть слушатель знает где. Лишь тогда, анонский язык, рожденный для красноречия, ты можешь продолжить рассказ. Радуясь своему красноречию, не забывай о вспоминающей мысли, чтобы самозабвенье рассказчика не омрачило радости слушателя.

Две реки текли у Эсуано. Первая — тихая, и течение ее столь медленное, что не везде даже заметно. Ее воды были необычайно прозрачны, так что ты мог увидеть песчаное дно с разноцветными камешками, от светло-желтых до темно-темно-багровых.

Если у тебя тонкий слух и живое воображение, ты мог услышать нечто более легкое, чем ветерок: шелестенье камешков, перекатывавшихся на дне.

Правый берег прозрачной реки окаймляла узенькая полоска принесенного течением песка. Ниже Эсуано, перед впадением во вторую реку, полоска превращалась в широкий песчаный берег. Из-за того, что первая река была меньше и тише второй, из-за того, что она была такая прозрачная и красивая, люди назвали ее Нсу Бер, Река-Женщина.

Вторая река была быстрее и шире. Сквозь темную илистую воду дна было не рассмотреть. Она несла мимо Эсуано тяжелую ношу листьев, прутьев, обломанных веток. Оба берега окаймлял не песок, а ил, густая липкая тина. Из-за того, что вторая река была большой и могучей, из-за того, что ей не хватало прелести первой, люди назвали ее Нсу Нин, Река-Мужчина.

Большую часть своего пути река-мужчина текла на север, но ниже Эсуано она круто поворачивала и текла на запад до впадения в великую реку, священную Пра.

Река-женщина не изменяла пути. Она тихо струилась на северо-запад и впадала в реку-мужчину ниже Эсуано. До великой Пра оттуда было целое утро быстрой ходьбы.

Ниже Эсуано, между рекой-женщиной и рекой-мужчиной, находился широкий полуостров, словно нарочно отрезанный от окрестностей. Земля на нем была плодородная, из речных наносов, но никто ее не возделывал. Всю ее покрывал мягкий ковер травы, совершенно зеленый. Лишь в немногих местах над ним на стройных дрожащих стеблях поднимались цветы, водянисто-синие, ярко-желтые, бледно-лиловые. На нежной и твердой почве росла нежная и мягкая трава, и в ней ни репейника, ни колючки.

Ты мог там бродить на рассвете, тихо мечтая о будущем. Ты мог сидеть в недоступном слуху молчании желтого солнечного полудня, размышляя о прошлом и на-

стоящем. И в предзакатной прохладе ты мог там бегать так быстро, как требовало желание, и ни разу не ощутить ни камешка под ногой.

Это было поле священнодействий. Сюда в конце каждого избранного года сходились люди Эсуано для торжественного поминовенья. Здесь, на траве, в последние две недели каждого избранного года юноши перед обретением мужского достоинства состязались в беге и играли в игры силы и ловкости.

Эти игры на две недели своей властью останавливали всякую деятельность в Эсуано. В течение последней недели воздух от напряженья звенел. Когда игры кончались, все — участники и свидетели — чувствовали себя опустошенными.

Как и когда начались эти священные поминальные игры? Об этом всегда спорили. Шло время, споры стихали. Они становились тише с каждым избранным годом.

Те немногие, кто дорожил памятью, утверждали, что в иные времена игры были иными. Дорожившие памятью рассказывали о предках, которые после мучительных странствий привели сюда наш народ из далекой дали. В Эсуано, как и в других местах на великом пути, люди находили чистую воду жизни у доброй земли и пускали корни. С благодарностью и с надеждой каждый избранный год они играли в священные игры, игры торжественного поминовенья.

По словам дороживших памятью, смысл этих празднеств был в том, чтобы напоминать о единстве народа. Люди не просто радовались, они торжествовали свою победу над невыносимыми испытаниями. Празднества говорили им, что как бы ни был мучителен путь, наш народ — пока он хранит единство — будет жить, он дойдет до цели и процветания.

Таким был первоначальный дух празднеств. Однако суровая действительность, наше рассеяние и непрестанные скитанья давно нарушили то единство, которое эти празднества хранили, утверждали и прославляли.

Истина проста: некоторые из скитальцев избрали своим домом леса в сердце материка. Это было уже разделенье. Некоторые зашли далеко на восток и осели на берегах плодоносной реки. Это было тоже разделенье. Некоторые, зайдя на юг, свернули потом на запад и поселились в бескрайних таинственных лесах, где им, измученным, было легко спрятаться от опасностей. И это было разделенье. Некоторые не свернули с пути на юг, пока море не положило конец их пути, и они остались на берегу. И это было новое разделенье.

Так возник Эсуано. Так возникли другие города, разбросанные по стране: Акропонг, Домеабра, Течиман, Энинасе.

Правда, в начале каждого разделенья люди помнили о былой целостности и робко молились о будущем единении: Ачеасе, Одасо, Одумасе, Эдвинасе, Афрансе.

Да, какое-то время празднества напоминали осколкам рассеянного народа об общем происхожденье. Но с годами во многих местах торжественное поминовение умерло. И повсюду оно изменилось. Смысл празднеств был в прославленье единства. Но проходили они во времена разделенья, во времена рассеянья.

Время шло. Время взяло верх над первоначальным смыслом. В Эсуано священные игры не прекратились. Но смысл их переменился. Во времена разделенья мысль о единстве, может быть, не вполне исчезла. Эта мысль была разорвана на клочки.

Игры эти подчинили себе Денсу. С детства каждый избранный год он был их свидетелем и знал, что со временем станет участником. Игры зачаровывали его. Но при всей зачарованности, что-то в них его беспокоило. Это что-то в конце концов помешало ему смотреть на приближающееся время соучастия с чистой неомраченной страстью юности.

До четырнадцатилетия это что-то не прояснялось. Но в четырнадцать лет его ум взволновал вопрос. Денсу смотрел завершение игр того года. И вдруг, как искра, в его голове вспыхнул вопрос. Он был маленький, легкий, но острый, упрямый, настойчивый. Ради чего люди устроили игры?

Он почувствовал беспокойство и в теле. Вопрос, как тепло, как жар, распространялся в крови: какова цель этих игр? Волнение становилось мучительным. Денсу желал, чтобы время убило вопрос. Вопрос жил. Он привлекал к себе все большую долю его вниманья. Он требовал все большей доли его умственных сил, и Денсу начал искать ответа у тех, кто мог знать.

Большинство старших никогда не задумывалось над этим вопросом. Когда Денсу спрашивал, ради чего существуют игры, некоторые отвечали, что не понимают вопроса. Другие отвечали вопросом на вопрос: почему это так его занимает? Они отвечали

вопросом на вопрос, потому что в Эсуано еще сохранялись неясные воспоминанья о былом единстве. Кое-кто знал истории тех времен, когда черные люди были одним народом. Но таких людей было трудно найти. Даже если их находили, они предпочитали молчать, словно вопрос посеял в их умах горечь, от которой немеет язык.

Большинство людей в Эсуано довольствовались тем, что называли себя Фантсе. Они знали, что есть люди, мало чем отличающиеся от них по обычаям и языку: данчире, уасса, ассен, аовин, нзема, экуапем, ашанти. Но они не привыкли считать, что все эти люди — части единого целого. Смысл торжественных поминовений пропал.

И еще. Мало кто помнил, что прежде в празднествах принимали участие все жители Эсуано. Что торжества прославляли совместную борьбу всех людей для достижения трудной цели. Но и это переменилось. Игры стали теперь испытаньем личной силы и ловкости. В конце их один человек оказывался победителем, он выделялся из всех для зависти неудачливых соперников и восхищенья зрителей.

Именно это на четырнадцатом году жизни озадачило Денсу. Тревожный вопрос не покинул его сознанья и на двадцатом году: в чем состоит смысл этих игр? Почему они кажутся ему лишенными смысла?

В каждый избранный год весь город сходился на празднества целостности. Почему в конце этих празднеств все люди славили одного человека? Где суть целостности в странном обычае обособлять победителя? Денсу искал в своих чувствах подтвержденья, хотя бы надежды на подтвержденье того, что происходящее не лишено смысла. Но когда он искал смысл в бессмыслице, чувства его восставали.

Денсу видел истину, и она резала взор: множество неудачников несет на руках единственного победителя. Денсу пытался найти в уме доводы, которые бы смягчили резкую истину. Но ум отказался вести его гладкой дорогой самообмана. В самом характере игр он находил чудовищное искаженье смысла, и оно властно отталкивало его существо.

2. Борцы

Из двух недель священных игр первая была открытой. Дети, едва ощутившие дар движенья, бегали наперегонки, и старики вспоминали о невозвратной поре, когда и их ноги летали. В первую, открытую, неделю было много веселья и никакого соревнования, соперничества.

Во вторую неделю все изменялось. Дети и вздыхающие старики оттеснялись из середины поля к его краям. Они превращались в зрителей и смотрели, как сильнейшие юноши года состязаются ради победы. Игры начинались ранним утром, пока солнце было невысоко. Но победу праздновали только вечером.

Первый день последней недели был посвящен борьбе. Дети, пришедшие раньше всех, принесли сиденья для взрослых и сами расселись на росистой траве или стоя ждали, когда судья объявит начало игр. Судья был высокий жилистый человек в синебелой охотничьей куртке и таких же штанах. Громким голосом он подозвал к себе состязающихся. Несколько молодых людей вышли вперед, и судья смерил их взглядом.

Ближе всех к судье стоял довольно высокий юноша. У него были тонкие ноги и тонкие длинные руки. Пальцы его обнаруживали больше изящества, нежели силы. Все в нем казалось заостренным: линия носа, выступ подбородка, мелкие остроконечные зубы.

За ним следовал меднокожий парень того же роста. У него была заячья губа, и тело, с какой стороны ни смотри, выглядело неуклюже. Его торс был изогнут, точно сведен судорогой, и, казалось, вот-вот распрямится. Но изгибавшая его судорога была неотступной. Ноги его еще больше усиливали впечатление судороги: они были разные. Правое бедро круто изгибалось к колену, а голень так же круто поворачивала от колена наружу. Прямая левая нога казалась длиннее кривой правой. Меднокожий парень словно бы доверительно наклонялся к товарищу справа.

Там стоял маленький легкий юноша. Его рост выделял его из числа участников — все они были по меньшей мере на голову выше. Больше ничего примечательного в нем не было, лицо красивое и спокойное.

Рядом с ним на коротких толстых ногах уверенно утвердился парень среднего роста. Мясистый могучий живот его подпирал объемистую грудную клетку. Голова

покоилась на широкой шее, разделенной тремя складками жира. На добродушном лице его щеки были такие пухлые, что, казалось, замерли в вечной улыбке. Этому впечатленью не мешали надутые губы, влажные и лоснящиеся, словно он смазал их маслом.

Справа от него возвышался стройный красивый юноша. Он был сложен скупо, почти худ. Кожа его была гладкая, черная. Голова большая. На высоком выпуклом лбу играло солнце. Оно не слепило его глаза, но все равно он стоял прищурившись. Когда он распахивал веки, глаза оказывались большими, прекрасными, влажными. Вероятно, он сосредоточенно думал о чем-то. Хотя тело его отдыхало, весь вид его выдавал напряженье. Во всяком случае, он сосредоточенно думал о чем-то своем, ибо на происходящее вокруг него обращал мало вниманья.

Следующий юноша был такой же высокий, более мускулистый, но не такой красивый. Внимание его было обращено вперед, на судью, и назад, на толпу. В глазах его виделось лихорадочное нетерпенье поскорее начать борьбу.

Его сосед, несомненно, был самой примечательной фигурой на поле. Кожа его была светлая, красноватая, не ровного медного цвета, а как у необожженного глиняного горшка. Поражали два свойства этого человека: его уродливость и его огромность. Он был не просто огромным, он был гигантом. Все части его тела были непредставимо громадны. Тяжеленные руки и ноги. Массивные мускулы на предплечьях и бедрах. Мышцы вот-вот разорвут тонкую кожу. Необъятная грудная клетка выдается вперед, назад и в стороны, мощные руки словно ее продолжают.

Но самое удивительное в гиганте — шея и голова. У обычных людей шея — стройная, сравнительно хрупкая связь головы и тела. В шее гиганта не было ничего стройного или хрупкого. Его шея огромной могучей массой вырастала из плеч, имея своим основанием всю их великую ширину. Короткая, на пути к голове она все же сужалась. Очертания головы вместо того, чтоб раздаться в стороны, продолжали это сужение. Голова гиганта поэтому была разительно меньше, чем поддерживающая ее шея. Плоский затылок, сдавленные виски и остроконечное темя.

Тело гиганта, казалось, готово взорваться. Каждая мышца вспухала от неподвластных уму страстей. Страсть пылала на его тяжелом лице, как бы выталкивая все черты наружу, так что крупные желтые редкие зубы злобно торчали вперед, не давая склизким губам сомкнуться. Широкие ноздри жадно впивали воздух, словно гигант задыхался, и становились еще шире. Глаза его, маленькие, как у свиньи, выдавали ту же самую страсть, какая выталкивала наружу черты лица. Они выпирали из орбит и тусклым бессмысленным взором глядели на окружающий мир. Мерзкие, мутные, мрачные, налитые кровью глаза.

Сосед был его природной противоположностью. Не простой противоположностью, как между силой и слабостью. Много тоньше и гораздо разительней. Противоположностью между двумя видами силы. У гиганта сила была грубая, зверская. У его соседа — изящная, привлекательная.

Юноша был высокий, пониже гиганта, но чуть повыше стройного высокого парня с выпуклым лбом и сосредоточенной мыслью, который стоял третьим. Он тоже был стройный. Кожа черная, глубокого прохладного тона. Он держался прямо, без всяких усилий, непринужденно. Каждое его движенье, даже самое малое, начиналось в самой глуби его естества и прокатывалось по всему телу легкой, еле видимой глазу волной энергии. В его взгляде было подобие отклика взгляда красивого, стройного, который стоял третьим. Глаза его были тоже ясные, со светящимися белками и черными, четко очерченными зрачками. Он не щурился и смотрел вперед, чуть подавшись влево, так чтобы видеть судью.

Последний из состязающихся не уступал ростом гиганту. Он был еще толще, с могуче развитой мускулатурой. Его икры и предплечья так и бросались в глаза. Упругие мышцы живота образовывали правильный узор. На губах юноши играла улыбка. В общем, он производил впечатленье не только сильного, но и ловкого. Несомненно, он знал о своих достоинствах и радостно верил в себя.

Судья сосчитал состязающихся. Их было девять. Громким четким голосом судья обратился к ним. Для начала он напомнил им правила борьбы. Он сказал, что поднятая рука с указательным пальцем в небо означает признание пораженья. В ту минуту, как побежденный поднимет руку и палец, победитель должен его отпустить. Продолжая борьбу после знака, можно лишь искалечить сдавшегося. Чтобы победить, борец должен трижды положить соперника на лопатки.

Кончив речь, судья еще раз сосчитал юношей. Снова их оказалось девять. Неловко, с четным числом было бы проще. Он подумал, потом поднял голову. Вот-вот он объявит о трудном решении. Но тут его внимание привлек один из состязавшихся. Юноша небрежно поднял руку над головой. Судья посмотрел на его руку и вздрогнул. Указательный палец указывал в небо. Лоб судьи покрылся морщинами, он изумленно смотрел на юношу. Это был стройный, державшийся непринужденно, второй от конца.

В осанке, в чертах лица, в каждом движении стройного юноши было бездонное, неизменное спокойствие. Когда судья напоминал о правилах борьбы, юноша стоял в непринужденной позе, и когда он поднял руку и указал пальцем в небо, жест его был легкий и плавный, словно тело его служило безупречным инструментом приказывающего ума. И в глазах юноши был покой, безграничный покой, превыше заносчивости и униженья.

Не сводя глаз со стройного юноши, судья спросил:

— Что с тобой, Денсу?

— Я признаю свое пораженье,— спокойно ответил юноша.

— Но ты не боролся,— сказал судья.

— Я не хочу бороться,— сказал Денсу.

— Ты признаешь пораженье без борьбы?

— Да, я признаю пораженье.

В замешательстве судья подошел к молодому человеку. Наверно, он хотел его переубедить. Но взглянув на него еще раз, он переменил намеренье.

— Я полагаю, правила не мешают тебе признать пораженье без борьбы,— выговорил он с неловкой улыбкой и деланно рассмеялся.— Что с тобой, Денсу? Ты боишься?

Юноша не ответил. Казалось, он не слыхал вопроса. Ровно, плавно, непринужденно он вышел из ряда состязающихся и сел, поджав ноги, на траву между двумя группами зрителей.

На поле судья по жребию разделил оставшихся восьмерых на пары. Затем движеньем руки он удалил шестерых.

В середине первая пара готовилась к схватке. Из-за заячьей губы первый борец словно улыбался противнику со странной добродушной угрозой. Его противником был уверенно стоявший на ногах юноша с могучим животом.

— Квеку Сипи состязается с Яо Пату,— объявил судья. Он дал борцам последние наставленья, отступил назад и приказал начинать.

Бой был коротким. На вид казалось, что соперники равноценны. Но только борьба разгорелась всерьез, парень с заячьей губой начал одерживать верх. Даже видимость зловещего добродушия исчезла с его лица. Ее место заняла мрачная сосредоточенная ярость, решимость любой ценой превзойти необезображенного соперника хотя бы в борьбе. Лишь когда стало ясно, что парень с заячьей губой победил, лицо его снова заулыбалось, добродушно, уже без странной угрозы.

— Первый победитель — Квеку Сипи!— провозгласил судья.— Квеку Сипи — первый победитель. Квеку Сипи!

Радостный победитель направился в сторону зрителей. За его спиной судья объявлял начало нового поединка:

— Кофи Антобам состязается с Кобена Ампа. Кофи Антобам против Кобена Ампа!

Парень с заячьей губой шагал туда, где сидел Денсу. Казалось, ему не терпится сообщить Денсу о чем-то важном. Но тут человек из толпы зрителей встал перед сидящим Денсу. Парень заколебался и свернул в сторону.

Денсу поднялся. Ясно, что человек желает с ним говорить и что Денсу относится к нему с уважением. Человек был короткий и лысый, не старый, но зрелых лет, лет пятидесяти. Двигался он неуклюже, но не из-за возраста, а потому что был толст. Если бы не жир, при его тонкой кости он был бы маленьким, легким. Но он одолел жиром свою прирожденную стройность, и теперь походил на неправильный шар на тоненьких ножках. Руки его были короткие, предплечья толстые, грузные, а ниже локтей — тощие плети. Маленькие изящные пальцы, казалось, принадлежали другому телу.

Все: и лицо, и тело — говорило о полном, чрезмерном довольстве. Представлялось, что этот человек провел более чем достаточно времени за обильной едой и питьем, и ныне, пресыщенный, ковыляет на своих слабеньких ножках в укромное место, где он может усесться и долгие годы спокойно переваривать проглоченное, как удав.

Но если вглядеться пристальней, что-то в его лице разрушало чувство полного довольства. Это что-то сидело в глазах, бегающих, беспокойных, нервных. У довольного таких глаз не бывает. Такие глаза придают худому, костлявому человеку вечно брюзгливый, плотоядный, честолюбивый вид. Но на круглом лице довольно круглого тела эти глаза намекали на неприличье. Их владелец готов лопнуть, он съел все, что было вокруг него, но жадность превыше сытости, он высматривает, чем бы еще набить брюхо.

Денсу приветствовал лысого. Но вместо ответа тот уставился на него. Лысый изучал юношу, словно в нем было нечто безмерно странное, ускользающее, и это нечто необходимо понять. Через какое-то время лысый напряженно улыбнулся. Казалось, он так не привык улыбаться, что теперь от улыбки ему больно. Губы его улыбались, а глаза сузились от неприкрытой враждебности.

— Ты не должен был так поступать,— сказал лысый.

Денсу не ответил. Лицо его оставалось спокойным, глаза — внимательными. Он глядел мимо лысины на состязание следующей пары.

— Зачем ты это сделал?— не отступал лысый.

— Сделал что?— спросил Денсу.

— Отказался от борьбы.

— Я не хочу бороться без причины,— сказал Денсу.

— Причина всегда найдется,— в голосе лысого звучала насмешка.— Разве ты не хочешь победить соперника?

— Почему я должен хотеть победить его?

Лысый рассмеялся. В глазах его одновременно жили тайный умысел и недоверие.

— Побеждать любят все,— он ядовито улыбнулся.— Я не собираюсь говорить с тобой о победителях и побежденных. У меня к тебе вовсе другое дело. Прибыли гости с Берегового Мыса. Важные люди. То, что они говорят, имеет отношение к тебе. Нам надо потолковать без свидетелей.

— Опять дворцовые дела...— начал Денсу устало и недовольно. Лысый оборвал его:

— Да, да. Я знаю, что дворцовые дела тебя не волнуют. Тут события поважнее, чем дворцовые дела в Эсуано. Только дураки принимают решенья, не узнав, в чем суть дела. По крайней мере твое будущее тебя волнует? Ну, так приходи ко мне вечером.

— Когда?

— Когда поешь,— сказал лысый.

Денсу кивнул, и лысый скрылся из виду в толпе зрителей. Теперь все внимание Денсу сосредоточилось на борцах.

Вторая схватка оказалась дольше, чем ожидали. Состязались высокий юноша с лихорадочным нетерпением в глазах и низкорослый, спокойный. Низкорослому недоставало умения, но он возмещал его неожиданной выносливостью и упрямой решимостью не сдаваться. Каким бы приемом высокий ни старался бросить его на землю, низкорослый оставался стоять на обеих ногах. Так как низкорослому не хватало выучки, чтобы положить соперника на лопатки, а тому не хватало силы, чтобы вывести низкорослого из равновесья, их схватка стала долгой борьбой на измор.

Выносливость решила исход боя. Высокий, несмотря на уменье, стал задыхаться. Мышцы его рук и ног утратили гибкость и быстроту. В конце концов низкорослый, не растративший силы, трижды положил его наземь, и бой закончился.

— Победил Кофи Антобам,— прокричал судья.— Ампа проиграл. Победитель — Кофи Антобам.

Победитель и побежденный скрылись в толпе.

— Третья схватка!— объявил судья.— Квао Бунтуи против Квеси Энана!

Гигант вышел на середину круга неуклюже, словно тяжелые мышцы, из которых состояло его тело, не принадлежали ему и не подчинялись его воле. Его уже ждал соперник, высокий красивый большеголовый юноша с сосредоточенной мыслью в глазах. Судья напомнил им правила и приказал начинать.

С самого начала сделалось ясно, что Квеси Энан и не помышляет меряться грубой мускульной силой с гигантом Бунтуи. Квеси Энан танцевал вокруг гиганта и следил за каждым его движеньем. Вот он рванулся к нему — Бунтуи взметнул обе руки и, могучим движеньем захватив пустоту, с шумом шлепнул ладонями по своей широкой груди. Движение было неловкое, неуклюжее, но цель его недвусмысленна. Если бы Бунтуи удалось захватить Энана в объятья, он бы расплющил его о свое тело.

Но рывок Энана был боевой хитростью. Он вовремя отскочил назад и избежал рук Бунтуи. А когда гигант обнял и сокрушил пустой воздух, танцор подскочил к нему сзади, подставил левую ногу и всей силой рук рванул на себя.

Захваченный врасплох, Бунтуи тяжело рухнул на спину, не успев ни вывернуться, ни смягчить паденье. Судья подбежал и убедился, что обе лопатки Бунтуи коснулись земли.

— Один в пользу Энана,— в голосе судьи слышалось удивление.

Поверженный гигант поднялся. Судья стал между состязающимися и спросил, готовы ли они продолжать борьбу. Они были готовы. Судья отбежал назад и сделал знак продолжать.

Глаза гиганта стали еще меньше. Несколько мгновений он недвижно стоял на траве, уставясь на уклончивого противника. Танцор почувствовал злобу гиганта и скакал еще осторожнее. Он слегка нагнулся вперед и расставил руки, точно хотел обхватить гиганта.

Гигант замер. Мутные глаза его уставились на противника и багровели. Неподвижность гиганта смутила танцора. Он сделал выпад левой рукой и тотчас отпрыгнул назад. Это снова была уловка, он хотел лишить гиганта той нерушимой устойчивости, какую давала ему неподвижность. Гигант не шелохнулся. Он стоял и ждал, запасшись огромным злобным терпеньем, с ненавистью глядя на юношу, который был в несколько раз слабее, но ухитрился повалить его на землю.

Невозможность что-либо предпринять заставила танцора приблизиться к гиганту. Бунтуи даже не пытался ответить на выпады. Его огромные руки снова медленно и неуклюже поднялись, но на этот раз они крепко вцепились в добычу.

Бунтуи схватил Энана за левую руку. Он притянул танцора к себе, словно собирался расплющить его о свою грудь. Но когда жертва оказалась достаточно близко, он правой рукой провел по телу Энана и вцепился ему в горло. Левая рука Бунтуи сдавила затылок Энана, и тут гигант начал сворачивать ему шею.

На лице Энана вспыхнуло изумление. Цель борьбы — не калечить соперника, а положить на обе лопатки. Но Бунтуи явно не собирался класть Энана на землю. Он просто душил его. Изумление на лице Энана сменилось спокойным, окончательным пониманьем. Он поднял правую руку с указательным пальцем в небо — признание пораженья.

Судья подбежал к состязающимся:

— Счет сравнялся.— Он ждал, что Бунтуи отпустит Энана.— Счет один — один!— выкрикнул он.— Кто еще раз возьмет верх, тот победит.

Состязающиеся не разошлись по сторонам. Бунтуи не выпускал шеи Энана. Энан из последних сил пытался вырваться. Но боль подогнула его колени. Бунтуи не выпускал его. Он неуклюже склонился над упавшим Энаном, мышцы его разбухали от пробудившейся силы. Все видели, что хватка его ужесточается.

— Отпусти его! — крикнул напуганный судья.

Бунтуи не слышал. Судья в замешательстве врос в землю.

Но из рядов зрителей к борцам рванулась фигура. Денсу промчался мимо растерянного судьи. Он резко ударил Бунтуи в шею у основания головы. Это был точный, рассчитанный удар. Невольно левая рука Бунтуи отпустила Энана. Денсу схватил ее обеими руками и с силой рванул ее за спину, так что она почти коснулась правого уха гиганта. Бунтуи взревел, как раненый буйвол. Правая рука его продолжала душить Энана.

Денсу не произносил ни слова. Он выворачивал руку Бунтуи, пока тот не отпустил Энана. Он оттолкнул гиганта от распростертого тела. Гигант удержался, упершись правой рукой в землю. Он не сразу понял, что произошло, а поняв, бросился прямо на Денсу.

Денсу этого ожидал. Его левая рука взметнулась быстро, как кнут, прямо, как ствол дерева. Острые костяшки пальцев врезались в шею Бунтуи. Бунтуи охнул и невольно шагнул назад. Неожиданный удар лишил его равновесья. Он откинулся на левую руку, но она подвела его и подогнулась под чудовищным грузом тела. Вся злобная сила Бунтуи иссякла.

Денсу не удостоил взглядом рухнувшего гиганта. Он подошел к Энану и помог ему встать. По-видимому, тот не испытывал боли, но, поднявшись, неуверенно потер рукой шею, словно не знал, сохранилась ли в ней чувствительность.

— Больно? — спросил Денсу.

— Нет,— ответил Энан, но тут же ощутил влагу на верхней губе: из носа хлынула кровь. Денсу запрокинул его голову и медленно увел с поля на берег Нсу Бер, ниже Эсуано. Зрители воспользовались неожиданным перерывом в утренних играх и поднялись с мест, пытаясь выяснить, что случилось. Денсу провел Энана мимо толпы.

В конце поля, у берега, стояло дерево ним. Денсу уложил Энана на спину, головой в тень. Он принес с реки большой гладкий камень, влажный и прохладный от воды, и полузарыл его в песок, так что он стал опорой для головы и плеч Энана. Вскоре кровь остановилась.

— Этот дурак хотел оторвать мне голову,— задумчиво проговорил Энан.

— Он хотел победить,— сказал Денсу.

— Он мог победить, и не убивая меня.

— Вряд ли,— сказал Денсу.— У Бунтуи огромное тело и ничтожный ум.

Энан засмеялся, но вдруг вздрогнул от боли.

— Вот теперь начинает болеть,— сказал он.

— Ты можешь идти? — спросил Денсу.

— Да. Только шея болит.

— Пойдем домой,— сказал Денсу.— Быть может, тебе нужно лекарство.

— Подожди,— попросил Энан.— Если ты не торопишься на игры.

Денсу улыбнулся.

— Мне здесь нравится,— продолжал Энан. Он повел головой.— Знаешь, почему я согласился бороться?

— Разве ты не любишь бороться?

— Как сказать... Сегодня, когда я услышал, что мне предстоит состязаться с Бунтуи, верх взяло любопытство. Странное чувство, почти ощущение счастья.

— Счастья?

— По крайней мере восторг любопытства. То самое, что приносит мне счастье, когда я узнаю то, чего прежде не знал.

— А чего ты не знал о Бунтуи?

— Могу ли я справиться с его силой. Чистое любопытство. Иначе не объяснить. Когда я чего-то не знаю, я стараюсь попасть в положение, при котором мое незнание кончится. Помнишь дно реки? — Он засмеялся.— Послушай, это ведь было как раз здесь.

Денсу помнил. Прошел год, но в уме Денсу хранился восторг прекрасного дня. Он начался ясным, солнечным, тихим, нежарким утром и таким оставался до вечера. Приятный прилив сил во всем теле помог ему удивительно быстро покончить с дневной работой. Неожиданно обретя избыток свободного времени, он пошел заканчивать день на траве священного поля.

В этот день ему не хотелось бегать. Он просто ходил взад-вперед, ведомый только своим желаньем. Теплота солнца проникла под кожу, струилась в крови, пробралась в самые кости.

В середине поля он увидал, что к нему бежит Энан. Он бежал так быстро и так взволнованно, что Денсу подумал, что Энан несет вести. В руке он держал две непонятные длинные тростины. Когда Энан приблизился, Денсу увидел, что волнение его не от горя, а от избытка счастья.

— Мы можем увидеть дно реки,— уловил Денсу в бурном потоке слов.

— Какой реки? — спросил он.

— Красивой,— нетерпеливо сказал Энан.— Этой.

— Скажи мне медленно, что ты имеешь в виду,— попросил Денсу.

— Ты видал дно реки?

— Да.

Ответ озадачил Энана, но он тут же поправил себя:

— Я спрашиваю не о том. Мы все на мгновенье ныряли на дно и тут же выскакивали на поверхность. Ты когда-нибудь был под водой так долго, как хочется, чтобы внимательно рассмотреть дно?

— Никогда,— сказал Денсу.— Нельзя на дне сидеть, как на поле под небом. Там можно только захлебнуться.

— Не обязательно,— ответил Энан.— И не смотри на меня как на сумасшедшего.— Он протянул Денсу одну из непонятных длинных тростин.

— Что это?

— Посмотри.

Это был тонкий бамбуковый ствол, раза в два выше Энана. На одном конце он изгибался крючком. С другой стороны к нему был прикреплен пробковый поплавок.

— И все же я не понимаю, для чего это,— сказал Денсу.

— Для того, чтобы дышать,— ответил Энан.

— Стоя на дне реки?

Энан кивнул.

— Понятно,— Денсу покачал головой.— Но если ты будешь так говорить, люди подумают, что ты сошел с ума.

— Ты подумал, что я сошел с ума?

— Мы же знаем друг друга.

— То-то. С чего ты взял, что я буду так говорить с кем-то еще? Я знаю, что такое сумасшествие.— Он постучал себя по лбу.— Сумасшествие — это когда ты думаешь, что я буду говорить с людьми, которые меня не поймут. Обо мне можешь не беспокоиться.— Энан погладил свою, точно такую же трубку.

— Ты сделал их сам? — спросил Денсу.

— Не совсем.— Лицо Энана изображало важность.— Видишь ли, мне помогли карлики. Вернее, они изготовили их и ночью сунули мне в изголовье.

— Если бы кто тебя слышал!

— Никто не услышит,— заверил Энан.— Я помалкиваю.

— Открыть тебе тайну? — улыбнулся Денсу.

Энан понял его улыбку:

— Нет, сохрани ее для себя.

— Это длинные бамбуковые стволы,— сказал Денсу.

— Потрясающее известие! — теперь улыбался Энан.

— Пока нет.— Улыбка Денсу стала жестокой.— Разве ты забыл, что бамбуковые стволы зарастают на каждом суставе?

Глубокое горе изобразилось на лице Энана. Голос его дрожал:

— Если бы мне было восемь дней от рожденья, я бы заплакал.— Он поднес конец с пробковой трубкой к губам и, набрав воздуха, дунул. Из бамбукового ствола вылетел звук, глубокий и низкий, как звук праздничной царской трубы.— Если бы трубка не была полой, звук вылетел бы совсем из другого места,— улыбнулся Энан.

Денсу кивнул.

— Как ты ее сделал?

— С обеих сторон прожег раскаленным концом копья. А потом загнул сверху.

— Надо скорей испробовать,— заключил Денсу.

По дороге к реке Энан возбужденно, от всей души говорил о счастье. О том, что дает ему счастье, и о том, что его отнимает. Денсу спросил, что самое главное для Энана.

— Видеть,— просто сказал Энан.

— Что видеть? — переспросил Денсу.

— Просто видеть.

— Опять говоришь загадками?

— Ты меня понял, Денсу?

— Просто сидеть и смотреть?

— Это не значит видеть,— резко ответил Энан.— Это значит смотреть. Смотреть одними глазами, как дураки. Если просто смотреть, все на свете будет само по себе, и в том, что ты видишь, ты не увидишь смысла. Это убийство времени. Я хочу видеть то, что связывает все на свете, чтобы увидеть смысл. Чтобы я понимал, что я вижу. Видеть так для меня высшее счастье.

— Такое счастье непросто понять,— сказал Денсу.

— Ты его понимаешь,— сказал Энан.— Я не собираюсь ничего втолковывать людям. Мое счастье не в этом. Мое счастье требует, чтобы я молчал и радовался тому, что увидел и понял.

— И из-за этого ты решил увидеть дно реки?

— Не знаю, как это объяснить,— Энан говорил спокойно, серьезно.— Мне неприятно, что я вижу одну поверхность, а думаю, что это вся река. От этого как-то не по себе. Ну, как если бы ты однажды утром проснулся и обнаружил, что какой-то части тебя нет. Я целый день могу видеть волны, поэтому мне недостаточно беглого взгляда на дно. Поверхность — не все, даже не самое главное. Она — малая часть целого, а мне нужно увидеть все части.

У реки Энан не пытался сдержать нетерпенье. Он скинул с себя одежду и, подняв бамбуковую трубку над головой, поспешил в воду, Денсу пошел за ним. Он понимал, что Энан давно наметил в реке подходящее место.

— Здесь есть корень на дне,— сказал он.— Надо его найти.

Было уже глубоко. Они плыли и, оступаясь, ощупывали ногами дно.

— Где-то здесь,— сказал Энан. Он смотрел не в воду, а на деревья на том берегу.— Возьми загнутую часть в рот, придержи рукой и смело ныряй. Пробка удержит трубку стоймя.

Он плыл так медленно, что Денсу, не тратя сил, поспевал за ним. Энан остановился. Несколько раз оступившись, он взял трубку в рот и кивнул Денсу. Тот тоже взял трубку в рот, и оба они ушли под воду.

Трубка в зубах Денсу рванулась вверх. Он придержал ее правой рукой и потянул вниз. Не так-то просто было удерживаться под водой. Через мгновенье Энан остановился, и Денсу поспешил к нему.

Энан свободной рукой потянул к себе Денсу и опустил его свободную руку к своим ногам, державшимся за толстый древесный корень. Денсу трижды сжал руку Энана, и, удостоверившись, что Денсу все понял, Энан отпустил его.

Оба они стояли, зацепившись ногами за корень. Свободной левой рукой Денсу сделал несколько движений в воде, и, обретя равновесие, посмотрел, что делает друг.

Дно было видно великолепно. Энан вглядывался в него, позабыв обо всем на свете.

И верно, дно было необычайно прекрасно. Большие камни, отшлифованные водой, песком и временем, спокойно лежали на чистом песке, тонком, как ил, но не скользком, так что на нем было приятно стоять. Камни были желтые, черные, белые, красные, красно-бурые. Камни были полосатые и с разноцветными завитками. Они были рассеяны по песку, который в дрожащей воде переходил от желтоватого к белому и обратно от белого к желтоватому. Среди камешков кое-где возвышались безмятежные валуны. И свет солнца, проходя сквозь толщу воды, мерцал, дрожал и звенел, как струна.

Временами какой-нибудь камень, под силой не видного глазу течения, медленно наклонялся, словно хотел перевернуться, и, подумав, оставался на месте. Впрочем, не вполне на том самом месте. Слабая сила теченья чуть подвигала его вперед.

Иногда маленький камешек так же беззвучно, но много легче поднимался со дна, долю мгновенья висел над песком и опускался в изнеможенье на дно, немного продвинувшись по теченью. Денсу достаточно долго вслушивался, пока не пришел к выводу, что под водой не было ни малейшего звука, одно огромное, пугающее своей глубиной безмолвие. Таинственный страх приближался к нему, он исходил не из определенного места, а ото всей цельной воды. Денсу не покорился, и страх отступил. Денсу посмотрел на Энана.

С закрытыми глазами Энан выглядел спящим. Мысль, что друг способен обрести полный покой даже в такой необычной среде, наполнила сердце Денсу любовью. Почти бессознательно он тоже закрыл глаза.

Пугающее безмолвие, которое он испытывал с открытыми глазами, превратилось в волшебное созвучие. Он ощущал всего себя в непосредственном соприкосновении со всем окружающим, всем существующим. Он чувствовал, что его обнимает ласковая баюкающая стихия, и сознавал, что кожа соединяет его с миром, так что больше нет ничего, что находилось бы вне его, отдельно от жизни внутри него.

Даже воздух, которым дышал он, был необычным. Он вдыхал его так глубоко, что во рту оставался вкус чистоты и сладости — так бывает, когда разжуешь орех колы и потом медленно тянешь воду. Тело уже не казалось плотным и непроницаемым. Оно тоже было текучим. С закрытыми глазами он понимал, что не знает и не хочет знать, где верх и где низ. Он тоже обрел полный покой.

Наверное, прошло достаточно много времени, прежде чем он открыл глаза. Он не сразу увидел Энана: течение повернуло его в сторону.

Энан почти сидел на речном дне, упершись подбородком в согнутые колени. Он слегка подался назад, против течения, так что течение не могло его увлечь за собой и лишь поддерживало в странной полусидячей позе. Глаза его были, как и прежде, закрыты, а по лицу разливался покой, какого не бывает в обычной жизни, такой покой, что Денсу вдруг ощутил тревогу. Он пристально всмотрелся в Энана,

но в мерцающем свете, при бегущих тенях не мог сказать себе, дышит он или не дышит. Денсу дотронулся до щеки Энана.

Медленно Энан открыл один глаз, потом другой. Он улыбнулся Денсу. Денсу трижды решительно сжал левое запястье друга. Он высвободил ногу из-под корня на дне и вынырнул на поверхность. Держа трубку над головой, он медленно доплыл до берега. Там он лег на песок и стал обсыхать на солнце.

Он совсем обсох, когда Энан вылез из воды и улегся рядом. Он не спешил домой в Эсуано, он лежал, закрыв глаза, и смотрел, какими цветами солнце играет сквозь веки.

— Когда ты их сделал? — спросил Денсу.

— Что?

— Трубки.

— Закончил вчера.— Энан снова затих, Денсу слышал его дыхание.

— Спасибо, что ты меня взял с собой.— Денсу не только обсох, солнце разогрело его кожу. Он встал, оделся, поднял с песка трубку и протянул Энану.

— Возьми ее себе,— сказал Энан.— У меня есть моя.

— Она может понадобиться кому-нибудь еще.

Энан покачал головой:

— Никому. Я перебрал в уме всех, и никому она не может понадобиться.

— Я не могу ее взять,— Денсу отдал трубку Энану.— Когда-нибудь я у тебя ее одолжу. Но насовсем...

Энан кивнул, но ничего не сказал.

Денсу еще раз взглянул на друга. Энан лежал на теплом песке безмятежный, то, что он ощущал, было превыше счастья. Именно этого выражения лица там, на дне реки, Денсу не понял и ощутил тревогу.

— Тогда ты был такой молчаливый,— сказал Денсу. Кровотечение у Энана остановилось.

— Я всегда молчаливый,— ответил Энан.— Я не могу говорить, о чем думаю. С большинством людей.

— Ты боишься, что они не поймут?

— Нет. Я уверен, что все поймут, если им будет нужно. Но вряд ли многим нужно то, что нужно мне.

— Кому-то нужно.

— Только не здесь,— сказал Энан.— Разве что тебе. Но там,— он взглянул на восток, за реку,— там есть люди, которые понимают.

— Там?

Но Энан рассмеялся, словно поймал себя на детской глупости, и заключил:

— Я прекрасно себя чувствую.— Он поднялся.— Наверно, лекарство мне не понадобится. Интересно, кто победил в борьбе.

— Сейчас узнаем,— сказал Денсу.

Они узнали, что победил малорослый Антобам. Ожидалось, что победителем станет Аппия, но с ним произошло что-то странное. Его первым и, как оказалось, последним соперником был высокий, тонкий, изящный Коджо Джан, упрямый борец. Довольно скоро все увидали, что он не может сравняться с Аппией ни силой, ни выучкой. Победа его великолепного соперника представлялась делом решенным.

Но упорство Коджо Джана не позволило ему признать пораженье. Как опасно было его стремленье к победе, скоро поняли зрители и сам Аппия.

В борьбе бывают моменты, когда надо сдаваться или рисковать переломом кости. Умелой силой Аппия поставил Коджо Джана именно перед таким выбором. Джан был почти повержен: лишь вывихнутая, подворачивавшаяся рука отделяла лопатки его от земли. Ясно, что в таком положенье Коджо Джан не мог противопоставить Аппие ничего.

И все же он не сдавался. Выбор поэтому перешел к Аппие: броситься на соперника и искалечить его или отскочить назад и отказаться от очевидной победы.

Аппия колебался. Позднее люди узнали, что он не колебался, а думал, как избежать жестокой победы. Он долго стоял над беспомощным Джаном, надеясь, что тот образумится и признает свое поражение. Но Джан не сдавался, и тогда Аппия постепенно ослабил давленье, поднялся над искривленным телом соперника и отошел.

Судья не мог наградить Коджо Джана дурацкой победой. Так как Бунтуи был отстранен от игр, судья объявил, что в третьей и четвертой схватке нет победителей. За первенство предстояло бороться неуклюжему Квеку Сипи и малорослому Антобаму.

Квеку Сипи показал себя не хуже, чем в первой схватке. Но большой рост не спас его от упорного натиска Антобама. Антобам довел Сипи до изнеможенья и, будучи самым низкорослым из всех борцов, стал заслуженным победителем первого дня игр.

3. Заправилы

Под вечер стал собираться дождь. С юга подул сильный ветер. Но ветер улегся, а дождь не пришел. Тучи, однако, продолжали скрывать лицо солнца. Они умерили послеполуденную жару, и свет с неба стал голубым и нежным.

Прохлада успокоила Денсу и обратила его мысли вовнутрь. Проводив Энана домой, он вернулся на Нсу Бер. Он пошел вверх по течению, знакомой тропинкой в восточный лес.

Его ум тревожили вопросы, ему было необходимо найти ответы, и от этого мысли приобрели глубокую стройную ясность. Он желал посоветоваться со старым мудрым человеком, который поймет стремленья его ума и, быть может, укажет дороги, по которым он мечтает пойти, но которых не видит в действительном мире. Ему захотелось дойти до восточного леса и потолковать с другом, целителем Дамфо, но он сдержал свой порыв. Пока в этом нет необходимости. Еще будет время пойти в восточный лес, повидать и послушать Дамфо, еще будет время, когда закончатся игры.

Мысль, что ему предстоит явиться в дом Абабио при дворце, мешала Денсу, как неуклюжая ноша, ноша не слишком тяжелая, но по-дурацки навьюченная и поэтому нестерпимая. Денсу не любил Абабио. Ему приходилось напоминать себе, что он обязан уважать человека, чьему попечению он был вверен со дня смерти матери, со дня своего рожденья. Уважать так, как юноша Денсу должен уважать старшего, как того требует простое приличие. Но он не мог заставить себя доверять Абабио.

Вначале, когда Денсу был мал, в присутствии Абабио он всегда испытывал беспокойство. Он не понимал своих чувств, и они смущали его.

Когда он подрос, он стал понимать себя лучше. Например, он заметил, что Абабио никогда не предоставляет людям свободного выбора и всегда, когда может, силой навязывает им свою волю. Когда же не может, он переходит от силы к хитрости, после чего без конца говорит, какой он умный, как успешно прибегнул к хитрости и как мудро с его стороны даже и не пытаться действовать уговорами.

Денсу думал о совершеннно другом человеке. Он не мог представить себе, что Дамфо добивается своего силой или обманом.

— Вдохновенье, Денсу,— свое любимое слово Дамфо всегда произносил с тихой улыбкой.— Для тех, кто хочет целить, создавать то, что надо создать,— это лучшее средство. Вдохновенье.

Для Денсу великой радостью было слушать, как Дамфо говорит о леченье, о лекарствах. Изредка он говорил не о лекарствах, но ядах. Как он говорил, что лучшее лекарство — вдохновенье, так же он говорил, что самый опасный яд — власть над людьми. Власть убивает людей, жизнь, все на свете.

Слушая Дамфо, Денсу обретал ясность мысли. Послушав слова Дамфо о вдохновителях и заправилах, он начинал понимать свои смутные, тревожные, неприязненные и сильные чувства к Абабио. Мир вокруг юноши оставался таким, как был, но в этом мире он видел намного зорче. В некоторых людях он узнавал заправил, в некоторых — вдохновителей. Это различие позволило ему лучше понять себя: он не любил заправил, он любил вдохновителей.

И все же Денсу не находил покоя. Одна мысль способна была вернуть его в то смятенье, в каком он пребывал до обретенья ясности взгляда. Он испытывал неодолимое усиливавшееся желанье убежать от заправил и быть всегда с вдохновителями. Но вся окружавшая его жизнь принадлежала заправилам. Таким был не один Абабио. Все при дворе и большинство людей вне двора действовали только как заправилы — силой, коварством, ложью. Чем лучше Денсу их понимал, тем невыносимее они ста-

новились. В нем росло желанье, необходимость отойти как можно подальше от таких людей и их дел.

Денсу оглянулся. Гасли последние лучи прохладного голубого заката. Он зашел далеко по тропинке к восточному лесу. Потом повернулся и спеша зашагал домой.

4. Предложение

Денсу постучал, дверь Абабио немедленно отворилась. Абабио не тратил времени. Он усадил Денсу и дал ему напиться. Затем он уселся сам на расстоянии вытянутой руки и, глядя на дверь, сказал неестественным голосом:

— Царь состарился.

Для начала разговора это было весьма странно, и Денсу ничего не сказал и только взглянул на хозяина дома.

В комнате горела всего одна лампа. Пламя ее приплясывало и трещало, словно масло в лампе было разбавлено водой. Иногда вверх вырывался высокий язык, и вся комната озарялась неприятным оранжевым светом, а по стенам метались огромные тени. Самая большая тень вспрыгивала на стену напротив Денсу, грузная, круглая, голая тень от лысой головы Абабио.

— Совсем состарился.— Абабио ждал ответа.

— Я знаю,— Денсу стало вовсе не по себе.

— Ты знаешь.— Голос Абабио потеплел.— Но ты не знаешь, что это значит. Это значит, что пришла пора позаботиться о подходящем преемнике.

— Дворцовые дела...— начал Денсу.

— ...тебя не волнуют,— докончил Абабио.— Я это знаю. Ты мне уже говорил, и твой отец до тебя пел ту же песню. Удивительно, что значит кровь. Сын говорит так, будто он подражает отцу. А он не видал его ни разу в жизни.— Он поглядел на Денсу почти ласково.— Денсу, ты уже не дитя. Ты мужчина, и я хочу поговорить с тобой как мужчина с мужчиной.

Денсу чувствовал на своем лице жаркое, влажное дыханье Абабио.

— Я не хочу говорить загадками. Я говорю о царской власти. Царь больше не принадлежит миру живых. Я говорю о преемнике.

— Преемник — Аппия,— сказал Денсу.

— Может быть. Только может быть. Понимаешь, Денсу, есть важное дело, о котором я до сих пор не мог с тобой говорить. Ты хочешь меня выслушать?

Денсу кивнул.

— Мир изменился, а люди этого не понимают,— начал Абабио.— Рожденные властвовать должны понимать перемены.

— Вы думаете, Аппия их не понимает?

— Аппия не хочет их понимать!

— Но какие же перемены?

— Во-первых, белые люди. Аппия до сих пор зовет их гостями, чужеземцами.

— А разве не так?

— Теперь уже не так,— резко ответил Абабио.— Первые белые люди приплыли четыре века назад. Сменилось много поколений. Теперь вся власть исходит от белых. Только дети не понимают этого. А Аппия наш — дитя.

— Мы ровесники,— возразил Денсу.

— Но ты ведь хочешь вырасти и понимать?

— Понимать что?

— Что в стране происходят огромные перемены. Так решили белые, а раз белые решили, так оно и будет. Я был на Береговом Мысе, и я это знаю. Послушай, Денсу, я знаю белых. Я знаю их, как родных братьев. На Береговом Мысе у меня есть друзья, которые дружат с белыми. Таким образом, у меня есть глаза, способные видеть будущее. И вот что я знаю. Белые решили, что настала пора овладеть всей нашей страной. Не одним берегом. Всей страной, от моря до леса ашанти и дальше до травяных равнин моси,— Абабио задыхался, как на бегу.— Такие нас ждут перемены. Они выпадают не каждому поколению. Твое счастье, что они произойдут, пока ты молод,— Абабио вздохнул.— Потому что, если у тебя есть молодость, разум и смелость, во время перемен ты окажешься на правильной стороне. А тот, кто во время больших перемен оказывается на правильной стороне, делается большим человеком. Когда человек настолько глуп, что идет против больших перемен, перемены его сокрушают. И если он остается в живых,

он становится меньше, чем обыкновенные люди, бесконечно меньше, чем большие люди. Ты разумен, Денсу, мы все это знаем. И у тебя есть смелость. Поэтому я говорю с тобой.

— Я не все понял,— сказал Денсу.— Вы говорили с Аппией об этих больших переменах?

— Допустим,— ответил Абабио.

— Естественно было бы поговорить в первую очередь с ним. Он наследник престола, а я не имею к этому никакого отношения.

— Если хочешь знать, я говорил с Аппией,— сказал Абабио.— Я объяснил ему все, решительно все. Должен признать, он был терпелив и соизволил выслушать меня до конца.— Последняя фраза прозвучала язвительно.

— Я вас слушаю,— сказал Денсу.

— Белые собираются захватить всю страну. Это несомненно так же, как то, что отец твой умер. Но они не смогут удержать страну без помощи надежных людей — черных людей, которым они смогут довериться. Власть рождается из трудов, тяжких трудов. Будет война. Мы должны помочь белым здесь и повсюду найти себе черных солдат. Нам придется найти носильщиков для доставки оружия этим солдатам и белым командирам. Белым нужно будет закупать еду для солдат. Им потребуются работники для постройки дорог. Ты понимаешь? Если мы соглашаемся потрудиться для белых, мы тем самым выводим себя на дорогу к власти. Это дорога без конца. Но если мы откажемся помогать белым, мы останемся на обочине. Если же мы пойдем против белых, как дураки, они сотрут нас в порошок, и мы будем носиться по ветру, как выброшенный нюхательный табак. Такой перед нами выбор. Что до меня, я уже принял решение. И те, кто думает так же, как я, тоже решились. Мы будем на стороне белых. Власть находится там. Мы выбрали власть, потому бессилие нам отвратительно. И я сейчас предлагаю тебе стать на нашу сторону.

— И вы все это рассказали Аппие? — опять спросил Денсу.

— Да.

— Вы тоже предложили ему стать на вашу сторону?

— Да.

— И что он ответил?

— Князь совершенно спятил! — закричал Абабио и поправился: — Этот мальчик болен умом.

— Но что он ответил?

— Он отказался! — с возмущением произнес Абабио. Он явно вспоминал подробности разговора с Аппией, и ярость его разгоралась.— Он попросту отказался. Как круглый дурак.

— А он объяснил причины?

— Я знал все его причины прежде, чем он заговорил о них. Все это от его матери. Князь боготворит свою мать. А его мать боготворит бездомного, одинокого, помешанного целителя, который живет в восточном лесу. Эта Араба Джесива постоянно водит князя к этому сумасшедшему Дамфо. А Дамфо забивает ей голову дурацкими речами против белых. Ты представляешь себе? Этот полоумный зовет собаками всех, кто работает с белыми. Собаками! Ты слышишь — собаками. Разве так называют людей?

— Значит, Аппия не хочет служить белым? — спросил Денсу.

— Не хочет,— ответил Абабио.— Целитель отравил его ум. Он говорит, что царь должен служить всем черным — объединять всех черных людей. Я же говорю тебе, ум мальчика отравлен. Он, князь, не хочет понять, что, если большое потрясение сблизит всех черных, царей больше не будет. Цари принадлежат своим племенам. Он этого не знает.

— Аппия — наследник престола,— повторил Денсу.— Если вам надо, чтобы он был на вашей стороне, убедите его.

— Денсу, неужели ты считаешь меня таким дураком? Умный человек убеждает только того, кого можно убедить, а я не дурак. Я не могу ничего поделать с дурацким упрямством Аппии. Я только вижу, что он восстает против силы, которая несравненно сильнее его. Он ищет собственной гибели. Денсу, я говорю с тобой не о далеком будущем. Я говорю о сегодняшнем дне. На место Аппии необходимо поставить другого человека. Это место намного важнее, чем человек, кто бы он ни был.— Абабио умолк. Опять он дышал тяжело, как больной. Он повторил: — На место Аппии необходимо поставить другого человека. Это решено.

Закончив, Абабио облегченно вздохнул. По лицу его струился пот, но в голосе уже не было неестественного напряженья. Казалось, он только что избавился от головоломной задачи. Теперь он заговорил бессвязно, повторяясь, почти под нос:

— В былые времена им было все равно, что происходит здесь. Теперь они хотят стать полными хозяевами. От берега до леса, до травяных равнин, до песков. И они станут хозяевами. Если мы поможем белым, мы получим все выгоды от перемен. Те безумцы, которые пойдут против них, погибнут. Денсу, ты когда-нибудь видел пушки? Настоящие пушки, не ружья, которые носят на плече? Ничто не заставит меня пойти против пушек. Единственное место для меня — рядом с теми, у кого есть такие могучие пушки. Аппия не хочет этого понять.— Абабио посмотрел на Денсу. Он смотрел на него как человек, молящий о помощи. Лысина его блестела от пота.

— Я не могу ничем вам помочь,— сказал Денсу.

— Почему?

— Вы знаете почему. Я не хочу трудов, о которых вы говорите.

— Не торопись, Денсу,— сказал Абабио. В голосе его слышалась боль.— Я не хочу, чтобы ты решал сию минуту. Не торопись. Дело серьезное. Поспи ночь, поспи сколько хочешь дней, недель, месяцев, и тебе само собой станет ясно, что хорошо и что плохо для тебя. Только ты во сне не забывай, что одни в этом мире преуспевают, другие — нет. Преуспевающие преуспевают потому, что они уважают власть. Они видят, откуда она исходит, и стараются быть вместе с ней, а не против нее. Денсу, ты молод. Природа благосклонней к тебе, чем к другим людям твоих лет. У тебя есть сила тела. У тебя есть сила ума. По природе ты принадлежишь к тем, кто преуспевает. Ты пришел в мир победителем. Мои слова открывают перед тобою твое собственное будущее. Не торопись. Хорошенько подумай.

Абабио не дал Денсу сказать ни слова. Он резко поднялся и зашагал к двери. Денсу пошел за ним. На дворцовом дворе Абабио попрощался с ним и быстро вернулся в дом.

Ночь была прохладной и ясной. В воздухе тихо плыли звуки далекого празднества. Но у Денсу не было желания идти к людям, в центр города. Выйдя за дворцовую ограду, он повернул налево и снова налево. Он шел мимо ограды, мимо молчащих домов к реке-женщине. Он знал, что сегодня ему не уснуть даже в своей постели. Ему нужно было подумать.

Неодолимое желанье сейчас же бежать в восточный лес охватило его, но он взвесил его в уме, и оно утратило неодолимость. Денсу решил отправиться в восточный лес, когда для этого подойдет время. Надежда успокоила его, и он смог подумать о сне.

5. Умная игра

Первый день игр был днем борьбы. Второй день посвящался оваре, состязанию не телесной силы, а умственного напряженья. Он оказался самым длинным днем игр.

Отборочные схватки начались с первыми лучами солнца. К полудню слабейшие отсеялись и вошли в число зрителей.

После перерыва для еды участники и зрители возвратились на поле, и состязанья пошли всерьез. Нет нужды описывать каждую схватку. Достаточно сказать, что, как и ожидалось, в последней схватке за звание победителя состязались князь Аппия и Денсу.

Отдохнув, они вышли в середину поля и торжественно приветствовали друг друга.

Аппия, как и следовало, начал со второй лунки. Когда в конце своего захода Аппия взял восемь плашек, у Денсу остались две пустые лунки. Начав первым, Аппия воспользовался своим преимуществом и выиграл в первом заходе.

Настала очередь Денсу. Он пошел с пятой лунки. В ответ Аппия двумя быстрыми кругами довел ближнюю лунку до плодоношенья и затем собрал урожай с четырех первых. Этого тоже следовало ожидать, как и встречных действий Денсу: он захватил две четвертых, одну на своей стороне, другую на стороне Аппии. Начав в этом заходе первым, Денсу тоже воспользовался своим преимуществом и победил с теми же двумя пустыми лунками у Аппии.

Так продолжалось первые тридцать заходов. Настала пора изменить правила игры, так как при обычных правилах ни один из состязающихся не мог победить соперника.

После тридцатого захода их обязали передвигать плашки без счета. Время на размышленье перед каждым шагом было сокращено вдвое. Начинавшему в конце захода

не присчитывались обычные восемь плашек. Теперь в каждом заходе выигрывал тот, кто искуснее, сообразительнее, у кого тверже память.

В первые шесть заходов после изменения правил счет оставался ничейным. Но к седьмому заходу Аппия потерял уверенность. Дважды он уходил в свои думы, так что судье приходилось указывать, что время на размышленья истекло.

Денсу продолжал играть спокойно, уверенно. Он был настолько сосредоточен, что напоминал человека в трансе. Единственным указаньем, что мысли его здесь, была четкость, рассчитанность каждого шага.

В конце десятого захода у Денсу был перевес на одну лунку. Он добивался успеха одним искусством, и он сохранял успех. К пятнадцатому заходу у него был перевес на две лунки, к двадцать первому — целых четыре. И лишь перед тридцатым, в самом конце двадцать девятого, Аппия потерял последнюю лунку. Денсу стал победителем в оваре.

6. Бег

Третий день был днем коротких забегов. В каждом из них победил Аппия. Он бежал сосредоточенно, с упорной взрывчатой силой, заставляя зрителей удивляться, откуда такой запас ее в одном человеческом теле.

В каждом забеге Денсу шел по пятам Аппии и приходил вторым. При равной силе ему не хватало взрывчатого упорства. Бег его был воплощеньем изящества: естественный плавный поток, загляденье.

Четвертый день был днем длинных забегов. Он стал днем Денсу. Зрители видели, что движенье сквозь теплый воздух доставляет ему наслажденье. Длинными шагами он бежал впереди всех, он вбежал в лес, скрылся из вида и через невообразимо короткий отрезок времени показался на голом гребне холма, означавшем конец пути. Он обогнул огромное шерстяное дерево и вновь скрылся в лесу раньше, чем самый ближний к нему бегун успел взобраться на голый холм — Денсу бежал так, словно земля и воздух прислушивались к нему и были рады помочь.

Снова не сила — изящество выделяло бег Денсу, изящество и чистое нескрываемое наслажденье. Естественный плавный поток тела, крылатость рук, легкость ног. Его наслажденью не мешала усталость даже в самом длинном забеге — до опушки восточного леса и назад, через верхний брод реки-женщины. Итак, Денсу был победителем в длинных забегах, и каждый раз вторым приходил к цели упорный, слегка запыхавшийся Аппия.

ЧАСТЬ II

1. Время решать

После окончания длинных забегов Абабио отыскал Денсу и снова позвал к себе домой.

— Это важно,— шепнул он, как заговорщик, и ничего больше не объяснил.

Денсу пошел вечером, в то самое время, когда танцоры отмечали его победу.

— Ты не ждал, что я позову тебя так скоро,— сказал Абабио вместо приветствия.— Но мне пришлось позвать тебя сегодня. Обстоятельства переменились. И это важно.— Абабио умолк. Он явно хотел, чтобы Денсу прервал его, задал вопрос. Но Денсу не проронил ни слова, и Абабио продолжал: — Я полагал, что у нас будет время, у нас его не осталось. На Береговом Мысе все пришло в такое движенье, что они нас застали врасплох. Но мы не допустим, чтобы события опережали нас. Ты знаешь, что там случилось?

Денсу не знал.

В прошлый раз Абабио говорил, словно не был уверен в себе. Он задыхался, ему недоставало обычной решительности. Если тогда он сомневался в верности избранного пути, то теперь он смело шел по нему, голос его звучал жестко.

— Тебе придется решать сейчас, Денсу.

Денсу внимательно посмотрел на Абабио: маленькие глазки того еще уменьшились от напряженья.

— Решать что? — спросил Денсу.

Абабио глядел на него так, словно хотел пронзить взглядом.

— Я тебе объясню. Если тебе предложат царскую власть в Эсуано, ты ее примешь?

— Это пустые слова,— без колебаний ответил Денсу.

— Это не пустые слова! — крикнул Абабио.— Я задал тебе вопрос, и ты должен ответить. Люди, которые возводят на трон и свергают с трона, желают знать твой ответ. Итак, если они вручат тебе власть, у тебя хватит смелости удержать ее?

— Наследник — Аппия.

— Не дразни меня, Денсу. Мы сами знаем, кто такой Аппия. Мы родились намного раньше тебя. В твоих подсказках мы не нуждаемся. Мы хотим знать одно: ты примешь власть?

— Вы знаете мой ответ.

— Нет, Денсу,— медленно проговорил Абабио.— Я не знаю твоего ответа.

— Я хочу, чтоб меня оставили в покое.

— Ты отклоняешь предложение?

Денсу кивнул.

Абабио тяжело выдохнул, плечи его поникли, он сидел и глядел на Денсу, не двигаясь, не пытаясь сказать ни слова.

— Можно мне уйти? — спросил Денсу после долгого молчания.

Абабио не открывал рта. Денсу показалось, что Абабио пожал плечами, и он поднялся. Однако в дверях Абабио его окликнул.

— Денсу, вернись,— голос звучал бесконечно устало.

Денсу вернулся и встал в ожиданье перед Абабио.

— Это не так просто,— сказал Абабио.

— Что не так просто? — спросил Денсу.

— Ты уже вовлечен в наши дела.

— Ни во что я не вовлечен,— возразил Денсу.

— Ты ошибаешься, Денсу,— ласково проговорил Абабио.— Ты уже вовлечен. Вовлечен сильно. И не пытайся отрицать. Ты не можешь, Денсу, ты не можешь так просто уйти от людей, которые открыли тебе всю свою душу, свои тайны. Между тем, кто открывает тайну, и тем, кто слушает, всегда возникает некая обязанность. Это требованье взаимной защиты. Ты должен защищать его, он — тебя. В противном случае ты покидаешь человека, который открыл тебе свою душу, свои намеренья, и то, что ты знаешь о нем — нож в твоих руках. Неужели ты этого не понимаешь?

— Неужели вы думаете, что я использую против вас то, что вы мне сказали? — спросил Денсу.

— Денсу,— Абабио был исполнен терпенья.— Мне нечего сказать тебе о том, что ты хочешь или не хочешь делать. Я говорю тебе о том, что ты должен делать теперь, когда ты знаешь то, что ты знаешь.

— Что же я должен делать?

— Во-первых, перестань предаваться праздным мечтам. Во-вторых, ты должен осознать свою ответственность. Когда тебе предлагают власть, это значит, что пора перестать быть младенцем, пора стать мужчиной.

— И все, что я вам сказал, ничего не значит? — спросил Денсу.

— А что ты мне сказал? — вопросом на вопрос ответил Абабио.

— Что я хочу быть совсем не таким человеком.

— Ах, это. Нет. Теперь это ничего не значит. Теперь ты узнал очень много.— В голосе Абабио звучала уверенность, неколебимая убежденность.— Денсу, бояться тебе нечего. Тебе нужна только смелость, а она у тебя есть.— Абабио говорил уже без обиняков.— Пусть мысль об Аппие тебя не волнует. Да, он наследник трона. Но власть не всегда дается тем, кто ее больше всех ожидает. Принявшие решенье люди давно за тобой наблюдают. Они знали, к примеру, то, что знали и все: что ты победишь в играх, а это весьма важно, ты понятия не имеешь, как это важно.

— Вы хотите сказать, что игры имеют отношенье к власти в Эсуано? — Денсу был поражен.

— Больше, чем ты думаешь,— Абабио рассмеялся легко, свободно.— Намного больше, чем ты думаешь. Ты сам это скоро увидишь. После того как ты стал победителем, какую дорогу бы ты ни избрал, тебе встретится множество неожиданностей. Все, что от тебя требуется, Денсу,— это чтобы ты оставался самим собой и побеждал. Я тебе завидую.

Денсу испытал боль во всем теле, и в голове стало тесно от неожиданной ясности. Он улыбнулся и повторил свой недавний вопрос:

— Можно мне уйти?

— Разумеется,— на сей раз Абабио не задержался с ответом. Он даже пошел провожать Денсу, добродушно болтая о пустяках и посмеиваясь. На прощание он сказал:

— Если что-то случится, я дам тебе знать. Впрочем, я не думаю, что пока может случиться что-то серьезное. Во всяком случае, пока продолжаются игры. Но я дам тебе знать.

Ночной воздух был неприятен, Денсу не мог понять почему. Небо по-прежнему было высокое, земля под ногами твердая. Он слышал музыку, ему показалось, что в звуках песен он однажды услышал свое имя. Но он не пошел к музыке. Он не мог.

Он знал, что, если не найдется способа очистить свой ум, ему опять угрожает бессонная ночь. Несмотря на нагрузки дня, тело его не устало, а ум продолжал бодрствовать от мучительных мыслей.

Мысли были не новые. Но этой ночью они были острей, чем всегда. В прошлом он испытывал замешательство, то есть смешение чувств и мыслей, разобраться в котором трудно. Сегодня он понимал и чувства, и мысли.

Денсу думал об играх, которые, по обычаю, должны были подготовлять юношей к зрелой жизни. Ему хотелось сбежать от них далеко-далеко. Это желание разрасталось, крепло, укоренялось. Он не испытывал необходимости состязаться с ровесниками. Он не испытывал необходимости состязаться с кем бы то ни было. Он не испытывал ненависти к этим играм и празднествам. Но он хотел бы участвовать в празднествах, придающих большой смысл ежедневной жизни. Он хотел бы участвовать в празднествах, обрядах и играх, которые были бы празднествами, обрядами и играми содружества, а не соревнованья. От теперешних игр ему было не по себе. В них не было ничего, отвечавшего его устремлениям.

Воображенье рисовало ему иные игры. В них несколько самых сильных не состязались друг с другом, а все остальные не были просто зрителями. В них не было бы ни победителей, ни побежденных, только участники. Это было бы сообщество, в котором люди были бы вольны совместно трудиться в прохладе утра — и бегать, плавать, прыгать, играть, прославлять здоровье и силу в предвечернее время, а в вечерней тиши они танцевали бы под свои собственные напевы. Все это хорошие занятия. Почему же какие-то из них должны превращаться в состязанья? Какой смысл в изгнании с середины поля всех, кроме нескольких угрюмых борцов? Почему игра должна завершаться бессмысленной победой одного отдельного человека? Причем сообщество превращалось в толпу побежденных, преклоняющихся перед единственным победителем,— зачем?

Неприязнь перерастала в отвращенье. Мысль о сообществе, выделяющем маленькую властную группу состязателей, вознесенную над безликой бессильной толпой, вызывала в сознании Денсу отвратительную картину: немногие ловкие, жилистые удачники попирают ногами лишенную мускулов, бесформенную массу обыкновенных людей.

При таких мыслях об играх, об Эсуано, о жизни Денсу испытывал острое одиночество, острую необходимость дружбы. Но какую дружбу он мог найти в сообществе, разделенном на торжествующих победителей и безвольных наблюдателей? Все в нем протестовало против немой покорности зрителей, равно как и против исступленного торжества победителей, празднующих не принадлежащую им победу.

И он не желал иметь ничего общего с тупой заносчивостью одинокого победителя. Он желал бы себе чего-то получше. Но ночь уже наполовину прошла, и она совсем ускользнет, если он не освободит свой ум от мыслей о бесплодности жизни в Эсуано.

2. Водные игры

Пятый день игр был посвящен плаванью. В этот день проводили заплывы через Нсу Бер — в самом узком и в самом широком месте.

Самым сильным пловцом был Аппия, но он оказался не самым лучшим. Переплывая Нсу Бер, он оставлял за собой хвост пенящейся воды. Его руки, выбрасываясь вперед, вырывали борозду для летящего тела. Зрители удивлялись и восхищались.

Слегка отстававший пловец выглядел нарочитой противоположностью вздымавшему пену и с силой бившему по воде Аппие. Это был Денсу. Казалось, движенье в воде не требует от него внешних усилий. Вместо бурной пены за ним оставалась едва видимая на поверхности рябь. Казалось, Денсу скользит вперед не только благодаря силе тела, но и с помощью вод реки.

Заплыв в узком месте закончился неожиданным образом. Уже с середины реки невозможно было сказать, кто придет первым — Аппия или Денсу. С середины реки

до конца при совершенно несхожем ритме они шли голова к голове. Аппия с неубывающей силой молотил по воде, руки Денсу скользили в реке, направляя скользящее тело и не разбивая поверхности. Итак, две правые руки одновременно коснулись бревна, означавшего конечную линию. В первый раз на памяти живущих победу в самом коротком заплыве пришлось разделить.

После полудня был заплыв в самом широком месте. Аппия вновь показал себя столь же могучим пловцом. Сначала он шел первым, но с середины реки Денсу опередил его. Разрыв между пловцами был незначителен, но хотя Аппия заметно усилил старания, сократить разрыв ему не удавалось. Наоборот, почти незаметно он расширялся, и Денсу дотронулся до бревна на несколько очевидных мгновений раньше, чем мощная рука Аппии размашисто шлепнула по нему.

В шестой день на большой реке, реке-мужчине Нсу Нин проводился длинный заплыв. Требовалось не переплыть реку, а проплыть вверх по течению, от стоянки лодок у рыбацкой деревни ниже Эсуано до Акосомбо, священной скалы жрецов, пловцы должны были обогнуть ее и вернуться к рыбацкой пристани — на этот раз уже по течению.

Длинный заплыв начинался к вечеру, когда полуденная еда успела улечься. Что до пловцов, они лишь немного съедали утром и ничего в полдень.

В манере каждого пловца произошла заметная перемена. Вчера было время сильных, резких движений. Сегодня каждый пловец знал, что, если он хочет проделать весь путь до конца, он не должен растрачивать себя попусту, довременно и бессмысленно демонстрируя силу. Такова была перемена в манере у всех пловцов.

Кроме Денсу. Разница между вчерашним и сегодняшним Денсу была незначительна. Лишь самый зоркий глаз обнаруживал удлиненье каждого плавного взмаха, еще больше нежности при скольженье, еще меньше ряби за телом.

Путь вверх до скалы Акосомбо был трудным для всех. Здесь не было большого разрыва между первыми и последними. На обратном пути все преобразилось.

Естественно, что, доплывая до скалы Акосомбо, все пловцы уставали. Поэтому путь назад, хотя и вниз по течению, они редко проходили быстрее, чем путь вперед. Но на этот раз, когда пловцы обогнули скалу Акосомбо, один из них длинными, плавными, скользящими движеньями резко оторвался от всех, словно ему вновь помогала легкая, гибкая сила вод. И это был Денсу.

Поразительная плавность движений была не минутным чудом. Денсу сохранил ее до конца. Его гибкое тело успело обсохнуть, когда второй пловец достиг цели. Это был Аппия. Итак, шестой день, день длинных заплывов, принадлежал Денсу. Снова могучий князь Аппия оказался вторым.

3. Пленный голубь

В последний, седьмой день избирали победителя всех игр. В обыкновенные годы победитель определялся задолго до конца. Но этот год был исключением. До последнего дня никто не мог определить будущего победителя. Соперники Аппия и Денсу добились примерно равных успехов. Победителем мог стать лишь тот, кто одерживал верх в состязаньях последнего дня.

Утро было солнечное, воздух прозрачный, мир затихший. Казалось, все замерло, ожидая последнего состязанья, состязанья в охотничьем искусстве. Место древнего охотничьего оружия — стрел, копий, ножей — заняло ружье.

Первая задача была несложной: стрельба по бочонку на расстоянии двадцати поваленных деревьев. Первые выстрелы несколько разрядили напряженье, и в толпе начались разговоры. Совсем напряженье не прошло, оно переросло в напряженное ожиданье, повисшее в воздухе. Когда один из юношей, Квеку Сипи, промахнулся и вышел из ряда стрелков, толпа даже не заметила его позора.

Бочонок отодвинули на тридцать деревьев. Снова раздались выстрелы. Теперь из ряда вышли Бунтуи и Пату. Сорок деревьев. Из ряда вышел Джан.

Осталось всего пять стрелков — никто из них теперь не должен бы выйти из ряда: все они стреляли с уверенным искусством и осмотрительностью. Но на девяноста деревьях промахнулся Антобам, а на ста — Ампа. К середине дня в ряду были только трое: Энан, Аппия и Денсу.

Толпу распирало от нетерпенья, но судьи сохраняли спокойствие. С каждым залпом они отодвигали бочонок все дальше, и каждый раз все три стрелка попадали в цель. Толпу терзала неопределенность.

И тут раздался взволнованный крик:

— Принесите птиц!

При этом крике лицо Денсу приобрело такое выражение, точно он должен сказать судье что-то срочное. Он даже сделал несколько шагов в сторону судьи, но передумал и снова встал в ряд. Он улыбался странной улыбкой — словно сквозь боль.

Птицы были обречены. Состязавшиеся стреляли в них по очереди. Если стрелок попадал в цель, птица погибала; если нет, птицу возвращали на место и выпускали для следующего стрелка. Молодые голуби были привязаны — каждый к концу очень длинной веревки. По сигналу судьи его выпускали. Когда он достигал вершины самого высокого дерева, судья отдавал команду, и состязающийся стрелял.

Энана первого подозвали к трем заряженным ружьям. Голубь не успел долететь до конца веревки, а Энан уже выстрелил изо всех трех. Первая пуля прошла мимо. Вторая отстрелила птице хвост и заставила закружиться на вспугнутом ветру. Третья превратила птицу в падающее месиво крови, костей и перьев.

Энан странно воспринял успех третьего выстрела. На его лице не было и следа радости, руки слегка дрожали, он явно не мог взглянуть на птицу, которую он убил.

Следующим был Аппия. На первом выстреле он промахнулся. Вторым он пронзил птицу в самую середину. Настала очередь Денсу.

Он поднял одно ружье и отошел от остальных двух. Судья выпустил голубя. Птица летала неуверенно, низко, почти над Денсу.

Денсу прицелился. Птица была на требуемой высоте, но Денсу не стрелял. Может быть, он хотел, чтобы птица взлетела еще выше. Победив потрясенье нежданной свободой, голубь летел все увереннее — вперед и вверх. Веревка за ним тянулась по воздуху удлинявшейся кривой линией.

Птица пролетела мимо точки прицела, но Денсу оставался недвижным. Лицо его выражало глубочайшую сосредоточенность. Судья хмурился и смотрел с нетерпеньем. Но Денсу не стрелял.

Судья резко кашлянул. Люди в толпе озадаченно зашушукались. Эти мелкие звуки вернули Денсу к действительности. Он еще более тщательно прицелился в улетавшую птицу. Когда его пальцы коснулись спуска, на губах его заиграла облегчающая душу улыбка. Улыбка такого глубокого удовлетворения, что никто из зрителей не проник в ее смысл. Мушка ружья поднималась следом за голубем, задержалась на миг — и тут Денсу выстрелил.

Изумленная неожиданным среди людского затишья выстрелом, птица дрогнула и утратила высоту, как пораженная пулей. Но через миг голубь набрал скорость и устремился в крутом вольном полете. Он унесся ввысь, высоко в небо, туда, куда не достанет ружье никакого охотника.

Не веря глазам, судья глядел на веревку, которая миг назад держала освобожденного голубя. Один конец веревки свисал с его руки, другой нелепо падал с небес на землю. Судья перевел взгляд на исчезавшую в небе птицу. Затем он посмотрел на Денсу. Молчанье, глубокое молчанье зрителей вторило ошеломленности судьи. Судья сказал то, что вертелось у каждого на языке:

— Денсу, это что?

— Вы же видели,— сказал Денсу.— Я промахнулся.

— Нарочно,— проговорил судья.— Ты выстрелом перебил веревку.

— Я промахнулся,— повторил Денсу. Он не стал слушать, что еще говорил судья. Повернувшись спиной к полю игр, он зашагал к реке.

Придя в себя, судья приблизился к князю Аппие и в знак окончательной победы поднял его правую руку над головой. Он объявил, что следующая ночь будет посвящена празднованью победы Аппии. Будет пир, будут песни и танцы. А следующее утро увидит рожденье нового года.

4. Песнь победы

В воздухе ночи было волшебство. Голоса молодых женщин пели о победе. Голоса мужчин в ответ восхваляли силу. Старики взывали к юности и грядущему. Самые юные вспоминали песни забытого прошлого.

Потом начались танцы. Аппия танцевал первым, один. Он танцевал стыдливый танец соревнователя, надеющегося на победу. Он танцевал другие танцы в память своих побед и поражений на играх. Он танцевал несвободно, но счастье победы окрыляло

его. Лишь в самом конце, отпраздновав свою победу в стрельбе, он уступил усталости и принял отдых в толпе восхвалявших его зрителей.

Настало время другим юношам вступить в танцевальный круг. В их танцах победитель вновь переживал крылатые мгновенья своей славы. Бывшие близко к победе, но не добившиеся успеха,— даже они танцевали, вздымая счастливую пыль.

Денсу был зрителем. Он не выходил в середину танцевать. Он не хотел прославлять ни одну из своих побед. Его мысли были вдали от ночного праздника. Он радовался, что игры уже позади, потому, что не любил сами игры, и потому, что могучая сила увлекла его мысли вдаль. Ему нетерпелось отправиться в восточный лес. Ему нетерпелось опять увидеть целителя Дамфо, поговорить с ним о будущем, которое он избрал для себя, о жизни, посвященной высоким трудам целителя.

Внутренний покой Денсу внезапно нарушил вкрадчивый голос, шептавший в самое ухо. Денсу изо всех сил старался не слышать, что говорил голос. Но голос был не только вкрадчивый, но и настойчивый. Он повторял слова до тех пор, пока Денсу их не услышал, понял их смысл.

— Ты выбросил свою победу,— голос принадлежал Абабио.

Денсу не отвечал, но Абабио почувствовал, что слова его достигли цели, и больше не повторял их.

— Это было немудро, губительно,— Абабио помолчал, словно задумавшись.— Впрочем, все это не имеет значенья. Ты пришел в мир победителем. От этого ты не уйдешь. Это в твоей природе. Но скажи мне, Денсу, почему ты боишься победы?

— Разве все, кто проигрывает, боятся победы?

— Кто проигрывает нарочно — да,— сказал Абабио.— Ты ведь не отрицаешь, что ты проиграл нарочно?

Денсу не отвечал.

— И то же самое было, когда ты отказался участвовать в борьбе.

Абабио умолк. Он не смотрел на танцующих, он сидел к ним спиной и глядел прямо в лицо Денсу. Из-за ночной темноты он приблизил свое лицо к лицу Денсу.

— Денсу, я вижу тебя насквозь. Твоя болезнь — не страх, а гордыня. Ты презираешь победу. В каком-то смысле это простительно. Ты пришел в мир победителем. Поэтому ты не знаешь горечи пораженья. Поэтому ты решил поиграть с пораженьем. До сих пор ты не понял, как в жизни необходима победа. И как глупо, как бессмысленно пораженье. Но ты молод, сил у тебя избыток. Не растрачивай их попусту,— он вздохнул как бы в изнеможенье и положил руку на плечо Денсу.— Впрочем, не для того я к тебе сегодня пришел. Пойдем, нам надо поговорить.

Денсу пошел за Абабио прочь от танцоров и зрителей, прочь от реки. Оглядевшись, Абабио удостоверился, что никто не может их слышать, и резко сказал:

— Денсу, настало время.

— Какое время?

— Время решать.

— Что решать?

— Что с тобой будет.

— Но я уже решил.

— Денсу, я говорю с тобой как со взрослым.

— Я знаю.

— Подумай. Решается твое будущее.

— Я уже обо всем подумал,— сказал Денсу.

В голосе Абабио чувствовалось раздраженье; он взял себя в руки и заговорил терпеливо, почти грустно:

— Денсу, я, Абабио, гожусь тебе в отцы, я знал твоего отца и обещал ему воспитать и сберечь тебя, а сегодня пришел к тебе, я прошу, умоляю помочь мне и заслужить будущее, которого ты достоин.

— Я уже благодарил вас за предложенье,— ответил Денсу,— но я не могу принять его.

— Значит, отказываешься.

— Я не хочу и не могу принять предложенье.

— Можешь.— сказал Абабио.— Послушай меня, Денсу. Я пришел к тебе, движимый самым глубоким доверием. Я показал тебе путь к самому главному в жизни, к тому ради чего каждый мужчина, который мужчина, отдал бы все силы. Это самое главное — власть. Власть — единственное, к чему стоит стремиться. Денсу, я, ничего не

тая, открыл тебе, в чем моя цель. Я хотел, чтобы моя цель стала бы и твоей целью. Я показал, как просто тебе достичь этой цели. Ты знаешь мои тайны, Денсу. Ты понимаешь, что это значит?

— Вы до сих пор опасаетесь, что я разглашу ваши тайны?

— Речь не о том, что я опасаюсь,— яростно проговорил Абабио.— Речь о том, что бывает на деле. Ты знаешь мои тайны. Тот, кто знает твои тайны — твой друг. Он может быть только твоим другом — или твоим врагом. Он вместе с тобой. Или он против тебя.

— Я объяснил вам мой выбор,— сказал Денсу.

— Ты принял мои тайны,— ответил Абабио.— То, что ты знаешь, тебя обязывает.

— Я не просил, чтобы вы раскрывали свои тайны.

— Тем не менее ты их слышал. И суть дела именно в этом.

— Я сохраню их.

— Только если ты будешь вместе со мной! — Абабио больше не сдерживал чувств. И он повторил спокойно, медленно, членораздельно: — Только если ты будешь вместе со мной, Денсу. Тот, кто раскрывает другому свои тайны, дает ему в руки нож и подставляет спину. Он предлагает тебе дружбу до самой смерти. Или вражду — тоже до самой смерти.— Абабио вглядывался в лицо Денсу. Глаза его сверкали в ночи, и на лбу проступили крупные капли пота. Денсу чувствовал разгоряченное дыханье на своем правом плече.

— Я тебя люблю, Денсу,— продолжал Абабио,— и я хотел бы любить тебя всегда. Но ты идешь против меня. Больше я не буду тебя убеждать. Я гожусь тебе в отцы, Денсу. Тебя не удивляет, что я сам столько раз приходил к тебе? Больше я не приду. Ты еще не задумывался над своим будущим всерьез. Ступай и задумайся. Когда ты одумаешься и решишь, что будешь вместе со мной, приходи в мой дом. Но времени у тебя мало. Завтра весь день я буду тебя ждать. А позже, Денсу, ты мне уже не понадобишься.

Не прощаясь, Абабио зашагал прочь, словно спеша.

Весь обратный путь Денсу проделал в тревоге. Дома он не мог усидеть. Он очень устал, но понял, что не уснет. Мысли, которых он не желал, стучались в его ум. Только он выгонял их, как рой подобных же мыслей влетал в голову. Ночь была не жаркая, но душная и покрывала лицо влагой. Он чувствовал, что задыхается, и вышел посидеть на пороге.

Луна выплыла из-за облака; бледный ореол ее затмевал неяркие звезды. Денсу отвернулся от слепящей луны и смотрел на далекие звезды до тех пор, пока глаза его не обрели покой, а звезды слились в сплошной поток небесного света.

Одиночество, мучительное и острое, побеждало его. Он попытался уйти от него в сон, но не смог. Он обдумывал свои чувства, пытаясь понять их. Он знал, что боль — очень часто знак того, что он не понимает происходящего в сердце. Он также знал, что боль не утихнет, пока не появится пониманье. Тогда она пропадет как боль и останется лишь холодное осознанье, чувство до конца понятой действительности.

Он знал, что его одиночество — не от неутоленной жажды участвовать в общественных делах Эсуано или Берегового Мыса. Ему предложили участвовать, он сам отказался. Находясь в средоточье затей Абабио и его тайных друзей с Берегового Мыса, в средоточье игр, танцев и празднеств, Денсу постоянно испытывал невыразимое одиночество. На царском дворе возле власть имущих он чувствовал себя как на вражеской земле. Не случайно у Денсу легчало на сердце при мысли о своей отдаленности от таких людей, от таких дел.

За последнее время чувство спасительной отдаленности распространилось на игры и празднества. Он искал в них смысл и вдруг обнаруживал обычаи и нравы двора, распространенные за пределы двора. Состязанья, борьба одного человека против другого человека, одной группы против другой группы, размахиванье ножами, поиски союзников, обман свидетелей и врагов, готовность друзей предавать друг друга в погоне за властью — от всего этого Денсу желал удалиться, бежать как можно дальше.

К счастью, чувства его на этом не замирали. Чувство отвращения было сильно. Но еще сильнее было могущественное стремленье отыскать людей, чья нравственность послужила бы противоядьем против отравы, которой питались все известные ему

люди власти. Денсу желал прожить жизнь с людьми, которые не считают других людей средством для достижения своих целей. Он вспомнил Абабио.

Абабио никого не считал человеком, которого надо воодушевить, которому можно довериться, рассказать всю правду о сути дела и предоставить возможность принять решение самому. Абабио всякого превращал в бессловесную жертву, знающую ровно столько, сколько нужно, чтобы в безвыходном положении поступать только так, как велит Абабио, только так, как выгодно для Абабио. Для Абабио, который хитрил, лгал каждому человеку и силой или коварством превращал этого человека, часто против его воли, в своего преданного союзника. Если это не удавалось, тогда человек был преградой, которую следовало уничтожить.

С годами Денсу все лучше понимал сущность Абабио. Сначала понимание породило глубокое, сильное, болезненное замешательство. Потом в душе его стало светлее — замешательство превратилось в четкое знание. От знания появилось большое холодное расстоянье между Денсу и Абабио, между Денсу и всеми, подобными Абабио, заправилами. И даже когда они касались его рукой, расстоянье между ними не сокращалось.

Чем яснее он понимал свое отвращенье, тем сильнее росло в нем противоположное чувство, тем настойчивее мечтал он о людях, трудясь с которыми он хотел бы прожить всю жизнь. Его влечение к ним началось тоже с неясного чувства. Это чувство волновало так сильно, что он не скоро в нем разобрался. Хотя это было доброе чувство, оно причиняло боль. Против волненья и боли могло помочь пониманье.

Денсу исследовал свое беспокойство и обнаружил в нем стремленье к обычаям и нравам, в которых не было лжи. Могут же быть празднества, наделенные смыслом, вместо таких обрядов, которые ослепляют людей,— а людям ведь нужно видеть! Разве нельзя жить так, чтобы люди всегда знали, почему они делают то, а не это, идут или плывут туда, а не сюда? Разве нет в Эсуано и на Береговом Мысе, везде, людей, которые не скрывают своих целей, ибо не стыдятся своих целей? Почему бы ему не трудиться вместе с людьми, не разделенными на враждебные группы? Неужели он не найдет людей, не радующихся горю соседа? Почему бы ему не искать тех, кто не тратит все силы жизни на причинение зла, на старание побороть и погубить друг друга?

Денсу в душе чувствовал, что поиски окажутся не напрасными. Великая радость озаряла его при мысли о тех, кто вдохновляет других и не помышляет идти в заправилы. Великая радость становилась мучительной болью, когда мысли его переходили на Эсуано и то, что в нем происходит сегодня.

Заснуть он не мог. Он прошел через двор на кухню. В слабом мерцанье очага он нашарил в углу светильник, зажег его и возвратился в дом. Позволяя времени успокоить ум, он не спеша связывал в узел все, что понадобится на дорогу в восточный лес. Он был поглощен сборами, и холодное отвращенье к мерзкому миру потеряло власть над умом, и в уме, в сердце, во всем его существе вспыхнуло чувство любви к желанному миру. Он был счастлив.

5. Смерть на заре

Наутро после праздничной ночи, прославлявшей победу князя Аппии в играх, прославленный победитель был найден убитым на еле видной тропинке по пути из Эсуано в восточный лес. Он был так изуродован, что всем стало ясно: это убийство из жгучей ненависти. Связанный за запястья, он был подвешен к изогнувшейся луком ветви высокой стройной гуавы.

На месте глаз...

О Фассеке, у рассказчика нет слов. Фассеке Белен Тигуи, мастер из мастеров красноречия, дай мне силы, чтобы продолжить рассказ.

На месте глаз кишело два роя блестящих зеленых мух. Такое свежее утро в другой день сочли бы прекрасным. Роса еще не сошла с темно-зеленых травинок. В такое ясное утро отродясь не увидишь мух. Но зрение не обманывало: вот они, мухи, грузные, пьяные от человеческой крови, сытые, еле шевелятся.

Мокопу Мофоло, даруй мне могущественные слова. Слова — только ветер, но ветер от века сопровождал наш труд, труд сеятелей во имя будущего, труд рассказчиков, труд мастеров красноречия. Дай мне силы закончить мой труд. Пусть твоя измученная

душа просветлеет, увидев в труде твоего последователя слабый, минутный признак того, что твое долгое молчаливое страданье в конце концов не напрасно.

Глаза князя Аппии были вырезаны чем-то весьма острым. Несмотря на рои мух, пустота глазниц была очевидной. Струйка крови из правой глазницы стекала по правой щеке. Справа на шее зияла глубокая рана, отчего голова, резко склонясь влево, касалась плеча. В глубокой ране засел еще один рой мух, также пьяных от крови.

На губах была корка запекшейся крови. Вероятно, кровь из разрубленной шеи сначала хлынула ртом и лишь потом нашла новый выход. Широкая, волокнистая полоса пересохшей крови шла к подбородку убитого изо рта, из которого страшно торчал распухший, чудовищно вытянутый язык.

Тело князя осталось неизуродованным. Руки были надрезаны. Раны на голове и шее разительно отличались от ран на руках. Убийца явно спешил, нанося удары по голове и шее. То же относилось к глазам. Правый глаз был вырезан так торопливо и неуклюже, что, когда отогнали мух, из глазницы глянула белая кость. Глубокая страшная рана на шее, по-видимому, была нанесена несколькими поспешными размашистыми ударами, так что виднелись рассеченные жилы и сухожилия и белела кость. На руках раны были совсем иные.

Никакой торопливой размашистости. Руки были надрезаны тщательно, точно, неспешно. Убийца, кто бы он ни был, явно уже не боялся сопротивления. Но и это не все.

На каждой руке на пол-ладони выше локтя были вырезаны две одинаковые полоски, непонятно зачем. Одно было ясно, как воздух утра: это было сделано не для того, чтобы убить или лишить возможности сопротивляться. Люди искали долго, упорно, но не нашли ни следа вырезанной плоти.

И из каждой ноги ниже колена было вырезано по полоске икры. Тоже тщательно, точно, неспешно. Они тоже исчезли бесследно. Люди искали долго и терпеливо — и ничего не нашли.

Ужас мало-помалу улегся, люди вышли из безмолвного оцепененья и начали задавать терзавшие их вопросы. Что значило это убийство? Для какой злой цели убийца унес глаза князя? Для какого зловещего колдовства убийце понадобились полоски могучих мышц князя?

Вопросы эти задавались шепотом. Прежде чем они могли зазвучать громко, в открытую, было необходимо снять тело с дерева и отнести в Эсуано для похорон. Вперед вышли четыре ровесника князя, те, кого он только что победил на играх. Плетеную циновку привязали к свежесрезанным стволам молодых деревьев. Тело положили на циновку и накрыли шафранной тканью. Четверо юношей, Джан, Энан, Ампа и Денсу, с траурными носилками на плечах повели людей домой, ко дворцу.

Люди шли медленно, с глазами, полными слез. Женщина хрупким голосом затянула песню прощанья. Мало кто из шедших за телом был способен раскрыть рот и поддержать песню. Многие подпевали, не размыкая губ. Над людьми неуверенно, с болью поднимался один женский голос, произносивший слова о зеленых плодах, которые, не созрев, погибают, о молодых деревьях, которые падают не от бури, о потоке жизни, который прерывается вопреки природе. И люди подпевали, не размыкая губ, и пытались понять почему.

Путь домой был медленный, носильщики уставали, и их сменяли другие. Все ровесники князя по очереди несли его тело, Денсу дважды, ибо, когда выкликнули имя Бунтуи, никто не отозвался.

Тело принесли во дворец Эсуано. Женщины омыли его, остригли его ногти и надушили травами. Все отверстия тела присыпали золотой пылью. Убитый был готов к погребенью, и в комнате его матери выкопали могилу.

День полыхал яростным зноем. Из-за того, что тело было так изувечено, а плоть и кровь оставались на воздухе и в жаре слишком долго, с похоронами спешили.

При вести, что князь Аппия мертв, весь дворец онемел. Когда тело положили на землю, смолкли даже похоронные песни. Плакальщики и плакальщицы лишились своих голосов. Слышно было только, как шумит ветер,— и вдруг в толпу с шумом ворвался Абабио.

Все утро Абабио был вдали от дворца. Он сказал, что ходил на север и на восток по течению большой реки с Бунтуи и вырезал стойки для будущего амбара. Замерший двор он оглушил расспросами:

— Отчего здесь такая толпа? Скажите! Что случилось?

Его подвели к телу убитого князя. В глазах Абабио появилось неистовство, по лицу его было видно, что он побеждает непобедимые чувства, при этом из глотки его вырывались сдавленные слова:

— Где его нашли? Как? Но кто? Какой зверь это сделал? Где злодей?

Молчанье.

— Вы дали ему убежать? — страдал Абабио. Никто не ответил ему. Никто и не мог ответить. Молчанье взбесило его, и он взорвался:

— Вы все оглохли и онемели?

Молчанье.

— Что вы сделали с моим князем? Кто его убил?

Абабио потребовал колы. Он жевал орешки до тех пор, пока губы его и глаза не приобрели цвет гнева. Настала пора хоронить князя, и женщины вызвали вперед его сверстников.

Но когда юноши подняли мертвого князя, Абабио встал между ним и могилой. Он крикнул, чтобы ему принесли самую крепкую выпивку. Слуга подал ему бутылку шнапса. Он вылил кристальную жидкость на землю под головой князя и произнес долгую клятву:

Пей, Аппия, пей!
Вы видите, отцы,
Горе душит меня.
Пей, Аппия, пей!

Пей, Аппия, пей!
Отцы, ваш внук
Вопреки естеству
Умер в белый день,
Он умер на заре
Вопреки естеству.
Пей, Аппия, пей!
Пей, Аппия, пей!

Пейте с ним, отцы!
Пейте, слыша скорбь
Того, кто остался в живых.
Вот наш князь, отцы,
Вы примите его,
Облегчите его боль.

Так страшно умер он
Вопреки естеству,
До срока умер он.
Пейте, пейте, отцы,
Слышьте нашу скорбь.

Князя страшная смерть
К отмщенью зовет.

Видите мои глаза,
Мои красные глаза,
Мои горькие слезы?
Глазам не уснуть —
Сон к ним не придет,
И рукам не отдыхать —
К ним покой не придет,
Мой рот не может есть —
Все горько для него,
Пока не отмщен
Князь Аппия, ваш внук.

Я, Абабио, клянусь,
Днем клянусь не есть,
Ночью не отдыхать,
Пока я не найду,
Пока убийцу я не найду,
Чтобы Аппии душа
Перестала блуждать,
Как убитого душа,
И нашла свой покой
Среди духов отцов.
Пейте, пейте, отцы,
Слышьте клятву того,
Кто остался в живых!

Абабио сделал передышку, напряженная клятва его утомила. В бутылке еще оставалась выпивка для отцов Он, морщась, хлебнул, подбодрился и хотел продолжать — и тут голос тихий, но твердый остановил его.

Нана Эси Аманиива, бабка князя, ждала тишины с той минуты, как Абабио ворвался на царский двор. Старая, больная, она встала с постели, чтобы проводить любимого внука в последний путь. Она стояла во дворе безмолвная, терпеливая, и слезы горя безудержно текли по ее щекам.

— Солнце палит,— сказала Эси Аманиива.— Пора хоронить.

Абабио проглотил все, что хотел сказать. Неохотно он отступил, и ровесники пронесли тело князя в комнату его матери, Арабы Джесивы.

Могильщики постарались. Они выкопали яму глубиной в рост человека и от нее против двери провели ход в нишу, где князь упокоится навсегда.

Юноши осторожно опустили тело князя в могилу. Могильщики приняли его и усадили в нишу коленями к подбородку. Плача, Эси Аманиива, бабка Аппии, подошла к могиле и сказала слова прощания. Слова были неслышны — так велико было горе по ушедшему князю.

Эси Аманиива захватила с собой все свои сокровища. Фигурку богини плодородия, оставшуюся от дней ее женской силы. Два серебряных кольца, запястье из красного чистого золота, две длинные цепи, тоже из золота, одна с застежкой в виде барана, другая

с застежкой в виде голубки. Эси Аманиива сложила сокровища в золотую чашу и передала ее вместе с богиней плодородия и возвращенья безмолвным могильщикам, и они поставили ее рядом с телом князя.

Нана Эси Аманиива взяла горсть земли и бросила ее веером в могилу. Она не могла заставить себя бросить землю на князя. И она застыла у края могилы, не в силах сказать ни слова, не в силах отойти от внука, который был радостью ее жизни.

И тут Абабио, как ураган, ворвался в погребальную комнату. Он ворвался, как вихрь, и шафранный платок на голове Эси Аманиивы взвился, и она рассеянно, по привычке его поправила. Абабио был не только бурей, он был громом. Могильщики собирались вылезать из могилы, готовясь похоронить князя. Абабио остановил их.

— Пустите меня к моему князю! — закричал он.— Я хочу уйти с ним! — И он пронесся мимо онемевшей Эси Аманиивы. Абабио бросился на вылезавшего из ямы могильщика и увлек его на самое дно. Изумленный могильщик встал на ноги и принялся вместе с товарищем уговаривать Абабио.

— Я глубоко уважаю вас,— сказал первый могильщик,— но жизнь продолжается.

— Я глубоко уважаю вас,— повторил второй могильщик,— позвольте, мы поможем вам вылезти.

— Оставьте меня! — закричал Абабио.— Я хочу уйти с моим князем!

Могильщики не знали, что делать. Абабио бросился к мертвому, обхватил его ноги и начал песнь, обращаясь к духу ушедшего князя. Могильщики не знали, как быть. Они не могли силой вытащить воющего, пресмыкающегося Абабио, они не хотели оставить его в могиле и поэтому растерянно стояли возле него в могиле.

И тут послышался голос наны Эси Аманиивы:

— Оставьте его. Пусть уйдет, если хочет.

Она произнесла это тихо, не повышая голоса. Но действие ее слов было мгновенным. В комнате, наполнявшейся громкими причитаньями Абабио, воцарилась глубокая тишина — как в лесу ночью без звезд.

Абабио не рыдал. Он повернулся к могильщикам. Их не было. Они уже вылезли из могилы и стояли над ним. Абабио поднял руки и протянул их в сторону двери. Без посторонней помощи он не сумел бы вылезти. Молча, из могилы, он искал глазами могильщиков, чью помощь за миг до этого он безрассудно отверг. Он не мог выговорить ни слова. Но глаза его были достаточно красноречивы. Они умоляли вытащить его назад, в мир живых. Могильщики помогли ему.

Эси Аманиива уже уходила. Если бы она оглянулась на Абабио, она бы увидела, что краснота его глаз означает уже не скорбь, а злобу уязвленного, насмерть униженного человека.

Выбравшись из могилы, Абабио оказался в бездонном молчанье. Не проронив ни звука, он прошел сквозь толпу, молча стоявшую перед домом. Из всех приближенных князя он один забыл по обычаю бросить горсть земли на несчастного Аппию.

6. Слухи

После похорон Аппии наступило затишье. Вопросы, догадки, витавшие над его телом в день убийства, умолкали на день, на два. На третий день слухи закружились опять.

По одному из них Абабио видел сон. Убитый князь явился к нему и обещал указать способ поймать убийцу. Любопытные хотели спросить Абабио, правда ли он видел такой сон. Но Абабио нигде не было. Нашелся его друг, готовый поговорить об удивительном сне.

Разговорчивый друг Абабио был придворный жрец Эсуман. Эсуман уверял, что сон непременно укажет дорогу к убийце и откроет, что случилось с матерью Аппии, Арабой Джесивой. Но дух убитого принца еще не рассказал все. Эсуман советовал повременить.

(Продолжение следует)

Критика

М. ЛАНДОР

ТРАГИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ ФОЛКНЕРА

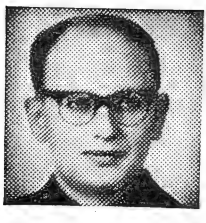
Тяжкое наследие американских веков в романе «Авессалом, Авессалом!»

Для Зигфрида Ленца, а вместе с ним и для стольких антифашистских писателей Европы до наших дней, Йокнапатофа — это едва ли не эмблема современной прозы. Ленц посвятил ей очень личную по интонации газетную статью 1975 года. Он видел в ее творце одержимого «областника», всегда открывающего всемирное. И написал с афористической четкостью: «Фолкнеровский Юг удостоверен трагической топографией человеческого сердца». В той же статье он замечал об американском эпике: «Конфликты в его книгах касаются всех нас: мы находим повод приглядеться к самим себе». И называл первым примером историю Сатпена: рассказ «об основании и падении одной плантации» в «Авессаломе».

В сегодняшней Америке этот роман, напечатанный у нас в переводе М. Беккер «Новым миром» (1980, № 7—10), вызывает живейший интерес. «Нужен был Сатпен, чтобы появились мы все». Эти выделенные нами слова, парафраза размышлений одного из фолкнеровских рассказчиков, повторяются в примечательном исследовании Альберта Гуэрарда «Торжество романа: Диккенс, Достоевский, Фолкнер» (Нью-Йорк, 1976) [1]. Критик завершил его главой об «Авессаломе», до некоторой степени итоговой, учитывающей разные точки зрения на главного героя. И приведенным словам он придал тот смысл, что у необычного плантатора Йокнапатофы немало американских ипостасей.

Признание в Штатах пришло к «Авессалому» едва ли не позже, чем к другим шедеврам автора: тем оно заметнее. А по выходе, в 1936-м, о чем сейчас нередко вспоминают, роман пережил драму непонимания, если не провал. Книга, предлагающая взгляд на старый Юг из XX века, не вызвала тогда никакого резонанса на Юге. А на Севере, да и за границей, было немало суровых и едких отзывов. Подавая сложность романа как несусветную, сами рецензенты немилосердно упрощали его текст Конечно же, этот холодный прием не объяснишь только «трудной» фолкнеровской формой. Куда важнее было нежелание рецензентов — и читателей! — добираться до сути «неприятной» прозы (если воспользоваться эпитетом Шоу). Именно

[1] Albert J Guerard. The Triumph of the Novel: Dickens. Dostoevsky, Faulkner. N.Y., Oxford Univ. Press, 1976, pp. 208, 307.



ЛАНДОР МИХАИЛ БЕЛОВИЧ (род. в 1935 г.).

Советский литературовед, критик, автор статей по западноевропейской и американской литературам, публиковавшихся в журналах. В «Иностранной литературе», в частности, напечатаны его статьи «Шервуд Андерсон и его главная книга» (1976, № 6), «Открытый эпилог 30-х годов» — о Томасе Вулфе (1979, № 9) и др.

так объяснял еще при жизни Фолкнера запоздалое признание его на родине крупнейший писатель-негр Ральф Эллисон. Нет сомнения, заметил он о творце Йокнапатофы, «что его волновали как южанина и художника те вопросы, от которых большинство белых американцев после Гражданской войны стремилось увернуться». Это в полной мере относится к судьбе «Авессалома», осужденного еще до того, как он был прочитан.

На рубеже 60-х годов и самый сложный, по-видимому, роман Фолкнера обрел свою отзывчивую аудиторию. И автор оказался с нею лицом к лицу, когда студенты Виргинского университета забросали его вопросами об «Авессаломе». Он говорил с ними всерьез: тут была явная заинтересованность и жажда понять.

Некоторые его ответы резко осветили характер Сатпена и смысл всего романа. Хотя бы тот, где шла речь о возмездии этому герою из «белой швали», для которого защитить равенство значило сравняться с аристократами и утвердить свою династию на Юге любой ценой, не считаясь с моральными законами человечества. Сам Фолкнер вспомнил античность, говоря о его падении: Сатпена «погубили греки, старая греческая концепция трагедии». И пояснял, излагая на свой лад фабулу книги: «Он хотел сына, воплощающего этот его идеал, а сыновей появилось больше, чем нужно,— они погубили друг друга, а потом и его. Единственный, кто остался,— единственный, кого он оставил,— был мулат».

К этой роковой череде событий мы еще вернемся. А пока обратимся к ответу на очень важный вопрос, заданный Фолкнеру тогда же, в 1957 году: возможен ли в литературе XX века подлинно трагический герой, как во времена греков?

Фолкнера этот вопрос задел — он сам назвал его трудным. И ответил, что прозаик должен говорить на языке своего окружения, а в это окружение входят и возможные читатели. Писатель дышит тем же воздухом, что и они: это и «определяет форму книги». Мало кому из современных художников была так близка античная трагедия, но Фолкнер остро чувствовал контакт со своим веком, далеким от античности. «Было бы прекрасно, если бы можно было писать в прозрачной и простой старой эллинской традиции, только теперь это как будто бы устарело...». И те герои, что в наибольшей степени у Фолкнера отмечены широтой мифа, помещены в гущу американских обстоятельств. Именно к ним был повернут еще один существенный вопрос студентов. Кто из героев его прозы ближе всего к «подлинно трагическому»?

Писатель назвал Сатпена, Джо Кристмаса [1] и Дилси [2]. Этот фолкнеровский ряд может озадачить, над ним стоит поразмыслить. Конечно, все эти герои из прочного человеческого материала, американской судьбе нелегко их сокрушить, и жизнь страны открывается через них до самых глубин. Но одним духом тут названы полярные фигуры. Хотя бы бездомный Джо, чужой среди белых и среди черных, отказывающийся жить как негр и линчеванный как негр,— и старая Дилси, стремящаяся остановить неудержимый развал плантаторского дома. Не меньше и отличие Сатпена от них обоих. Им заданы трагичные жизненные ситуации, он же, единственный в этом ряду, наделен и трагической виной. Тем самым он ближе всего к «грекам», хотя и достаточно уклоняется от античного образца: прозрения и очищения ему не дано. И в то же время все это герои новейшего эпика, из его вселенной. Поэтому у плебея, мечтавшего основать свой род в штате Миссисипи, может найтись нечто общее и с патриархальной негритянкой, и с парией в мире расовых перегородок и расистского абсурда. Американские трагедии, о которых идет речь у Фолкнера, всегда подготовили века.

«Авессалом» был напечатан вместе с картой Йокнапатофы, нарисованной самим автором. Знаменитый вымышленный округ был уже тогда достаточно заселен: на карте были указаны памятные по романам места происшествий и драм; подписана она была — «Уильям Фолкнер, Единственный Владелец и Хозяин». Но Йокнапатофе не была бы суждена интенсивная жизнь в XX веке, если бы она не была тысячью нитей связана с этим веком. И для Фолкнера было естественно, а порою необходимо выходить за границы округа. Характерна и многозначна одна строчка, которую мы находим в его романе 1939 года «Дикие пальмы». Там герою открывается на Дальнем Западе, в штате Юта, картина индустриального ада: штольня, где работают иммигранты из Восточной Европы,— им не платят и не заплатят,— жутко, по-праздничному освещенная множеством грязных лампочек. Эта сцена кажется созданием «некоего Эйзенштейна и Данте в одном лице».

С именем советского режиссера — оно не может нас не остановить — в роман входит большой трагический мир нашего века. Современных художников Фолкнер редко поминал в своей прозе, а тем более без полемики. Эйзенштейн, появившийся в этом контексте, был явно причастен к его собственной «концепции космоса в миниатюре» (она необходима роману, разъяснял Фолкнер студентам). В строке отразился и его взгляд на новаторство, которое смыкается с вековыми достижениями, продолжает их — поэтому тут и сочетается так неожиданно имя современника с именем Данте.

К «Авессалому», считал Фолкнер, его привел весь путь романиста. По авторской оценке, высказанной в 1948 году, это даже «лучшая работа», чем «Свет в августе». Писатели Запада, следившие за развитием Фолкнера, могли с этим не соглашаться. Но их неизменно интересовало его искусство романа, они не пропустили и «Авессалома». С годами эту книгу все чаще рассматривали с точки зрения жанра. Смело соединив и продолжив несколько линий мирового романа, она словно получала «питание» от всей его истории. И при этом

[1] Из романа «Свет в августе». Печатался в журнале «Новый мир» (1974, № 7—9) и в 1975 году выходил отдельным изданием (вместе с «Особняком») в составе Библиотеки всемирной литературы.

[2] Из романа «Шум и ярость». Опубликован в «ИЛ» (1973, № 1—2).

наводила на спор о границах и возможностях векового жанра в нашем веке. Порою книгу необычной структуры отказывались признать романом. Именно так судил о ней влиятельный в США поэт и критик Аллен Тейт, исключавший «Авессалом» из числа фолкнеровских шедевров. Для других же это величайший роман Фолкнера, и после него надо заново определять границы жанра. Такой взгляд отстаивает в наши дни А. Гуэрард. «Авессалом», по его мнению,— это одна из вершин мирового романа и кульминация неустанных поисков автора, обновляющего свой жанр вслед за Диккенсом и Достоевским.

Читателю этой книги рано открывается то, что знают о Сатпене «все», что разнесла молва и поразило воображение края. Безродный плантатор со своими «дикими» неграми и французом-архитектором построил здесь огромный дом. Но основать свою династию ему не удалось. На исходе Гражданской войны у ворот отчего дома его сын убил своего лучшего друга и жениха своей сестры; после чего дети Сатпена от респектабельного брака оказались убийцей и вдовой до замужества. Через некоторое время и сам плантатор нашел жестокую смерть от ржавой косы боготворившего его прежде бедняка. А его запущенная усадьба — для всего края это дом с привидениями — простояла до XX века. Таков костяк легенды.

В романе историю Сатпена рассказывают снова и снова — уже в нашем веке. При этом она обрастает подробностями и становится более связной. Но все рассказчики, настаивал Фолкнер, иного, меньшего масштаба, чем главный герой. И все явно пристрастны: между их версиями есть намеренные несовпадения. Поэтому он с такой готовностью принял предложенную одним студентом аналогию из американской поэзии — известные и у нас стихи Уоллеса Стивенса «Тринадцать способов видеть черного дрозда». У читателя, говорил Фолкнер, должен возникнуть собственный — четырнадцатый — взгляд на черного дрозда, и «мне хотелось бы думать, что это и есть правда».

Роман отличает ломаная композиция: жизнь предстает здесь не в плавном течении, а в критических сценах и картинах, словно застывших во времени, в знаменитых фолкнеровских фризах. Нам сначала открывается, что произошло, лишь потом возникает вопрос — почему. Рассказчики постоянно возвращаются к основным драматическим сценам, добираясь до сути, до мотивов, которые могут их объяснить. И только после той — творческой — работы, что они проводят у нас на глазах, *старая легенда о Сатпене получает смысл, тревожный для его сограждан и для XX века.*

Сама фигура главного героя, при всем пристрастии Фолкнера к фризам, менее всего застывшая. Этот образ, построенный на смелых контрастах противится тому, чтобы нацепили на него какой-то исторический или моральный ярлык и сочли его исчерпанным. Тут постоянные неожиданности в переходе от одного свидетельства о Сатпене к другому, а порою и крутые повороты внутри одной сцены.

Рассказ начинает свояченица героя, Роза Колдфилд, которая не забыла его стародавнего оскорбления и прожила десятилетия в ненависти к нему. Для нее это «человек-лошадь-демон», явившийся в Джефферсон ниоткуда и еще распространяющий запах серы. Тихий край поразился его дьявольскому взлету. Как людоед из сказки, загадочный муж сестры вошел в детство Розы. Правда, потом, когда он овдовел, она едва не вышла за него замуж,— но демоном он для нее и остался, тем более после оскорбления и разрыва. Ее голосом говорит патриархальная молва, для которой загадочный человек удачи стал воплощать адскую скверну.

Но рано вступают и Компсоны. Квентин, мучительно знакомый нам студент-самоубийца из «Шума и ярости», взят в этом романе одним из основных рассказчиков: после часов, проведенных в обществе мисс Розы, он слушает отца. К Сатпену в их семье давний интерес; если с кем тот и сошелся здесь смолоду, то с дедом Квентина, будущим генералом Компсоном. И нам совсем иначе открывается его приход в этот край — отнюдь не вторжение в идиллию. И тогдашний, 30-х годов прошлого века, городок Юга вовсе не напоминал школьной акварели, с которой его сравнивала мисс Роза. В сценах обручения и свадьбы Сатпена это, скорее, стоячее болото. Перед нами подозрительная и косная толпа, а потом — агрессивная чернь, забрасывающая жениха комьями грязи и гнилью. Сатпен же, сама невозмутимость, твердо ей противостоит. У чужака тут ярко выраженный американский характер.

Он демонстрирует выдержку и во время Гражданской войны, в армии мятежников. Сатпен, этот выскочка, герой, сменивший во главе полка аристократа Сарториса, безусловно доблестен: домой он привозит награду, собственноручно подписанную генералом Ли. Но и тут у Фолкнера неожиданность. Батальных сцен в романе нет. А крупным планом дана такая подробность. Узнав о смерти жены, Сатпен заказывает для нее и для себя мраморные плиты в Италии, их доставляют, несмотря на блокаду, и голодный и оборванный полк везет их, чертыхаясь, через целые штаты. Выскочке нужен заморский мрамор — именно среди всех лишений войны. А герой войны заставляет солдат тянуть, словно драгоценную артиллерию, могильные плиты — и в этом судьба проигранного южного Дела, задолго до капитуляции Ли.

На контрастах строится и возвращение Сатпена на разрушенную плантацию. Организуется Ку-клукс-клан, местные джентльмены зовут и его. Он отказывается наотрез, один против толпы, как и в день свадьбы,— пусть эта толпа породовитее. «Значит, война, Сатпен?» Та же стойкость сквозит в его ответе: «Я к ней привык». Пусть каждый позаботится о земле, поднимет землю, повторяет он. И родня чувствует масштаб его «геркулесовой задачи». Но именно непреклонный герой становится в романе воплощением старого Юга, идущего против исторической реальности. Свояченице он видится безумным мечтате-

лем, словно создающим в стенах самой гробницы исполинские рыцарские замки — Камелоты и Каркассонны. Тут и в самом деле историческое безумие, ибо время плантаций прошло безвозвратно. Сатпен же и после поражения Юга отчаянно стремится осуществить свой План, которому подчинил всю жизнь.

Этот План открывается нам лишь во второй половине романа, когда мы уже знаем о жестоком конце Сатпена. Перед нами сцена, заключающая в себе самый дерзкий контраст: охота на беглого архитектора, перебиваемая исповедью плантатора. Тут в романе искусно и многозначно монтируются два «взгляда назад».

Плененный Сатпеном француз, неохотно и умело возводящий ему дом с портиком, отнюдь не раб. Но за беднягой, давшим тягу, начинается погоня с собаками, как за беглым рабом. Впрочем, эпизод дан с большой долей условности и своеобразным «диким» юмором: это не картинка нравов. Да и сам беглец в парижском жилете — такая же экзотика в Йокнапатофе, как и его немыслимый цивилизованно-хитроумный способ бегства. Но, как бы то ни было, Сатпен предстает в эпизоде рабовладельцем почище прочих, без каких-нибудь прикрытий.

А на привале, посреди этой охоты на человека, он рассказывает о себе деду Квентина. Его предыстория в романе, так сказать, из фамильных запасов Компсонов, она неизвестна молве. И мы узнаем об испытании бедняка, определившем его судьбу.

Фолкнер чувствовал, как никто, жизнь «белых бедняков» — исконного и хиреющего слоя американцев, вечных пасынков истории в его сельском краю. Из этой среды взят его Сатпен. В романе есть сильные страницы о жизненном укладе горцев — скудном и застойном, без проблесков критического сознания, но и без неравенства. И не менее сильные страницы о том, как поразило юного героя, когда семья спустилась с гор,— классовое общество на побережье. У Фолкнера оно безжалостно, по-толстовски остраняется. Беззаботные плантаторы в гамаке, разгородившие и захватившие землю, увидены словно впервые. И вместе с тем свежими, как будто бы их глазами герой видит заскорузлый быт стольких поколений сельской голи. Негр в ливрее, прогнавший от белой двери хозяйского дома пришедшего с поручением от отца подростка в залатанной одежонке: для горца это оскорбление, которое не проходит. Но после него для Сатпена оскорбителен весь неподвижный быт их семьи, обитающей в развалюхе с дырявой крышей. Невыносимо привычное. Тут в романе о прошлом отчетливо сказывается наше время [1].

Р. П. Уоррен точно заметил: только в пору Великой депрессии перестали казаться неизменными условия жизни в сельской глуши Юга. 30-е годы, по его словам, поворачивали писателей к тем вопросам о времени и перемене, которые захватили Фолкнера еще ранее. Конечно, и выход Сатпена из бессознательности низов созвучен этой поре. И сам его План, или мечта,— месть, овладевшая им на всю жизнь.

Вдали от людей, в зеленом святилище леса, юный Сатпен мучительно ищет ответа на оскорбление. И решает сравняться с плантатором, чью белую дверь охраняет привратник: основать династию, которая подняла бы бедняков до принцев, и никого не отгонять от белой двери своего дома. Фолкнеровский герой чувствует тут нравственную необходимость: иначе он не смог бы жить в ладу с собой и выносить взгляды тех, кто жил до него и кто его сменит. Это надличная мечта, говорил писатель студентам, Сатпен хотел отомстить «за всех неотесанных работяг», которых отправляли к заднему крыльцу. У автора тут постоянно под ударением *возмущенное чувство равенства:* книга, складывающаяся в 30-е, не забывает о текущем историческом времени. Фолкнер выразил это почти символически, отдав ее рукопись для аукциона в пользу потерпевших поражение испанских республиканцев.

И при этом роман ведет в глубь американской истории и характера. Трагическая вина Сатпена открывается уже в его мечте. Вступаясь за равенство, он хочет сравняться с плантаторами и, значит, «вписаться» в их эпоху. Мечтая о династии, с которой связано избавление бедняков от скотства, принимает реальность рабовладельческого Юга: это навлекает на весь его клан проклятие, которое может поразить и после отмены рабства. Сатпен верен своему Плану, и в пору процветания он помнит об обиженных у двери. Но в нем открывается натура крутого и безжалостного индивидуалиста, привычная Америке с давних пор. По Фолкнеру, он «не верит, что принадлежит к человеческой семье». И само его упрямое противодействие судьбе позволяет романисту в разных ракурсах показать национальный характер и развернуть его критику.

В двух разборах романа, появившихся в 60-е годы, было уделено особое внимание Сатпену как американцу [1]. Мелвин Бекман нашел, что среди основателей кланов в Йокнапатофе Сатпен дан с наибольшим историческим реализмом. Подобные ему бесцеремонные пришельцы, подлинные «люди границы», и выбивались в местные аристократы. В образе Сарториса, у которого и в прошлом нет ничего плебейского, критик видит проекцию романтической легенды; а род самого автора, напоминает он, утвердил в Миссисипи человек сатпеновского склада — безродный и бурно возвысившийся на фронтире. Именно такие люди, как герой «Авессалома», задавали тон на старом Юге накануне и во время Гражданской войны.

Майкл Миллгейт осветил его с иной стороны. Сатпену не чужда психика нувориша, напоминающего Гэтсби, и в прозе Фолкнера ему нашелся неожиданный предтеча: герой ненапечатанного рассказа «Большая шишка», из той же, что и Гэтсби, поры сухого закона. Это там появилось впервые оскорбление, перешедшее потом в роман. Босоно-

[1] К этим сценам с обостренным вниманием отнеслись советские литературоведы, чей подход к роману мог значительно различаться: П. Палиевский и Н. Анастасьев, А. Старцев и А. Савуренок.

[1] Они перепечатаны в сборнике: Twentieth Century Interpretations of «Absalom, Absalom!», ed, by Arnold Goldman, Englewood Cliffs, N.Y., 1971.

гого мальчишку с фермы не пускают в господский дом, велят идти на кухню — и негр-слуга скалится ему вслед. Он решает сравняться с хозяином, но в Америке XX века добивается этого иначе, чем Сатпен: здесь это гангстер, рэкетир, становящийся миллионером. Однако в том, что касается вкусов героя и окраски американского успеха, тут есть поразительное предвестье романа. На почтенном кладбище, где похоронена его жена, он установит немыслимо дорогой мраморный монумент. Как не вспомнить заморские плиты, которые Сатпен достал среди разрухи! Одна из них осталась в холле дома, неумолимо пустеющего в войну,— а до войны здесь бросались в глаза мебель красного дерева, гобелены, хрусталь, канделябры.

В самой творческой истории романа о Сатпене встречаются и переходят друг в друга Америка XIX и XX веков. Но этот образ имеет отношение и к более ранним ее векам — до национальных истоков. Герой наделен американским качеством, прославленным Эмерсоном: уже в школе сказывается его привычка горца «рассчитывать на себя». И в глубине души он, на взгляд новейших исследователей, не меньший пуританин, чем персонажи Готорна.

В восприятии французов 30-х годов Фолкнер был именно тем американским художником, в ком выразились века и пласты пуританской психологии. Об этом их заставили говорить фигуры религиозных изуверов из «Света в августе», но и совсем иные по направленности фигуры праведников были в его власти. «Авессалом» дал этому подтверждение: там появился тесть Сатпена, заколачивающий себя на чердаке гвоздями и умирающий с голоду — лишь бы не участвовать в аморальной для него войне мятежников. Для французов с пуританством у Фолкнера была связана не только критика темного в национальной душе, но и поэтизация этой души, по контрасту со всем буржуазно-расхожим в XX веке. Заговорив об этом в своем отклике на роман «Сарторис», молодой Сартр коснулся и Сатпена.

Разделяя ненависть автора к шуму буржуазных речей, «к нашим неумолкающим и ловко приспособившимся умам», он отметил его симпатию к молчаливым героям. «Те мужчины, что Фолкнеру по душе — негр из «Света в августе», отец в «Авессаломе», Баярд Сарторис — имеют свою тайну и не привлекают к себе внимания». Но сама эта дошедшая у Фолкнера до крайности тяга к тишине, к молчанию вовне и внутри нас, была для француза «бесплодной мечтой пуританского сверхстоицизма».

Иначе подошел к проблеме Сатпена-пуританина Клинт Брукс, посвятивший Йокнапатофе одно из самых основательных в США исследований. Для него это скорее янки, чем южанин: неподвластный суевериям рационалист, расчерчивающий будущее по чертежу; и такой же обмирщенный пуританин до мозга костей, как и его тесть: оба стоят вне южного сообщества.

Аболиционист на чердаке и полковник мятежников парадоксально сближены и в романе: тут нет натяжки, и это бросает резкий свет на справедливость пуритан. Ту, что веками сопровождала и оправдывала буржуазный расчет. Крайности сошлись, когда Сатпен вовлек будущего тестя, мелкого лавочника и церковного старосту, в сомнительную деловую операцию. А сам он, узнаем мы со слов деда Квентина, почитал себя справедливым, расторгая свой первый брак на Гаити. Ведь от него скрыли, что среди предков жены были и негры: какой идеальной династии на Юге мог положить начало такой брак? И потом, оставляя или отстраняя жену, он щедро ее обеспечил. Обман возмущает пуританскую совесть, а от ее возможных укоров можно откупиться. После войны Сатпену для осуществления Плана остается мало времени — и одержимый моралист демонстрирует в эти годы «минимум морали». По-иному, возвысившись над собой, кончает свою жизнь его тесть,— возненавидев и ту типичную для буржуазной Америки совесть, которой сам наделен.

В войну отец Розы ставит себя вне общества. А его младшая дочь, местная поэтесса, слагает оды мятежникам. Эту церемонную леди с романтическим сознанием воспитал расистский Юг: она не выносит прикосновения «цветных» — даже дочери Сатпена, мулатки Клити. На десятках страниц мисс Роза выступает основным антиподом героя, который по-сатанински подошел к ней, южной леди, как производитель: пусть родит ему сына (необходимого все для той же династии), тогда они и поженятся. Но и тут, особенно тут, крайности сходятся: леди, с ее неутоленной жаждой отмщения, вполне чета дьяволу.

Это постоянный иронический эффект всех глав, где мисс Роза ведет рассказ и антиподы отражаются друг в друге. У обоих пуританская манера жить головными построениями — и словно вне идущего времени. Крушения старого Юга для них не было; Сатпен, «упрямый в непоражении», является с войны готовым героем ее оды. Десятилетия после его смерти она живет своими фантазиями об этом сатанинском фантазере. Правда, к XX веку обреченность его тяжбы со временем ей уже видна.

Студенты-рассказчики во второй части романа тоже соответствуют предмету рассказа, при всей их контрастности: Квентин с Юга, старая легенда лично его задевает, а Шрив из Канады, со стороны, у него более объективный взгляд. Но оба из того же пуританского мира и теста, что и Сатпен, у обоих вкус к разгадке людей, живущих абстракциями. Безродный плантатор с его высокой мечтой является Квентину неким богатырем из минувших времен Юга. Студент зачарованно смотрит на этого героя, как будто, заметил однажды Фолкнер, на библейского Самсона, обрушившего на себя храм с портиками. Но на сей раз Сатпен-Самсон выпал из исторической реальности, поэтому в романе и оказался под обломками. Его трагедия грозно и внушительно поворачивает к *неостановимо идущему историческому времени*: вот в «Авессаломе» фокус критики пуританства, продиктованной беспощадным в своей трезвости XX веком.

Судьба наносит герою смертельный удар после Гражданской войны. Среди развала полковник делает последнюю попытку основать династию. Он ждет ребенка от внуч-

ки Уоша Джонса, голодранца, давно живущего в рыбачьей сторожке на его земле, своего прихлебателя и подпевалы. И та рожает в этой сторожке на подстилке — совсем как сестра Сатпена, во время спуска семьи с гор, рожала в коровнике. Герой помнил всю жизнь, как его оскорбили в отрочестве. А тут еще почище оскорбил Уоша и его внучку: родилась девочка, не сын, и роженица для Сатпена стоит ниже кобылы. Это заставило и его подпевалу взяться за косу: перевернулся весь мир беднякаюжанина. На этих страницах Уош вырастает до трагического героя.

А тот, кто играет эту роль во всем романе, доходит перед концом до полного самоотрицания: *таков поэтический суд писателя XX века.* Прозрение дано здесь именно Джонсу, не его кумиру. В своих грезах жалкий Уош был заодно с полковником на белом коне; это защищало его от вечно звучащего за спиной негритянского хохота: «белая шваль» кичится своей свободой, а ее доля незавидна и для черных слуг. И вдруг не осталось защиты от насмешек: гарцующие джентльмены Конфедерации показали, чего они стоят. Ржавая коса Уоша, вступившаяся за попранное равенство, несет возмездие.

Сатпену предстоит пережить кое-что и после смерти: в романе смело сочетаются две гротескные картины. Одна сцена реальная и комически-жуткая, в ней торжествует «дикий» юмор. Обезглавленного полковника в форме везут в фургоне в ту методистскую церковь, где он венчался. Бешеная езда всегда была по нем, он наводил ею трепет на Джефферсон, но тут мулы понесли и вывалили его в канаву: словно и скоты перестали выносить бесчеловечность. Другая сцена более условна. Характерные разговоры полковника со своим верным подручным в виноградной беседке, где он попивал виски, лежа в гамаке, и изрекал лозунги-клише Юга, продолжены в загробном мире, уже после косы и уже без виски. Уош, прежний, поддакивает, что они, северяне, нас побили, но не одолели. А Сатпен, растерянный, спрашивает: что-то случилось, Уош, что? Словно и сам ошеломлен ходом событий, который привел к косе. Эта растерянность плантатора из бедняков снова дает нам понять, что Сатпен не равен своей судьбе.

Однако и «греки», как выражался Фолкнер, появились в его истории задолго до косы. Возвращается его прошлое. Отвергнутый им старший сын Чарльз Бон, подружившись с младшим сыном Генри в университете штата Миссисипи, еще до войны приезжает в Сатпенову Сотню погостить на рождество. Очаровав Генри, он неизбежно очаровывает и Джудит — выросшие вместе брат и сестра очень близки; надвигается брак, который Сатпен всеми силами стремится расстроить. Но происходит то, чего он не хотел и не ждал: с войны возвращаются два оборванных конфедерата, и у ворот отчего дома Генри стреляет в Чарльза.

«Почти братоубийство», говорит мисс Роза, не знающая, как и молва, об их родстве. Не почти, а на самом деле, и именно поэтому — основное событие романа. Оно выделено в его построении: в конце двух глав Уош выпаливает свою жуткую новость мисс Розе, прискакав для этого в город. Выделено оно и названием — по Фолкнеру, символическим, не содержащим прямой параллели: слова царя Давида выражают острую боль отца, когда гибнет любимый сын. После выстрела у ворот Сатпен остался без наследника, ибо Генри на десятилетия оказался вне закона. Вот почему все рассказчики романа стремятся выяснить, что привело к этому роковому выстрелу.

Каждый предлагает собственную версию. Мисс Роза, фанатичная в своей ненависти к «демону»; отец Квентина, иронически-усталый мудрец, погруженный в эстетическую атмосферу «конца века»; наконец, восприимчивые романтики и аналитики нашего века Квентин и Шрив. Отыскать логику событий, ставших легендой, нелегко, они долго остаются попросту необъяснимыми. Пока студенты не высказывают догадку: больше всего Бон добивался, чтобы отец его признал, он ждал хоть какого-то знака, кивка. А Сатпены его отвергли напрочь — как негра.

Когда Генри узнал от отца тайну происхождения Бона, сработал психический механизм, которым его снабдил плантаторский Юг. Его интимная привязанность к другу, чему поражался край, была едва ли не сильнее сыновних чувств. А тут грациозный джентльмен-южанин и товарищ по всем бедам войны оказался сразу снижен до стереотипа «черномазого», от которого надо уберечь семью и сестру. Так сам Бон с язвительной горечью представляет логику, непреложную для Генри. Страх пуританина перед инцестом, заостряется эта мысль в романе,— ничто рядом *с глубинным расизмом,* заставившим героя спустить курок. Таково дальнее последствие мечты Сатпена на плантаторском Юге, которого он не желал и не предвидел, а оно пришло неотвратимо.

Судьба наносит и третий удар, уже в XX веке. Тут время действия вплотную подходит ко времени рассказа. И опять, после выстрела у ворот и косы, рок получает выражение в символе: на этот раз горящего дома с облупившимся портиком. В огне гибнут дожившие до нового века дети Сатпена — Генри, живое привидение, вернувшийся сюда перед смертью, и Клити, вечный страж этой ветхой усадьбы. Очищающее пламя бушует в эпилоге: не так давно нам открылась логика Генри, и, кажется, оно добирается до расистской скверны. Аккомпанементом к этому разошедшемуся и праведному огню звучит заунывный вой внука Бона, слабоумного мулата. Единственный, кто остался из потомков Сатпена, меньше всех похож на задуманных принцев.

В заключение «Авессалома» Шрив спрашивает у друга, с которым распутывал эту давнюю южную историю: почему он ненавидит Юг? И Квентин в смятении, словно стараясь убедить самого себя, горячо повторяет, что у него нет нет ненависти к своему краю. Однако так больно задевшее его слово вырывалось и у автора.

Роман содержит не только историю Сатпена, разъяснял он студентам: «Это и рассказ о ненависти Квентина Компсона к дурному в любимом им краю».

Вскоре после выхода книги, в 1941-м, появилось критическое исследование У. Кэша «Образ мыслей Юга» — о его специфической идеологии и мифах. Широкое распространение оно получило уже в наши дни. Автор явно не пропустил последних строк «Авессалома». Рассматривая ценимого им Фолкнера вместе с Вулфом и Колдуэллом, находя у этих критиков своего края неизгладимо южный строй эмоций, Кэш писал: «В действительности они ненавидели Юг гораздо меньше, чем говорили и думали». Автор отмечал присущую им тягу к романтическим преувеличениям — соответственно и «ненависть» оказывается в большой мере литературной: а социальным романам о Юге этих «романтиков пугающего» брошен такой упрек: «говоря правду в деталях, они не устанавливают для нее подходящей перспективы» [1].

Но ведь это, хочется сразу возразить, далеко не частная *правда гротеска*. Еще Вулф заметил как-то, что описанное Фолкнером не похоже на Юг, однако Юг чувствуется в его книгах и создавшем их духе. И перспектива этих книг, где прошлое переплетено с настоящим, мучительно подходит и Америке наших дней. Заключение «Авессалома» подсказано, конечно, не романтизмом, а реальностью, все более тягостной для автора: она по-своему прокомментировала его прозу.

Из биографии Фолкнера и других источников мы знаем, какие муки ему принес 1955 год. Решение Верховного суда об интеграции школ обострило расовую напряженность на Юге. Для земляков великий писатель был «защитником черномазых»: его одолевали звонками и оскорблениями, нередко ночью, звонили и из других штатов. Его называли «Плаксой Вилли»: он-де хныкал по поводу состояния школ в штате и ославил штат Миссисипи на весь мир. Соседи, товарищи по охоте, родные братья — все были на стороне ощетинившейся, пропитанной расизмом южной общины.

И у Фолкнера, кажется, только раз в жизни вырвались такие слова в письме от 12 июня того года, посланном Элси Джонсон в Швецию: «Могу себе представить, что настанет пора, когда мне придется покинуть родной штат. Это было бы немного похоже на то, как пришлось бежать из Германии евреям при Гитлере. Надеюсь, конечно, что до этого не дойдет». А в ноябре 1955-го во время обеда раздался звонок, жена Фолкнера взяла трубку и услышала: «Скажите вашему Плаксе Вилли: не кончит своих разговоров, спалим его дом».

Разговоры были о том, чтобы негров принимали в университет штата. Фолкнер говорил, что многие из молодежи его поддержали. Гостившая тогда в Оксфорде жена его редактора Дороти Камминс спросила: «Почему вы здесь остаетесь?» Он ответил: «Здесь живет моя родня, и эту проблему мы должны решить а не бежать от нее». В середине декабря он написал ее мужу о своей работе над «Городом»: «Миссисипи сейчас — такой злосчастный штат для жизни, и нужно потеряться в какой-нибудь новой книге». Новая книга заключала в себе, однако, нечто программное. Когда я говорю «мы», это значит «Джефферсон», заявлял Чик в самом ее начале. Автор «Света в августе» и «Авессалома» всегда поворачивал читателей к реальности зараженной расизмом южной общины. Но как эпик он не существовал без этого «мы», в котором была жива демократическая совесть края, со времен фермерской вольницы до XX века. За этим «мы» — тот античный хор в американской глуши, что сопровождает все трагедии Йокнапатофы, само собой и трагедию Сатпена.

Хотя автор «Авессалома» и отмежевывался, даже отталкивался от исторического романа, естественно, что с этой весьма заметной разновидностью жанра соотносили его книгу о прошлом. Не только возвышение плантатора, данное без романтического флера, позволяет увидеть в ней исторический роман. Трезвому взгляду из XX века открылись контрастные и дополняющие друг друга уклады жизни старого Юга. Грубовато-деревенский, плантаторский, воспитавший Генри, и куда более рафинированный, латинский, языческий в рабовладельческом Новом Орлеане, где воспитывался Бон. Тут и щемящие, из сильнейших у Фолкнера, картины Гражданской войны, увиденной из XX века в ее не затуманенной южной легендной реальности. Праздничное, опьяняющее юных джентльменов и леди начало, игра молодых сил — и тоскливые будни отступления, армия мятежников в рванье и грязи, все это показано в духе прозы XX века об окопах первой мировой войны. И во всем этом — развивающийся исторический роман, а не тот условно-элегический, который для автора воплощали «кринолины и цилиндры».

За определенной гранью, однако, «Авессалом» перестает быть книгой о прошлом, становясь «самовыражением» XX века. Фолкнеровские люди традиции выпадают из традиции и чувствуют себя в пустоте: по-своему — Бон на исходе войны, по-своему — Джудит после смерти Бона. В этих случаях позднейшие разломы и разрывы проецируются в XIX век — и от имени героев ощущение хрупкой жизни на пепелище, с откоголовшимся прошлым, выражают наши современники.

Из рамок исторического романа выпадает и фолкнеровский трагический герой. К этому привлек внимание Арнолд Голдман, увидевший в «Авессаломе» притчу, проникнутую жесткой иронией. «Не в пример типичному герою исторического романа, Томас Сатпен не меняется с меняющимися временами. До горького конца он следует тем курсом, который сам для себя установил».

Здесь критик затрагивает отношение Фолкнера и к другой разновидности жанра — роману воспитания. Заметим, что писатель так же смело ее использует и преобразует — в духе своих целей,— как и исторический роман. Реальность воспитывает его героя — Сатпена, как и Джо Кристмаса, словно для вызова самой реальности. Мечта, овладевшая подростком на всю жизнь, обречена: и если он не извлекает уроков из своих крушений, то это должна

[1] W. J. Cash. The Mind of the South. A Vintage Book, pp. 386, 388.

сделать Америка. Как и задуматься над характером одержимого героя, который всегда готов начать сначала: сами же крушения в его внутреннем мире фантастическим образом упраздняются, их словно не было.

Своеобразие романа Фолкнера писатели Западной Европы давно уже связывают с античной трагедией. Предисловие к одной из самых известных его книг Андре Мальро закончил словами: «Святилище» — это вторжение греческой трагедии в детективный роман». В наши дни Ленц нашел, что слова Мальро можно отнести не к одному «Святилищу», но и к другим книгам об Йокнапатофе. В «Авессаломе», однако, эта трагедия вторгается в готический роман, чью традицию в XX веке нередко считали изжитой и исчерпанной. И на взгляд молодого Грэма Грина, приверженца «Святилища», Фолкнер не нашел в «Авессаломе» прямого художественного пути к современности: свой отклик на роман, для него полный изношенной готики, Грин назвал «Фурии в штате Миссисипи». Тем не менее позднейшие критики, предлагавшие социально острые прочтения романа, были убеждены, что готика ему нужна.

Она была в его замысле, что видно по оставшемуся в рукописи рассказу «Эвангелина» (1931), где Фолкнер впервые изложил историю Сатпенов. Уже там была заброшенная усадьба с привидениями, и Генри оказывался привидением из плоти и крови: вместе с сестрой-мулаткой он погибал в очищающем огне.

«Роман тайн» критики XX века нередко списывали или сбрасывали со счетов как ныне неэффективный. «Авессалом», однако, с этим спорит. Что касается писательской техники, то ходы и приемы готики сочетаются тут с современным монтажом; история Сатпена раскрывается по преимуществу косвенно и освещаются прежде всего побуждения героев. Главное же, что за тайнами плантатора и его клана открываются тайны Юга и всей Америки, поэтому расследование и стало захватывающе интересным.

Фолкнер исходил из того, что было ему дано в его краю. Сколько таилось в развалинах Юга преданий, вроде разработанной в романе легенды о «демоне» и порожденном им убийце, ставшем «призраком». В ней вполне можно увидеть один из бродячих мотивов в самой Йокнапатофе. И сколько в окружении писателя, как и его Квентина, было болтающих призраков, южан с «готическим» сознанием, десятилетия проживших вне времени. Именно с такого, характерно-готического сознания мисс Розы, навечно прикованной к «дьяволу», Фолкнер и начинает, чтобы раскрыть изнутри этого привычного Югу сознания непереносимую для него историческую правду. Известно, что мало какое оскорбление так ранило Фолкнера и запомнилось ему на столько лет, как дикий вердикт неких рьяных радикалов, назвавших автора «Авессалома» «готическим фашистом». А ведь в этом романе, рассеивающем «готический» туман веков на Юге, совершенно ясно выражена враждебная расизму человеческая истина.

Грин привел понравившуюся ему фразу о призраке, вселившемся в голос, тогда как более удачливый его собрат вселился бы в дом (речь идет о Сатпене, словно ожившем в рассказе мисс Розы). Но тут романтическое стилизовано и дается с иронией, как и вся готика в романе. А вот появление Сатпена в Джефферсоне уже содержит предвестье античной трагедии, проникающей всю его историю. В оригинале молва настойчиво повторяет его имя, на манер греческой трагедии, с неуклонностью «строфы и антистрофы». К сожалению, эти слова не вошли в русский текст, где новое имя просто повторяют на разные лады. Хотя ссылка на греческий хор в начале трагедии важна: демона ждут удары судьбы, пока не погибнет в огне тот дом с привидениями, который в качестве местной готики сопровождал Квентина с детства.

Истоки трагедии постепенно и драматически открываются в этом романе с несколькими рассказчиками. Проблема фолкнеровских рассказчиков продолжает занимать и новейших романистов. Острые замечания высказал о ней Мишель Бютор. По его словам, читатель Фолкнера словно находится внутри развертывающейся истории, он словно из того же круга, что и герои-рассказчики, и ему известно не меньше, чем им: хотя на деле он все узнает, лишь впитывая и сопоставляя выплывающую информацию. «Это углубление джеймсовского представления о «точке зрения» является замечательным достижением, если говорить о реализме в романе». Бютор высказал и другую важную мысль о рассказчиках у Фолкнера. Они добывают правду Йокнапатофы — и у этого мастера «внутренний монолог является крайней точкой легенды, хроники, той устной традиции, которую он хочет закрепить в своей прозе» [1].

Интересен подход Альберта Гуэрарда к проблеме рассказчиков в «Авессаломе». Акцент падает у него на то, что Фолкнер стремится установить более активные отношения между читателем и событиями романа, чем это бывает обычно в реалистическом романе. И продолжает в этом линию Достоевского и Джозефа Конрада. Связная история составляется у него, как часто и у них, из предположений и догадок. Критик сближает «Авессалома» с «Лордом Джимом», все время помня о Достоевском. «Оба романа, подобно большей части «Карамазовых»,— это драмы конфликтующих улик и конфликтующих свидетельств о герое». Рассказчики помогают вовлечь читателя в поиски истины, возбудить его собственную мысль. Мы уже видели, что после расследования, которое ведут отдельные лица, знакомое молве получает смысл, тревожный для этих — и не только этих — мест.

«Авессалом» — это и совершенно необычный роман поколений. Какое значение придавал его автор этой жанровой разновидности, видно по тому, что он не задумываясь назвал в 1940-м величайшим романом XX века «Будденброки». И европейские писатели, со своей стороны, отметили у него редкую по оригинальности разработку семейной темы Говоря словами Бютора, родственные отношения в прозе Фолкнера «изумительны по разнообразию и сложности. В этом никто и

[1] Michel Butor. Essais sur les Modernes, Gallimard, 1964, pp. 342, 340.

романистов не может идти с ним в сравнение».

Клан Сатпенов в Джефферсоне поначалу получает вполне благопристойный, «бюргерский» вид: из рассказа мисс Розы возникает традиционная семейная группа, словно на дагерротипе, в безжизненных и церемонных позах, хотя Квентина это и не обманывает. После смерти ее старшей сестры на кладбище появляется мраморная плита, а потом еще несколько плит: фамильная усыпальница. Но ей самой доводится вписать в семейную библию Колдфилдов, вслед за чинными записями отца, даты смерти его, Чарльза Бона и Сатпена: каково соседство — и до чего далек от «нормы» конец каждого! *Семья тут взрывается изнутри, она гротескна, как весь старый Юг, и гибнет под ударами античного рока.* При всей прихотливости, даже диковинности отношений между героями, расследование устанавливает неизбежность судьбы Сатпена, оставшегося на своем Юге без династии, без продолжения.

Роже Мартен дю Гара, классика европейского романа поколений, захватил роман Фолкнера «Шум и ярость». Он читал его во время нацистской оккупации Франции, и его должно было особенно поразить ощущение исторического застоя, выраженное в самой структуре романа: на застойном Юге особенно остро чувствовалось, до чего затянулась вся буржуазная эпоха. В глубине «Шума и ярости» семейное время продолжало идти (за Бенджи смотрят негритята разных поколений, выросла названная в честь Квентина Квентина), а на первом плане оно остановилось (Бенджи все те же три и в тридцать три года), и уже в выборе и выдвижении такого героя — горький комментарий к разбитым часам буржуазной эпохи. В «Авессаломе» Сатпена от времени рассказа отделяют десятилетия мнимой жизни Юга; а остановившееся время иронически оказывается длящимся — с неумолкшим воем его единственного потомка, идиота. Герой наделен библейской жаждой сыновей, своего рода поэзию и крепость отношений в семье Фолкнер чувствовал как мало кто в XX веке. Но пережившая себя эпоха, время идущих к закату Сноупсов, на которое накладывается и призрачно-трагическое существование старого Юга, давно мертвого и поныне живучего, сквозит в масштабных историях его кланов, полных разрывов и катастроф.

Можно сказать, что Фолкнер как романист думал гротескными семьями. И у всех его на редкость разнообразных американских кланов было библейское измерение (хотя бы пародийно-ироническое: книгу о Флеме Сноупсе он задумал еще в конце 20-х годов под названием «Отец Авраам»). Заметим: именно в ту пору, когда его воображение занимали Сатпены и шла работа над одним из самых трудных для него самого романов, Фолкнер веселил своих голливудских приятелей историями о Сноупсах, которыми был полон.

Еще одну любопытную особенность этого романа поколений отметила Ильзе Д. Линд, давшая в 1955-м острый и тонкий разбор «Авессалома» [1]. Тайну Сатпенов, три поколения которых нашли свою судьбу в этом доме, стремятся распутать рассказчики-южане тоже трех поколений; размышляя над судьбой и упадком «гигантской оболочки» дома, который погибнет в огне, они и живут в тени его ожидаемой гибели. Несостоявшаяся династия Сатпенов приковывает к себе состоявшуюся и готовую прерваться династию Компсонов. И эти две семьи южан связаны в романе так же прочно, как XIX век с XX.

---

[1] Он перепечатан в известной антологии: William Faulkner: Three Decades of Criticism. Edited with an Introduction by Frederick J. Hoffman and Olga W. Vickery, N. Y., A Harbinger book.

◆

СОПОСТАВЛЯЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Русская классика пользуется за рубежом все большим вниманием. В новых переводах выходят ее крупнейшие произведения. Заметное событие такого рода — новый перевод бессмертного творения А. С. Пушкина «Евгений Онегин», выполненный в Англии Чарльзом Джонстоном. Перевод получил широкий резонанс. Его обсуждение организовала в свое время редакция журнала «Советская литература» на иностранных языках.

Воспользовавшись недавним пребыванием английского поэта и переводчика в Москве, редакции журналов «Иностранная литература» и «Советская литература» пригласили для участия в диалоге с Чарльзом Джонстоном советского поэта Давида Кугультинова, известного своими переводами произведений А. С. Пушкина на калмыцкий язык.

Диалог одновременно публикуется в журнале «Советская литература» на иностранных языках.

ЧАРЛЬЗ ДЖОНСТОН,
ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ

ДИАЛОГ О ПУШКИНЕ

Ч. Джонстон. Хотя я знаю русский язык и хорошо воспринимаю его на слух, говорить я все-таки буду на своем родном языке, по-английски. Русский язык настолько прекрасен, что было бы жалко его уродовать.

Д. Кугультинов. Господин Джонстон, это ваш первый приезд в Москву?

Ч. Джонстон. Да, в Москве я впервые, хотя в Советском Союзе мне бывать уже доводилось — я был на Кавказе и в Ленинграде. Москва — очень красивый город. Я с удовольствием перечитал главу «Евгения Онегина», в которой описывается Москва и, в частности, как Татьяна едет по Тверской. Как же изменилась Москва с тех пор! Где все те будки, лавки, огороды и лачужки, мимо которых несся «чрез ухабы» возок, остановившийся в конце концов у «Харитонья в переулке», у ворот дома старой тетки Татьяны?

Д. Кугультинов. Перевод «Евгения Онегина» представляет колоссальные трудности и с чисто языковой стороны. Пользовались ли вы чьей-либо помощью при чтении русского текста?

ЧАРЛЬЗ ДЖОНСТОН — CHARLES JOHNSTON [HERBURN] (род. в 1912 г.).

Английский поэт и переводчик. Окончил Оксфордский университет. Много лет занимал ряд видных дипломатических постов. Автор нескольких поэтических сборников. Известен и как переводчик с русского, японского и латыни. Наибольший успех ему принес стихотворный перевод «Евгения Онегина» А. С. Пушкина в 1977 г. Затем вышли сборники: «Стихи и путешествия» («Poems and Journeys», 1979), включающий перевод «Путешествий Онегина» и оригинальные стихи автора, «Реки и фейерверки» («Rivers and Fireworks», 1980), куда, в частности, вошел перевод «Демона» М. Ю. Лермонтова, «Повесть о последнем поэте» («Talk About the Last Poet», 1981). Книга включает перевод «Медного всадника» Пушкина, «Мцыри» Лермонтова и повесть в стихах — об Авсонии (IV в. н. э.), крупном поэте Рима.

КУГУЛЬТИНОВ ДАВИД НИКИТИЧ (род. в 1922 г.).

Советский поэт, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР. Народный поэт Калмыкии. Пишет на русском и калмыцком языках. Переводит на калмыцкий русскую и советскую поэзию. Первый его сборник «Стихи юности» появился в 1940 г. С тех пор Д. Кугультинов выпустил много книг стихов и поэм. В последние годы вышли поэма «Бунт разума» (1973), книга стихов «Жизнь и размышления» (1964—1980), книга поэм и стихов на калмыцком языке «Земное русло» (1981). В 1977 г. издано собрание сочинений поэта, куда вошли его основные произведения.

Чарльз Джонстон

Ч. Джонстон. В переводе «Евгения Онегина» большую помощь мне оказала моя жена Наташа Багратион — грузинка по отцу, который числил среди своих предков древних царей Грузии и был потомком героя Бородино Багратиона. По матери она русская. Ее дед по материнской линии был в свое время известным русским поэтом, печатавшимся под псевдонимом К. Р., то есть Константин Романов. Это был великий князь Константин Константинович, друг Тургенева и Чайковского (который положил на музыку его стихотворение «Растворил я окно»). Матери моей жены, впоследствии известной под именем матери Тамары, настоятельницы монастыря, я посвятил свой перевод «Евгения Онегина». Кроме того, у меня в Англии есть русские друзья, которые тоже мне помогали.

Д. Кугультинов. Все мы смотрим телепередачи. Но попробуйте спросить любого из нас: «Вот вы столько времени уделяете этому голубому экрану; скажите, а что вы можете вспомнить из того, что видели три года назад?» Думаю, многие затруднились бы ответить на такой вопрос. Я же хорошо запомнил ту передачу из Англии, которая состоялась три года назад и в которой выступал сэр Чарльз Джонстон. И когда на днях меня спросили, каков сэр Чарльз из себя, я даже его описал: высокий, сухощавый человек, умудренный опытом жизни. Как видите, память меня не подвела. Моя память избирательна, как у всех людей. Я запоминаю только то, что для меня важно. Особенно важным для меня в данном случае был тот факт, что этот человек перевел «Евгения Онегина», и перевел его поэтически, стихами. Каждый перевод всегда рискует что-то потерять, даже перевод прозы, не только поэзии. Говорят, Джеймс Джойс, прочитав в переводе «Капитанскую дочку», дал довольно скептическую оценку этому шедевру, недоумевая, почему автора этой повести русские предпочитают другим писателям, даже Толстому или Чехову. О чем это свидетельствует? Наверное, о том, что переводчики «Капитанской дочки» не сумели сохранить и передать на другом языке то, что делает эту пушкинскую повесть зерном, из которого выросли Толстой и Чехов. Когда переводят поэзию, теряют еще больше, чем при переводе прозы. Переводчик стихов должен сам быть поэтом, который чувствует душу переводимого произведения, а не только его слово. На русском языке существует непревзойденный перевод «Одиссеи», выполненный Жуковским. Не с оригинала — он не знал греческого языка — а с немецкого подстрочника. Никто до сих пор лучше Жуковского «Одиссею» не перевел, хотя существует, кажется, около двадцати ее переводов. Что особенно интересно: ,когда Жуковский переводил этот эпос, он чувствовал — порой интуитивно,— что надо отойти от подстрочника; в этих случаях он переводил так, как, по его мнению, должен был создавать сам Гомер. И когда сличили эти места перевода с оригиналом, оказалось, что Жуковский был ближе к Гомеру, чем автор подстрочника. Так что поэта должен переводить прежде всего поэт. Вот почему чрезвычайно радостен тот факт, что Чарльз Джонстон создал именно поэтический перевод «Онегина». Когда Пушкина переводят за рубежом, для нас это такая радость, как будто нашего отца, нашего брата перевели! Прежде всего это относится к переводу «Евгения Онегина». Если говорить языком сегодняшнего дня, можно напомнить известное утверждение биологов, согласно которому в молекуле ДНК записана вся родословная живого организма — закодированы, запрограммированы все его черты и свойства. А если это сравнение привнести в область нашего ремесла, можно сказать, что в «Евгении Онегине» закодирована и записана не только жизнь той поры — в Пушкине был запечатлен опыт всей предшествовавшей ему литературы и запрограммирована вся литература последующих лет. Мы видим как бы лучи «Евгения Онегина», из которых возникла наша сегодняшняя литература, ее виды и жанры — прозаический, драматический, поэтический, публицистический. Именно эта литература дала наиболее полное воплощение мысли Пушкина о том, что литература — идеал, но не нравоучение.— мысли, которая, как мне кажется, позднее нашла несколько иное выражение у Достоевского, считавшего, что красота спасет мир.

Воплотить эту пушкинскую идею при переводе его творений на английский язык значило передать самую суть, ядро его творчества. В вашем переводе, сэр Чарльз, передано главное, что есть в Пушкине. Как признают авторитеты, вы дали почувствовать, что не зря говорят о Пушкине как о солнце русской литературы. Мне особенно дорого то, что вы передали именно дух России, и, мне кажется, вы потому и взялись за перевод «Евгения Онегина», что этот дух вам близок.

Ч. Джонстон. Что побудило меня взяться за «Онегина»? Это довольно длинная ис-

тория. Расскажу вкратце, с чего все началось и как родилась моя любовь к русской литературе. До войны я работал в английском посольстве в Японии. В свободное время занимался изучением японского языка. Язык этот, как вы знаете, сложный: японская письменность включает, наряду с азбукой, иероглифику. Все это я прилежно учил, выписывая иероглифы на специальные карточки: на одной стороне — иероглиф, на другой — различные его значения.

Внезапно пришло известие, что японская авиация атаковала американский флот в Пирл-Харборе. Началась война на Тихом океане. Мы были интернированы, вся работа в посольстве прекратилась. У меня пропало всякое желание изучать японский язык, и я выбросил карточки с иероглифами. Вместо японского я стал изучать русский. Английский консул был женат на русской — она и начала давать нам уроки русского языка.

Впоследствии нас освободили, обменяв на штат японского посольства в Лондоне, и я был переведен на работу в английское посольство в Каире, где встретил свою будущую жену. Когда мы поженились, она подарила мне томик «Евгения Онегина» на русском языке. К тому времени я уже достаточно владел русским, чтобы читать Пушкина в оригинале. Меня восхищал «Онегин», и я сказал себе, что когда-нибудь обязательно попытаюсь перевести его на английский. Было это тридцать пять лет назад. В дальнейшем я продолжал служить на различных дипломатических постах, а десять лет назад вышел в отставку и занялся коммерческой деятельностью в лондонском Сити.

В скором времени, однако, компания, которую я возглавлял, вопреки нашему желанию, перешла под контроль другой компании — это и есть для меня поистине неприглядное лицо капитализма! И вот впервые в жизни случилось так, что мне нечего было делать. Я вспомнил «Евгения Онегина», достал томик, который мне подарила жена, и решил, так сказать в целях терапии, попытаться его переводить. Кстати сказать, до этого мы с женой успели в свободное время перевести и опубликовать «Записки охотника» Тургенева, этот великолепный образец поэтической прозы. Я пробовал свои силы также в жанре автобиографической поэмы, в которой, среди прочего, описывал то, что пережил, когда был интернирован в Японии. Я написал свою поэму онегинской строфой. Эта форма удивительно удобна — она отличается внутренней гибкостью и может быть использована для передачи любого настроения, но самое главное — она обладает каким-то особым внутренним динамизмом.

Наконец я взялся за перевод, работа над которым заняла два года и три месяца. Закончив свой труд, я подумал, что, пожалуй, стоит попробовать его опубликовать. И что же, нашел я издателя? Нет! Все они говорили одно и то же: «Вещь хорошая, но она не найдет сбыта. Почему бы вам не обратиться к издательству Оксфордского университета?» «Черт с вами совсем,— сказал я в конце концов.— Стану, как Пушкин, азартным игроком». Я нашел пре-

Давид Кугультинов

красного типографа и издал книгу за свой счет, на собственный страх и риск. К счастью, мне повезло больше, чем Германну с его пиковой дамой. Неожиданно, к моему изумлению, появились хвалебные рецензии, и книгу стали раскупать нарасхват. Теперь она вышла уже в дешевом издании в бумажной обложке — серия «Пингвин классик», а в Нью-Йорке — в «Вайкинг пресс», так что я «вернул свою ставку».

Думаю, однако, что гораздо больший интерес, нежели эта моя сугубо личная история, представляет другой вопрос — как Пушкина воспринимают за рубежом и, в частности, как его воспринимают в Англии. Что особенно поражает нас — это необыкновенная многогранность Пушкина, как много, в самом деле, в нем вместилось! За свою короткую жизнь он сумел достигнуть того, что осуществлено усилиями по меньшей мере четырех крупнейших писателей Англии. Он напоминает Чосера, ибо является создателем литературного языка своей страны. Он подобен Шекспиру, универсальному гению, глубоко понимавшему человеческую душу. Подобно Шекспиру, Пушкин — создатель «Бориса Годунова» — явился основоположником жанра исторической драмы. Следующее имя, которое неизбежно возникает в этой связи,— Байрон, в особенности Байрон «Чайльд Гарольда» и «Дон Жуана». Пушкин многими чертами своего творчества (повествовательное мастерство, юмор, остроумие) близок Байрону, но он — по крайней мере по моему личному мнению — фигура более значительная, обладающая многими качествами, которых Байрон был лишен. Пушкин походит также на Вальтера Скотта. В своей «Капитанской дочке» он выступает пионером русского исторического романа — и научного по своему духу, и художествен-

ного одновременно. И наконец, словно бы всего этого было недостаточно, он предвосхитил Сомерсета Моэма и Мопассана, создав «Пиковую даму» — лучший рассказ во всей мировой литературе. Каким гигантом был этот человек!

Д. Кугультинов. Мысли, высказанные вами, перекликаются с мыслями самого Пушкина. Говоря о своих ранних южных поэмах, Пушкин отмечал, что в них он как бы соревновался с Байроном. Надо преодолеть односторонность взгляда Байрона, подчеркивал он впоследствии. Байрону, по словам Пушкина, не хватало умения дать всеобъемлющую, целостную картину жизни. Именно такую картину сумел создать Пушкин в «Евгении Онегине».

Ч. Джонстон. Совершенно с этим согласен.

Д. Кугультинов. Представляю себе трудность перевода «Евгения Онегина». Сам Пушкин в одном из писем Вяземскому писал об этом своем произведении: «Я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница». И это действительно так, потому что роман в стихах никак не подчиняется законам романа в прозе, и перевести стихотворный роман на другой язык еще труднее, чем роман обычный. Пушкин с двадцати лет мечтал вести дневник, который отразил бы всю эволюцию его души. Мы не знаем, насколько последовательно он вел такой дневник; до нас, во всяком случае, дошли лишь фрагменты его. Роман же «Евгений Онегин» был для Пушкина своего рода дневником, отражавшим жизнь его собственной души. Достаточно выразительно об этом говорят хотя бы многочисленные лирические отступления, содержащиеся в романе. Чтобы передать это качество литературного произведения, переводчику надо обладать особенно восприимчивой душой, способной чувствовать все движения души автора оригинала.

Всем известны знаменитые слова Пушкина по поводу «неожиданного» замужества Татьяны: «Какую штуку удрала со мной моя Татьяна!» Так же, начиная «Онегина», Пушкин не знал, что «удерет», что «выкинет» и его герой, Онегин. Причина тут одна: этот роман — сама жизнь, а жизнь непредсказуема, и в этом ее прелесть. Я бы, например, предпочел умереть, если бы в один прекрасный день сказали, что жизнь — всю, с начала до конца — можно предсказать. Роман Пушкина — кусок жизни, и он отражает ее непредсказуемость.

Ч. Джонстон. Мне хочется сказать несколько слов по этому поводу. Жизнь поистине непредсказуема, и будь Пушкин жив сегодня, его ожидало бы немало сюрпризов. Мы были хорошо знакомы с его правнучкой — леди Зиа Уэнер (Zia Wernher) — она и моя жена были в родстве, но не по пушкинской линии. Леди Зиа умерла несколько лет назад. Это случилось утром того самого дня, когда вышел мой перевод «Онегина». Мне очень хотелось, чтобы она получила один из первых экземпляров, поэтому я встал пораньше, чтобы отправить ей книгу по почте. Когда я вернулся домой и раскрыл утренние газеты, я увидел напечатанное крупными буквами сообщение: «Кончина леди Зиа Уэнер». Странный случай — словно бы что-то из Пушкина... Так вот, леди Зиа оставила двух красивых внучек. Обе девушки сделали, как говорится, «блестящую партию» — совсем как пушкинская Татьяна, но, к счастью, при более благоприятных обстоятельствах — они вышли за двух богатейших герцогов Англии: одна — за герцога Аберкорнского, другая — за герцога Вестминстерского. Самого Барда, я думаю, такая развязка позабавила бы, а может быть, и порадовала. Обе молодые женщины обожают Пушкина. Их бабушка была в Москве, и ее там очень хорошо принимали.

Д. Кугультинов. Все это очень интересно. Однако вернемся к переводческим проблемам. Что вы можете сказать об одном из переводчиков «Онегина» на английский — Владимире Набокове?

Ч. Джонстон. Я очень многим обязан Набокову. Он создал великолепный подстрочник, полностью передающий смысл романа: его комментарий к «Евгению Онегину» научен и полезен. Набоков презирал поэтический перевод, а тот дословный перевод, который он предложил вместо стихотворного, по ходу дела так самому ему надоел, что в результате текст, задуманный как буквальная версия, содержит порядочную дозу набоковской фантазии. Однако при всем том я должен признать, что у меня было большое преимущество перед моими предшественниками, пытавшимися переводить «Евгения Онегина» на английский язык: я имел перед глазами набоковский комментарий. С любопытством и не без трепета ждал я отзыва Набокова о своей работе, но, к сожалению, незадолго до ее выхода в свет он умер.

Д. Кугультинов. Хочу высказать одну парадоксальную, а возможно, еретическую мысль. Мне кажется, что даже гениальных поэтов переводить на другой язык могут люди, не знающие языка гения. С другой стороны, думаю, что надо быть или безумным, или недостаточно умным, чтобы пытаться «переложить» Пушкина на неродной язык. Пусть не сочтут меня нескромным за то, что в этом разговоре о Пушкине я сошлюсь на личный пример. Прилично зная русский, я не могу сам переводить себя на этот язык. Я нахожу вроде бы адекватное слово, но каждый раз чувствую: что-то, что существовало в произведении вне слова, что-то важное остается непереведенным — что-то я не нашел, и это делает невозможным для меня переводить самого себя. Когда же мой лучший переводчик, Юлия Нейман, переводит меня, она как бы становится мною,— переводит настолько точно, что я чувствую: да, это — я.

Ч. Джонстон. Я согласен с тем, что переводить следует на свой родной язык; перевод с родного языка на чужой — дело необыкновенно трудное.

Д. Кугультинов. Мне хотелось бы, кстати, остановиться еще на одном поэте — речь идет о Лермонтове. Насколько мне известно, вы, сэр Чарльз, занимались переводом и его произведений.

Советский писатель и ученый, мой друг, Ираклий Андроников тщательно исследовал генеалогию рода Лермонтовых — от шотландца Лермонта до Михаила Юрьевича Лермонтова,— и оказалось, что вся мера таланта, отпущенного этому роду, выпала на долю одного человека — Михаила Лермонтова. Это подтверждается хотя бы его «Демоном».

Интересно было бы познакомиться с вашим переводом «Демона». Я знаю, что вы успешно перевели также пушкинского «Медного всадника» и некоторые из «Маленьких трагедий». Хотелось бы услышать ваш ответ на такой вопрос: что объединяет и роднит такие разные творения Пушкина, как «Евгений Онегин» и «Медный всадник», и в чем вы видите их различие?

Ч. Джонстон. Это еще один пример многогранности Пушкина. В английской литературе нет поэта, который мог бы создать две столь различные вещи. Для меня переводить «Медного всадника» оказалось намного труднее, чем «Онегина». Работа над «Онегиным» была одним наслаждением. Каждое утро я садился за стол с предвкушением радости: мне доставлял особое удовольствие перевод двустиший, заключающих строфу и нередко содержащих в себе веселую шутку или остроту. Эта работа была своего рода восхитительным развлечением. При переводе «Медного всадника» я погрузился в иную атмосферу — более суровую и мрачную, и сама работа требовала большего напряжения сил. Различие между этими творениями Пушкина я вижу в следующем: «Медный всадник» — очень русское произведение, иностранцу трудно во всей глубине постигнуть его дух, проникнуться им. «Евгений Онегин» в этом отношении гораздо более «интернационален», «универсален». Моим английским друзьям неинтеллектуального склада, читавшим роман в моем переводе, он как-то сразу пришелся по душе, а вот убедить их прочитать «Медного всадника» было много труднее. Конечно, иностранным читателям «Евгения Онегина» очень помогает популярность оперы Чайковского. Английский перевод либретто, кстати сказать, оставляет желать лучшего, а некоторые пассажи, например, ария Гремина («Онегин, я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну») или объяснение Онегина с Татьяной в саду, после получения Онегиным письма Татьяны, звучат в английском переводе довольно комично. Существует, как вам известно, и другой музыкальный вариант «Евгения Онегина»— музыка Прокофьева, вдохновленная пушкинским романом и сопровождающаяся в отдельных местах пушкинским текстом. Радиовещательная компания Би-би-си передавала эту вещь несколько раз, и мне приятно сообщить, что отрывки из романа читались в моем переводе.

Вернусь, однако, к «Медному всаднику» — таких вот «внешних подпорок» читательскому восприятию, как опера Чайковского, тут не существует. И все же это — потрясающая поэма, она производит грандиозное впечатление.

Д. Кугультинов. Я абсолютно с вами согласен. Кстати, «Медный всадник», по-моему, самое сложное произведение Пушкина, написан почти одновременно с «Моцартом и Сальери», и между этими двумя произведениями существует внутренняя связь.

Ч. Джонстон. Я заканчиваю перевод «Моцарта и Сальери» и намерен включить его в следующий небольшой сборник своих переводов, куда войдет и перевод «Графа Нулина» — вещи, которая как-то особенно в моем духе.

Д. Кугультинов. Известный советский дипломат Чичерин был большим знатоком искусства. Так вот, по его мнению, самая главная, определяющая черта творчества Моцарта заключается в его «амбивалентности». Искусство, если оно настоящее, должно, как и жизнь, одновременно заключать в себе радость и печаль, боль и наслаждение. Чичерин вспомнил как-то о таком факте, воссоздающем страницу из жизни Моцарта. Композитор слушал две кантаты. Одна была глубоко печальной, другая — радостной, светлой. Моцарт пришел к мысли: не надо воспринимать каждую из кантат в отдельности — их необходимо воспринимать в сочетании, и это родит новое качество.

Прежде чем возникла всем нам знакомая «Джоконда» с ее мерцающей улыбкой, Леонардо написал это лицо по крайней мере пятнадцать раз, и это сочетание пятнадцати Джоконд родило ту Джоконду, которую мы знаем и в лице которой есть и неизбывная скорбь, и необыкновенно светлое ощущение мира. «Евгений Онегин» и «Медный всадник» — каждая поэма по-своему — также представляют собой сплав, сочетание различных взглядов на мир. И Петр Великий и Евгений из «Медного всадника» — все это жизнь. Петр — всадник на медном коне и Евгений — всадник на мраморном льве, спасающийся от наводнения, оба — жизнь, и без каждого из них нет полноты картины. И сама Нева выступает в поэме не как река, а как герой: «Осада, приступ...» — словом действует. Я понимаю всю меру сложности перевода этой поэмы и то что преодолеть эту сложность было нелегко.

Позволю себе задать вопрос: а как был встречен «Евгений Онегин» широким английским читателем? Нам раньше не раз приходилось слышать, будто иностранцы вынуждены «верить на слово», что Пушкин — великий поэт.

Ч. Джонстон. «Онегина» встретили удивительно хорошо. Это было для англичан словно бы открытием. То, что вы заметили, очень справедливо. Пушкина видели сквозь призму опер «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Пиковая дама» Но сколь бы ни была прекрасна опера «Евгений Онегин» — это ведь не настоящий Пушкин, не полный Пушкин. Какие-то черты трагического поэта, романтического поэта сохранены, но нет того искрометного, порой насмешливого и скептического Пушкина, который предстает со страниц его книг. В Пушкине было что-то от XVIII века, от вольтеровского остроумия. Опера, конечно, не дает этого почувствовать. Она — дитя XIX века, и в ней элементы XVIII века, столь очаровательные в Пушкине, отсутствуют.

Д. Кугультинов. В связи с вашей работой и всем тем, что здесь говорилось, я

вспомнил строку одного английского поэта, кажется, Китса: «Далеко — в человечестве». Пушкин после вашего перевода сделал еще один шаг «в человечество». Народ, к которому я принадлежу, калмыки, испытывает благодарность к Пушкину за многое. У него есть прекрасное стихотворение — «Калмычке». Помимо известной строки в «Памятнике» он много раз упоминает калмыков по различным поводам и в «Евгении Онегине». Так, в главе «Путешествия Онегина» Пушкин, рисуя кавказский ландшафт, пишет: «Пасутся овцы калмыков»; в главе шестой, набрасывая портрет Зарецкого, он рассказывает о том, как

> он отличился, смело в грязь
> с коня калмыцкого свалясь...

Подобных упоминаний рассыпано всюду множество. И они не случайны. Разрабатывая историю пугачевского восстания, Пушкин специально изучал историю калмыков, сыгравших в нем немаловажную роль. Существуют свидетельства, что Пушкин с большим уважением относился к этому народу. А между тем калмыков на свете насчитывается всего-навсего 150 тысяч! Когда я бываю за рубежом и встречаюсь с иностранными читателями, они обычно думают — я убедился в этом, в частности в Японии,— что калмыков, наверное, несколько миллионов. Таковы волшебство, магия поэзии. И когда меня спрашивают, в чем вы видите отличие классической русской литературы, представленной Пушкиным, от всех других литератур, я, как калмык, отвечаю на этот трудный вопрос тремя словами: «В отсутствии высокомерия».

Ч. Джонстон. Это очень верно. Мне вспомнились слова Герцена о русском языке, сказанные, когда он обнаружил, что в Московском университете в большой моде немецкий язык. Как они могут, возмущался он, предпочитать немецкий язык, когда их родной русский способен уловить и передать самые разные оттенки настроения с такой непревзойденной ясностью и выразительностью.

В частности, цитируя известную пушкинскую строчку: «Жизни мышья беготня»,— он отмечал, что русское ухо может различить даже эту «мышью беготню». Я полагаю, что он подразумевал не только деловую суетню, из которой в столь большой мере состоит человеческая жизнь, но и те еле слышные шорохи, которые доносятся до нас, когда мышь возится за стенной переборкой, то есть он имел в виду ту особую тонкость слуха, которая позволяет человеку улавливать звуки, не слышные для других. Пушкин обладал этой способностью в высочайшей степени. То же самое можно сказать о Тургеневе и о Чехове. У Толстого же, например, я обнаруживаю ее в меньшей мере. Если говорить о европейских писателях прошлого и настоящего, то Джейн Остин такой чуткостью обладала, а Вальтер Скотт — нет; Пруст обладал, а Бальзак — нет; Антони Пауэлл обладает, Пристли — нет. Тонкость слуха — скорее сугубо русская особенность.

Д. Кугультинов. Согласен, конечно, но это не противоречит тому, что я сказал, а дополняет мою мысль. Для определения целостной картины жизни Пушкин использовал все средства художественной выразительности: умел передать ощущение и звука, и цвета, и эффект осязания. Были у него и свои измерения явлений. В наше время мы, может быть, обратились бы для определения «беготни жизни» к мерам точных наук, микронам, а Пушкин нашел для такого определения слово «мышья».

Сэр Чарльз, вы рассказывали о том, как были интернированы в Японии, как волей обстоятельств стали изучать русский язык.

В связи с этим мне вспомнилось мое собственное пребывание в Японии. Мне очень понравилось, как японцы производят слово «мы» от слова «я». Прислушиваясь к голосу нашей переводчицы, прелестной японки Мари Ионахара, я заметил, что она все время повторяет одно слово: «варе-варе». На мой вопрос, что это означает, она ответила, что «варе» означает «я», а «варе-варе» — «мы». У Пушкина «мы» — это он: для него «я» и «мы» неразделимы.

Мне хотелось бы сказать добрые слова о прекрасном английском языке, который в свое время был для нас языком, помогшим приобщиться к культуре многих народов. Пушкин — явление всемирное, и теперь, через английский язык, его произведения станут известны большой части человечества.

Сам Пушкин знал английский язык, хотя начал изучать его, будучи уже зрелым человеком. Он считал знание английского языка необходимым, чтобы быть на уровне современной культуры. Пушкин осознавал, очевидно, значение своей поэзии — иначе он не написал бы «Памятник»,— и именно потому, я думаю, он понимал необходимость знания для себя английского языка.

Ч. Джонстон. Благодарю моего собеседника и всех тех, кто так радушно принимал меня сегодня. Я намерен продолжать свою переводческую работу. Хотел бы обратить ваше внимание, однако, на тот факт, что я не только перевожу, но и пишу оригинальные стихи и буду благодарен, если ваша критика на них отзовется. В мой следующий небольшой сборник войдет повесть в стихах о последних днях Римской империи, а также переводы японских хайку.

Диалог подготовлен с участием В. ИСАКОВИЧ.

◆

Н. ФЕДОРЕНКО

НЕРАЗДЕЛИМОСТЬ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

К проблеме героя в современной болгарской литературе

Архитектурные памятники Софии — одно вдохновение. Старинные дома, святилища, скульптурные творения, монументы и обелиски. Разное время, разные мастера, стили, краски.

Орлов мост... Здесь камни и растения. Всегда людно, оживленно. Нет, не призрачный это памятник прошлого. Потоки стремительных вод подхватывают листья, облетевшие с крон деревьев, на которых разлита солнечная позолота. Неподалеку — обугленное грозой старое дерево, но как прекрасно, дивно светится оно на бледном срезе. Какое, должно быть, смятение бурлило в стволе, в ветвях, в корнях этого дерева, когда гроза свалила его, а люди распилили на куски.

Совсем как у Михаила Дудина, в «Стихах перед упавшим деревом», с которым поэт вместе рос в чистом поле на вольной воле. Шумело дерево зеленой кроною, с бурями умело спорить, руками молнию ловило:

В его ветвях, в его купели,
Встречая солнце, птицы пели.

В его тени играли дети.
...И это кончилось на свете.

Рядом — небольшой розоватый камень в виде скального обломка. Скромный, совсем незаметный. И редко кто обращает на него внимание, еще реже задается вопросом, откуда он, какова судьба его, зачем он здесь.

С соседних деревьев доносятся печальные голоса лесных горлиц. Они будто зовут кого-то протяжным своим плачем, жаждут отклика и понимания.

И во всем — движение времени, которое движется вместе с течением реки, словно образуя мост между прошлым и будущим, если вообще можно говорить о колеях минувшего и грядущего. Только человеку, по слову поэта, дано держать переправу между прошлым и будущим. И остаются воспоминания, продолжающие жить в сознании. Память человека, память истории.

У каждого свое восприятие и ощущения. Свои травы, деревья, дожди и метели. Свой купол небосвода. Свой, привычный с детства, близкий сердцу мир природы. Приобщение к прекрасному, которое однажды возникает у человека и никогда не прекращается в земном его существовании.

Под кронами деревьев — дети, рисующие мелом на сером асфальте лики солнца, птиц, цветов. Они хотят видеть небо чистым, не омраченным ядерным апокалипсисом. Выводят слова о мире и дружбе. На кириллице, которая для них нечто само собою разумеющееся, свое как данность. А часто ли мы задаем себе вопрос, как возникла эта азбука, как создавалась, каковы мудрые ее первоистоки?

Но не одни воспоминания приходят на ум, когда глядишь с Орлова моста на уходящие потоки. Воспоминания рождаются попутно, будто образуя фон для многомерных событий и встреч с людьми. За разнохарактерностью, своеобразной мозаичностью, а то и эскизностью впечатлений воскресает в потоке сознания нечто значимое — то, чему предстояло стать незабываемым, словно увиденным сквозь «магический кристалл», который осязаемо приблизил связи времен и чувств. Невольно вспоминаются слова поэта о том, что приходит пора воспоминаний — «необратимая пора раздумий, горестей, признаний, где слиты завтра и вчера».

Возвращаясь к минувшему в жизни, мы не просто говорим о значении для нас того, что было в нашем бытии, но воскрешаем в памяти дорогие нам вехи собственной судьбы. И это наполняет ожившие видения особым светом душевной притягательности.

Встреча с болгарской литературой

Эта встреча и живой интерес к литературе Болгарии связаны для меня прежде всего с Международной Софийской конференцией писателей 1977 года. Тогда мне впервые удалось лично узнать многих литераторов Болгарии: Младена Исаева, Дору Габе, Эмилияна Станева, Павла Вежинова, Благу Димитрову, Георгия Джагарова, Андрея Гуляшки, Камена Калчева, Евтима Евтимова, Пантелея Зарева, Пенчо Данчева, Николая Хайтова, Ефрема Каранфилова, Николая Христозова, Слава Хр. Караславова, Лучезара Еленкова, Андрея Германова, Божидара Божилова, Тончо Жечева и других мастеров слова.

К этому времени относится и мое знакомство с Любомиром Левчевым — поэтом, человеком, коммунистом, чье творчество было известно мне и ранее по публикациям его стихотворений на русском языке. То было первое приобщение к таинствам его поэтического искусства, манящего своею кажущейся доступностью, но остающегося во власти все тех же таинств, которые несет в себе человек. Как тут кстати слова Поля Валери — ему это было понятно: «Сколько бы ни считали мы шаги богини, сколько бы ни измеряли их частоту и среднюю их протяженность, это не объяснит нам секреты ее стремительных чар». Добавим высказывание В. Даля с его добрым староязычием, который называет чудом «явленье, кое мы не умеем объяснить по известным нам законам природы». Чудо искусства, живописи, ваяния.

Произведения Любомира Левчева отличает истинная поэтичность. Ею отмечен, например, сборник его стихов «Пристрастия» [1] в переводах таких поэтов, как А. Сурков, Е. Винокуров, Е. Евтушенко, Л. Озеров, Р. Казакова, Ю. Левитанский, В. Корчагин, М. Кудинов, М. Павлова, В. Соколов. Мир, труд, интернационализм — главные земные сущности, заложенные в его поэзии. Особенно запомнились «Разговор с Димитровым», «Знак в предсердии воспоминаний», «Поэт, скажи, что грустно так притих?..», «Песенка о Мамаевом кургане»:

. . . . . .

У каждого есть этот
холм, эта пядь,
за которые следует
насмерть стоять.

И вчера была,
и сегодня есть,
как необозримая вершина,
встающая над русской эрой,—
человеческая честь!
От горести и от гордости
встает великан:
мой дорогой, мой святой
Мамаев курган!

(*Перевод Е. Винокурова*)

Наиболее существенными представляются мне такие качества автора, как широта его взгляда и идейная зрелость, внутренняя взволнованность, патриотическая приверженность и чувство интернационализма. Идейно-нравственная мера поэтического постижения действительности — устойчивый критерий деятельности художника. Главные удачи поэтического творчества Любомира Левчева рождены непосредственной его связью с жизнью.

Каждое стихотворение Любомира Левчева — это поступок, утверждение позиции, лежащей в основе миропонимания авторской личности. Он не стремится добывать творческую руду в верхнем пласте реальности. Искусство его свободно от самоуспокоенности и самообольщения. Скорее ему присуще чувство неудовлетворенности собой, рождаемое внутренним горением, неистребимым стремлением к высшему, к самосовершенствованию. Не в этом ли свидетельство талантливости поэта, который по предназначению самой природы должен обладать даром провидения и мятежности. Только эти качества дают возможность создавать ценности, которые выдерживают испытание временем и становятся величинами постоянными — неразменным духовным фондом поэзии социальной причастности, творческого динамизма, гражданственности.

Любомир Левчев — поэт с ощущением личной ответственности за судьбы человека и человечества, ибо нет для него чужой беды, чужих невзгод. Отсюда берет начало глубокое понимание взаимосвязи всех звеньев исторической цепи с современностью, с днем нынешним, с его землями и народами.

Чили,
была ты
республикой странной
на другом краю
земного шара,
теперь
ты моя
длинная рана
от сабельного
удара.
Длинная рана,
врага монограмма,
по побережью души идущая.
Но кроется чудо
в этих шрамах —
они
узнают
грядущее.
Болит во мне Чили —
значит,
ребята,
завтра в небе
не будет тумана.
Все изменится завтра,
заблестит
наше солнце!
Это мне
говорит
моя рана.

(*«Рана». Перевод М. Павловой*)

В дни, когда разворачивалась подготовка к первой Международной встрече писателей, мне посчастливилось быть в Софии. Любомир Левчев, один из организаторов встречи, произвел на меня впечатление человека редкостной целеустремленности, идейной и духовной цельности, которая проступала в его постоянной сосредоточенности и излагаемых воззрениях. Поэт, думалось мне,— это личность, выражающая себя и свое миропонимание не в одних лишь стихах. Столь же явно проявлялись необыкновенная его деловитость и организаторские способности.

Ценность наших идей доказывается их практической реализацией. В этом человеке чувствуется нечто глубоко индивидуальное, сродни его поэтическому стилю, подтверждающее, что «стиль — это человек». От него

[1] Любомир Левчев. Пристрастия. Избранные стихи. М., «Прогресс», 1977.

постоянно исходили благожелательность, заинтересованное участие, личная приязнь. Радовала непринужденность его и самокритичность, склонность к юмору, не чуждого сатирической остроты.

Вспоминается, с каким успехом прошел его творческий вечер в Московском политехническом — прославленной аудитории, где выступал Маяковский и многие самые яркие советские поэты. Событие это трудно не назвать символичным. Окруженный созвездием поэтов, Левчев предстал тогда перед взыскательным советским любителем поэзии и как одаренный лирик, и как продолжатель лучших традиций революционной и гражданской поэзии.

Гуманистическая задача литературы социалистического реализма, с которой органически связано творчество Любомира Левчева,— борьба за полноту и одухотворенность жизни человека среди людей, отвергающая смирение и пассивность перед стремительным бегом времени, не приемлющая беспомощный излом покорности в «бешеном ритме века».

Болгарский народ обладает великим даром — умением ценить человеческую приязнь и братство, которые всегда в памяти, в труде и битвах. Не потому ли качества эти нашли воплощение в выдающихся произведениях болгарской литературы и искусства? Современная болгарская литература формировалась как литература интернационалистов. Она исполнена высокой идейности. В ней нерасторжимы понятия коммунизма и интернационализма. Болгарские писатели никогда не бывают сторонними наблюдателями жизни. Они живут великими делами своего социалистического отечества, заботами всего болгарского трудового люда.

В статье секретаря ЦК БКП Стояна Михайлова «Воспитывая нового человека» говорится, что жизненная активность болгарских тружеников способствует сплочению народа, социалистического общества, формированию таких качеств, как интернационализм и патриотизм. «Нашим людям,— отмечает он,— присущи целеустремленность, внутренняя культура. Все это развернулось настолько широко, что дает возможность считать: на настоящем этапе в результате объективных изменений в обществе и воспитательной работы партии облик страны определяет социалистическая личность. Это одно из основных завоеваний реального социализма в Болгарии. Это мощный стабилизирующий фактор, который исключительно благоприятно отражается на темпах социалистического строительства».

Социалистический гуманизм, как известно, обращен против всяческих попыток унизить человека, разрушить его неверием, враждой, насилием, террором. Сокровенные помыслы честных людей направлены на то, чтобы расцвела на планете жизнь истинно справедливая — без войн, без междоусобиц, насилия и тревог, чтобы утвердило себя общество гуманное, равноправное, созданное для радости и счастья человека. Но, говоря о долге интернациональном, мы нисколько не приглушаем в себе чувства сыновней преданности родной земле, признательности воспитавшему нас народу. Для нас естественно живое чувство гордости за героическую историю своего народа, его традиции, язык, являющиеся живыми корнями, из которых вырастает духовная наша культура.

Подлинное искусство слова, проникнутое общечеловеческой мыслью, свободно от национальных ограничений. Это, однако, вовсе не означает, что оно лишено таких критериев, как время и место его возникновения, своеобразие века и родного очага, оригинальность и самобытность. Напротив, именно благодаря всему этому, очевидно, подлинные творения искусства выходят за пределы национального происхождения и становятся фактом художественного творчества человечества.

На съезде болгарских писателей

В октябре 1980 года в зале Народного собрания Софии проходил IV съезд писателей Болгарии. Знаменательно, что на открытии съезда присутствовали члены Политбюро ЦК БКП во главе с его Первым секретарем, Председателем Государственного совета НРБ Тодором Живковым. Разве сам по себе факт этот не о многом говорит? Когда еще правящая партия придавала такой вес творцам художественных ценностей в какой-либо не-социалистической стране?

С приветственной речью обращалась к съезду Людмила Живкова, член Политбюро БКП, председатель Комитета по культуре, отмечавшая значительность успехов болгарской литературы, их самоочевидность,— искусство слова болгарских писателей снискало высокую оценку в своей стране и за ее пределами.

«Единство и сплоченность болгарской художественной интеллигенции вокруг апрельской линии и политики партии, возникшая на этой основе ясная творческая атмосфера,— говорила Л. Живкова,— наше общее большое завоевание. Тот, кто этого не видит — не видит главного и определяющего в нашей культурной жизни. Тот, кто в той или иной форме посягает на это, тот посягает на самое важное — на фундамент, от которого зависит все остальное».

С докладом, озаглавленным «Время героев», выступил на съезде председатель Союза болгарских писателей Любомир Левчев.

Съезд писателей проходил в канун празднования 1300-летия основания болгарского государства. Страна готовилась не просто к большому торжеству, но к подведению итогов, к переосмыслению огромного, неповторимого и выстраданного опыта Болгарии, чей народ — по словам Левчева — еще в средние века выступил против «всесильных догм, противопоставляя им культуру, искусство и прежде всего литературу, выражающую его духовное своеобразие, открытую для Востока и Запада, Севера и Юга. Эта культура завещала нам такие шедевры, что и сегодня мы восхищаемся пророческой их силой...»

Обобщая опыт пройденного пути, докладчик остановился на вкладе писателей в титаническую борьбу болгарского народа за построение нового — более человечного, более свободного, более гармоничного общества. «Путь, который нам предстоит пройти,— подчеркнул он,— определен священным долгом гражданина и художника перед

коммунистическим будущим Болгарии, перед общечеловеческой культурой».

В докладе Л. Левчева отражена была творческая деятельность Союза писателей на протяжении ряда лет, в нем концентрированное выражение нашли основные проблемы, которыми живет литература народной Болгарии. И потому хотелось бы привести некоторые записи, сделанные мною, гостем съезда.

Л. ЛЕВЧЕВ ОБ ОПЫТЕ ИСТОРИИ И РОЛИ ЛИТЕРАТУРЫ (ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ). Высокая культура, искусство слова не только сопутствовали болгарской государственности, они в известной мере определили ее развитие, придавали болгарам такую уверенность в себе и такую духовную силу, что, когда утрачивалась государственная самостоятельность и независимость, народ называл эти действительно мрачные периоды словом рабство, хотя в общей исторической терминологии такие периоды именуются более благопристойно, говорил Левчев. «Но для народа Кирилла и Мефодия, Климента Охридского и Черноризца Храбра, патриарха Евтимия и Ивана Рильского, Паисия Хилендарского и братьев Миладиновых, Георгия Раковского и Христо Ботева, Христо Смирненского, Васила Левского и Николы Вапцарова любое попрание всеобщей и неделимой свободы называется рабством. Непримиримый и беспощадный к поработителям, болгарский народ не раз демонстрировал свою любовь, признательность и дружеские чувства к народам, которые своей кровью платят за свет общечеловеческой свободы. Интернациональное это чувство так характерно для болгарина и так необходимо сегодня. То, что великий русский народ дал болгарскому народу, он дал и многим другим народам, а в годы страшной второй мировой войны — всему человечеству...»

Вглядываясь в прошлое своей литературы, болгары «преклоняются перед ее пахарями и сеятелями, которые шли за плугом слова и разбрасывали зерно вдохновения от зари болгарской культуры до нынешнего дня. Важно при этом, что партия, которая сразу после освобождения Болгарии подняла брошенное буржуазией знамя национальной революции, чтобы водрузить его на более крутых и высоких баррикадах классовой борьбы,— эта партия с момента своего рождения ввела художественное слово в свой арсенал как самое верное оружие. Сегодня сама природа художественного творчества и сущность марксистско-ленинской идеологии предопределяют взаимосвязь между революционным и литературным процессом... это была трудная борьба за души людей, за утверждение принципов социалистического реализма».

Новый этап в развитии болгарской литературы предопределил Апрель,[1] ознаменовавшийся могучим приливом социалистического гуманизма. «Лед догм периода культа личности был растоплен бесповоротно, и выплеснулось на волю полноводие новой жизни».

«В сердцах болгарских писателей живут принципы художника социалистического общества, сформулированные товарищем Тодором Живковым: «Ближе к народу, ближе к жизни!», «Последовательно проводить в литературе классово-партийные критерии»... Мысли-компасы и мысли-оружие для всех, кто сражается на огневом фронте настоящего...»

Вслушиваясь в речь докладчика, я мысленно перенесся в зал Международной встречи писателей в Софии, к участникам которой Тодор Живков обратился с приветствием.

«Кто знает историю Болгарии,— говорил тогда Тодор Живков,— тот поймет, почему болгарский народ относится к поэтам и писателям с таким уважением, с такой любовью, с таким доверием. В лице своих поэтов и писателей наш народ всегда имел верных сыновей, свою духовную опору, свою совесть, свой голос, свои боевые знамена. В многовековой летописи нашей родины нет такой страницы, на которой не звучало бы вдохновенное слово творца — известного писателя или безымянного народного певца. В наших городах и селах нет такой братской могилы погибших за свободу и счастье народа, в которой бы не покоился прах поэтов и писателей. Имена поэтов и писателей с честью и гордостью носят города и села, фабрики и заводы, кооперативные хозяйства, школы, клубы-читальни, театры. Судьба творцов болгарской литературы неотделима от судьбы болгарского народа».

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. «Младен Исаев или Дора Габе, Димитр Талев или Эмилиян Станев, Атанас Далчев или Ангел Тодоров, Павел Вежинов или Веселин Ханчев, Иван Мартинов или Блага Димитрова, Станислав Сивриев или Александр Геров — это непрерывное биение сердца живого таланта... недавно вновь пробудились лирические струи в творчестве Георгия Джагарова и Димитра Методиева... Продолжение и утверждение демократического и реалистического начала в их родственной связи — одно из достижений апрельской литературы, проявившей свою способность творчески воспринимать ценностный опыт различных веков, различных цивилизаций и народов, сохраняя свою национальную болгарскую самобытность. Литературе, обладающей такой способностью к обогащению, принадлежит важная роль в расширении национального самосознания. Активное начало присуще произведениям Камена Калчева и Андрея Германова, Владимира Голева и Лучезара Еленкова, Николая Христозова и Бориса Христова, Тончо Жечева, Слава Хр. Караславова и многих других. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Апрель — это не только политическое, но и творческое единство болгарских писателей».

И думалось мне: да, эти люди, придя в современную литературу, обогатили ее новым своим ви́дением мира, остротою наблюдений, свежим языком, почерпнутым из артезианских глубин народной речи...

[1] Имеется в виду Апрельский пленум ЦК БКП 1956 года.

Творчество всех этих писателей обращено не только к разуму. Переливы красок, выразительность природы, гармония звуков вдохновляют современников и передают потомкам память сердца и души о своем поколении, о времени, его треволнениях и мечтах.

К проблеме положительного героя

Тема доклада Л. Левчева «Время героев» рождена самой жизнью — «поскольку наше время действительно героично, оно ищет и находит своих верных рыцарей». И, напоминая о том, что личность формируется под влиянием примеров и образцов, что каждое общество воспитывает своих сыновей на примере героев, Л. Левчев со всей закономерностью обратился к образу коммуниста — ибо кто иной, как не коммунист был ярким героем, именно ему довелось создавать новое время, и новое время создавало его. У него были свои черты, которые сделали его бессмертным как обобщенный человеческий образ.

Касаясь в этой связи западной литературы, докладчик указал на то, что в ней наблюдается исчезновение положительных героев. Хотя, разумеется, в наш век американская литература создавала шедевры, но шедевры нередко своеобразные, обнажающие гнилостность капитализма и империализма, показывающие несчастного, маленького, отчужденного и какого угодно еще человека — только не героя, на которого читателю хотелось бы походить. Озабоченные этим явлением, буржуазные критики пытаются объяснить дегероизацию непонятным для них нарастанием чувства сострадания к бедным и слабым. Нужно, однако, верить трезвым суждениям о том, что в буржуазных странах опасность состоит в отрыве культурной жизни от общественной. Дегероизация — это по существу дегуманизация, связанная со всеобщим закатом капиталистической системы.

Эти же мысли совсем недавно развивал в одной из своих работ советский ученый М. Б. Храпченко. «Постепенное угасание героя, отказ от него в творчестве многих неоавангардистов,— справедливо отмечал он,— представляет собой не новаторское открытие, не движение вперед, а отражение прежде всего тех процессов нивелировки человеческой личности в капиталистических странах, которые в последние десятилетия решительно усилились. Весьма важное значение в принижении роли героя, в отказе от него имеют, с другой стороны, явления дегуманизации искусства. Если человек вообще признается объектом ненужным, обременительным для художественного творчества, если на первый план выступают словесное экспериментаторство, повествование о самом повествовании, в живописи — сочетание красок самих по себе, в силу их якобы внутренней выразительности, то совершенно излишним становится и герой произведения. Одно тесно связано с другим» («Вопросы литературы», № 11, 1980, с. 191).

Проблема положительного героя в литературе стала одной из центральных в докладе Л. Левчева. «Создание положительного героя нашего времени,— подчеркнул он,— священный долг, высшая задача, которая стоит перед писателями-гуманистами и демократами всего мира. Еще на Первом съезде Союза советских писателей эта проблема во всей ее сложности была поставлена М. Горьким. Советская литература создала самых ярких героев нашего века. Она дала нам пример того величайшего чуда, на которое способно искусство, когда герои, рожденные жизнью, вобравшие в себя черты живых людей, снова возвращаются в жизнь, дают свои имена новым поколениям героев... Здесь мы видим не только высокую миссию искусства слова, но и еще одну закономерность: герои рождают героев...»

Не случайно эти раздумья своеобразно перекликаются с тем, что говорилось на VII съезде писателей СССР, в частности, с выступлением Юрия Бондарева, который сказал: «Я утешаюсь мыслью, что история и искусство рано или поздно поверяются пробным камнем жестокой правды, и тогда за все надо платить. Поэтому герой нашей серьезной литературы, чем бы он ни занимался в обществе, всегда должен чувствовать себя как бы стоящим перед высшим судом совестливого разума».

Полагаю, что окажусь не столь уж далеко от истины, упомянув о том, что новое в жизни, людях, новое в искусстве слова, герое — в этом главный смысл писательского труда нашего времени. Именно здесь таятся безграничные возможности художественного постижения всего богатства духовного мира нашего современника.

Слушая доклад Любомира Левчева, я все более проникался мыслью, что глубина и зрелость произведения обусловливаются прежде всего зрелостью и духовной силой главного героя. Именно об этом шла речь на съезде болгарских литераторов — об ответственной миссии творца, жизненной активной позиции писателя, о том, что создание подлинного героя литературы зависит от личности самого автора, его таланта, духовной, нравственной силы. Художественное освоение жизненного материала нерасторжимо с философским осмыслением современности и духовного наследия всего, что было создано народом в прошлом.

К прошлому, к истории болгарский писатель обращается не ради того, чтобы воскрешать навсегда ушедшую жизнь, но затем, чтобы обратить во благо современности все высокое и доброе, что было достигнуто за долгую историю творческим гением человека на родной земле и за ее рубежами. Если бы далекие и близкие пращуры наши впадали в отчаяние и прекращали битвы за вольность и самобытное существование народа, как им было бы выдержать нашествия чужестранцев, ненавистное иго, в том числе пятисотлетнее османское порабощение болгар?

История и современность, их нерасторжимая взаимосвязь естественно вызывают пристальный интерес у писателей не только Болгарии, но и у литераторов других социалистических стран, стремящихся исследовать жизнь, озаренную светом будущего. Неизбежно возникает вопрос, где в литературе кончается современность и начинается история, каковы пути их соприкосновения в

художественном образе, в обрисовке судеб героя? Нельзя при этом не принимать во внимание самый характер народа, который определяет природу его духовности, следовательно, и его искусство слова. Мы знаем, что наиболее ценны те произведения литературы, которые полно и достоверно отразили историю народа, его подвиги, судьбоносные его битвы. Творец духовных ценностей живет в современности, но в нем самом отзывается и живет история.

С нашей точки зрения, наблюдаемый процесс в болгарской духовной жизни — усиленное внимание художников к историческому осознанию судеб народа и развития человеческой личности, характеров героев, глубинной философской мысли — нерасторжим с болгарской классикой, на великом фундаменте которой выросло современное искусство слова. Обращенность современной литературы к классике, несомненно, ориентирует на высокую меру в искусстве слова.

В мае 1981 г. в Москве состоялся «круглый стол», на обсуждение была вынесена проблема: «Герой истории, герой современности». «Историческая тема,— говорил Камен Калчев во время этого совещания,— всегда связана с современностью. Трудно представить себе произведение, основанное на материале истории, которое не имело бы выхода к актуальным проблемам эпохи. Такие крупные даты в жизни болгарского народа, как 1300-летие основания болгарского государства, 90-летие создания нашей партии, 100-летие со дня рождения Георгия Димитрова, нашли и находят отражение во многих произведениях литературы. Но центральной темой литературы Болгарии остается день сегодняшний, проблемы и заботы нашего современника».

Проблема героя, как и все на земле, не лишена своей диалектики. Образ героя литературы нынешней определяется национальным характером народа и новыми условиями, порожденными социализмом. Не потому ли художник нередко видит свою задачу в том, чтобы творчество его способствовало материалу истории входить в современность, а современным идеям служить созданию истории? С этим связано и ощущение оптимизма, который звучит в произведениях, отличающихся глубоким историческим мышлением и острым ощущением современности.

Несколько слов о политике и художнике.. Опыт нынешней жизни свидетельствует, что писатель в современном обществе решительно не может уклониться от политических проблем своего времени. Всегда ли так было? Едва ли. Люди XIX века могли, к примеру, сказать: политика, мол, не наше дело. Это удел других, а мы заняты чисто эстетическими проблемами, творчеством, пишем для меньшинства, а может и лишь для избранных. То было возможным в эпоху, когда политика и история не вошли еще в жизнь каждой личности, не приобрели той всеохватности, какую получили ныне, после Великого Октября.

Завершение девятнадцатого века, по существу, наступило в 1917 году. В известном смысле можно сказать, что, начавшись с французской революции, XIX век закончился революцией в России. Век этот, следовательно, длился гораздо дольше обычного столетия. В 1917 году завершился старый и начался новый век, век двадцатый. И теперь, когда противостояние двух принципиально разных общественных систем стало очевидным и в такой степени затрагивает каждого из нас, ни один литератор не может оставаться равнодушным к самым жгучим проблемам века. Истинную литературу, подлинное художественное произведение ныне просто невозможно создать, не являясь политически мыслящим человеком. Неприемлимо само представление о писателе, деятеле искусства, стоящем вне политики. Это и самообман, и обман эпохи.

Л. ЛЕВЧЕВ О НОВОМ ЛЕТОСЧИСЛЕНИИ В ПРОБЛЕМЕ ГЕРОЯ (ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ). «Победа народно-демократической революции 9 сентября 1944 года открыла двери новой эпохе в истории болгарского народа. Началось новое летосчисление. И уже нельзя говорить о современном герое, не начав с нового его летосчисления. Настоящее изучение и художественное воплощение героя и его времени невозможно без глубокого знания движущего противоречия общественного развития в конкретный исторический момент».

В этот период, характеризующийся огромными переменами в жизни болгарина, развивалась и крепла болгарская литература. Принципы социалистического реализма в литературе закреплены появлением значительных произведений. Расцвет получили роман и драма, публицистика и поэзия. В каждой области был создан обобщенный духовный портрет героя нашего времени.

Не преуменьшая достижений болгарской литературы социалистического реализма, Л. Левчев отмечает, что портрет героя нашего времени остается незавершенным. Может быть, это связано с инерцией, оставшейся от периода догм и схем. Самый большой ущерб, который нанес этот период, состоял в том, что положительный герой был скомпрометирован. Писатели начали оказывать предпочтение судьбе забытого на некоторое время маленького человека. Появились образы со сложным, даже чересчур усложненным душевным миром, но без той определенности и целеустремленности, которая характеризует подлинных героев социалистического строительства. К этому нужно добавить и влияние распространившейся в мировой литературе тенденции к дегероизации, а также примирительное отношение нашей теории и критики к отрицательным явлениям в литературе. Вопрос о положительном герое не был поставлен литературной критикой с необходимой ясностью и твердостью. Один из недостатков многих наших героев — их слабая политическая и социальная активность. Они как будто не могут и не смеют выразить определенного отношения к актуальным проблемам и явлениям окружающей жизни. Они недеятельны, или, точнее говоря, действие их ведет, а не они действие.

Что же касается конфликтов и движущих противоречий, то они не исчезнут, пока существует общественное развитие. Сегодня конфликт между старым и новым перенесен в экономику, в науку, в душевный мир че-

ловека, а это значит, что он присутствует и в искусстве. Это движущее противоречие между теми, чье сознание соответствует современному этапу развития, и теми, чье сознание отстает и, следовательно, мешает развитию.

Идеальный герой или герой, обладающий идеалом?

Да, успехи и завоевания не дают права закрывать глаза на слабости, на известные отклонения от присущего болгарской литературе гражданского пафоса, на проявление герметизма, камерности и психологизма как самоцели, на отдельные случаи мелкотемья. Отсюда вытекает задача — повышение идейности и интеллектуального уровня литературного творчества. Прошли давно времена литературы без конфликтов и противоречий. Речь ныне идет не об идеальном герое, но о герое, обладающем идеалом. Примечательно в этой связи выступление Ф. Абрамова на VII съезде советских писателей: «Нравственная активность человека, способность быть верным голосу совести и справедливости — не в этом ли подлинный героизм? Героизм непоказной, некрикливый, который еще мало понят и оценен нами. В нашей литературе и критике обычно преобладает одностороннее и потому упрощенное понимание героического, когда героя наделяют чуть ли не всеми возможными и невозможными добродетелями и даже сверхчеловеческими качествами. Казалось бы, ясно как божий день: подвиг человека, подвиг народа измеряется масштабом содеянного, мерой жертв и страданий, которые он приносит на алтарь победы. А у нас то и дело слышишь голос перепуганного перестраховщика: это сгущение красок, это очернительство, это снижение героического облика народа... Да чернят и унижают народ перестраховщики, лжедрузья, те, которые всякого рода ватными прокладками и обертками крутых спусков и поворотов истории обесценивают и умаляют народный подвиг!»

Л. ЛЕВЧЕВ О КРИТИЧЕСКОМ НАЧАЛЕ. (ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ). Положительный герой самим своим существованием, своей сущностью неотделим от беспощадной критики любой слабости и несовершенства, которые могут быть и обычно бывают и в нем самом, говорил Левчев. Это критическое начало, как одна из существенных черт героя, напоминает нам о бесспорных успехах в области сатиры, и если кто-нибудь спросит: «Где ее положительный герой?», то можно ответить, что это смех, а смеясь, человечество расстается со своим прошлым. Положительный опыт литературы социалистического реализма показывает, что и трагизм не является табу для нашего сегодняшнего героя. В этом нас убеждают такие произведения, получившие высокую оценку у читателей и у времени, как «Дороги в никуда» Б. Райнова, «Последнее лето» Й. Радичкова или «Барьер» П. Вежинова.

Настоящее искусство слова призвано поднимать и решать главным образом проблемы не преходящие, конъюнктурные, но общечеловеческие, вечные. Это, разумеется, не означает, что искусство живет одними лишь вечными проблемами. Множество их — проблем актуальных, злободневных, сегодняшних, требующих своего решения,— тревожит современника, общество, народ. И едва ли есть такая проблема, если она действительно жизненна, которая стояла бы вне сознания художника, вне творческих его задач.

Главное, чем жива литература,— это человек, битва за него, за духовное его совершенствование и созидательную деятельность. Именно в этом видится нам смысл жизни и смысл искусства слова, обращенного к общественным интересам и верному, наиболее гуманному марксистскому мировоззрению. Не пылить протоптанными дорогами назначена литература социалистического реализма, а быть первооткрывателем новых явлений, общественной, трудовой, нравственной жизни народа.

В памяти всплыли слова Олеся Гончара, сказанные в одной из наших бесед, о времени и художнике. Время это, говорил он, больше, чем когда-либо, требует от художника мужества и страстности. Делом нынешней литературы со всей очевидностью становятся не только исследование внутреннего мира человека, поддержание нравственных основ его жизни. Не менее важна в нынешнюю эпоху — эпоху исключительную по степени опасности для человека — забота об условиях самого человеческого существования, забота прежде всего о мире на планете, о среде обитания человека. Наша причастность к решению этих жизненно важных проблем будет, разумеется, специфической, в области искусства, однако вряд ли кто станет сомневаться, что таков долг художника — может быть, даже первейший его гуманистический долг.

К вопросу о социалистическом реализме

Надо ли напоминать, что художественная литература в странах социализма давно уже стала средством активного воздействия на формирование современника, на процесс созидания нового человека. Искусство социалистического реализма — искусство бескомпромиссное, вторгающееся в действительность как неотъемлемая духовная сущность общественного сознания.

Глубокого значения исполнено определение социалистического реализма, данное А. М. Горьким на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, утверждающее «бытие как деяние, как творчество, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он сообразно непрерывному росту его потребностей хочет обработать всю как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью».

Идейная и эстетическая общность, свойственная литературам социалистических

стран и возникающая из самой природы нового социального строя, отнюдь не исключает, но, напротив, предполагает обращенность к национальным культурным традициям, к неповторимости исторического опыта народа, который неизменно питает современную литературу.

Во время многих наших бесед Любомир Левчев неизменно высказывал мысль о том, что социалистический реализм — это прежде всего постижение явлений действительности, природы и сущности конфликтов и коллизий конкретной жизни, максимальное приближение к конкретному человеку, в основе чего лежит гуманистическое понимание его личности, его самоценности, высокого исторического предназначения.

Содержание социалистического искусства в значительной и решающей степени определяется именно историчностью мышления социалистического общества, взявшего на себя ответственную миссию первопроходца будущего, формирования нового человека, реализующего качества своей личности... Социалистический реализм, как и марксистская эстетика и мировоззрение, давно уже не испытывает изоляции и ограниченности, а представляет собой существенную часть мирового литературного процесса. Более того, мы — свидетели формирования социалистической литературы во всемирном масштабе.

Излагая свои суждения, Левчев всегда прислушивается к мнению собеседника. Опираясь на прочитанное и собственные свои размышления, я пытался изложить свое понимание проблемы, подчеркивая мысль о том, что социальная природа искусства — во всех его видах — характеризуется прежде всего философско-мировоззренческими, политическими и эстетическими закономерностями. А теория социалистического реализма, формируясь в условиях классовой борьбы двадцатого столетия, входит составной частью в ленинское учение о культуре.

Социалистическому реализму, покоящемуся на ленинских эстетических критериях, присущ комплексный подход к пониманию произведения искусства; он учитывает условия его создания, распространения, восприятия в обществе. Возникший в ходе революционно-исторического процесса, социалистический реализм продолжает развиваться на принципах народности и классовости искусства. Здесь важен также нравственный аспект. Нравственная индифферентность, а тем более неразборчивость несовместимы с сущностью моральных принципов социалистического реализма.

Говоря о литературе социалистического реализма наших дней и о ее ведущей составной части — советской литературе, Л. Левчев подчеркивал мысль о том, что это искусство зрелого социалистического общества. А зрелость — качественно новая ступень социальной структуры, идеологических и нравственно-психологических устоев, самосознания и самочувствия общества. Это и пора зрелости человека нового общества, труженика и художника.

Как свидетельствует опыт современности, зрелость социалистического общества характеризуется также его решающим значением в современном мире. Позитивное решение важнейших мировых проблем теперь невозможно помимо воли и разума общества зрелого социализма.

Из этого вытекает и ответственность литературы как источника познания мира. Особенно велика она стала в наше время, в эпоху научно-технической революции, совершаемой, собственно, не только в сфере машин, но и в сфере более быстрого формирования человеческого сознания средствами массовой информации.

Можно сказать, что вторая половина XX века знаменуется в области культуры широким наступлением социалистических литератур. Социалистический реализм становится ведущей тенденцией литературного творчества и в сравнении с ним все больше осознается несостоятельность апологетического буржуазного искусства, оскудение этических и эстетических ценностей, «болезнь духа» буржуазного общества.

Идейно-эстетические богатства литературы, вдохновляемой коммунистическими идеалами, привлекают к себе внимание миллионов читателей в разных странах мира, и западная пропагандистская машина уже не может не считаться с этим реальным фактом. Мы знаем, куда и откуда идем. Ясно видим свои цели. Это наш путь, состояние нашего движения.

Главное, определяющее в искусстве социалистического реализма — новые пути художественного творчества, оригинальные идейно-эстетические открытия, обогащающие мировую художественную культуру. На этой основе и происходит глубокое восприятие передовых творческих традиций прошлого, освоение наиболее значимых художественных ценностей современности. Таким образом, эстетическое новаторство социалистического реализма представляет собой понятие глубинное, мировоззренческое, ибо как художественный метод социалистический реализм базируется на нравственных, гуманистических, моральных принципах коммунистического мировоззрения. Сама реальность, художественный опыт мирового литературного развития обусловили появление метода социалистического реализма.

Обогатив мировой эстетический опыт новым типом героя — творца истории, новыми средствами художественной выразительности, литература наша в то же время чутко воспринимает созданное и создаваемое в других странах, прежде всего в странах социалистического содружества. Социалистический интернационализм — органическая черта нашего образа жизни — проявляется во всех сферах человеческого творчества, в том числе, разумеется, и в художественной культуре. Возникновение и развитие мировой социалистической литературы — это процесс постоянного взаимообогащения, творческой переработки достижений разных литератур, которые опираются в своем движении на специфические условия жизни своих стран, на традиции национальной культуры. Без такого живого обмена невозможно представить себе объективную закономерность современной жизни — сближение художественного сознания народов, избравших социализм своей судьбой.

О гармоническом развитии личности

В своем докладе Л. Левчев остановился на основных процессах в области культурной жизни, которые оказывают определяющее воздействие на развитие литературы. «Апрельское наступление,— сказал он,— дало нам программу всенародного эстетического воспитания, ставшую огромным достоянием болгарской культуры. Эта программа учит народ законам красоты для того, чтобы он мог по ним строить свое будущее. Это программа пробуждения творческого начала в каждом человеке и обществе в целом, программа воспитания и использования творческих способностей людей. Это программа созидания новой личности — героя нашего времени, героя развитого социализма, героя, способного начать построение основ коммунистического мира...»

Искусство слова, как любой вид подлинного искусства, не просто способствует нравственному становлению личности, оно само воспитывает у человека эстетическое ощущение реальности. Вырабатывает художественное мышление, пространственное воображение, помогающее видеть то, что выражено словом. Читая описания природы у Паустовского или Пришвина, разве не чувствуем мы дыхания растений, прохлады леса, утренней свежести, благоухания цветов, прозрачности воздуха? Да, порою чувствуем все это не в меньшей степени, чем когда сами находимся в живом лесу или на поляне с ее неповторимым дыханием разнотравья и цветов.

Думается, что существуют неоспоримые обратные связи и влияния. Подлинные художественные ценности во все времена воздействовали на художников, способствуя постижению внутреннего мира человека, окружающей нас зримой красоты. Разве талантливые холсты живописцев не внушают нам более проницательное видение природы, нескончаемых ее перемен, красок и звуков, неожиданных ракурсов в восприятии прекрасного?

Всестороннее, гармоническое развитие социалистической личности — важнейшая из задач, поставленных ленинским гением. В ней заключены наши помыслы и действия, наш труд и, словно из будущего, предстает перед нашими современниками духовный облик человека коммунистической формации. Органическое слияние труда физического с духовным, интеллектуальным творчеством — примечательная черта нынешнего человека в странах социалистического содружества.

Весьма существенно, что воспитание качеств гармонической личности трудящихся обеспечивается в социалистическом обществе материальными и духовными условиями, создаваемыми эффективным трудом рабочего класса, закладывающего социально-экономическую базу коммунизма.

Л. ЛЕВЧЕВ О ГЕРОЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ В ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЕ. (ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.) Реально ли говорить о новом человеческом типе? Реально ли искать в жизни нового героя и воплощать его в литературе? — спросил Левчев и ответил: «Да, такой герой существует. Он решает сверхзадачи, он живет и несет свет в нашу жизнь. Он не таинственное существо, которое вершит чудеса, пока мы спим, а потом исчезает. Наоборот, он нам знаком, он вырастает на наших глазах, он совершенствуется в героическом труде на протяжении многих пятилеток. Он несет в себе священное пламя будущего, как факел творчества. И если мы его не видим, то не его в том вина».

Конечно, еще меньше шансов увидеть и понять героя нашего времени у тех писателей, которые с высокомерием интеллектуалов объявили себя самыми честными, самыми непогрешимыми и вообще самыми светлыми личностями и ужасно сбижаются, что другие, те, кто творит жизнь, сгорает в процессе созидания, не желают походить на них...

За какие качества наши живые герои заслужили свои звезды и право называться коммунистами своего времени? — задал новый вопрос Л. Левчев и ответил: «Веру в идейную убежденность они получили в наследство от предыдущих поколений героев. Но наши современники-герои проявили неслыханное даже для традиционного болгарского трудолюбия стремление к трудовому подвигу. Они неутомимо жаждут знаний. Медленно и порой даже мучительно они вырабатывают у себя новый эстетический вкус, расширяя горизонты своего сознания. Устремленностью, чистотой помыслов и дел, бескорыстием, преодолевающим извечный человеческий эгоцентризм, они утверждают себя не только в личностном плане, но и как люди, которые своим примером способствуют распространению великих идеалов нашего времени».

Разве не знаменательно само выдвижение человека труда, революционного преобразователя жизни в центр художественного исследования? Именно это мы наблюдаем в литературе социалистического реализма. Не потому ли герои произведений болгарских писателей не замыкаются в круге мелочных дел, а живут заботами народного своего государства, жизнью, наполненной напряженным трудом, настойчивой борьбой за торжество справедливости и добра.

Разумеется, для создания подлинно художественного произведения надо обладать точным зрением — зрением внутренним, которое дается лишь неподдельностью интереса к трудовому человеку, изображение которого нерасторжимо с раздумьями о самом сокровенном — о революции, жгучих вопросах социальной практики, об одухотворенности созидания.

В. И. Ленин, как мы знаем, высоко ценил способность литературы и искусства «объединять чувство, мысль и волю» масс, «подымать их» [1]. Известно, сколь большое значение придавал В. И. Ленин роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?». «Под его влиянием,— отмечал он,— сотни людей делались революционерами... *Он меня всего глубоко перепахал...* Это вещь, которая дает

[1] В. И. Ленин о литературе и искусстве. М., 1979, с. 657.

заряд на всю жизнь» [1]. В настоящих книгах всегда присутствует нечто такое, что являет постоянное преломление времени, прикосновение мига к вечности...

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. «Вся история изящной словесности доказывает, что литература становится великой не только благодаря положительным героям, а прежде всего благодаря своей способности воплощать в этих героях правду времени, и воплощать талантливо. Мы должны это подчеркнуть для того, чтобы избежать непонимания, ибо ставим вопрос о положительном герое не как о художественном критерии нашей сегодняшней литературы. Эта постановка была бы слишком узкой. Необходимость создания положительного героя выходит за рамки «чисто литературных» проблем. И мы должны проникнуться сознанием величия этого исторического долга писателя».

«Художественная природа, сущность героя как в жизни, так и в литературе сопротивляется любой вульгарной описательности и нравоучительности и в еще большей мере подчинению канонам и правилам. Геройство — это не наука, а скорее вера. И мы далеки от дерзости,— добавил Левчев,— предложить сейчас рецепт для создания образа нового героя... Вдохновленные бессмертным пламенем подвига, мы, болгарские писатели, должны исполнить свой долг перед временем и человеческой историей — воссоздать образ нашего современника, образ коммуниста, героя настоящего и будущего».

Примечательно в этом смысле выступление В. Кожевникова на VII съезде писателей СССР на тему «Герой наших дней и опыт художественного воплощения его образа в современной прозе». Он сказал, в частности: «Именно через героя автор художественного произведения выражает свой взгляд на мир, круг своих идей и представлений, именно в жизни героя, человека, современника, в его делах, заботах и радостях перед читателем предстает движущаяся панорама действительности».

И далее: «Художественное проникновение в действительность невозможно вне героя, живущего интересами общества. Крупный герой вырастает на значительном материале жизни, на актуальной проблематике. И читательский интерес к нашим книгам — это прежде всего интерес общения с яркими личностями, привлекающими своей гражданской страстностью, своим обаянием».

Время не ждет!

Участвуя в работе IV съезда болгарских писателей, я видел, с каким единодушием было принято решение, которое отмечало, что в докладе Любомира Левчева и выступлениях писателей в прениях «ясно выражено общее стремление болгарских литераторов к всесторонней связи с жизнью народа, рабочего класса и трудового крестьянства, к воссозданию в ярких, масштабных художественных произведениях трудовых дел народа, его высокого морально-политического духа, его исторической миссии как строителя коммунистического общества, а также борьбы за мир, против американского империализма и попыток возродить напряженность и истерию «холодной войны», за братство и единство всех прогрессивных сил мира, в авангарде которого стоит социалистическое содружество во главе с великим Советским Союзом».

В решении подчеркивалось, что за последние годы вырос идейный и художественный уровень болгарской литературы. Во всех жанрах появились произведения, которые свидетельствуют о стремлении к масштабному воплощению современности, к утверждению положительного героя как ведущей личности социалистического общества, к созданию произведений, достойных эпохальных дел, осуществляемых народом под руководством Коммунистической партии.

Надо ли говорить, что человек активной жизненной позиции, волевая целеустремленная натура становится главной фигурой современной болгарской литературы. Герой меняется вместе со временем, образ его наполняется новым конкретным и историческим содержанием. Самоочевидно, наш современник, герой сегодняшних дней, стал в иных своих гранях совсем другим, не тем, кем он был всего лишь годы назад. Неожиданней в действиях, разнородней и непредвиденней в конфликтах, сложнее, откровеннее в спорах. Повышенные требования к герою порождают и повышенные требования к художнику, осваивающему магистральную тему болгарской литературы.

Именно поэтому в предстоящей большой работе, отмечается в решении IV съезда, «творческое вдохновение и гражданское сознание художника должны быть направлены на изображение ведущей роли трудового человека в нашем социалистическом обществе, то есть рабочего класса, тружеников нового села, интеллигенции. У болгарских писателей есть яркий пример советской литературы, которая всегда боролась за высокую идейность и художественное мастерство, за полное слияние с жизнью народа, за кровную связь с великим делом Коммунистической партии. В этом заключается и новый этап творческой дружбы между нашим Союзом и Союзом писателей СССР — нашими братьями и товарищами в борьбе на идеологическом фронте».

Запомнилось яркое выступление Любомира Левчева на VII съезде писателей СССР в Большом Кремлевском дворце. Говоря об огромной популярности советской литературы в Болгарии, он подчеркнул, что этим признанием наша литература обязана прежде всего своей страстной коммунистической партийности — одной из сил духовного созидания будущего мира.

В эти дни, в этот решающий для человечества исторический момент, сказал Л. Левчев в заключение, мы все находим-

[1] В. И. Ленин о литературе и искусстве, с. 647—648.

ся под неизгладимым впечатлением новой убедительной мирной инициативы Советского Союза... Настоящий писатель живет и творит с ясным сознанием того, что он — истинный представитель народа, депутат пусть невидимого, но существующего и действующего парламента человеческой совести. Вот почему мы воспринимаем принятое Верховным Советом СССР обращение «К парламентам и народам мира» как обращение к каждому из нас. И поэтому мы призываем: в ответ на это обращение громко и ясно сказать наше писательское «да». Мир надо спасать общими усилиями всех честных людей земли.

Призыв этот особенно актуален, ибо и в наши дни находятся в западном мире литераторы, нередко с мировыми именами, которые видят свой удел в некоей философии бегства от действительности. Нередко там слышатся утверждения, что «мой стих — мое открытие», что «творчество есть способ бегства от социального контроля», что сказать о своем убежище — «значит... предавать литературу».

Но в тревожный наш век, когда созданы беспощадные средства массового истребления, говорить надо не о спасительных бункерах — в них никто не спрячется и не уцелеет. В условиях резкого обострения идеологической борьбы противоборствующих миров, угрозы человечеству, исходящей от наиболее оголтелых кругов империалистической реакции, на художников слова возлагается чрезвычайная ответственность.

Именно поэтому советские литераторы решительно поддерживают обращение Верховного Совета СССР «К парламентам и народам мира», зовущее к активным действиям во имя обеспечения прав людей на жизнь. Именно этим объясняется их обращение к художникам слова, мастерам культуры, к интеллигенции всех стран с призывом возвысить голос протеста против преступных замыслов врагов мира. Когда над горизонтом сгущаются зловещие тучи, когда речь идет о судьбе всего человечества, судьбе цивилизации, каждый честный художник должен внести свой вклад в сражение за сохранение мира и жизни на земле.

Неужели люди трудились, страдали и радовались, жертвовали жизнью в поисках смысла существования, в поисках справедливости, добра, правды только для того, говорится в обращении VII съезда писателей СССР «Писателям, деятелям культуры мира», чтобы в преддверии XXI века отдать свою судьбу, своих детей, свое прошлое и будущее в руки новых герострат?

Нет на земле художника, который не мечтал бы о том, чтобы остаться в благодарной памяти потомков. Это испытание временем обязательно включает в себя и вопрос: «А что ты лично сделал сегодня для того, чтобы наступило завтра?» Только совместными усилиями мир может и должен быть сохранен и надежно обеспечен. Ни одна имеющаяся возможность не должна быть упущена. Время поистине не ждет!

◆

В ТОЖДЕСТВЕ С СУДЬБОЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

Отклики зарубежных деятелей культуры на книгу Л. И. БРЕЖНЕВА «ВОСПОМИНАНИЯ»

ШУБХАШ МУКХОПАДДХАЙ (Индия)

Мемуары людей, играющих важную роль в истории человечества, всегда обладают большой притягательной силой. Возникает естественное желание узнать и осмыслить совокупность объективных и субъективных факторов, сформировавших выдающуюся личность.

«Воспоминания» Леонида Ильича Брежнева отличаются глубокой искренностью и поразительной убедительностью.

Рассказывая о своей «родословной», Л. И. Брежнев знакомит нас с людьми, которые из поколения в поколение берегли и растили, вопреки всем жизненным тяготам, уважение к честному труду, достоинство и твердость духа.

Покидая поля, они шли в заводские цехи; сохраняя «тайную печаль и нежность» к деревенскому укладу жизни, они постепенно обретали пролетарское сознание.

Меня поразила зарисовка раннего утра в заводской слободе, когда по гудку рабочие выходят из домов, направляются к заводу, толпа все прибавляется, как река, вбирающая в себя ручьи, сбегающие к ней по крутым переулкам. Маленький мальчик, провожающий на работу отца, видит этот путь: от дома, по улице, к заводу. От индивидуального, через единение интересов, к коллективному.

Я хорошо знаю рабочие предместья Калькутты — там живут герои моего романа «Голодовка» — и должен сказать, что, при всей разнице внешних примет быта, я почувствовал глубокое и большое сходство между образом мыслей крепнущего рабочего класса Индии и рабочими России тех лет, о которых вспоминает Брежнев. Смешение городского и деревенского, так достоверно описанное в «Воспоминаниях», очень типично для сегодняшней Индии.

Л. И. Брежнев убеждает читателя и в том, что «истоки характера человека, его отношения к жизни» лежат в семье.

Советский лидер вырос в трудовой семье, в которой простота естественно сочеталась с высокой внутренней культурой и с ощущением принадлежности к братству трудящихся мира, где бы они ни жили. Повествование об отце, страницы, посвященные матери, мне кажутся лучшими в «Воспоминаниях» — помогают понять внутреннюю суть биографии Л. И. Брежнева, так неразрывно связанной с историей жизни и борьбы Страны Советов.

Проникновенные образы простых трудовых людей вызвали в моей памяти слова Ганди, который говорил, что, будь он поэтом, он написал бы сагу о пяти пальцах человеческой руки.

Читая «Воспоминания», мы видим, как личный жизненный опыт человека под влиянием перемен в его стране вбирает в себя исторический опыт поколений, расширяется до опыта всего человечества. Становится еще понятней глубоко личная заинтересованность

Л. И. Брежнева, его глубоко личный подход ко всем важнейшим проблемам современности, и прежде всего к проблеме войны и мира.

Читая «Воспоминания», понимаешь, какой сильной должна быть воля к миру у человека, руки и разум которого участвовали в созидании нового общества, в его защите от смертельной фашистской опасности, в его возрождении из руин и в его превращении в могущественный оплот мира и прогресса.

Как бы интересна и поучительна ни была судьба автора «Воспоминаний», судьба в одно и то же время и типичная, и незаурядная, читатель все время воспринимает ее в тождестве с судьбой великой страны, ставшей волей таких людей, с которыми нас познакомило это произведение, живым воплощением надежд планеты.

ИВАН ЦВЕТКОВ (Болгария)

Новые воспоминания Леонида Ильича Брежнева, как и предыдущие («Малая земля», «Возрождение» и «Целина»), имеют автобиографический характер и продиктованы стремлением осмыслить человеческую жизнь в ее прочной и неделимой связи с трудовым народом, с расцветом и победами своего класса, с гигантскими шагами вперед нового, социалистического отечества. Их автор очень органично, немногословно воспроизводит атмосферу рабочего поселка, атмосферу напряженного нечеловеческого труда, но он раскрывает перед читателями и другое — то, что помогает рабочим преодолевать тяготы этих будней: гордость трудового человека за свое мастерство и умение, за свои золотые руки, сознание, что именно эти руки создают земные блага. Он умышленно не сгущает красок, спокойно и правдиво рисует картину и классового неравенства, и скудных радостей детства, скрашенного присутствием чудного Днепра и зеленых просторов вдоль его берегов. Именно там, когда-то в Каменском, а ныне городе Днепродзержинске, происходит крещение молодого рабочего, начинаются его первые трудовые дни, первая трудовая закалка. И все это входит потом в его сознание на всю жизнь, становится одним из самых характерных проявлений его личности.

Эти немногие страницы, разделенные на две части — «Жизнь по заводскому гудку» и «Чувство родины»,— в сущности, показывают нам, как незаметно, как бы исподволь формируется будущий крупный военный и политический руководитель, как, подобно маленьким песчинкам, накапливается его личный драгоценный опыт общения с людьми — с рабочими и крестьянами, комсомольцами и партийными работниками. Пройдя через каторжные условия работы на Каменском заводе, через учебу в гимназии, техникумах и институтах и, главное, через незаменимые университеты жизни, автор воспоминаний живет жизнью и успехами своей страны, задачами индустриализации и коллективизации, и в этих успехах есть частица и его силы, умения и любви, его мечты о будущем. Его маршруты динамичны — Украина, Курская область, Белоруссия, Урал и Дальний Восток, где его ждет танковая школа в Чите и где он получает первые военные знания и закалку. А позже он отметит, насколько пригодился ему накопленный в молодые годы опыт при освоении целинных земель в Казахстане, а также для политического и хозяйственного руководства в Молдавии.

Не случайно Леонид Ильич Брежнев объединил в своих воспоминаниях две кардинальные темы: тему труда, трудолюбия, трудового воспитания и тему родины. Только тот, кто испытывает любовь к труду, кто радеет о материальных и духовных богатствах своей страны, имеет право сказать словами поэта: «Это было с бойцами или страной, или в сердце было моем». Впрочем, на этих страницах опи-

сывается и сам поэт — Маяковский, поскольку и его маршруты по Советскому Союзу были необычными и незабываемыми. Интересно, что в памяти крупного политического деятеля образ поэта неотделим от той атмосферы энтузиазма, наступления, прокладывания путей в неизвестное. Маяковский читает отрывки из поэмы «Владимир Ильич Ленин» и стихотворение «Рабочим Курска, добывшим первую руду...». Леонид Брежнев пишет: «Эти слова звучали с необычайной силой. Маяковский говорил спокойно, как бы вслух размышляя, но бас его доходил до последнего ряда. И действительно, он «сиять заставил заново» самые высокие для нас понятия... Чеканные строки входили в душу и сердце, запоминались сами собой».

И еще одно весьма важное ощущение зарождается у нас при чтении этих мемуаров — ощущение перехода современности в историю, мы видим, как вчерашние современники становятся героями революции, как запечатлеваются они в страницах новейшей истории. Вчерашний учитель истории, большевик Ковалевич, остается жить в названии улицы, носящей его имя, о славных делах другого революционера новым поколениям напоминает название Металлургического института имени Михаила Арсеничева.

Так возникает это ощущение чрезвычайно тесного слияния личности и истории, личности и народа. Страницы о детстве и юношестве чередуются со страницами о новом революционном подъеме рабочего класса в России, о первой мировой войне, Февральской и Октябрьской революциях. Мы видим, как отдельная личность мужает вместе со своим классом, с народом, с социалистическим строем. И вот теперь там, где некогда находились старые поселки и предприятия, вырастают новые города и заводы социализма, побеждает новый, советский быт.

На посту секретаря по вопросам идеологии в Днепропетровском областном комитете партии Леонид Брежнев тесно связывает всю свою партийную деятельность с потребностями масс, трудящихся, он руководствуется незыблемым ленинским принципом — в основе любой идеологической деятельности должна быть заложена правда, истина, воспитание людей должно осуществляться с помощью неприкрашенной, суровой правды. А это так близко к пафосу великой русской и советской литературы.

Нет сомнения, что эта позиция есть неотъемлемая и характерная черта личности Леонида Брежнева, его стиля и всей его деятельности, которая ныне потому имеет столь широкий международный отзвук, что связана с решением самых важных проблем человечества — проблем мира и войны на нашей планете.

«Чувство родины,— подчеркивает Леонид Брежнев,— у каждого из нас начинается с памяти детства, со своего дома, своей улицы, своего города или села. И вместе с тем живо в нас ощущение большой, великой Родины, которая в дни опасностей и больших испытаний вся от края и до края становится вдруг до боли близка и дорога.

Мне повезло увидеть воочию просторы родной страны, узнать близко многих сограждан, и я знал, что планы, мечты, замыслы народа под стать земле, на которой нам посчастливилось жить, которую получили мы от отцов и должны оставить детям еще более богатой и цветущей».

Этим глубоким чувством исторической преемственности и неизменного сыновнего долга, этим ощущением большой и счастливой судьбы своей великой Родины и завершаются новые воспоминания Леонида Брежнева — пролог к героической летописи Великой Отечественной войны.

■

Культура и современность

Заметки на полях

БОМБА, ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, НАРОД

Три события произошли почти одновременно: решение итальянского правительства разместить крылатые ракеты США на Сицилии, решение администрации Рейгана производить нейтронную бомбу и нападение американских самолетов на ливийские. Случайно ли, намеренно ли были они приурочены к полусонному каникулярному августовскому периоду, но эффект был один: Италия проснулась. Проснулась с ощущением физической опасности, неблагополучия.

Опасное для страны решение было принято первым в послевоенной истории правительством, которое возглавили не христианские демократы, а республиканец Спадолини. А главным инициатором предоставления итальянской территории под американское ядерное оружие, нацеленное на Советский Союз, явился представитель левой партии, социалист, министр обороны Лагорио. Лагорио «успокаивал», в частности, сицилийцев тем, что в момент «тревоги» сто двенадцать американских ракет «рассыплются по обширной территории Сицилии, как иголки в стоге сена», одновременно он называл президента Рейгана, хозяина этих ядерных спичек-иголок, «человеком, закуривающим на пороховом погребе». А председатель партии социалистов Кракси вообще отрицал, что «миру что-либо угрожает».

Как отмечала в эти дни газета «Унита», «люди обеспокоены нарастанием тревожных новостей, но с большим трудом находят ответ на свои вопросы. Они хотели бы услышать серьезные мнения и анализ, а получают добрую дозу пропаганды... Выйдем за провинциальные рамки некоторых споров и поставим прямо вопрос о бомбе. Миллионы индивидуумов, составляющих наш народ, будут охвачены этой дискуссией. Они должны представить драматическую ситуацию гражданина в атомный век, который — давайте не будем этого забывать — является и нашим веком».

И дебаты открылись. Дискуссии охватили жителей Сицилии, Севера и Центра Италии, живущих по соседству с американским ядерным оружием. Прервав летние каникулы, досрочно собрались комиссии по иностранным делам итальянского парламента. В нее втягивались не только политики, но и интеллигенция — ученые, деятели культуры, писатели.

Крупнейшая буржуазная газета Италии — «Коррьере делла сера», которая после затронувшего ее скандала с причастностью к преступной масонской ложе «П-2» обновила свой руководящий состав, в конце августа предприняла интересную инициативу, обратившись к ряду публицистов, философов, писателей с вопросом, как они относятся к атомной опасности, угрожающей Италии и всему миру, в том числе в свете «прибавления» в ядерном семействе нейтронной бомбы.

«Объявления о производстве нового оружия и росте вооружений, которые политики оправдывают необходимостью вести переговоры «с позиций равенства»,— писала газета,— сопровождаются опасными скользкими уверениями: будто дилемма «мир или всеобщая гибель» может иметь третий вариант, а именно, что возможно вести атомную войну, разрушительную, но ограниченную, которая поразила бы лишь определенные зоны (Европа?), вызвала миллионы жертв, но сохранила бы для последующего существования материальные структуры (нейтронная бомба). Иными словами, внушается мысль, будто бы война, даже термоядерная, вновь может стать «рассчитанным риском», на который можно пойти при известных условиях. Если такая психологическая трансформация действительно возымеет место, последствия могут стать трагическими,— отмечала в своем введении в дискуссию «Коррьере делла сера».— Итак, от культуры «равновесия террора» мы переходим к культуре «бомбы, которая стоит риска?» Чтобы выяснить это, мы сочли необходимым открыть дискуссию, обратившись не к специалистам или политикам, а интеллектуалам, которые должны были бы уловить

наиболее глубокий аспект проблемы, тот, который ставится совестью перед альтернативами добра и зла, жизни и смерти».

Высказанные мнения отражают различные тенденции, порой весьма противоречивые и просто разочаровывающие. Модный философ Эмануэле Северино, например, повторил стандартные для западной пропаганды утверждения о «советской опасности». В создании нейтронной бомбы он видит «не поворот в стратегии НАТО, а необходимое условие поддержания эффективности стратегии «ограниченного атомного ответа».

«То, что я сказал,— заявляет Северино,— может быть истолковано как похвала последовательного безумия».

Ничего более утешительного Северино не предложил.

Известный философ Лучо Колетти полагает, что Европа (Западная)

«может, если хочет, отделиться от США». Но тогда ей необходимо объединиться в «европейское оборонительное сообщество», причем «на ядерном уровне».

Колетти возвращается, таким образом, к проекту, который имел целью перевооружение ФРГ, а на нынешнем этапе такой шаг, видимо, включил бы и ее атомное вооружение: оба философа не готовы вести беседу в гуманно-моральном ключе, предложенном газетой. А что говорят другие участники анкеты?

Писатель Франческо Леонетти справедливо заметил, что нейтронное оружие опасно тем, что оно «снижает порог различия между ядерным и обычным оружием». Поэт и публицист (правоклерикального толка) Джованни Тестори, развивая свои мысли, утверждал, что общественное мнение

«более драматически и озабоченно воспринимает усиление гонки вооружений на Западе, чем на Востоке.

Однако объективность и ясность требуют, чтобы проблема была сразу же возвращена к своему исходному пункту, а исходным моментом не может не быть человек... Все инициативы, ведущие к переговорам, должны одобряться и быть поддержаны»,— полагает он.

Социолог Франческо Альберони предпочел изложить свои соображения тезисно. С одной стороны, он отмечает «апатичность общественного мнения» в Западной Европе, которое будто бы чувствует себя «бессильным» перед «великими мира сего» (США и СССР). Вину за растущую опасность он старается в равной степени возложить на обе стороны. Симпатии его на стороне Запада, но Альберони вынужден все же признать, что США охвачены «национализмом», желают «утвердить свою мощь и потрясают мечом». Особенно опасными представляются ему «все шаги, которые миниатюризируют, «гуманизируют» атомное оружие». (Это парафраз нейтронной бомбы.)

Далее Альберони обрушивается на пассивность западноевропейцев:

«Наша культура плаксива, она повсюду видит кризис, руины, безысходность, как если бы конец мира уже начался.— Но сам он далее отдает дань тем же фаталистическим настроениям.— В любой момент скачок цивилизации может быть прерван каким-нибудь Чингисханом или Гитлером. И должны ли мы позволить разрушить все лишь потому, что есть мегаломаны, которые хотят продемонстрировать свое военное превосходство?»

Таким образом, изображая европейскую цивилизацию как жертву в руках «варваров», он забывает при этом (подобная забывчивость порой весьма удобна), что оба последних мировых конфликта родились не где-нибудь, а в Европе. И к их зарождению самое непосредственное отношение имели как итальянский фашизм, так и гитлеризм. Что же предлагает Альберони?

«Пригласим всех выразить им свое презрение» (имеются в виду те же, не очень точно указанные «мегаломаны»). Его предложение: «пришел момент учредить всемирный трибунал, перед которым должны предстать все, кто своими действиями создает угрозу жизни человечества и самой планеты».

Видный итальянский писатель Карло Кассола, который также откликнулся на призыв газеты, вначале обращается к известному предупреждению Эйнштейна: «Либо человечество уничтожит оружие, либо оружие уничтожит человечество».

«Разные Рейганы и Лагорио,— пишет он,— с таким равнодушием говорят о третьей мировой войне, которая на самом деле является проблемой проблем: ведь либо удастся избежать катастрофы третьей мировой войны, и тогда спасемся мы все — буржуа и пролетарии, богатые и бедные, верующие и атеисты, либо история человечества завершится самым чудовищным бедствием. После чего уже будет бессмысленно говорить о свободе и справедливости, поскольку некому будет выслушивать эти речи... Милитаризм является самым худшим злом не только потому, что предрекает быстрый конец миру, но и оттого, что обрекает каждый год миллионы людей на голодную смерть, поскольку деньги выбрасываются на военные расходы, а не на социальные нужды».

Кассола резко осуждает решение разместить в Сицилии американские ракеты,

«которые не дадут нам никакой защиты и лишь гарантируют, что в случае войны мы все умрем в первые минуты».

Однако выход из положения Кассола предлагает весьма своеобразный: он убежденный поборник одностороннего разоружения.

Кассола не верит в возможность добиться в настоящее время всеобщего разоружения и предлагает иное, вряд ли более реальное решение. Он утверждает, что каждая страна должна начать полностью разоружаться в одностороннем порядке, независимо от того, к каким бы последствиям это ни привело.

Эту позицию он с большой страстью защищает и обосновывает, считая, вопреки всей послевоенной практике (вспомним, как Запад оставлял без ответа такие шаги, как частичное сокращение советских воинских

контингентов в ГДР), что лишь таким образом можно достичь всеобщего разоружения. В то же время Кассола игнорирует опасную роль нейтронной бомбы, считая, что ее роль не заслуживает отдельного разбора, хотя, разумеется, продвижение этого нового оружия с расчетом на европейские театры войны представляет собой весьма определенный шаг в усилиях милитаризма, который Кассола считает наихудшим злом. На этот счет более четко высказывается романист и блестящий эссеист Умберто Эко, рассуждения которого стоит привести целиком:

«Бомба «N» наводит на мрачные размышления. Когда десять тысяч человек погибают при обычной бомбардировке, мы почти оправдываем это тем, что их жизни потеряны на фоне полного разрушения дворцов, домов, вокзалов.

Действительно, тот, кто бомбардирует, говорит, что старался поразить стратегические объекты, дорожные узлы, казармы, а остальное — чистая фатальность: если бы люди вовремя убежали, они бы спаслись. Как если бы они сами были виноваты в собственной смерти! С бомбой «N» такое лицемерие будет уже невозможно: станет ясным, что хотели убить человеческие существа (товар низкой стоимости), чтобы оставить нетронутой недвижимость (товар, который мог бы после быть пущен в торговый оборот). Тем самым можно будет называть хлеб хлебом, а убийцу — убийцей. И тот, кто употребит эту бомбу, будет знать, что именно такое суждение будет о нем высказано, а среди самых полезных изобретений нашего века, напомним, был также и Нюрнбергский процесс».

Как отметила «Унита», несмотря на противоречивую гамму высказываний, исповедь интеллектуалов по «вопросу вопросов» явилась полезной, заставила думать, высказываться, предлагать «сделать что-то» перед лицом опасности, которая угрожает миру.

Это верно еще и потому, что итальянская интеллигенция (к такому выводу, например, пришел еженедельник «Эспрессо») не сразу откликнулась на вопросы войны и мира, ставшие актуальными.

А еженедельник «Астролябио», связанный с традициями итальянского Сопротивления, отвергает мнение, будто «клерки предали», считая, что итальянская интеллигенция в целом верна идеям защиты ценностей мира и человеческой жизни.

Впрочем, было бы несправедливо не отметить еще один авторитетный голос, поднятый в осуждение нейтронного оружия. Речь идет о статье писателя, живо откликающегося на больные вопросы итальянского общества — Паоло Вольпони. Под заголовком «Алфавит, который содержит только буквы жизни», она была опубликована в «Уните» в качестве передовицы незадолго до начала упомянутой дискуссии на страницах «Коррьере делла сера».

«Нейтронной бомбе была присвоена буква «N». «N» в смысле — «никто». Никто не останется живым в радиусе ее поражения. Ни одно живое существо. В то время как в полной неприкосновенности, на своих местах останутся все вещи. Когда человек рухнет под столик кафе, горячим и дымящимся будет его кофе, в тарелке останется еда, которую он только что начал есть.

Вскоре после этого победитель, который сбросил бомбу, может зайти на эту площадь, выпить это кофе, доесть еду. Конечно, ему не приготовят тут же новых блюд: сперва надо избавиться от мешающих трупов. Почему бы уже сейчас не изобрести еще одну бомбу, которая позволяла бесследно уничтожать остатки противника? Бомбу, которую можно было бы обозначить «М» — могильщик».

Вольпони отмечает зловещее сходство этой картины с театром,

«где, однако, нет необходимости посыпать лицо мукой и издавать стоны страданий, как это делает Канио в «Паяцах».

Этот театр-действительность настолько действителен,— отмечает писатель,— что он действительно производит такие бомбы и увозит их в склады, действительно ожидая нужного момента, чтобы извлечь их и скомандовать какому-нибудь генералу сбросить их на противника».

Из этой зловещей картины Вольпони делает, в отличие от ряда своих коллег, весьма реальный политический вывод:

«Политической задачей демократов в Европе и вне ее является неприятие и отказ от бомбы, а вместе с ней от цепи вооружений и принципа «равновесия ужаса». Разоружение является практической и ближайшей целью, которую должны преследовать все многими средствами, и не только сокращением вооружений, но и увеличением благосостояния, количества рабочих мест, обменов».

К чести итальянцев надо сказать, что на самых разных социальных уровнях они высказывают интересные и достойные внимания политиков предложения, не оставаясь инертными перед лицом военной опасности. Многие из них можно прочесть в рубрике писем читателей «Униты».

И дело не ограничивается словами. Вся Италия сейчас охвачена антивоенными выступлениями. В сентябре состоялся многотысячный марш мира из Перуджи в Ассизи, в котором приняли участие также многие христианские демократы и социалисты, отвергающие курс своих партий, видные представители интеллигенции. Участники марша с энтузиазмом восприняли направленное им приветствие Л. И. Брежнева. В Вероне и Виченце, десятках и сотнях итальянских городов прошли массовые шествия и митинги. Участники тридцатитысячной демонстрации против крылатых ракет в Сицилии получили выражения солидарности от писателей Альберто Моравиа и Альдо Де Яко. В октябре прошел впечатляющий сбор миролюбивых сил в Риме, который также приветствовали ведущие итальянские писатели,— этот список можно было бы продолжить.

Верный идеалам гуманизма и культуры, итальянский народ ведет трудную борьбу против бомбы «N» за «алфавит жизни», вносит свой вклад в антивоенное движение в Европе.

Л. ЗАМОЙСКИЙ

С. КОНДРАШОВ

В АРИЗОНЕ, У ИНДЕЙЦЕВ

Из американских записок

Навахо — самое многолюдное из сохранившихся в США индейских племен. Насчитывает свыше ста пятидесяти тысяч человек. Резервация навахо находится в северо-восточной части штата Аризона. Площадь — двадцать пять тысяч квадратных миль.

Из американского справочника

Глаз торопится слезой налиться.
Как? Чему я рад? —
— Ястребиный Коготь!
Я ж
твой «Бледнолицый
Брат».

В. Маяковский

В ГЛУБИНКУ

И так, в Аризону, к индейцам... Давно это подспудно билось: живешь среди американцев, предки которых приехали из Европы, пишешь об американцах с предками из Африки, а как насчет аборигенов, первопоселенцев, тех, кто неведомо когда и каким путем но раньше всех добрались до этого континента, а теперь жалкими меньшинствами, в медвежьих углах резерваций влачат свои дни под присмотром (под пятой?) новых хозяев. Поглядеть на них хотя бы краешком глаза. Однажды, правда, краешком-то поглядел — проезжали с другом-коллегой штат Теннесси, спустились с зеленых Дымчатых гор и в долине у большой дороги — лавки с индейскими сувенирами (детский игрушечный томагавк, купленный дочери, оказался из Японии), индейцы-зазывалы в своих одеждах с развевающейся бахромой, в мокасинах, в перьях на голове, и с одним из них по очереди обнимались, улыбались, фотографировались — за плату, за американский то ли четвертак, то ли полтинник. Но ведь какой это индеец, не в естественной среде обитания, а так — зоопарк, цирк, туристский аттракцион.

И продолжало подспудно биться: как же быть в Америке корреспондентом — и без индейцев? И наметил уже — вот где, должно быть, и есть она, естественная их среда, двадцать пять тысяч квадратных миль резервации на северо-восто-

КОНДРАШОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ (Род. в 1928 г.). Советский журналист-международник. Автор книг «Жизнь и смерть Мартина Лютера Кинга» (1969), «Американцы в Америке» (1970), «Свидание с Калифорнией» (1975), «По второму кругу» (1978), многих очерков и статей.

ке штата Аризона, самое большое индейское племя — навахо. Не может быть, чтобы и там одни туристские лавки...

Нота консульского отдела советского посольства в Вашингтоне в госдепартамент, где изложено соответствующим языком твое намерение посетить Аризону. К ноте приложен тобой составленный подробный маршрут поездки: когда, каким видом транспорта, куда — само собой, с учетом закрытых для советских граждан районов. Ни слова о том, что едешь к индейцам. Там, в госдепартаменте, понимают это и без слов, взглянув на карту. И молчат. Значит, не возражают.

Тогда берешь телефонную трубку, набираешь номер, говоришь:

— Я хотел бы вылететь в Флагстафф, штат Аризона, в субботу восьмого апреля...

— Йес, сэр,— как каблуками щелкает голос в трубке.

Пять секунд, не более, и голос ноет тебе в ухо:

— Сэр, у нас нет, к сожалению, прямых рейсов в Флагстафф. Мы можем предложить вам полет через Чикаго и Финикс или через Хьюстон и Финикс. Что вы предпочитаете, сэр? Через Чикаго? Ол райт! В какое время дня, сэр? Ол райт! Туристский класс или первый? Ол райт!

Еще десять, от силы двадцать секунд молчания. На другом конце провода — волшебный акт общения с компьютером.

— Спасибо за терпение, сэр. Итак, все ол райт. Места зарезервированы. Вы вылетаете в час дня рейсом 313 «Американ эйрлайнс» из Нью-Йорка, аэропорт Кеннеди, в Чикаго, аэропорт О'Хара. Затем следуете из Чикаго в Финикс в 3.15 дня рейсом 39. Вы записываете, сэр? Наконец, из Финикса — вам придется подождать минут сорок пять — рейс 548 «Фронтир эйрлайнс» доставит вас в Флагстафф. Все записали, сэр? Ол райт! Где получить билет? Как вам удобнее, сэр,— в нашем офисе в городе или в аэропорту, не позднее чем за полчаса до отбытия самолета. В аэропорту? О'кей, билет будет ждать вас там. Прошу вас, сэр, приезжайте не позднее чем за полчаса до отлета.

И, не требуя благодарности, голос тебя готов поблагодарить за обращение к услугам «Американ эйрлайнс», но ты даешь ему еще одно задание и заказываешь обратный билет из Галлапа в Санта-Фе через Альбукерке и из Санта-Фе снова через Альбукерке — в Чикаго и Нью-Йорк.

— Йес, сэр,— снова как щелканье каблуков, и ни следа раздражения, и опять именно тебя благодарят за терпение, и невидимая электронная машина мгновенно раскладывает новый пасьянс, и снова сыплются номера рейсов, часы отлета и прилета и названия авиационных компаний.

...Манхэттен вымер в субботний полдень, синие манящие полоски апрельского сочного неба висят в перспективах авеню, мелькают в просветах стритов. Автострады пустынны, машина споро бежит к аэропорту Джи-Эф-Кей (имени Джона Фицджералда Кеннеди). Аэропорт, по внешнему обводу его большого бетонного кольца, сияя стеклом и алюминием, стоят эффектные вокзалы авиакомпаний, и на достойном месте — «Американ эйрлайнс» с большими буквами вывески по фасаду. Негр с кокардой носильщика тут как тут, нацелившись на чемодан; в просторном светлом малолюдном зале молодая женщина за длинною щей стойкой, записав на листке бумаги твою фамилию и инициалы, выстукивает их на портативной электронной машинке, и вертящимся, похожим на булаву шаром, утыканным буковками и цифирками, машинка сразу же ответно выстукивает на ленте весь твой длинный, сложный маршрут.

И вот прорепетировали двигатели свою ровную мощную музыку, и, застыв на взлетной полосе, помедлив, задрожал «Боинг-727» и в разбеге прильнул напоследок к земле, перед разлукой, и оторвался, взмыл стрелой, пошел писать двухчасовую дугу от Нью-Йорка до Чикаго. Как быстро набирают высоту эти чертовы «астроджеты» — через три минуты курить можно. Ушли из глаз, сгинули нью-йоркские заливы, автострады и дома. Небо кругом, солнце кругом, и один как перст ты кинут в просторы Америки, и отрыв от земли, как отрыв от привычного. Тревожно и радостно мир сдвинулся, стронулся, и первые минуты, вместе с самолетом, воспарил в тебе раскрепостившийся человек, отложив в сторону профессиональную рутину газет и политики, летит навстречу прихотливой жизни, наверняка припасшей впереди открытия и случайности даже на заранее составленном и утвержденном маршруте.

Едва успел, подчиняясь разрешению светового табло, отстегнуть ремень на сиденье, как вот она, первая строчка в новой саге об Америке, которую, кажется, сулит тебе твоя поездка. Первый посыл информации, первый дар дорожной судьбы — сосед слева, с широкими обвисшими старческими щечками, 68-ми лет, отставной учитель, бодр не по возрасту, как паровоз, дымит сигаретами «Ларк», с удовольствием отхлебывает, звеня кусочками льда, свои бесплатно полагающиеся в астроджете две унции виски, опрокинутых в широкий стакан из симпатичного шкалика, принесенного стюардессой. И, благодушествуя в этом стратосферном комфорте, не может молчать. Выражает свои американские восторги: вот они — взгляд в самолетное оконце,— наши лучшие земли, чернозем в три-четыре фута толщиной, да и фермеры наши никому не уступят. Словоохотливый старик. В приливе патриотических чувств,— видно, не все истратил на учеников. Гордится тем, что прожил жизнь на этой земле и что сейчас перемещается в небе между двумя ее самыми знаменитыми городами, над плодородными мичиганскими прериями. Приглашая разделить его гордость, вжимается в спинку сиденья, чтобы удобнее тебе бы-

ло перегнуться, взглянуть в окошко и увидеть простершуюся внизу, играющую на солнце равнину. Отсюда не определить, сколько там футов чернозема, но ты веришь старому учителю и с его подсказки понимаешь, что плечистый индустриальный Чикаго возник не сам по себе, а именно там, где прерии, разбежавшись, уперлись в озеро Мичиган. Не возражаешь старику, отхлебывая свое астроджетное виски и ответно дымя сигаретами «Кент». Да и как возразишь? Совсем не плохи эти земли, и эти фермеры разве уступят кому-нибудь умением трудиться и получать урожаи? И за твою покладистость, узнав, кто ты и откуда, отставной учитель — будьте взаимно вежливы — одаряет тебя разговором и о твоей собственной стране. Типично американским разговором. Из него в тысячный раз ты узнаешь, что о России т е п е р ь знают много, не то что р а н ь ш е, что лет тридцать назад о водке лишь краем уха слышали, а теперь это популярнейший напиток, да и та книга того вашего, имя не упомнил, писателя шуму наделала, а еще был очень интересный, прелюбопытнейший фильм, где, помните, Бинг Кросби рассказывал о России и где конские бега здорово показали, как это по-русски называется, когда три лошади впряжены в сани?.. Тро-и-ка? Вот-вот...

Щелчок добродушной глупости и благожелательного невежества. Своевременный. Сбивает экзальтацию, и мажор первой строки в том, что слишком поторопился ты назвать сагой...

Лабиринты чикагского аэропорта О'Хара, крупнейшего в Штатах, и минут через сорок опять прощание с землей, четырехтурбинный «ДС-8», три часа лета до аризонского главного города Финикса, опять кормят и поят, через наушники сладко льется стереомузыка, перекрывая гул турбин, но где она, свежесть утра, долгий летний день перевалил на другую свою половину, и после второго ленча с напитками уже усталы и дремотны пассажиры первого класса, и перед их глазами на серой стенке салона упорно горят, чередуясь, табло, возвещающие, свободен или занят туалет — какая-то смешная мистика в упорстве этих огненных знаков, проносимых высоко в небе над тысячами миль Америки. Отставной учитель навсегда пропал в дебрях Чикаго, а новый сосед слева — весь в себе, молчун, ничего не говорит и ничем не гордится, и его замкнутость не дает потянуться к окну и увидеть, как плавно откатываются назад просторы американского Среднего Запада по мере нашего неумолимого приближения к аризонским пустыням, и лишь незадолго до Финикса, когда самолет кренится, снижаясь и разворачиваясь, вижу вместо прерий безлесные, голые горы.

Финикс — это от птицы феникс. Из какого пепла возрождалась заштатная и, кажется, совсем незагадочная аризонская столица? Первое дыхание глубинки. Маленький аэропорт. Кургузые пальмы у края летного поля — метелки листьев на толстенных кеглях стволов. Мужчины сплошь в стиле вестерн — джинсы, узорные ремни, ковбойские рубахи, ковбойские сапожки. Женщины — под стать. После людских скоплений Нью-Йорка и Чикаго думаешь, что все здесь, наверное, знают друг друга или во всяком случае мигом отличают не своих хотя бы по одежде. Пешеходные дорожки спрятаны под навесы — от южного солнца. Автомашины светлых цветов, на автомобильных номерах Аризона величает себя «Штатом Гранд-Каньона».

В Аризону? К индейцам? Ни одного из них в аэропорту аризонской столицы, но спуск в глубинку еще не завершен. Еще одна пересадка, еще одна ступенька вниз — и кончились реактивные самолеты. Старый, но вполне прочный четырехмоторный «конвейер».

День истек и истлел в долгом полете, догорает пурпурной полоской южного заката, над которой висим в быстро темнеющем фиолетовом небе.

Догорел закат, неразличимо темной стала земля, и перед посадкой тьму слегка раздвинула небогатая россыпь огней.

Вот он, Флагстафф — флагшток. Давно ли водружали на этом флагштоке звездно-полосатый флаг?

Пилот врубил прожектор. Нацеленный на посадочную полосу, он вырвал из темноты купы деревьев. Нет, не метелки и кегли пальм. Флагстафф расположен на высоте шести тысяч футов (двух километров). Климат не для питомцев юга. Кругом сосновые леса.

Деревянный аэропортишко. Все по старинке, и чемодан свой бери не на вертящемся металлическом кругу, а прямо с тележки, под аризонскими звездами. Тут-то уж наверняка все знакомы, но тебе от этого не легче. Тебя никто не знает и не встречает.

Правда, сочувствующие души все-таки обнаруживаются. Дежурный аэропорта посылает к микроавтобусу, стоящему у здания,— это местное такси. Молодой водитель по-провинциальному почтителен со старшим.

Пустынная дорога, таинственные деревья в свете фар, вечерний, по-субботнему безлюдный, покинутый, ничем не примечательный городок. И еще одно временное пристанище человека, которому долг и охота велят ездить,— небольшой, старый, но опрятный отель «Монте Виста».

Несмотря на усталость и поздний час, не сидится в отеле. Выходишь на улицу — нет, не для того, чтобы сразу же искать индейцев. Тянет незнакомое. Хочется увидеть его и ощутить и к тому же при всех ограничениях маршрута по улицам ты можешь идти куда хочешь, хоть днем, хоть ночью. Но на улицах пусто, нечего и некого смотреть.

Вдруг освещенное кафе «Гонконг», китайская кухня, китаец-официант от нечего делать маячит меж столиков.

Американская пестрота, летел к индейцам, а первыми встретил китайцев.

Поужинал в «Гонконге».

И еще гулял по авеню Санта-Фе, вдоль которой молчала в субботний вечер знаменитая железная дорога Санта-Фе.

И... Неужели? Ошибки быть не могло. Первый индеец. Малыш лет четырех, коренастый, нахохлившийся, как воробей на морозе, громко и горько плакал на темной безлюдной авеню Санта-Фе в тот час, когда другие флагстаффские дети давно видели сны в своих постелях. Он и другой малыш, чуть постарше, стояли у двери какого-то дешевого отеля. Через окно в холле видно несколько взрослых, бедно одетых людей. То ли пустили их погреться, то ли надеялись они на бесплатный ночлег. Несомненные индейцы. И безутешный плач ребенка. Может быть, ему нестерпимо хотелось спать. Может, получил шлепок или тычок от старшего брата. Мало ли от чего в обиде и горе зайдется детское сердце? На ночной улице, где никого и не было, тебе как будто подбросили этот символ, как будто сразу начало сбываться то, о чем ты читал и слышал, что сам предчувствовал, за чем, собственно говоря, по газетной своей корысти, летел,— индейская боль, воплощенная в образе маленького рыдающего мальчика.

Заметив меня, старший брат дернул плачущего за рукав, и тот тоже поглядел на незнакомца и перестал реветь, лишь всхлипывал, вытирая слезы рукавом рубашки.

Я прошел мимо...

Флагстафф — маленький город. На следующее утро я снова заприметил этого малыша, зайдя в закусочную рядом с автобусной станцией, откуда отправлялся посмотреть знаменитый Гранд-Каньон. Малыш шел по улице, крепенький и испуганный, и его опять понукал старший брат, а мать-индианка шла впереди, сама по себе, как бы стесняясь своих детей и того шума и беспорядка, которые они производили в обществе белых.

ГРАНД-КАНЬОН

У водителя туристского автобуса подозрительно помятое лицо и красные глаза кролика. В одежде та живописная небрежность американского Запада, к которой в Аризоне быстро привыкаешь: ковбойская шляпа с широкими твердыми загнутыми полями, лихо сдвинутая с затылка на лоб, расшитые затейливыми узорами полусапожки с длинным узким носом и высоким скошенным каблуком, который, наверное, помогает удержаться в стременах и, если нужно, пришпорить лошадь. Эти атрибуты ковбоя, совсем ненужные человеку не в седле, а за баранкой, дополняет рубашка, которая, как слюнявчик младенца, умильно пестрит красными вышитыми цветочками. А во взгляде есть что-то от горьковского Челкаша — циничное, хищное, пренебрежительное к людям.

Люди — это мы, туристы. Поспешно выпрыгиваем из автобуса на каждой очередной остановке платной трехчасовой экскурсии вдоль южной кромки Гранд-Каньона. Водитель не спешит. Спрыгивает на землю последним и, отойдя чуточку в сторону, найдя на краю стоянки какое-нибудь дерево, чтобы прислониться, надвинув шляпу еще ниже и презрительнее на глаза, лениво сплевывая, наблюдает за суетливыми экскурсантами, которых умело пасет сухопарая экскурсоводка. Баранами сбившись вокруг нее, туристы и не смотрят на каньон, который на каждом повороте, на каждой площадке для обозрения величественно и равнодушно разворачивает свои бездны, свои странные, причудливые горы, вырастающие как будто из недр земли, игру света и теней в своих глубинах. Экскурсоводка сыплет цифрами миль и футов, разными историями и смешными побасенками, и, по-американски стремясь к дивидендам на вложенный капитал, на заплаченные за экскурсию доллары, туристы внимают ей под пренебрежительным взглядом водителя, боясь отойти от группы, подойти к краю бездны и положиться на собственные ощущения.

Туристы — это преимущественно жилистые старики и старушки, американские неутомимые долгожители. Они — так здесь это называется — отошли от дел, причем довольно давно. И не пристали к малоподвижному, не свойственному американской натуре делу бабушек и дедушек. Они сохранили мобильность, неусидчивость и на закате жизни, в канун вечного покоя, без устали разъезжают, озирая чудеса того мира, в котором выпала им доля жить.

Закончив свой рассказ, экскурсоводка всякий раз дает им минут пять для индивидуального осмотра красот. Пощелкав автоматическими фотоаппаратами и пострекотав кинокамерами, они лезут в автобус. Водитель, дождавшись последнего, отлепив окурок от нижней губы и ловким щелчком бросив его в сторону, отваливается от дерева и тоже лезет в автобус, занимая свое удобное кресло.

Он отлично знает цену этим экскурсиям, групповым налетам и наскокам, коротким и судорожным усилиям постигнуть чудо Гранд-Каньона и порой, одолев пренебрежение, снисходит до пассажиров и через микрофон на своем водительском месте дает философичный совет: «use your imagination» — «подключайте свое воображение».

Но его собственное воображение работает банально. «Каньон как женщина,— говорит он в микрофон, уверенно-небрежно ведя машину.— Изменчив и капризен, но всегда интересен...» И сухопарая, педантичная экскурсоводка, забыв о цифрах и научных терминах, тоже напрягает воображение, соревнуясь с шофером: «Вы думаете, что каньон всегда один и тот же? Ошибаетесь. У каньона разные настроения — на закате и на рассвете, под луной и солнцем, в дождь и туман...»

Как описать этот перевернутый кусок мироздания, этот горный хребет, не выпирший из земли, а, наоборот, развернувший землю, выточенный дьявольски упорной рекой Колорадо, которая миллионы лет искала и находила себе путь среди медленно поднимавшегося плоскогорья, все глубже вонзаясь в него, все

мире его раздвигая, причудливо преобразуя его в союзе с ветрами, дождями и морозами, пока не получился тот Каньон, к которому подошло слово Гранд,— самый величественный в мире, глубиной в полтора километра, шириной — от 6 до 23 километров.

Смотришь в него, как в пропасть: нижний слой темных скал, у подножия которых, в самой глубине, еле видная, узенькой и, кажется, недвижной изумрудной полоской светится река Колорадо. Над темными нижними скалами — плато, разрезанные ущельями, взметнувшиеся первозданной архитектурой природы, фантастическими храмами, мавзолеями, сфинксами из красноватого песчаника. Люди взяли для них названия из своего рукотворного мира — храмы Будды, Ра, Заратустры, пирамида Хеопса, хотя эта архитектура стихий гораздо древней человеческой.

Над храмами и пирамидами — плоский, как стол, противоположный дальний берег, северная кромка каньона...

Ночью — тьма кромешная, ни зги, ни единой звезды в небе и чернее неба бездонное пространство, невидимо лежащее у тебя под ногами...

Не было еще ночи, а было начало вечера с дымчатыми сиреневыми тенями, струящимися в каньоне. Я шел к «Хопи Хауз» — Дому индейцев хопи, повинуясь объявлениям, висевшим в холле отеля «Брайт Энджел». Они сообщали, что каждый вечер, с полшестого до шести, вековечные коренные обитатели Гранд-Каньона, индейцы племени хопи, показывают белым людям, приехавшим полюбоваться каньоном, свои традиционные старинные танцы — в индейских, без обмана, доподлинных нарядах. Бесплатно и — в доподлинных нарядах. Это были главные завлекающие слова.

Я догадывался, что ничего хорошего и доподлинного не увижу, что опять будет дешевый цирк, унизительное зрелище индейцев, сшибающих подачки у белого человека. Стоило ли идти? Я шел — на свидание, в Аризону к индейцам.

Опаздывал... Уже звучал глухой, негромкий барабан и в такт ему немногоголосое вскрикивание: «Йаха-йаха-ха...»

Помост был капитальный, заасфальтированный, квадратный. За ним, по другую сторону, какое-то небольшое строение магазинного типа — Дом хопи? У помоста толпились туристы с фотоаппаратами и кинокамерами. Толпа стояла плотно, в несколько рядов, детей пропускали вперед, чтобы они лучше могли разглядеть индейцев, а запоздавшие фото- и кинолюбители перебегали с места на место, разыскивая точку для съемки, торопились, боясь упустить самый хороший, самый выигрышный кадр.

И, возвышаясь над публикой, на капитальном помосте, словно на лобном месте без палача, уже топтались двое молодых индейцев и одна немолодая индианка. Танцующие мужчины были обуты в отороченные мехом мягкие мокасины. Их ноги до колен и выше были перехвачены сыромятными ремнями, на которых в несколько рядов были навешаны серебряные бубенцы. Квадратные накидочки прикрывали их индейские чресла спереди и сзади, и все это выглядело доподлинным и натуральным, без обмана, и лишь внимательному взгляду открывалось, что под накидками, вспархивающими при движениях танцоров, голубели обыкновенные американские плавки с левым задним карманчиком, застегнутым на пуговку,— из ближайшего универмага или аптеки-драгстор, а мокасины были надеты на толстые белые котоновые носки, которые любят американцы, особенно из провинции. Голубенькие плавки и белые котоновые носки бросали тень на полноту и доподлинность индейской одежды танцоров, но что за мелочность, что за придирки? Зато на их головах торчали черные и белые пушистые перья индейских головных уборов — явно не из универмага,— и щеки их были разрисованы какими-то полосками, расходившимися лучами от переносицы.

Вот так они выглядели, собрав немалую толпу зевак.

Коренастые. Низкорослые. Животы и груди танцоров, ничем почти не прикрытые, были смуглыми, с жирком, и складочки кожи бугрились над плавками и над веревочками, которыми квадратные накидки крепились на бедрах. Мужчины были малоподвижны для танцоров, а женщина и вовсе была толстая, маленькая, кривоногая, некрасивая. Сапожки на ней были повыше, и вообще прикрывалась она основательнее, потеплее — к вечеру становилось все прохладнее, хоть и юг, но лишь начало апреля и высота над уровнем моря больше двух километров.

Так состоялась вторая моя встреча с индейцами. На этот раз они не плакали, а танцевали. Вернее, делали вид, что танцуют. Притоптывали с ленцой, неумело и неохотно, как будто зрители должны были довольствоваться одним лишь зрелищем на этом помосте доподлинных индейцев в доподлинных одеждах. И головы их не были гордо подняты в азарте танца, и глаза не сверкали, а были опущены долу, и эти прячущиеся глаза говорили, что, хотя и занимались они этим делом каждый вечер, не могли свыкнуться с ним, знали, что оно гадкое, что приходят тут смотреть на них, как на зверюшек в зверинце.

Вечер, словно медленный занавес, опускался над великой сценой Гранд-Каньона, и она была их родиной, а они лениво фиглярствовали на помосте возле Дома хопи. Глаза — долу, и никаких тебе улыбок. И одышка. И покороче все, покороче да побыстрее — и с глаз долой.

За четверть часа они исполнили три танца. После первого танца появились в новых перьях, объявив «танец орлов». Уже без женщины, перья не только на голове, но и на ногах, а на руках — смешное подобие крыльев. Они, конечно, так и не взлетели, эти «орлы». Помахав потешными крыльями, под жидкие хлопки, они ушли еще раз сменить оперенье, и я видел, как старая белая

американка (которая, надо думать, и заведовала танцорами и коммерческим заведением под названием Дом хопи), прятала крылья в кладовку, под замок, от любителей индейских сувениров.

Индианка, уже не танцующая, появилась на помосте, кланяясь публике, и расставила по краю, на низком каменном барьере, плетеные тарелочки — для денежных подношений. Чувствовалось, что приближается финал. И в самом деле, двое ее товарищей снова поднялись на сцену, максимально оперенными, добавив на головах к черным и белым еще и красные перья, и шибче затопали ножками в мягких мокасинах, стараясь расшевелить и заставить раскошелиться разочарованную публику. И публика хлопала под занавес и кидала мелочь в плетеные индейские тарелочки. Кто-то не пожалел и зеленой бумажки, прижав ее мелочью, чтобы не подхватил ветер и не унес в бездну каньона...

Когда зрители расходились, к Дому хопи подкатил новый автобус с туристами. Вылезла еще одна партия стариков и старух, для вновь прибывших был объявлен еще один сеанс — те же три танца с притопом, смена перьев и крыльев и то же короткое напоминание, что денежные вознаграждения за бесплатную индейскую самодеятельность будут приняты с большой признательностью.

Некрасивую горбоносую танцовщицу я встретил позднее в баре отеля «Брайт Энджел». Она сидела в углу, откуда можно было обозревать посетителей, одна, с бутылкой пива...

ДЖЕК КУКЕР

Я так и не побывал на дне Гранд-Каньона, куда спускаются пешком или на мулах, так и не приблизился к ложу Колорадо и не увидел оттуда, снизу, запрокинув голову, какую работу проделала эта речка за отпущенные ей миллионы лет. Времени не было. Субботу — на перемещение из Нью-Йорка в глубинку, воскресенье — на поклонение Гранд-Каньону, делу — время, потехе — час, и в дороге с понедельника начинается рабочая неделя, торопит и гонит дальше...

Рейсовый автобус компании «Континентэл трейлуэйс» отходил на Флагстафф от отеля «Брайт Энджел». Водитель, напоминавший президента Трумэна безгубым ртом и тонким хищным носом, стоя у открытой двери, раскатисто поторапливал пассажиров:

— Последний звонок! Последний звонок!

Автобус был полон. Лишь рядом со мной оставалось свободное место. Последним вошел мужчина лет тридцати пяти, рабочего вида, в темных очках. Искал глазами место. Остановился рядом: «Не занято?» Закинул в сетку наверху свою дорожную сумку. Сел. Попутчик. Темные очки прикрывали пластырь, который в свою очередь прикрывал синяк под правым глазом.

— Ну, ребята, как вам понравился Гранд-Каньон? Довольны поездкой? — не требуя ответа, приветствовал пассажиров водитель, закрыв дверь и мягко трогаясь с места.

На автобусной стоянке остались пожилой индеец и молодая белая женщина, рослая, миловидная и не похожая на американку — на ней было платье и белые туфли на высоких каблуках, американки же предпочитают брюки и избегают высоких каблуков, собираясь в загородную поездку. Что-то связывало старика-индейца и женщину-иностранку, раз на опустевшей площадке они стояли рядом, но что-то и отделяло их, в позе женщины было что-то, стеснявшееся этой связи, соседства. Когда автобус тронулся, мой попутчик с подбитым глазом прощально махнул рукой. Ни старик, ни женщина не заметили его жеста.

От Гранд-Каньона до Флагстаффа — восемьдесят миль, час с лишним пути. Автобус сильно и плавно катил по шоссе, проложенному в редком сосновом лесу. Лес был выстлан мхом, под соснами рос низкий замшелый кустарник.

Я предложил соседу сигарету. Он отказался, сопроводив отказ комментарием:

— Не курю. У меня и без того много дурных привычек.

Это звучало приглашением к разговору.

— Алкоголь?

— Не только.

Своими репликами он работал на образ лихого ковбоя, не лишенного тех мужских слабостей, какими принято гордиться.

Разговорились. Он спросил, кто я и откуда. Я объяснил, что журналист из Советского Союза, или России, как чаще называют нашу страну американцы, что работаю в Нью-Йорке, познаю Америку и пишу о ней в свою газету, а теперь прилетел сюда познакомиться со штатом Аризона, где ни разу не был. Я не сказал — в Аризону, к индейцам. Чувствовал, что этот ковбой на самом деле индеец и может не понять ни моей иронии, ни моей задачи, делающей и его объектом наблюдения и изучения. Он не удивился, узнав, кто я. Во всяком случае удивления я не заметил. И не сразу открылся сам, не сказал, что индеец. Просто назвал себя. Имя Джек. Фамилия — Кукер. Не Монтигомо Ястребиный Коготь. На вопрос о занятии ответил: «Меня, пожалуй, можно назвать ковбоем...» Работает на ранчо возле Альбукерке, в штате Нью-Мексико, а в Гранд-Каньон приехал всего лишь на день, потому что тут живет его отец, который в кредит купил трейлер — передвижной дом и срочно нуждается в деньгах для очередного взноса.

— Видели моего отца? Он стоял на автобусной станции. А рядом была моя знакомая. Немка. Мы вместе с ней прикатили, но она решила задержаться — Гранд-Каньон...

Джек Кукер оказался общительным малым. Рассказывал о своей жизни, о

том, как пришлось ему помотаться по американскому Дальнему и Среднему Западу. Был ковбоем в Аризоне, Вайоминге, Северной Дакоте, Нью-Мексико. Чернорабочим в сейсмографической партии. Рабочим на урановых шахтах — там платили до пятидесяти долларов за смену, но, сказал Джек, «много зарабатывать вредно — все деньги уходят на налоги, а в конце тебе же говорят, что ты еще кое-что недодал». На угольных шахтах. На авиазаводе «Норт американ авиэйшн» — чистая работа и платили хорошо, но не выдержал, ушел, не выносит стен, любит жизнь и работу на воле, где потолком — само небо.

— Хочется все самому увидеть. Тебе говорят: там-то живут так-то. А почему я должен верить чужим глазам? Может, своими по-другому увижу...

И в тридцать восемь лет — ни кола ни двора, без жены и детей.

Между тем за разговором наш автобус незаметно прибыл в Флагстафф, и, подкатывая к автовокзалу, шофер с лицом Трумэна призвал пассажиров не забывать, что есть на свете автобусная компания «Континентэл трейлуэйс», всегда готовая к услугам.

Пора было расставаться, хотя и не хотелось. Нас потянуло друг к другу, и я понял, что вечером его подстерегало то же, что и меня — одиночество. И мы не расстались. Джек предложил самый интернациональный способ закрепления знакомства — пропустить по махонькой. И я согласился.

Был какой-то известный ему «Голубой бар», и он тянул меня туда. Но я вспомнил о бутылке виски, захваченной в дорогу, и потащил Джека к себе, в номер отеля «Монте Виста». И тут-то, по пути в отель, еще до махонькой, он, налаживая дружбу, признался, доверился мне: индеец, из племени хопи, которое обитает не только там, в районе Гранд-Каньона, но и в северо-восточном углу Аризоны, по соседству с навахо. Индеец, так сказать, на отхожем промысле, покинувший резервацию. Любитель кочевой жизни из оседлого племени хопи.

Итак, индеец в одежде ковбоя и темных очках, прикрывших подбитый глаз, и русский, просчитавшийся насчет аризонского климата, не по сезону взявший в дорогу белые летние брюки и легкий пестро-клетчатый пиджачок. Странная пара. Мы шли по улице, как плыли против течения, под удивленными взглядами обывателей из города Флагстаффа, очнувшегося от дремотного оцепенения уик-энда. Но что были нам эти взгляды, если уже охватил нас дух товарищества, и мы были полны взаимного добра и желания раскрываться друг перед другом. И в ответ на признание Джека я тоже не мог таиться, сказав, что — на ловца, брат, и зверь бежит — прилетел в Аризону не просто так, а с прицелом — посмотреть, как живут индейцы собственными глазами посмотреть, как он смотрит своими глазами, перебирая в своих кочевьях все новые американские места. и что из Флагстаффа отправлюсь не куда-нибудь, а в резервацию навахо...

Махонькой дело не обошлось. Разговор наш стал горяч и сбивчив, но, подливая в стаканчики, я не забывал, конечно, о своем корреспондентском долге, дружба — дружбой, а служба — службой, и с жадностью впитывал информацию от нового, неожиданного своего приятеля — индейца. И он говорил не просто о себе, Джеке Кукере. Каждый из нас говорит не только о себе, особенно с человеком из другого народа. И Джек Кукер уже говорил, как отчитывался — выплескивал то, что кипело и бурлило на душе, подступало к горлу, чем он мог смелее и свободнее поделиться с иностранцем, а не с соотечественником, белым американцем, потому что белого соотечественника надо ведь как бы призвать к ответу, а иностранец — лишь сочувствующий, благодарный слушатель. И получалось, что все ложилось кирпич к кирпичу, что это был как будто один и тот же рассказ, начавшийся (нет, не случайно!) плачем индейского малыша в ночи и продолженный жалким топтанием танцоров-хопи на краю их родного великого Каньона, и теперь туда же вплеталась исповедь Джека Кукера. И столько было горечи в этом рассказе о родной стране, что вела себя, как мачеха. И горечь эта словно обвиняла меня, собирателя материала, и отравляла мою корреспондентскую удачу.

Выплыл в этом рассказе шахтерский городок Бьютт под большим небом штата Монтана. Я тоже побывал в Бьютте несколько лет назад. И вспомнил, как там опять удивило меня то, что удивляло и раньше в других американских краях: маленький город, а какой пестрый, разноплеменный, многонациональный, из каких только стран не приплыли, не прикочевали на знаменитые медные копи «Анаконда»... Вавилонское столпотворение... А его, Джека, предки всегда были здесь — и в этом их проклятье.

И что-то дрогнуло в широком землистом лице, в синеватых губах Джека, исказилось, как от боли.

Я заметил эту судорогу, эту гримасу.

— Джек, индейцы самые несчастные!

— А что делать? — с горькой трезвостью отозвался Джек.— Надо подлаживаться. Назад пути нет. Пролитое молоко не подберешь...

Тысячу раз передумал он это — всей своей жизнью. Не подберешь пролитое молоко. Но и не утешишься этой истиной.

— А почему мы должны походить на них?

И это было передумано тысячу раз.

— Почему нельзя жить так, как жили наши предки? Почему нельзя быть довольным тем, что есть? Не гоняться за долларом и не участвовать в их крысиных гонках?!

Сам он ушел из резервации и не помышлял возвращаться. Но как тяжко и одиноко, как непривычно до сих пор ему, давным-давно ушедшему! И как он понимает тех, недавно ушедших, кто не смог выдержать, кто возвращается, спасаясь от одиночества,— к жалкому, бел-

ному и обреченному, но своему, родному, из необъятного, пестрого и равнодушного, безжалостного чужого мира. Когда он работал у геологов, в сейсмографической партии, было там еще три индейца, моложе его, только что выехавшие из резервации, и он жалел их, воспитывал, внушал, что время не повернуть, с волками жить — по-волчьи выть, стиснув зубы отвыкать от всего своего (даже от родного языка), ассимилироваться, привыкать к чужому,— но трое так и не вынесли, ушли, вернулись в резервацию. Таких случаев было много в его памяти, и он перечислял их, погружая меня в коренную индейскую проблему — ассимиляцию.

Когда в бутылке изрядно убыло, подвел внезапную черту нашему разговору:

— Виски было твое, а за мной — ужин.

Встал, нахлобучил шляпу, упруго, картинно качнулся голливудским ковбоем.

Мы спустились в холл. Было уже довольно поздно. За стойкой дежурил молодой парень, судя по внешности, из подрабатывающих студентов. В холле Джек стал другим. В номере исповедовался, тут играл, пижонил, самоутверждался. Заказал такси, спрашивал о лучшем ресторане в городе и даже о ночном клубе с танцующими девочками. Студент, теряясь под напором ухаря-ковбоя, смущенно разъяснял, что по части ночных клубов Флагстафф не богат, ни одного не найдешь и во всей округе.

По вызову приехал молодой таксист, тоже похожий на студента. И он был вежлив и услужлив, но не мог предложить больше того, что имелось. По тускло освещенным улицам уже уснувшего Флагстаффа мы покатили на окраину, где врывалась в город федеральная дорога 66 и даже ночью не угасала жизнь с ее сиянием неоновых вывесок у мотелей и бензозаправок. Таксист вез нас в новый ресторан, в котором сам ни разу не был, но о котором слышал в местной радиорекламе.

Ресторан состоял из бара с интимным полусветом-полумраком и большого зала, в котором пустовали столы, покрытые накрахмаленными скатертями, и красные, с пластиковой обивкой стулья — провинциальная претензия на фешенебельность. Едва мы туда вошли, как я увидел еще одного Джека Кукера. Куда делся налет удали и разгула? Подвыпивший индеец не забывал о своем месте в этой жизни и, быстро трезвея, отыскивал его. Поэтому мы очутились не в зале ресторана, не за столом с накрахмаленной скатертью, а в обыкновенной, насквозь просвечиваемой стекляшке — в кафе, которое Джек тотчас же обнаружил в этом комплексе. Правда, найдя свое место в стекляшке, он опять шумел, гудел, командовал молодой насмешливой официанткой, но, заметил я, друг мой теперь работал... под мексиканца. Он говорил теперь с тяжелым мексиканским акцентом, то и дело перемежая речь обращенным ко мне испанским словечком — амиго. Джек Кукер стеснялся быть индейцем.

И это заведение принадлежало американским китайцам, добравшимся до Флагстаффа в своем широком кулинарном наступлении на Америку. Каждый со своего места, китаец-метрдотель, китаец-кассир и китаец-официант, с молчаливым презрением поглядывали на Джека, на его пыльные сапожки и джинсы, на его широкое индейское лицо, на пьяные размашистые жесты.

Поужинав, мы дожидались у двери такси, вызванного кассиром. Подъехал дорогой «линкольн», вышли и направились в ресторан трое белых американцев, и Джек мгновенно отшатнулся от двери, освобождая дорогу хозяевам Америки.

Он неспроста работал под мексиканца. Мексиканец — тоже неустроенное, гонимое существо, но индеец еще ниже, в самом низу, и за ним не нация и не государство, а всего лишь племя в резервации.

Давешний таксист-студент, единственный в ночном городе, повез нас в отель, но Джек завелся, не хотел угомониться, рвался еще куда-то, в какой-нибудь бар. Но с утра меня ждала работа корреспондента, знакомящегося с новым местом. И Джек не переубедил меня. Мы доехали до отеля. Он вышел со мной. Оставив в бумажнике двадцатидолларовую банкноту, остальные деньги сдал на хранение студенту-дежурному, продиктовав и взяв расписку: «Получено от Джека Кукера...» Видать, кое-что он помнил об уроках, которые преподносила ему разгульная жизнь...

Ковбои, даже перебрав накануне, просыпаются раньше корреспондентов. Джек барабанил в мою дверь утром, когда я еще стоял под душем, и снова, когда я брился. Он был одет, в лихой своей шляпе, с сумкой в руке, готовый в дорогу.

Решили вместе позавтракать в кафетерии при ресторане «Кейблс». Заправляясь утренней яичницей и чашкой кофе, сидели там солидные, деловые, стопроцентные, непостижимые для индейской души. Джек был пронзен и уничтожен их взглядами. Поспешил выскочить: «Здесь нам долго не подадут».

И он снова искал свое место и нашел его в кафе «Гонконг», где мы оказались единственными посетителями.

Я развернул местную газету. Как всегда в начале апреля, сообщалось о церемонии присуждения в Голливуде премий Оскара. Печатался список фильмов, режиссеров и актеров, получивших золотые статуэтки.

— Джек, а ты эти фильмы видел?

— Я в кино не хожу. Там все липа,— ответил Джек, расправляясь с яичницей.

— А читаешь что-нибудь?

— Читать люблю. Больше всего статьи о медицине.

Ему ничего не говорили имена Толстого, Достоевского, Чехова, известные даже нечитающим американцам. Зато он похвастался, что был лично знаком с Хемингуэем. Я не поверил. Джек рассказал,

что повстречался с Хемингуэем однажды в Кетчеме, штат Айдахо, где у писателя был дом. Прямо на улице. Да, в Кетчеме Хемингуэй жил и там же застрелился. Маленький курортный поселок среди пологих покойных холмов Солнечной долины, речушка, за которой стоит на окраине хемингуэевский дом, единственная улица, на которой все знали и встречали писателя. Мне тоже довелось побывать в Кетчеме — тогда его уже не было в живых.

— Я подошел к нему,— рассказывал Джек, обидевшись, что я не сразу ему поверил,— говорю: «Мистер Хемингуэй, я хотел бы с вами познакомиться. Меня зовут Джек Кукер. Разрешите поставить вам стаканчик». А он говорит: «Нет, Джек, давай я тебе поставлю». Он знаешь как поддавал. Не то что мы с тобой. Выпили с ним по стаканчику. Сказал я ему, что индеец. А он посоветовал: «А ты не принимай это близко к сердцу».

— В каком это смысле, Джек?

— Ну, в том смысле, что индейцам не сладко, что их всюду теснят и шпыняют. Он сказал: «Не принимай это близко к сердцу. Веди себя как боксер на ринге — уходи от удара»...

После завтрака Джек пошел на автобусную станцию, чтобы отправиться к себе, на ранчо в Альбукерке. Мы простились. Жали друг другу руки, хлопали друг друга по плечу. Я оставил ему свой нью-йоркский адрес. Но простились мы, оказалось, ненадолго. Часа через два, выходя из отеля, я столкнулся с ним у лифта. Он был с той же сумкой в руке, в той же шляпе, в тех же пыльных сапогах, собравшийся в дорогу и никуда не уехавший.

— Джек?

Он обернулся. Лицо его было страшным. Он еле держался на ногах. Первый раз в жизни я становился свидетелем индейского запоя.

ФЛАГСТАФФ

И снова наши пути разошлись. Он тяжело закачался в другую сторону, уплыл, неуклюже растопыривая руки, барахтаясь в своих тяжелых неведомых волнах.

В Аризону? К индейцам? Была Аризона и был индеец по имени Джек Кукер с той минуты, когда он заговорил со мной, плюхнувшись рядом на сиденье автобуса, и в ту минуту, когда мы сели друг напротив друга в номере отеля «Монте Виста», и в те минуты, когда мы ездили в такси по ночному городу — уже товарищи, уже друзья. Да, сбылось то, о чем ты помышлял,— и Аризона, и индеец, потянувшийся к тебе, доверившийся, раскрывшийся, и — как знать? — может быть, это как раз то, что надо — разгляди и угадай море через каплю, раздели этот путь Джека Кукера по флагстаффским улицам и барам, его одиночество и метания в поисках понимающей души, проникнись и его опаской перед белыми, и их презрением к индейцу, выслушай до конца даже этот пьяный бред и наполни себя чувством сострадания, без оглядки, насколько хватит душевных сил,— и из одного индейца, бросившего свое племя и неприкаянно кочующего по Америке, извлечешь ты повесть о всех индейцах, о том, как, отвергнутые на земле, которая была когда-то их землей, влачат они годы, десятилетия и столетия своего одиночества, несут это бремя на американских улицах и в американских домах, и лишь какая-нибудь, тоже неприкаянная, залетевшая в Америку с какими-то своими надеждами женщина вроде той немки не отвергнет его как мужчину, и только перед каким-то случайно встретившимся русским может он излить свою душу.

Плюнь на все условности своей профессии и правила своего пребывания в чужой стране и продли часы с Джеком Кукером — и тогда по-журналистски и по-человечески исполнишь ты долг человека, рассказывающего одним людям о других людях.

Но нет, не плюнул. И день был отдан не Джеку Кукеру, а городу Флагстаффу.

В местной торговой палате, где подвизались деловые люди, занятые тем, как бы не дать пропасть своему городу, заманить в него новый бизнес, обзавелся брошюрками, начиненными цифрами и фактами, потом бродил по городу, размышляя, где бы дополнить сведения, почерпнутые в торговой палате. Свел знакомство с несколькими гуманитариями в Северо-аризонском университете.

Возглавляющий отделение политических наук профессор Страус оказался по моей части: индейцы входили в круг его академических интересов. Он говорил о трудной судьбе индейцев, кончающих средние школы-интернаты. Для своих они вроде изгоев, в американском обществе — на всю жизнь чужаки. Он сообщил, что среди студентов университета тоже есть индейцы, держатся отчужденно, особняком, и — тоже проблема — нет ни одного преподавателя-индейца, все обучение идет на английском языке...

У одного из моих новых знакомцев, Орацио Джусти, из департамента современных языков, вечером побывал дома. Меня расспрашивали о поездках по Америке. Охали и возмущались, узнав об ограничениях на передвижения советских граждан и о том, что, путешествуя, мы не имеем права арендовать автомашины, хотя в американских городах без четырех автомобильных колес поистине как без ног и рук. Добрая душа, хозяин вызвался помочь с транспортом до Туба-Сити, расположенного на западной границе резервации навахо, куда я собирался следовать из Флагстаффа...

Распрощались. На улице ждал аризонский апрельский сюрприз — снег. Он валил большими мягкими хлопьями, лежал на крышах автомашин, пушистыми белыми покрывалами закрыл их ветровые стекла. Ночь посветлела от снега. Из расступившейся темноты белыми ветвями выступали деревья.

И в комнате отеля сразу телефонный

звонок, голос: «Стэн? Куда ты запропастился? Я тебе третий раз звоню».

И ввалился Джек Кукер. Никуда не уехал. Полон дружеских чувств. Верен взятому с утра направлению.

Он затащил меня в прежний свой номер, наискосок от моего. На столе, с парусами на этикетке, бутылка виски «Катти Старк» и пристывшие друг к другу кубики льда в синеватом запотевшем полиэтиленовом мешочке.

Пьяная суетливость была в движениях Джека. Хлебнув пару глотков, он ушел в беспамятство, мотал головой, бессмысленно приговаривая: «Эх, Стэн... Да что там, Стэн... Ну, ладно, Стэн...»

Я ушел, взяв с него обещание лечь спать.

Меня разбудил телефонный звонок. Было полвосьмого утра.

— Стэн! Спишь еще? Я сейчас уезжаю. Поднимайся!

Минут через пять раздался увесистый стук. Ввалился Джек в полной своей форме, с недопитой бутылкой «Катти Старк». Заплетающимся языком предложил посошок. Отказавшись, я сунул бутылку в его сумку и посоветовал ему поспать до автобуса. «Блям... блям... блям...» — пьяно бормотал он, удаляясь по коридору.

Хлопнула дверь его номера, и он исчез, и больше нигде и никогда не видел я индейца-хопи Джека Кукера, пасущего коров и быков в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

ЕЩЕ ДЕНЬ В ФЛАГСТАФФЕ

Джек, живой индеец, исчез, но с утра, как договаривались, явился профессор Парк и повез меня на окраину Флагстаффа, туда, где были индейцы музейные, оставившие достаточно следов на месте своих древних поселений, чтобы заполнить в нескольких комнатах стенды под стеклом.

Снег, шедший всю ночь, теперь дружно таял под колесами машин на раскисших дорогах. Празднично белыми стояли окрестные горы, и на солнце сказочно красиво сверкали деревья.

В музее куколки «кочина» изображали богов хопи. Боги были пестро расписаны и потешно-гротескны. По преданию, боги когда-то рассердились на людей, ушли от них в горы, и с тех пор осиротевшие хопи своими «кочина» пытаются умаслить и умилостивить их, уговорить вернуться. У ковров, вытканных индейцами навахо,— непривычные смелые сочетания цветов. Пояса, браслеты, броши, серьги — из серебра с камнями бирюзы. Плетеные корзины и тарелки — и снова неожиданное, но подкупающе точное чувство пропорции, игра красок.

Парк родился и вырос в маленьком шотландском городке. И в больших жить не может — потому и в Америке выбрал Флагстафф. Рассказывая о своей жизни, он привел прекрасную, видимо шотландскую, поговорку, которая, потеряв долю выразительности в переводе, по-русски звучит примерно так: «Можно вынуть парня из родной страны, но родную страну не вынешь из парня». Он уехал, но Шотландию и воспоминания о ней из него, конечно, не «вынули», хотя осел в Америке, обзавелся семьей, хочет укорениться, купить землю, построить дом.

Круг моих знакомых в Флагстаффе быстро расширялся, и в полдень я уже обедал с «отцами города», связанными с торговой палатой. Джек Кукер... Орацио Джусти... Профессор Парк... Теперь за столом в ресторане «Кейблс» я был в компании сильных мира сего — президент торговой палаты, он же вице-президент банка, бывший сенатор штата Аризона, он же городской управляющий и бизнесмен, отставной полковник, занимающийся страховым бизнесом, городской казначей, вице-президент университета. Специально приглашенный репортер из городской газеты «Аризона дейли сан» не только пил и ел, но и должен был оповестить флагстаффских читателей о факте нашего совместного сидения и общения за столом.

Вопросы — ответы... Они спрашивали, как у нас обстоит дело с жильем, что нам нравится и не нравится у американцев, есть ли при социализме материальные стимулы наподобие тех, что подстегивают человека в обществе «частной инициативы», и что у нас делают с людьми, которые не хотят работать (одобрительно загоготали, когда я процитировал принцип социализма: кто не работает, тот не ест).

Индейцы не присутствовали ни за нашим столом, ни в нашем разговоре...

— Боже мой, кому нужны индейцы? Разве что профессору Фоксу и другим чудакам, которым до всего на свете есть дело.

Эти слова я услышал в университете от социолога, оказавшегося в кабинете Байрона Фокса. Ирония прикрывала нежность и обожание. Байрон Фокс, по возрасту уже старик, по роду занятий — профессор международных отношений, по религиозным убеждениям — квакер, по политическим — пацифист. Местный гуманист номер один. Ему до всего есть дело, включая индейцев. Он всегда в жалком меньшинстве, но не отрекся от своих взглядов и натуры и все еще не потерял надежду прошибить толстую шкуру флагстаффского обывателя.

Когда однажды старый профессор призвал студентов и преподавателей выйти на улицы с протестом против вьетнамской войны, посыпались телефонные звонки, грозили пришибить, шлепнуть, кокнуть — больше всего буйствовали флагстаффские дамы. Но в конце концов чего ждать от провинциального обывателя, ведь это тот материал, из которого всегда возводились цитадели казенного патриотизма?! А вот один ученый коллега однажды очень огорчил и озадачил деликатного Байрона Фокса. В диспуте тет-а-тет, исчерпав аргументы из академического арсенала, коллега высказался напрямик: «Да за каждого американца я

убил бы по десять тысяч этих обезьян из джунглей».

Попробуйте спроецировать эту философию на индейцев.

До Туба-Сити, где начинается резервация навахо, от Флагстаффа всего 75 миль. Но мили ничего не решали. Профессор Джусти взялся было устроить мне встречу с индейцами-студентами из университета. С ходу, при мне (неосторожно!) куда-то кому-то позвонил — и сконфуженно повесил трубку. Видно, кто-то на другом конце объяснил Джусти, что хлопоты его непатриотичны и красному репортеру не резон встречаться с краснокожими студентами.

И все-таки в Флагстаффе попадались индейцы. Их нельзя было миновать. Выделяясь из толпы, они потерянно стояли днем у дверей магазинов и баров на авеню Санта-Фе — желто-землистые лица, иссиня-черные, прямые, короткие волосы. Плотные, коренастые. Живыми и недвижными изваяниями они стояли на тротуаре, а через шоссе со свистом и частым лихим перестуком рвали воздух бесконечные грузовые составы железной дороги «Санта-Фе». И, как пустоту, индейцев, не задерживаясь, пронзал тот знаменитый взгляд белого человека, которым глядят, но не видят. Так смотрят на лакеев. На негров, если они не заставили смотреть на себя иначе. На тротуарную тумбу — ведь ее не замечают, ее машинально обходят. На авеню Санта-Фе невидимками были индейцы.

В университете мне рассказали, что появляются они обычно по уик-эндам, чтобы в магазинах и барах отдать свою традиционную дань американской цивилизации. Все процедуры давно и четко отработаны. Если после встречи с цивилизацией индеец не стоит на ногах, его грузят в полицейские фургоны, везут в суд, штрафуют и препровождают (ненадолго) в тюрьму. Его презирают за неумелое обращение с «огненной водой». Больше других презирают полицейские, брезгливо потроша индейские бумажники, выворачивая карманы и перекладывая зеленые бумажки в карманы и бумажники собственные. Недавно случился один громкий скандал (не первый), связанный с злоупотреблениями в департаменте полиции, о котором слегка пошумела пресса, но быстро утихла. Задачу эту так и не смогли решить краснокожие братья: как доказать белому судье, что тебя обчистил не только шустрый бармен Джо, но и дюжий Боб — блюститель порядка?

— Боже мой, кому нужны индейцы?

Социолог, задавший этот вопрос, мудро заметил, что в Америке для успеха любого дела требуются паблисити, реклама, профессиональные толкачи-лоббисты — так называемые группы давления. У индейцев паблисити нет. Ассоциация по охране домашних животных, пекущаяся о судьбе собак в толчее больших городов и пытающаяся защитить их право шкодить на тротуарах, имеет больше рекламы и толкачей, чем индейцы.

Я еду в Туба-Сити, но и в Флагстаффе, на подступах к резервации навахо, уже коснулся одной из коренных проблем американских индейцев — жестокого равнодушия «большой земли» к островкам резерваций.

ТУБА-СИТИ

И вот, наконец, индейская земля, поселок Туба-Сити на западной границе резервации навахо. Старый, единственный тут мотель с тем же именем — «Туба-Сити».

Построен еще религиозной сектой мормонов, в числе других осваивавших американский Запад. Они, собственно, и основали Туба-Сити в 1878 году, незаконно отхватив часть территории, которая по договору с правительством США была оставлена за навахо. В 1902 году Вашингтон выкупил у мормонов эту землю и снова передал ее резервации. Лишь крепкая кирпичная кладка старого мотеля осталась от мормонов и вызвала у меня в памяти полузабытый маленький и старый «рестхауз» в городке Эль-Обейд, утонувшем в песках суданской провинции Кардофан.

В комнате подслеповатые окошки, колченогая мебель, рваные простыни. Нет только тут кондиционирования воздуха по эль-обейдски, худого и черного суданского паренька, который, помнится, стоя за окном на солнцепеке, мерно тянул и отпускал веревку, приводя в движение большое опахало, укрепленное в комнате под потолком.

«Тут вроде бы другое государство,— сказал при первом знакомстве управляющий мотеля.— Больше похоже на Мексику,— добавил он,— чем на Соединенные Штаты».

Не был он в Эль-Обейде...

Однако по порядку. Автобусов или другого регулярного транспорта между Флагстаффом и Туба-Сити нет. Но Орацио Джусти сдержал обещание — выделил студента с автомашиной, веселого парня по имени Джим со звучной фамилией Элегант.

День выдался чудесный. Снег таял вовсю. Жаркое, веселое апрельское солнце искрилось в лужах. С флагстаффского плоскогорья спустились в красноватую пустыню. Проехали «монумент природы» — вулкан Сансет: широкие пористые полосы застывшей лавы и вулканический пепел, осевший пухлыми холмами.

Джим просил звать его Яшей. Типичная для Америки смесь. Дед по матери — югослав, имел семнадцать детей и прожил «великую жизнь». Отец — из итальянцев, занимается оптовой торговлей пивом. Родился Джим-Яша северо-западнее, в штате Юта, где до сих пор живут его родители. Но Юта — мормонский штат, и в тамошнем университете засилье мормонов. Католик Джим Элегант сбежал от них в Аризонский университет. Здесь раздваивается между двумя языками — французский хорошо знает, но русский выгоднее, больше платят. «Как быть?» — допытывался у меня на английском Джим-Яша.

Оборотистый, практичный американский парень. Отец его не балует, держит в черном теле, однако удачные деловые начинания поощряет. Яша умеет водить самолет, в восемнадцать лет получил права пилота и — вот она, Америка,— на паях, с семью ребятами примерно того же возраста, купили маленький биплан. И уже подыскал себе невесту, симпатичную девушку — Мэри Элизабет, зовет ее Лизонькой.

Все это он рассказывал мне, молодой человек, гордый своими успехами, готовый воспользоваться опытом и советом нового взрослого знакомого, и мы спели с ним по-русски «Подмосковные вечера», и чем дальше продвигались на север, тем меньше было кедров и сосен, и потом дорога надолго вошла в голые скалы древней пустыни, где Джим не упустил случая остановиться и провести меня «тропой динозавров» — с трехпалыми неуклюжими отпечатками на камне.

Неподалеку от этой тропы как раз и лежит Туба-Сити — километр одной-единственной улицы, усаженной старыми вязами, с зданиями школы и больницы, домами служащих БИД — Бюро индейских дел (которое, входя в министерство внутренних дел США, опекает индейцев), учителей и врачей, офисом агентства Туба-Сити. Агентство — от Бюро индейских дел. Территориально резервация навахо делится на пять агентств (или управлений), и Туба-Сити — административный центр самого западного из них.

Мы подъехали к старому мотелю, построенному еще до появления автомобиля и автомобилистов. Нарисованная на шаткой двери красная стрелка метила в кнопку звонка, и на звонок вышел пожилой, бодрый, по-домашнему одетый человек, который, получив полномочие какой-то большой корпорации, не гнушающейся и индейскими скудными долларами, заведует мотелем, а также бензоколонкой, кафетерием и торговым постом (факторией). Он провел уже семнадцать лет в краю, который, по его определению, больше походит на Мексику, и стрелка на запертой двери потому протянута к звоночку, что большую часть времени он проводит в магазине, который через кладовку соединен с мотелем, но своим фасадом обращен в противоположную сторону.

Убогая комнатенка, наглухо заколоченные окна, телевизора и телефона нет.

Расспросив дорогу у хозяина, я зашагал на свидание с мистером Джеймсом Хоуэллом, шефом агентства Туба-Сити, самым главным человеком в этом индейском краю, посланцем американского правительства — «Большого Белого Отца». Предупредили ли его о появлении первого советского корреспондента? Не знаю. Но с распростертыми объятиями навстречу не выбежал и хлебом-солью не встретил. Была и приемная, и секретарша. И ожидание, словно в этом захолустном поселке мистер Хоуэлл был завален государственными делами высшей важности. Но, добравшись до Туба-Сити от самого Нью-Йорка, я не мог отступить. Мистер Хоуэлл это понял.

В его кабинете не пахло ни Суданом, ни Мексикой — чисто американский стандарт. Осененный из угла звездно-полосатым флагом, свисавшим на комнатном флагштоке метра в два высотой, за солидным, матово поблескивающим столом орехового дерева, покачиваясь в кресле с откидывающейся высокой мягкой спинкой, сидел типичный американский чиновник, служащий американского правительства. Встав и поздоровавшись, Джеймс Хоуэлл снова расположился в кресле и, чуть отъехав, вдруг закинул на стол ноги в новеньких крепких полуботинках с толстыми кожаными подошвами, и этот, опять же типично американский, жест означал, что шеф агентства Туба-Сити, может быть, и колебался, принимать или не принимать советского корреспондента, но, приняв, вполне владеет собой и готов к непринужденной, с ногами на столе, беседе.

Тем не менее смотрел он на меня подозрительно и настороженно. И, не дав мне времени на вопросы, хотя атаки еще не было, перешел в контратаку, двинул на линию прорыва самое излюбленное и эффективное орудие — свободу.

— Надеюсь, по дороге сюда вы обратили внимание, что у нас нет ни контрольно-пропускных пунктов, ни заграждений и заборов,— сказал он, колюче поглядывая на меня.— Вы заметили, где пересекли границу резервации? Не заметили? Так вот, индейцы, живущие здесь,— люди свободные. Они могут уехать или вернуться в любой момент.

Он взял примером самого себя. Нет, он не житель резервации, не навахо. Но это не столь существенно. В его жилах, если хотите знать, течет индейская кровь, на три восьмых части крови он — ирокез из Оклахомы, но, видите,— приемная с секретаршей, кабинет, должность начальника. Он воодушевился, сняв ноги со стола, придвинул большой блокнот желтой линованной бумаги, набросал карандашом свое родословное древо, предки его повисли на ветвях небрежными квадратиками. Он пояснил, что сотрудники БИД должны непременно иметь какую-то долю индейской крови, не меньше одной четвертой. Из его слов следовало, что эта индейская часть их крови и дает им право жестко указывать остальным индейцам на главную тропу, которую рано или поздно предстоит пройти,— тропу ассимиляции, растворения в американском обществе, отказа от племенной культуры, традиций, образа жизни.

Излагая это кредо, Джеймс Хоуэлл был прям и откровенен.

Потом снял телефонную трубку.

— Мисс Джоргенсон? Говорит Хоуэлл. У меня здесь репортер из России. Да, да, из России. Не удивляйтесь. Покажите ему нашу школу. Что? Покажите все, что захочет увидеть. У нас ведь нет секретов, не так ли?

Он не откликнулся на мою просьбу показать индейскую деревню, которая, го-

ворили мне, находится в двух милях от Туба-Сити,— похоже, что там секреты были. Однако школу решил показать.

Я поехал в школу и провел там три часа. Мисс Джоргенсон, директриса, не жалела времени, и ей было что показать.

Это большая хорошая школа-интернат, где дети учатся и живут. Существующая около пятидесяти лет. Недавно переехавшая в новое просторное здание. Восьмилетняя. Бесплатная — все расходы, по-старому, 1868 года, договору с племенем навахо, оплачивает федеральное правительство. Для детей навахо, живущих на территории агентства Туба-Сити.

В ней учатся больше тысячи мальчиков и девочек в возрасте от шести до шестнадцати лет.

Мне показывали светлые классы и коридоры, двухэтажные ряды коек в общежитии, столовую с механизированной кухней — детей кормят три раза в день.

Мисс Джоргенсон все объясняла. Навахо не имеют своей письменности, и потому изучают в школе английский язык. Им преподают арифметику и математику, ботанику, зоологию, физику, анатомию, историю. И кое-что еще, например, элементарные манеры — как вести себя индейцу, очутившись в цивилизованном обществе. Их учат чистить зубы, быть опрятными в одежде, пользоваться вилкой и ножом, составлять обеденное меню и т. д. Чтобы они не потерялись и не растерялись в огромном незнакомом мире за пределами резервации, детям, пришедшим в школу из своих индейских хижин — хоганов, этот мир исподволь приоткрывают. Их возят на экскурсии, им показывают аэропорты, железнодорожные вокзалы, магазины и вообще города — пугающие средоточия людских масс, машин, зданий, дорог. Есть фотокружок, кружок маленьких умельцев-кустарей, которые собирают камни и делают самодельные кольца, кружок индейских танцев. Спортивный зал. Библиотека...

В школе-интернате сорок два дипломированных учителя. Увы, лишь трое из них — навахо, и тут в голосе мисс Джоргенсон появились извиняющиеся нотки. Три — это мало, никуда не годится, но должна вам сказать, что помощников учителей мы отбираем из индейцев. Язык навахо, кроме тех трех, учителя, увы, не знают, и в школе лишь дети разговаривают между собой на родном языке. Конечно, от этого возникают трудности, проблемы общения и понимания, не скрывала и этот секрет мисс Джоргенсон, зато педагоги в основном превосходные, преданные своему делу, из разных штатов, разных верований — католики, протестанты, мормоны, евреи, но уважают религию и традиции навахо, изучают их культуру, хотя, зачем строить иллюзии, путь, который так или иначе предстоит пройти индейцам,— и тут мисс Джоргенсон вторила мистеру Хоуэллу,— это ассимиляция. И чем лучше образование, тем легче им пройти этот путь, сам по себе, что и говорить, очень и очень нелегкий.

Мисс Джоргенсон изъяснялась в любви к маленьким навахо, хвалила их природный ум и смышленость, уверяла, что только с ними она и хотела бы работать до конца дней своих,— и у меня нет оснований сомневаться в ее искренности.

Тем более что она откровенно рассуждала о трудностях психологической адаптации индейских детей. Приехав из пустыни, из родительских хоганов, где жизнь сливается с жизнью природы и весь мир с детства знаком как свои пять пальцев, они сталкиваются с таким обилием новых, незнакомых и невероятных вещей и понятий, которое подавляет, гнетет их и заставляет сопротивляться, бунтовать — из инстинкта самосохранения. Там, живя в хоганах, они вольны, свободны, эти дети природы. А тут цивилизация — не только разрывающая сознание масса всего и вся, но и покушение на свободу (что бы ни говорил Джеймс Хоуэлл), конец вольной жизни, унылый, раз и навсегда заведенный порядок, жесткая дисциплина. Представьте потрясение маленького навахо.

Но большинство, по словам директрисы, так или иначе перестраивается и приспосабливается, рано или поздно мирится с новым образом жизни. Хотя немало случаев, когда дети убегают из школы. Домой. Особенно из четвертых и пятых классов, в переходном возрасте, на половине школьного пути. Иногда их приводят назад родители, иногда за беглецами школа-интернат отряжает своих людей. Иногда они так и не возвращаются...

Мы заходили в классы, на занятия. В первом классе меня сфотографировали с самыми маленькими учениками и ученицами, напряженно уставившимися в фотоаппарат. Мальчики были коротко стрижены, в ковбойках, девочки — с прямыми черными волосами, в платьицах. На уроке они разучивали цифру «9», немножко говорили по-английски и для гостя хором исполнили уже разученную, популярную американскую песню — «Америка красивая». Среди учебных пособий в классе я заметил игрушечную газовую плиту и стиральную машину.

В седьмом классе шел урок обществоведения. Оказалось, что недавно «проходили» Советский Союз, Россию. Мисс Джоргенсон предложила мне задать ученикам вопросы:

— Как называется столица Советского Союза?

— Москва, Москва! — раздались уверенные голоса.

— Сколько жителей в Москве?

Молчат. Потом тянутся две руки.

— 27 миллионов человек.

— Нет, 27 тысяч...

Учитель обществоведения передал мне сочинения учеников о Советском Союзе. На вопрос о самом популярном спорте в Советском Союзе одна ученица отвечала — балет, и далеко не все плоды индейского просвещения в Туба-Сити были такими безобидно смешными...

В образцовой школе-интернате действительно не было секретов, кроме одного, но ведь и его не скрывала мисс Джоргенсон. Это — не просто учебное заведение. Это — санпропускник, пункт по ускоренной ассимиляции. В школьных классах подписывают акт отречения от своего народа.

Цивилизацию в Туба-Сити представляет не только американское государство (школой-интернатом), но и частный бизнес. И к этому, второму, форпосту повезла меня мисс Джоргенсон после осмотра школы.

В двух милях на юго-запад от Туба-Сити стоит у дороги желтого цвета приземистый дом — торговый пост Керли. Он совмещает функции сельмага, фактории, где происходит обмен товаров, ломбарда, куда закладываются разные вещи и драгоценности.

У двери недвижным языческим божком сидел самый натуральный древний индеец в черной шляпе с прямыми полями, с морщинистым лицом. За кассой стояла миловидная индианка. Несколько женщин навахо в цветастых, цыганистых юбках и шалях присматривались к пестрым, броским этикеткам на жестянках и картонках, которые доставила в аризонскую пустыню американская цивилизация. За домом была вырыта яма, и, утонув в ней чуть ли не по шею, в подвешенном длинном мешке, размахивая руками и с трудом сохраняя равновесие, плясал индеец, уминая шерсть. Там, с заднего хода, навахо сдают шерсть и мясо.

Властвовал над всем этим голубоглазый холеный здоровяк в тугих джинсах и шляпе вестерн на красивой бритой голове — владелец торгового поста. Чистокровный «англо», как зовут индейцы белых американцев.

Он приветливо улыбнулся мисс Джоргенсон, протянул мне крепкую ладонь и согласился удовлетворить мою любознательность.

Продукты в картонках, банках и склянках, к которым приглядывались индианки, меня не интересовали — это сокращенный набор любого американского супермаркета. Голубоглазый здоровяк, бряцая ключами, провел нас в кладовую, за металлическую решетку, раздвигаемую словно гармошка, и обитую сталью дверь. Это было довольно вместительное помещение без окон. Глаза разбежались. Там был — ни дать ни взять — филиал музея индейского искусства, побогаче флагстаффского. По стенам висели десятки широких кожаных, расшитых серебряными узорами поясов (их носят и мужчины и женщины навахо) с большими бляхами из серебра, украшенными тонкой красивой насечкой. Над поясами, а также за стеклами шкафов — едва ли не сотни ожерелий, браслетов, бус... Старинные ружья, седла, сбруя. Ковры и коврики ручной работы.

Неброская красота, благородная игра серебра и бирюзы в древних бурых прожилках. Как шерсть и мясо, красота обменивалась на соль, крупу, муку, сахар, консервы. Красота текла неиссякаемым ручьем. По словам владельца, каждый день двадцать — тридцать индейцев приносят ему в заклад все эти «вещицы».

Вынув из шкафа, он покачал на ладони ожерелье с крупными камнями бирюзы, уложенными подковой на серебре — на счастье.

— Это старинная вещица, долларов на пятьсот потянет...

Я посмотрел на ярлык, привязанный ниточкой к ожерелью. Его заложили за восемнадцать долларов. Здоровяк не смутился.

— Ну что ж, и выкупят за восемнадцать плюс пять процентов.

— А если не выкупят, за пятьсот продадите?

— За пятьсот и продам.

Он объяснил, что дает своим клиентам полгода на выкуп заложенных вещей и может продлить срок на два-три месяца, если из-за какого-то чрезвычайного события — свадьбы, смерти, рождения — они не наберут денег вовремя. Он умеет ждать и не обострять без нужды отношения, зная, что свое — и не малое — ухватит.

— Почему же они несут вам свои семейные драгоценности, реликвии?

— Они не заботятся о завтрашнем дне. Есть сегодня доллар — истратят, а завтра — что бог пошлет.

— Значит, дело у вас прибыльное?

— Работать приходится много. С утра до вечера на ногах. И живешь тут же.

— Но дело-то все же прибыльное?

— Работать много приходится...

Он проводил нас к выходу. Покупательницы оробело посторонились. Морщинистый старик, покинув свое место у двери, стоял у прилавка, тайком оглядывая хозяина с дородной белой дамой и иностранцем в клетчатом пиджаке.

На обратном пути мисс Джоргенсон, директор образцовой школы-интерната, любящая индейских детей и приобщающая их к «господствующей культуре», говорила о торговце с почтительным уважением: богатейший человек — и порядочный, назначает индейцам справедливую цену. Хорошо относится к бедным учительницам, иногда без наценки продает им старинные вещицы. У школы деловые отношения с ростовщиком — и вполне мирное сосуществование.

И вот, поужинав в кафе у бензоколонки, я вернулся в свою мормонскую келью, чтобы записать впечатления дня. Темно и тихо, лишь за стеной, в соседней комнате, ворочается во сне школьный инспектор. Завтра он обещал захватить меня в Уиндоу-Рок — главный административный центр резервации.

Листаю сочинения о Советском Союзе учеников седьмого класса. Среди них попадаются и рисунки. Один старательно нарисовал красный флаг с серпом и молотом, второй — Николая II, «последнего царя России». У третьего под изображением кремлевских соборов и колокольни Ивана Великого написано: «Кремль — это центр московского правительства Белый дом России».

Питомцы мисс Джоргенсон больше в ладах с географией, чем с историей, и, конечно, присутствует в их сочинениях та тема, которую избрал в нашей беседе Джеймс Хоуэлл, уполномоченный Вашингтона в Туба-Сити. Тему эту школьники разрабатывают на своем уровне. «У России есть большая страна под названием Советский Союз,— пишет некая Кэти Спинсер.— Никто точно не знает, сколько людей живет там. Свобода в России не всегда так свободна, как в Соединенных Штатах...» Сэкли Кли подхватывает этот мотив: «Им не разрешают читать газеты, слушать радио, смотреть телевизор и делать другие вещи, которые мы делаем в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах мы можем учиться столько, сколько захотим, и работать на разных работах...»

Смеяться или плакать, читая все это — и где?!

Между прочим, управляющий мотеля тоже показал мне вечером кладовую, набитую индейским серебром и бирюзой. За еще более прочной дверью — бронированной, с наборным замком, как у сейфа.

Потом зазвал на свою жилую половину, рассказывал, показывал. Одного кредита под заклад и зарплату он сейчас выдал на семь тысяч долларов десяткам и чуть ли не сотням индейцев. Я смотрел его картотеку кредиторов, он делал пояснения. Вот индианка. С детьми. Муж бросил. Получает помощь от правительства.

— Значит, кредита больше чем на сумму помощи я ей не дам.

— Вот рабочий. Видите, написано — сто долларов. Это его зарплата за две недели. На бóльшую сумму кредита от меня не получит.

Многие в кредит берут продукты.

— Чем больше зарабатывают, тем хуже питаются,— говорит мой собеседник.— Почему? Когда денег больше, сразу покупают в кредит автомашину. А потом, глядишь, и телевизор, одежду. Вот и выплачивают взносы по кредиту, один за другим, только на них и хватает. И едят одни бобы, бегут ко мне за продуктами. Опять в кредит...

ОКНО В СКАЛЕ

Еще в Нью-Йорке, примериваясь к карте штата Аризона, разглядывая и разгадывая картографическую абстракцию резервации навахо, в которую вписан четкий прямоугольник резервации хопи, я мечтал о том, каким интересным будет путешествие от Туба-Сити до Уиндоу-Рок, с запада на восток, почти через всю землю навахо, не очень спешное, с заездами, остановками, осмотрами и опросами. Но это была мечта без собственных колес. Чужому транспорту, как дареному коню, в зубы не смотрят и претензий не предъявляют. Школьный инспектор, взявший меня попутчиком, очень торопился и, похоже, раскаивался в своей доброте, был опаслив и боязлив. Получилось путешествие без экзотики и открытий — полторы сотни миль примерно за три часа. Мили на дороге № 264 были уложены так же хорошо, как на любой, подобного класса, американской дороге. Спутник молчал.

Земля навахо, потом земля хопи, потом снова навахо струилась за стеклом инспекторского «доджа» со скоростью семьдесят миль в час. Дымчато розовела знаменитая «крашеная пустыня» — приманка для туристов и предмет фотографического честолюбия консервативного аризонского сенатора Барри Голдуотера, который неплохо снимает здешние пейзажи и сетки морщин на лицах старых индейцев, мелькали крошечные поселения — Хотевилла, Орайби, Поллака, Джеддито, мелькали и уносились назад, неразгаданные, неведомые, зря подразнившие.

Пустынное плоскогорье с независтливым величием сурового простора. Слоеные пироги песчаника. Скупа здесь кухня природы. И суха. Обнаженные русла как след доисторического ящера. Природных водоемов мало. Артезианские колодцы очень дороги.

Мы сделали лишь две короткие остановки. Один раз, вняв моим мольбам, инспектор свернул с асфальта на пыльный щебень — к деревне хопи.

Улиц в деревне не было. Глинобитные дома сбежались беспорядочной толпой, как люди к месту уличного происшествия, и замерли, уставившись друг на друга окошками-бойницами. Снова на память пришел Арабский Восток, египетские, суданские, иракские деревни, пыльные, грязные, скученные. Снова подумал, что к ним эта деревня хопи ближе, чем к Америке с ее яркими красками, большими окнами и подстриженными ровными газонами у домов. Нищие женщины смотрели на нас будто на инопланетян. Мужчины отсутствовали. Любопытствовать было тяжело и зазорно. Развернувшись, мы уехали.

Вторая остановка была подольше. В модерновом зданьице у дороги, принадлежащем артели художников хопи, инспектор заказывал украшения для своей жены. На какую-то долю он тоже индеец, хотя не хопи и не навахо.

И в артельном магазине, как в ломбардах Туба-Сити, я опять встретил красоту без крика и моды, вечную, а не образца очередного года, незнакомую, но принимаемую сразу. Свое достоинство, свое чувство меры и цвета в плетеных тарелках и корзинах, в домотканых коврах, в соседстве серебра с бирюзой.

Навахо так и не показались нам близ дороги номер 264, те навахо, что пасут овец, ткут ковры, строят свои хоганы без окон, из бревен, обмазанных глиной, с очагом посредине земляного пола, дырой-дымоходом в потолке, что дарят кусочек бирюзы младенцу, когда он впервые улыбнется, и на своих покойников надевают одежду задом наперед, чтобы обмануть злых духов, а злых духов хвори изгоняют на сложнейших церемониях с «режиссерами»-знахарями, верят в

гармонию человека с природой и не подозревают, что кто-то зовет их навахо. Вместе с лошадью и овцой это имя дали им в семнадцатом веке испанцы, а для себя они — дене, то есть народ. Народ один-единственный, так сказать. Народ с большой буквы.

Этот Народ мы так и не встретили, его редко разбросанные хижины втянула и укрыла пустыня. На дороге мелькали другие их соплеменники, взгромоздившиеся на высокие сиденья пикапов марки «форд» и «шевроле».

К концу третьего часа пути пустыня ожила приземистыми крепкими соснами и довольно щедрыми зарослями шалфея. Путешествие через резервацию благополучно и до обидного быстро кончилось.

Миновав новое круглое здание «сивик сентер», где разместилось нечто вроде индейского дома культуры, и два поставленных друг на друга стеклянно-бетонных темно-синих куба, приютивших племенную полицию, суд и тюрьму, мы въехали в главный административный центр резервации Уиндоу-Рок.

В некотором роде это индейская столица, хотя вряд ли наберется тут с тысячу жителей, и кажется, что и ее вот-вот поглотит пустыня. На окраине, господствуя над поселком, громоздятся отвесные скалы, и среди них выделяется одна, с большой дырой у вершины. В переводе с английского Уиндоу-Рок означает окно-скала, окно в скале.

Ученые вычислили, что ни много ни мало еще 163 миллиона лет назад, в мезозойскую эру, ветер и песок пустыни плюс вода высверлили это неровное круглое отверстие в скале, не подозревая, что в двадцатом веке оно станет для индейцев навахо окном в остальную Америку. Впрочем, задолго до наших дней необыкновенная скала была для навахо свидетельством присутствия и деятельности сверхъестественных сил, одним из священных мест их земли. Сюда по весне приходили шаманы с плетеными бутылками, потому что только здесь была та вода, которая помогала упросить небо ниспослать обильные дожди. А теперь священной скале нашли не религиозное, а государственное применение. В 1936 году из форта Дифайенс, который был для навахо символом жестокости «англо», Бюро индейских дел переместило сюда административный центр резервации, а после второй мировой войны Уиндоу-Рок стал местопребыванием созданного правительства племени (оно так и называется: tribal government — правительство племени).

Здесь многие не живут, а лишь работают.

Инспектор, остановив машину у мотеля «Уиндоу-Рок лодж», заспешил в кафе, словно и гнал всю дорогу, чтобы не опоздать на ленч, вовремя встретиться с хамбургером — пресной котлетой, всунутой в круглую булку и политой кетчупом.

Я был, вне сомнения, первым советским человеком в Уиндоу-Роке, но мое появление прошло буднично и незаметно. Снял комнату в мотеле, единственном, как и в Туба-Сити, но сравнительно недавней постройки. Познакомился с его менеджером, мистером Нельсоном. Получил на четверо суток крышу над головой — кровать, стол, стул, поломанную лампу, завывание ветра за окном и аккуратные, свеженькие, каждое утро возобновлявшиеся барханчики кремового песка под дверью. Закрытая дверь и плотно пригнанная рама — совсем не препятствие для здешнего, всюду просачивающегося песка.

Была пятница, конец рабочего дня и канун уик-энда. Индейская мини-столица вела себя по-американски, вымирая с автомобильной скоростью. Служилый люд разъезжался по домам, усаживаясь возле плоских, сооруженных из камня-песчаника канцелярий в автомашины с важной предупреждающей надписью на бортах: «Официальное лицо. Племя навахо». В кафе при мотеле, куда я зашел перекусить, индеец в отглаженной форме полицейского любезничал с красивой индианкой-официанткой. У официантки была модная прическа. Томный взгляд раскосых пронзительных глаз тоже был заимствован с обложки модного журнала. Кафе, хотя и скромное, маленькое, поблескивало стеклом, пластиком и нержавеющей сталью разных автоматических приспособлений, как где-нибудь на автостраде между Нью-Йорком и Вашингтоном. Щебетала стайка девочек-школьниц в серых бязевых тренировочных костюмах.

Те навахо, которые именуют себя Народом, отсутствовали и здесь, как будто не признавая своей эту столицу.

Я отправился в редакцию газеты «Навахо таймс», которая издается племенем, в надежде найти общий язык газетчика с газетчиками. Два индейца клеили пакеты — это был, наверное, отдел распространения и экспедирования. Редактора на месте не нашлось. Разговора с его заместительницей, миссис Гудлак, рыжеватой пожилой индианкой с нездоровым цветом лица и воспаленными глазами, не получилось. Свои навыки общения с американцами я хотел перенести на навахо. А они — другие. Их сдержанность выглядит угрюмостью, неприветливостью, нелюдимостью. Не каждый, убедился я, готов завязать приятельские отношения с белым так же быстро, как Джек Кукер. В отношении белого (даже если он не совсем понятный «красный») инстинктивно насторожены. А где время, чтобы съесть тот, по пословице, сближающий пуд соли?

Подробный разговор в редакции миссис Гудлак отложила до понедельника — и появления редактора. Но позвала другого Гудлака, своего племянника, и напрямик, карабкаясь через песчаный холм, он провел меня к длинному кирпичному зданию, где левое крыло отдано правительству племени, а центральная часть — персоналу БИД. Хотя короче и удобнее было войти через центральный вход, молодой Гудлак повел меня через крыло племенного правительства — побаивался нарушить незримую границу.

Приближение уик-энда уже вымело коридоры. Но самый главный человек еще не покинул рабочего места в самом большом кабинете. И был доступнее Джеймса Хоуэлла из Туба-Сити, своего подчиненного, не играл в прятки с «красным» репортером. Грэм Холмс, почтенного вида мужчина с проседью в черных волосах,— директор резервации. И хотя на стене за его креслом висит портрет индейца — председателя совета племени (в обычном европейском костюме), Грэм Холмс знает свои полномочия и никому не собирается уступать их.

— Догадываюсь, что эта резервация у меня под началом,— так, насмешливо и твердо, определил он свое положение, приступая к разговору.

В его штате 4500 человек. Сам он — адвокат по образованию, из Оклахомы, с 18-летним стажем службы в БИД. А у директорского кресла Грэма Холмса давняя и непростая история, которая подробно описана в соответствующих книгах.

В середине прошлого века для Соединенных Штатов Америки, укреплявших и отодвигавших свои границы на запад и юг, наступил этап окончательного покорения индейских племен. Навахо не сдавались без боя на милость дяди Сэма и его солдат. Первый договор Вашингтона с ними был заключен в 1846 году, однако его признали далеко не все кланы и члены племени. Партизанскими налетами индейцы не давали покоя новым белым владыкам Аризоны и Нью-Мексико, хотя за первым договором последовал и второй, и третий, всего — семь. Тогда, разгромив в Гражданской войне рабовладельческий Юг (лишенные однозначности и идиллии парадоксы истории), с 1863 года Вашингтон взялся за окончательное усмирение воинственных индейцев. Генерал Карлтон решил выкорчевать навахо с их земли, а именно: согнать их всех в форт Дифайенс и под конвоем, гуртом отправить в форт Самнер, в штате Нью-Мексико. Не так легко было изловить и собрать в одном месте людей, прячущихся в пустыне, горах, каньонах. Был отдан приказ: мужчин, как и овец, убивать, женщин и детей — захватывать, кукурузные поля — сжигать, сады — вырубать. (Современники свидетельствуют о многих случаях, когда навахо, «как свиней или овец», продавали в рабство.) Девять рот добровольцев полковника Кита Карсона и окрестные племена уте, зуни, хопи выполнили приказ. Большинство из оставшихся в живых навахо были изловлены, пленены, доставлены в форт Дифайенс. Потом была «долгая прогулка» под конвоем — длиной в триста миль, в юго-восточный угол Нью-Мексико, в форт Самнер, прозванный «загоном для навахо». Туда пригнали семь тысяч индейцев, потеряв чуть ли не половину в дороге. Потом четыре голодных года в загоне, тощий рацион, разграблявшийся на две трети офицерами и чиновниками БИД и восполнявшийся крысами и дикими кореньями, неурожаи и засухи, холодные зимы без топлива и крова, все чужое (даже змеи смертоноснее и коварнее) и — тоска по родине.

Эксперимент по выкорчевыванию и пересаживанию был безжалостным и неудачным. Навахо слезно просили Большого Белого Отца вернуть их на землю предков, меж четырех гор и четырех рек.

История сохранила протокол переговоров в форте Самнер индейских вождей и представителя американского правительства генерала Шермана. Вождь Барбончито говорил американцу: «Пока я не стар и здоров, дайте мне вернуться туда, где я родился... Если вы отправите нас назад в нашу родную страну, мы будем называть вас нашим отцом и нашей матерью. Я говорю от имени всего своего племени, от имени всех наших животных — от лошади до собаки, а также от имени еще нерожденных детей».

Их вернули — по договору 1868 года, восьмому и последнему договору между правительством США и племенем навахо. С крепкими зарубками в памяти и с непонятной бумагой на английском языке, под которой стояли корявые кресты — подписи их вождей. Генерал Шерман доносил в Вашингтон, что по договору навахо получили «небольшую часть их прежней территории, которая максимально далека и от путей белого человека, и от его возможных будущих нужд». (Между прочим, именно эта максимальная удаленность «от путей белого человека» помогла навахо сохранить свою самобытность и — единственному из индейских племен — свой язык как главное средство общения внутри племени.) Согласно договору общинная земля племени и само племя переходили под опеку Вашингтона.

Грэм Холмс опекает сейчас праправнуков тех «нерожденных детей», от имени которых взывал к генералу Шерману вождь Барбончито. Интеллигентный. Философичный. Ироничный. Не убивает людей и не сжигает урожаи. В его голосе не свинец, а добродушная умудренность наставника. Договором 1868 года Вашингтон обязался прислать навахо врачей и учителей (одного учителя на тридцать учеников). И вот учителя, а не солдаты под началом Холмса. И не просто учителя, но и школы («вы побывали в одной из них?»), не просто врачи, но и больницы.

— Мы, конечно, делаем ошибки,— охотно признает директор и тут же призывает к снисхождению: — А кто их не делает?

— Вот так и было, если вкратце вспомнить эту длинную историю: вначале они были независимы, потом война, если хотите — захват, если хотите — капитализм и довольно свирепая эксплуатация. И вот к чему пришли. Отсутствие собственной письменности — да, это проблема. Но главная — в другом. Индейцы боятся ассимиляции. Они хотят сохранить свое лицо, свой уклад жизни. И мы, представьте, готовы с ними согласиться, но как тогда быть с экономикой? Одни овцы их не прокормят. Надо искать иные пути. И вот мы развиваем зачатки городских центров с тем, чтобы постепен-

но в резервацию пришла индустрия. И между прочим, мы оставляем для них выбор. Хочешь проститься с резервацией и попытаться ассимилироваться — поезжай в Чикаго или еще куда. Хочешь оставаться — тоже твое дело. А они колеблются; они боятся: примет ли их белый человек в свою среду? Среди американцев, к сожалению, много, как бы это сказать, экстремистов. Турист увидит одного пьяного индейца на федеральной дороге 66 и уже считает, что все индейцы — пьяницы. Есть и жестокие, бессердечные люди. Индейцы подвергаются дискриминации, их слабостями и беззащитностью пользуются. Какие слабости? Простосердечие, доверчивость, доброта. Ведь они как дети...

Вот такой он, шеф-опекун навахо. Но в главном вопросе непреклонен, как и все его сотрудники,— ассимиляция. Выкорчевывание и пересадка — не такие, как в форте Самнер, медленные, добровольные, но непреложные. Растворение поодиночке среди большого американского мира либо продление, затягивание групповой бедности резервации. На практике эта дилемма выглядит, пожалуй, поиному: и тут и там бедность и отчаяние, тут групповая, там — отчаяние каждого по отдельности, бедность рассеянная, растворенная, незаметная. И лишенная какой ни есть стены племенной защиты. А ведь среди своих, на миру, говорят, и смерть красна. Дано ли третье — и лучшее? Какое оно?

...Вечер. Солнце, которое вечным наблюдателем здешней жизни совершает свои круги над аризонской пустыней, скрылось, развернув на прощание недолгий широкий закат над песками.

Закат южный, ранний. Вечер долгий. Улиц в Уиндоу-Роке нет, вечерних городских гуляний с созерцанием если не людей, то хотя бы витрин тоже нет. Вспомнишь Флагстафф добрым словом. Да что людей — витрин тоже нет, как и самого города. Всего лишь канцелярии, в которых пытаются управлять теми, кто тут не живет.

Спать рано и нечем занять себя. Мотель построен в форме буквы «П» — с длинной перекладиной; раскачивайся в петле своего, опять подступившего одиночества.

Двери в комнатах, как и во всех американских мотелях, выходят прямо на улицу, во двор (хотя где они, двор и улица?), но машин у дверей раз-два и обчелся. Кто навещает эту глухомань в начале апреля, кроме случайных транзитников и каких-нибудь командированных чиновников БИД?

Выглянешь в окно: темное небо, звезды еще не разгорелись, редкие тоскливые уиндоу-рокские огни, вечный ветер шуршит вечным песком. И вот, приспособив под письменный стол еще одну гостиничную комбинацию туалетного стола и комода, заносишь в тетрадь заманчивый издалека, а теперь медленно и скучно уходящий день, поглядывая с опаской на барханчики песка у двери и еще на одну посланницу пустыни — маленькую шуструю ящерку, шныряющую по стенам и потолку...

Из будки телефона-автомата, притулившейся к стене мотеля, набросав по указанию невидимой операторши нужное количество монет, позвонил в Нью-Йорк жене — и снова один. Месть судьбы, которая, приведя тебя в такое экзотическое место, дает вдосталь поскучать. Неужели не найдется тут хоть еще одна душа, которой хочется с кем-то скоротать вечерок? И душа находится — мистера Нельсона, менеджера. Тоже страдает от скуки, хотя давно ему надо бы к ней привыкнуть.

Старый холостяк. Днюет тут и ночует. Днем — то за кассой сам стоит, то командует на кухне, учит поварёнка-навахо делать яблочный пай, то сидит за столиком в кафе, пьет кофе, присматривает за порядком. И ночует тут же, в пятом номере, один, с шустрой, ласковой собачонкой, которая, повизгивая от удовольствия, любит сбрасывать подушки с кровати.

И вот вместе с Нельсоном коротаем вечер, сидим у него и у меня и не молчим — беседуем. Пытаю его насчет индейцев, но каждый человек — история, и разве не заслуживает мистер Нельсон нескольких слов о нем самом?

Лицо усталое — не просто от этой скучно уходящей апрельской пятницы, но уже и от жизни. Галстук-шнурочек «вестерн», повисший на жилистой шее, пропущен через индейскую брошь, серебро с бирюзой. Тут каждый «англо» с теми или иными атрибутами приобщения к индейцам — в одежде, в биографии, в том и другом. Всю жизнь мистер Нельсон делает бизнес на индейцах и рядом с индейцами. У него собственный ресторан в Фармингтоне, на севере соседнего штата Нью-Мексико. А в Уиндоу-Роке уже два года управляет этим мотелем, который, кстати, принадлежит администрации племени навахо. Отнюдь не золотое дно. Сами они, индейцы, дело вести не умеют, вот и приглашают белых бизнесменов. Шесть менеджеров, все белые, сменились в течение двух последних лет. Мотель неприбыльный. Но Нельсон получает свое жалованье как положено, и за него в Уиндоу-Роке держатся, ему удалось сократить дефицит. Он работящ и практичен. В штате у него восемнадцать уборщиц, официанток, кухонного персонала — и все навахо. С ними ладит — не ладить нельзя, но и жалуется на них, на своих индейских девушек. Черт побери, они медлительны и не любят улыбаться, а ведь улыбка — это нужная, окупающая себя в бизнесе вещь, как конфетки, которые бесплатно раздают малышам, приходящим с папами и мамами,— родителям нравится, когда обожают их детей. Черт побери, будь у него белый персонал, больше восьми — десяти работников не понадобилось бы.

Выгода для Нельсона на первом месте. Не понимающие выгоды — люди низшего сорта, Нельсон смотрит на них свысока, снисходительно. Но жизнь бок о бок с индейцами научила его понима-

нию, даже жалости. И белый с белым, он доверительно делится со мной своими наблюдениями, в которых его американское суперменство перемешано с чувством сострадания к несчастным.

Из наблюдений Нельсона:

— Я вам прямо скажу: они нас, белых, ненавидят. Хоть и давно это было, но они помнят ту «долгую прогулку» из форта Дифайенс в форт Самнер, куда гнали их солдаты — зимой, полураздетыми, с детьми. Им есть за что нас ненавидеть. Старики молодым завещают: «Помни ту «долгую прогулку».

Я знаю многих белых тут, в округе. Может быть, с тысячу человек. А только четверо женаты на индейских девушках. Ненавидят они нас. Я старый холостяк, денежки у меня есть, но ведь ни одна индианка за меня не пойдет. Им старшие передают из поколения в поколение: «Не выходите за белых. Вы им нужны только для одного — для похоти...»

И еще из наблюдений Нельсона:

— Устроены они по-другому, вот в чем дело. Уж если навахо купил пикап, в кредит, само собой, то встает он утром ни свет ни заря и катит к черту на кулички — к своим приятелям, чтобы подбросить их на работу. Задаром! Вот потеха. Я ему говорю: «Что же ты, олух, своей выгоды не понимаешь? Рокфеллер ты, что ли? Ведь на одном бензине прогоришь». Куда там! Не слушает. Ведь они, говорит, мои приятели, разве можно с них брать?

И в долгий вечер от мистера Нельсона, способного к состраданию, но превыше всего ставящего выгоду, я услышал не одну быль о чудной, уморительной и разорительной доброте простаков-индейцев. Об индейской семье, которая купила, опять же в кредит, большой морозильник и сразу же продуктов на пару месяцев (оптом они стоят дешевле), а родственники — их не сосчитать,— прослышав о покупке, пришли проведать и поздравить, и не через пару месяцев, а через четыре дня в пустом морозильнике холодно и ненужно отсвечивали эмалированные стенки. Об одном навахо, который вздумал податься в бизнесмены и под заем в банке арендовал бензоколонку у корпорации «Мобил» — и мгновенно прогорел: одного не рассчитал, не мог брать деньги за бензин с родственников и знакомых, а племенное родство обширно. О том, что индейцы не умеют «аккумулировать» вещи и пускать деньги в оборот.

— Заметили мою кассиршу? Ушла однажды с работы, не отпросившись. Я хватился, где она. Овец своих поехала пасти. Когда вернулась, я спросил: «Сколько ты здесь получаешь за две недели?» — «Сто долларов».— «А от овец в год?» — «Долларов пятьдесят». Мозги у них по-другому устроены...

В Уиндоу-Рок я приехал к индейцам навахо, но на стыке двух образов жизни лучше увидел давно знакомую Америку мистера Нельсона и ему подобных. Она знает, как накопить на ресторан в Фармингтоне или где-то еще, и ей смешны и непонятны чудаки-индейцы, вчерашние люди, которые не в ладах с расчетом и выгодой, не могут поставить их выше родства, приятельства, дружбы. И эта Америка уверена, что смех ее подхватят все «белые люди».

С одной стороны, традиции навахо, включающие коллективизм и взаимовыручку. С другой, американский образ жизни, воспитывающий индивидуализм и списывающий как неудачников многих из тех, кто не преуспел в конкуренции, в «крысиных гонках». Нелепо идеализировать нищету и пасторальных овечек, тем более нелепо превозносить их, противопоставляя мощной индустрии, высокой производительности труда и развитой цивилизации. Но если бы дело обстояло таким образом, то была бы проблема, большая, длительная, мучительная, но не трагическая, несущая в себе возможность разрешения. Трагедия же индейцев состоит в том, что объективно от них требуют капитуляции, что совместимости двух образов жизни быть не может, а отчужденность их налицо, что племенной строй расплющивается экономически и психологически прессом американского капитализма, высокоразвитого и равнодушно-жестокого.

Проще говоря, чем труднее индейцам вписаться в «господствующую культуру», тем легче бизнесу обирать их. Американский образ жизни работает на щук и акул «частной инициативы», промышляющих на территории резервации и вокруг нее. Вот один пример. Мне сказали, что из 150 лавчонок, торговых постов, бензоколонок и других коммерческих заведений, имеющихся в этой резервации, навахо принадлежат лишь 40. Запрещена продажа спиртного — раздолье для белых нарушителей, нелегальных поставщиков, бутлегеров. Нет продовольственных магазинов, принадлежащих племени,— раздолье для белых торговцев, берущих втридорога.

ЭКСКУРСИЯ В ГАЛЛАП

Все началось с того, что в пятницу я пытался заручиться хоть какой-то помощью в редакции «Навахо таймс», обещанием свозить куда-нибудь, показать хоть что-то, а лучше всего — как же живут неуловимые, ускользающие от посторонних натуральные индейцы-навахо. И не очень приветливая Гудлак вошла в мое положение новичка без колес. Обещала заехать в субботу и повозить по окрестностям Уиндоу-Рока.

С утра был в нетерпеливом ожидании. И подкатил старый «шевроле», но не сама Гудлак, а ее супруг Чарли Гудлак, весьма монументальный и живописный мужчина в старом макинтоше с классическим, просящимся на медаль, горбоносым индейским профилем, крупным лицом и львиной гривой, перехваченной на лбу и на затылке лентой, которую позднее, когда действие стало стремительно развиваться, он снял и привязал к баранке своего авто.

Чарли Гудлаку шестьдесят восемь лет. Когда-то он работал в Уиндоу-Роке всего лишь бухгалтером, но жесты у него величественны, как у индейского вождя. И вот таким жестом, без слов, он пригласил меня на переднее сиденье потрепанного «шевроле», где был еще тот самый молодой индеец, который накануне провожал меня к Грэму Холмсу,— Герман Гудлак, племянник. На заднем сиденье егозой вертелась, щебеча по-английски, дочка Гудлака, девочка лет четырех.

Опять я ошибся — и крупно. По опыту своему в обыкновенной Америке ожидал этакую упорядоченную экскурсию, из тех, в которых бывал десятки раз. Но человек с медальной внешностью вождя, в сандалиях на босу ногу и в макинтоше, надетом на спортивный тренировочный костюм, отверг роль гида из обыкновенной Америки.

— Едем в Галлап, за покупками,— объявил он, когда, теснясь, мы устроились втроем на сиденье, и неожиданно добавил: — А вы, если хотите, оставайтесь там...

Я вообще не хотел Галлапа. И даже по расписанию, о котором никогда не забывал, не имел права туда ехать: до него было двадцать семь миль, и, следовательно, он лежал за пределами 25-мильной зоны, в которой разрешалось мне передвигаться, находясь в Уиндоу-Роке. Однако перспектива целый день проскучать в мотеле заставила меня посмотреть на расписание сквозь пальцы. Во всяком случае на его букву. Дух я не нарушал — во вторник, согласно маршруту, Галлап мне как раз полагается.

Поехали.

И первую остановку, а их оказалось много, сделали еще в Уиндоу-Роке возле здания, которое представляло куб поменьше, поставленный на куб побольше, и вмещало полицию, суд и тюрьму.

— Это наше общежитие для пьяниц,— пошутил про тюрьму Гудлак-старший.

Мне еще предстояло привыкнуть к его юмору.

Племянник на несколько минут забежал в «общежитие». Поехали дальше.

Вторая остановка через две мили. Едва пересекли никак не обозначенную границу резервации — винный магазин. Первая ласточка, первый привет «большой земли». Примета цивилизации, подкарауливающей индейцев у самого края их земли. Девять утра, но у магазина — вкривь и вкось, наспех поставленные пикапы и легковые машины, и пиво течет рекой. Гудлак по-хозяйски уверенно въезжает на стоянку, замедляя ход, выглядывает из «шевроле», степенно здороваясь со знакомыми. Их много.

Магазин вместительный и чистый, продавец — из навахо, на полках виски, джин, водка, вина разных сортов. Но любимый напиток — пиво.

Расположившись на сиденьях машин, прислонившись снаружи к стене магазина, сбившись в кучку на стоянке, индейцы дуют пиво, каждый из своей банки. Только монументальному Гудлаку сделаю исключение, и свою банку пива «Курс» он опустошает внутри магазина, завернув ее в бумажный пакетик и перебрасываясь новостями с продавцом.

— Моя сестра,— представляет он мне пожилую индианку, и не поймешь, шутит или в самом деле это его сестра.— В молодости была очень красивой. А теперь слишком любит пиво. Но пока еще ничего выглядит, верно?

На лице женщины остатки благородной красоты. Глаза слезящиеся, грустные, жалкие.

Чарли Гудлак везет нас дальше. Третья остановка — там, где мы снова въезжаем на территорию резервации, миновав язычок «большой земли». Останавливаемся у мусорного бака, освобождаемся от улик, бросая в бак пустые банки. С уликами может не поздоровиться — в резервации сухой закон.

И вот Галлап, вне резервации и вне Аризоны, в штате Нью-Мексико. Его окраина встречает нас мертвыми глазами заброшенных шахтерских домов. Шахты закрылись, шахтеры уехали, владельцы магазинов на Коул авеню (Угольном проспекте) нашли другую клиентуру. В духе рекламного самовозвеличивания Галлап с его семнадцатью тысячами жителей именует себя всемирной столицей индейцев. Сюда наезжают навахо, зуни, индейцы из других племен. Тут процветает то, чего лишена или почти лишена резервация — бары, магазины, прачечные, доктора, ростовщики и кредиторы. Эмблемой города там и сям мелькают многозначительные вывески — «заклад и займы».

— Ну, сейчас увидите индейцев в действии,— саркастически молвил Чарли Гудлак, едва мы въехали в Галлап. И первым делом припарковался у бара «Шлитц». И сам, не мешкая, приступил к действию.

Нет и десяти утра, но в баре шумно и людно. Все — индейцы. В джинсах и шляпах. С пивными банками в руках. И я догадываюсь, чего Чарли ждет от меня, и бармену Джо, с которым он меня знакомит, заказываю три банки пива. И, забрав банку, потеряв ко мне интерес, Чарли отходит в сторону, к приятелям, пошептаться о чем-то своем, индейском. А мне достается снова белый человек — бармен Джо. Ему двадцать восемь лет, помогает ему младший брат, бар принадлежит отцу, самый бойкий бизнес — дважды в месяц, в дни индейских получек. Сегодняшнее, показавшееся мне шумным утро — рядовое, среднее.

Гудлак приблизился с долларовой бумажкой в руке:

— Ставлю три банки. Добавь мелочь.

Джо опережает меня:

— Три за счет дома...

Мы покидаем «Шлитц» минут через сорок. Сзади бежит дочка Гудлака. Она тоже была с нами, толкалась под ногами, ей это не впервой.

У продовольственного супермаркета «Калифорния» Чарли вынимает из кармана длинный лист — составленный дома список закупок на неделю. В Уиндоу-Роке своего супермаркета нет.

Потуляв по магазину, еще с полчаса жду Гудлака, сидя в «шевроле», наблюдая, как подъезжают и уезжают покупатели, как мальчишки-рассыльные подкатывают к их машинам тележки, нагруженные пакетами с провизией. Наконец, катят тележку и нам, и за ней важно шествует Гудлак-старший. Загрузив продукты на заднее сиденье, опять куда-то исчезает.

Его племянник Герман сидит в машине, поглядывая в мою сторону тусклоблестящими, непроницаемыми глазами. Что-то прикидывает про себя, потом, решившись, просит денег. Поясняет: ни пенни за душой, вчера выпустили из тюрьмы, под залог — дядя внес, двадцать дней просидел за пьянство. Час от часу не легче. Получив деньги, Герман рассказывает о себе — был женат, но жену и ребенка бросил, служил в армии в Корее. По его разумению, вторая мировая война не кончилась, продолжается то в Корее, то во Вьетнаме, то еще где-нибудь, там, куда Америка бросит своих солдат в следующий раз.

Но вот и дядя Чарли — садится за руль, запахивая полы своего макинтоша. Снова едем мы недолго. У знакомого бара «Шлитц» Гудлак, забрав из багажника спиннинг, уходит чинить катушку, обещая вернуться не раньше чем через час. Герман отправляется в бар с моими долларами.

Уже полдень, оживленный перекресток. Всюду водовороты индейцев, и кое-кого из них на ногах удерживают лишь пристальные взгляды полицейских. И тут же другие навахо, семейные, с женами и детьми на сиденьях пикапов.

Индейцы в действии... Все людное и шумнее Коул авеню, все быстрее и яростнее индейская карусель, все чаще зеленые полицейские машины с белыми стражами порядка. А порядок в том, чтобы сдавать доллары коммерсантам по возможности без скандалов и пьяных драк — в этом практический смысл галлапской субботы. И пока обходится без драк, хотя хмель накаляет атмосферу...

Чарли запропал. С самого утра мы, очевидно, не поняли друг друга, и в Галлап он приехал по своим делам, совсем не ради меня. И мне остается пенять на себя и свое незнание индейской психологии. Но вот он опять, наш живописный отставной бухгалтер. И девочка с ним, слава богу. И спиннинг. Новая катушка, на конце лески грузило, и, замахиваясь, озоруя, как мальчишка, Чарли забрасывает удочку под ноги прохожих. Те озираются. Похоже, все знают Чарли Гудлака.

— Когда же поедем, Чарли?

— Сейчас,— отвечает он.— Вот только Германа разыщу.

Уходит в бар с девочкой и ищет там Германа почти час, но так и не находит.

— Пропал,— говорит, вернувшись.— Вот бестолковый парень. Опять в тюрьму угодит.

Чарли заметно отяжелел и стал еще медлительнее. Глаза сузились. Распухшие, влажные от пива губы с трудом выталкивают слова.

— Пойду еще погляжу.

Он ждет, когда я его угощу. Но я боюсь — доберемся ли мы тогда до дома. Чарли уходит в бар без меня и еще полчаса ищет и не находит Германа.

— Едем без Германа.

Едем по Коул авеню. На окраину. Последние строения. Дорога. И...

— Заглянем-ка на минутку сюда. А вдруг он здесь?

Чарли выруливает на площадку перед большим винным магазином. В задней его части еще один бар.

Этот бар и публика в нем — «приличные». Интеллигентного вида навахо, чиновники из Уиндоу-Рока, какая-то хорошо одетая женщина, дети с бутылками кока-колы. И даже дверь в туалет открывается общепринятым, а не электрическим способом, как в других галлапских барах, не нажатием кнопки, спрятанной за стойкой, под рукой у бармена.

Гудлак никуда не спешил, не торопился оборвать свой субботний праздник, всласть болтал с приятелями. Но иногда вспоминал обо мне, подводил то одного, то другого индейца.

В углу, в сторонке от толчеи,— разговорился с двумя навахо. Один, назвавшийся Джоном Мартином, возглавляет департамент просвещения в правительстве племени, другой не представился, но тоже производил впечатление образованного человека. Началось с их рассуждений о том, что в России «свобода не так свободна», как в Америке.

И вдруг откровенные горькие суждения об американской жестко избирательной свободе, которая оборачивается несвободой и притеснением индейцев. Это от Мартина я впервые услыхал, что Галлап прозвали всемирной столицей индейцев. Здесь, на границе резервации, индейцы сбывают свои продукты и покупают товары, здесь происходит торговый обмен, широкий — и неравный.

Я спросил, кому принадлежат торговые посты. Мои собеседники переглянулись, удивившись наивности вопроса.

— Конечно, белым.

— Все до одного?

Снова переглянулись, усмехаясь.

— До единого.

— А почему? — прикидывался я простаком.

Мартин ответил, что у белых деньги и влияние.

— Даже если бы у меня было на что купить лицензию,— а у меня этих денег никогда не будет,— все равно мне ее не дали бы. Суды и влияние — у «англо».

— Надо думать, что они неплохо наживаются на своих торговых постах?

— Не меньше ста процентов прибыли. Обирают бессовестно... Взять ковры. Тонкая тяжелая ручная работа. Женщина-навахо два дня спины не разгибает, чтобы выткать вот такой маленький коврик — Мартин показал руками примерно размер сложенной вдвое газетной страницы.— И ей ведь нужен еще материал, шерсть. И вот она приходит на торговый пост. Торговец говорит: «Четыре доллара». Четыре доллара за два дня такой

работы? Грабеж! «Хотя бы пять»,— просит она. «Четыре!» — повторяет он и отворачивается. Она сдается. А он тут же продает этот коврик втрое дороже.

— Куда же смотрит правительство племени?

— А что оно может сделать? Все в руках белых. Только за последнее время мы начали задумываться о возможностях усиления своего политического влияния. Ведь у нас есть избирательные права. И нас тут много в ближайших округах, нас больше, чем белых...

В словах Мартина смешались горечь угнетенного, тоска по справедливости, страсть обличителя. Несчастных его соплеменников обманывают и обворовывают, объединившись в один неправедный союз, торговцы, бармены, полицейские, судьи. В Галлапе завершается индейский цикл: работа — питейное заведение — тюрьма за пьянство. И снова работа. О, великая забота бледнолицего о краснокожем! Напиться — и пропиться — индейцу никогда не мешают, иначе цикл разорвется в решающем, коренном звене. А пропился — полицейский воронок, скорый суд, недолгая тюрьма. И до свидания, до новой встречи!

Я вспомнил Флагстафф. Америка знаменита господством стандарта. И тут действовал один и тот же стандарт, система сложившаяся и апробированная. Лишь размах был внушительнее.

В четвертом часу дня мы выбрались из Галлапа. Старый лев был откровенно пьян, но не уступил мне место водителя. «Шевроле» заносило то вправо, к обочине, то влево, на встречные машины. Чарли ехал молча, сопя и стараясь не заснуть, то тяжело клонясь к баранке, то вскидывая свою кудлатую голову, и я молчал и не задавал вопросов, в полной мере удовлетворив свое любопытство, и лишь маленькая девочка как ни в чем не бывало птичкой щебетала за нашими спинами, будто внушая, что все будет счастливо и хорошо.

В одном месте Гудлак, не забывая о домашних поручениях, купил круглый пшеничный хлеб. И не мог он, конечно, миновать последнюю точку, последнее прости-прощай перед резервацией — винный магазин «Шалфей» милях в десяти от Уиндоу-Рока. И там могучий индеец опустошил еще пару банок пива и этим последним визитом оставил в моей памяти белолицую, сочную, энергично-сексуального типа хозяйку заведения и одного индейца, который, узнав, откуда я, сообщил, что воевал в Корее, что потерял там ногу, и обличающе вскрикивал: «Коммунизм! Коммунизм!» Подробнее насчет коммунизма пьяный ветеран, объясниться не мог, лишь тыкал рукой в свой протез, прикрытый штаниной.

Хлопала дверь. Вваливались все новые посетители. Бесстрашная белая хозяйка отпускала пиво. Какая-то индианка, плача, рассказывала, как разговаривала недавно по телефону с бросившим ее мужем. «Я не считаю, что мы совсем уж развелись. Может, он еще вернется. Но я ему сказала: если так будешь пить, лучше не приходи, все равно не пущу». Потом в магазине появился ее племянник вместе с миловидной девушкой. Он был трезв и улыбчив. Пришел сказать тете, что пора, они ждали ее в машине. И еще три-четыре индианки стояли снаружи, у боковой стены, укрывшись от ветра и ожидая своих непутевых мужей, которых за последние их доллары угощала соблазнительная белая дама.

Чарли Гудлак вышел из «Шалфея», выбросил пустую банку в окно машины, сказал: «Подальше от этих пьяниц...»

И потянулись последние, самые драматические мили. Дорога была не прямой и не ровной, с подъемами и поворотами, среди откосов заросшей шалфеем земли, и «шевроле» выделывал на дороге кренделя, как пьяница, у которого заплетаются ноги. По привычке автомобилиста я то и дело машинально жал ногой на тормоз, но тормоз был под ногой у Гудлака. Каждая встречная машина неслась видением аварии и смерти.

Еще и еще минуты крайнего напряжения, еще и еще соскальзывание на обочину и, как по одной половице пройти, попытка проехать мимо полицейской машины, стерегущей автомобилистов при въезде в Уиндоу-Рок, и чувство облегчения и свободы. Колеса шуршат по гравию, по кремовому песку возле мотеля. Какая надежная, спокойная пристань! Удачная познавательная поездка. Удачный день. Недаром это имя, Гудлак, означает по-английски «удача».

РАБОЧИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

В понедельник утром жизнь вернулась в Уиндоу-Рок, и еще спросонья я услышал ее в скрипе тормозов возле мотеля. Столичный поселок ожил, приливная волна служилого люда заплескалась в его странных берегах. Когда я пришел завтракать, кафетерий при мотеле был полон, мистер Нельсон, распространяя вокруг бодрость, приветливость и улыбки, добродушно покрикивал на своих подчиненных, поторапливая их, все, чему положено, шипело, лилось, булькало, и очередь любителей утренней чашки кофе и традиционной яичницы быстро продвигалась у стойки. В очереди я заприметил двух-трех своих знакомых по галлапским увеселениям. Но факт знакомства они почему-то не спешили подтвердить, и взгляды их избегали чужого незапланированного свидетеля их внеслужебной активности. Был среди них и Джон Мартин, шеф департамента просвещения, раскрывший мне в одном из баров коммерческие тайны индейской «всемирной столицы», но и он сделал вид, что не заметил меня.

«Ястребиный Коготь! Я ж твой «Бледнолицый Брат»... Нет, не могли они понять, что билась во мне эта строчка поэта, впервые увидевшего индейца въяве, а не в книгах Фенимора Купера и Майна Рида и воскликнувшего с печалью сострадающего и недоумением непонятого: «Ястребиный Коготь! Я ж твой «Блед-

нолицый Брат»... Не знали они ни этой строчки, ни чувства, стоявшего за ней, и ни того, что преследовала она меня, попавшего на их землю, в их страну, которую зовут замкнутым в себе, отстраненным от остального мира словом — резервация.

И, наверстывая упущенное за уик-энд, я ходил в понедельник из офиса в офис не человеком с улицы, зашедшим в пивной бар, не «дикарем», а с мандатом Нью-Йоркского Центра иностранных корреспондентов, занимаясь профессиональным делом сбора и перепроверки информации и предварительной ее сортировкой,— что и как уложить в материалы, которые надо будет отправить в газету по возвращении в Нью-Йорк. Чарли Гудлак вряд ли влезет в газетную полосу, как и Джек Кукер, слишком они непричесаны, пьяны и живописны, и теперь я собирал не типажи и образы, а цифры и факты, как будто в обобщенном и усредненном находится самое сокровенное и истинное о человеческой жизни. Цифры и факты — главный хлеб корреспондента, хотя частенько он черств и дерет горло, как сухари. Но не буду клясть свой хлеб. Разговоры с чиновниками-индейцами были интересными и в самом деле дали новую пищу, нагляднее очертили проблемы, которые замалчивают или не замечают «англо» из Бюро индейских дел...

В правительстве племени, как и во всяком сколь-нибудь солидном американском учреждении, есть свой отдел по связи с прессой и публикой. Его шеф, Перри Аллен, которого я не смог увидеть в пятницу, собственно, и должен был курировать меня. И к нему я отправился первым делом с утра. Он вел утреннюю планерку — заседают и в резервации. Но и тут земля, пустынная, малолюдная, полнится слухами. Меня как будто уже ждали. Только доложили, Перри Аллен сразу вышел ко мне. Вернее, выкатился — с парализованными ногами, в инвалидном кресле на колесиках. В его обличье индеец уживался с белым американцем. Квадратное лицо, широкие скулы, приплюснутый нос, жесткие волосы, а манерами, стилем поведения, одеждой — деловой и деятельный американец.

Вкатился следом за мной в свой кабинет, привычно развернул кресло в рабочую позицию за письменным столом. На стене за его спиной выделялся плакат — призыв председателя племени экономить средства и в рамочке — нечто вроде почетной грамоты от губернатора штата Нью-Мексико.

После короткого ознакомительного разговора Перри Аллен передал меня своему помощнику Роберту Шарди — вместе с ключами от «шевроле» и поручением отвезти и показать, как живет в округе простой народ, простые индейцы — чем меньше времени оставалось у меня, тем невыносимее была мысль, что уеду, так их и не увидев.

Роберт Шарди начал с показа избранников народа — членов совета племени. Восьмиугольное здание индейского парламента в чем-то имитировало хоган, но многократно увеличенный и не из бревен и глины, а из крепких шершавых камней, вырезанных из местного песчаника. Как орудийными жерлами, щерилось оно во все стороны выпиравшими из стен наружу круглыми деревянными балками, и что-то трогательно-потешное, несерьезное было в этих аллегорических орудиях из дерева, и бесстрастно-загадочным оком смотрело на индейский парламент священное окно-скала, высившаяся неподалеку.

В зале заседаний матово поблескивали покрытые лаком бревна стен. Лубочного типа роспись на одной стене изображала путь навахо от лука, стрел и войн с бледнолицыми к прогрессу и нынешним временам — к умильно-красивым индейским отрокам, которые с учебниками под мышкой идут в школу, к счастливым овцам, припавшим к желобу, куда, победив вечную засуху пустыни, мощной струей хлещет вода из щедрого крана. Ни напряжения, ни борьбы не знало прошлое в этом его изображении, а будущее, спроецированное из настоящего, выглядело прямо-таки идиллическим.

Под картинами за простенькими крашеными столиками сидели члены совета. Не в тех традиционных одеждах и головных уборах, в которых красовались на стене их предки периода лука, стрел и войн, а в нынешних куртках и штанах из джинсовой ткани, сопровождающей движение к прогрессу. Председателя племени, который в новой системе управления заменил вождя, какие-то срочные дела позвали в Вашингтон. Заседание вел вице-председатель, почтенного вида индеец в очках. Обсуждался бюджет племени. Докладчиком был главный контролер. Скоростным речитативом он по-английски перечислял статьи доходов и расходов. Притулившись за столиком рядом с трибуной, девушка вела синхронный перевод на язык навахо.

Затем мы оставили позади скопления уиндоу-рокских скал, лубочных отроков и овец. С асфальта 264-й дороги свернули на пыльный проселок. Вскоре увидели подобие кемпинга, не то образцовое поселение, не то какой-то экспериментальный проект. Не хоганы, которые я искал, а побеленные кабинки. Роберт посмотрел по сторонам — куда бы зайти? Зашли наугад. Застали женщину с тремя детьми в одной-единственной комнате. Посредине этой «экспериментальной» местной модели человеческого жилья стояла древняя чугунная печка. Печная труба уходила в потолок, образуя как бы ось жилища. Две железные кровати. Столик. Комодик — и на нем маленький радиоприемник (у навахо есть радиовещание на родном языке). Одеяла, подушки, тюфяки — этот скарб бедняков — сложены грудой у стены. (В традиционных хоганах кровати вообще не признаются.)

Я попал, куда стремился, к самым простым людям. Но разве просто проникнуть в эту жизнь, озирая четыре угла и жалкий скарб? Разве откроешь простую жизнь наскоком? И разве так уж проста она?

Одно угадаешь наверняка: эта жизнь сосредоточена на самом существенном — на выживании, это крыша и стены, ограждающие от стихий, место, где преклонить голову, и на своем языке, к своим богам летящая мольба — хлеб наш насущный даждь нам днесь...

Врасплох застигнутая нашим приходом женщина молча сидела на кровати, положив руки на колени и потупясь. Роберт не знал, как себя вести, и мне тоже неловко было вытягивать какие-то сведения. Женщина отвечала неохотно и немногословно, не понимая, чего от нее хотят, и в переводе моего спутника слова ее становились еще короче. Муж работает в Уиндоу-Роке. Средств не хватает. И она понимала: мы не из тех посетителей, от которых средств прибавится. У ее ног крутился двухлетний голоштанный карапуз, две маленькие девочки, засунув пальцы в рот, глазели на незнакомцев. На лице Роберта читалось: посмотрели — и хватит...

На обратном пути мой спутник говорил то, что я уже не раз слышал: главная проблема — это бедность и безграмотность, сплетенные в заколдованный порочный круг. По его словам, 80—90 процентов навахо неграмотны, не имеют профессии и квалификации и потому обречены на случайную черную работу и жалкое существование в высококонкурентном американском обществе. Не больше половины детей посещают школы, родители боятся отпускать их, в школе их учат чужому и отучают от своего. Знакомые мотивы...

После обеда я обстоятельно беседовал с Перри Алленом. У него осторожный оптимизм.

— На моем месте еще пять лет назад сидел белый. И он был совершенно равнодушен к истории племени, к другим вещам. Правительство племени создали лишь в 1954 году. До этого все было в руках белых, и я вряд ли открою вам секрет — они преследовали свою выгоду.

Перри Аллен разъяснил нынешнюю структуру управления. Председатель племени избирается прямым голосованием и служит главным должностным лицом. Племенной совет также избирается — это законодательный орган. Управленческий аппарат подчинен председателю и совету. Представители из Вашингтона, из Бюро индейских дел — «наши опекуны», наблюдатели. Они отвечают за школы-интернаты, министерство здравоохранения — за больницы. В остальном племя автономно: свой бюджет, свои источники доходов, расходы на полицию, на соцобеспечение и другие социальные программы. На местах подобия мини-муниципалитетов, которые следят за порядком и нуждами населения, разбирают его жалобы, обращаются в Уиндоу-Рок за средствами,— к примеру, когда понадобится вырыть новый колодец.

— Мы — молодая нация, нам всего каких-то сто лет,— повторял, как бы оправдываясь, Перри Аллен, избегая слова «племя», в котором сильны отголоски старого, и ведя летосчисление с 1868 года, от подписания последнего и окончательного договора навахо с правительством США.

— Мы — молодая нация и потому во второй половине двадцатого века живем, как в колониальные дни. Многое должны изменить. Может быть, следует открывать здесь свои собственные фабрики, магазины и т. д., а не только давать все это на откуп (при помощи лицензий) белым американцам. Кто спорит, бизнес в резервации принадлежит белым людям. По разным причинам многие из навахо находятся у них в долгу, долгу кабальном.

— Но бог свидетель,— и Перри Аллен комически воздевал руки к небу,— мы должны двигаться вперед медленно и осмотрительно. Невозможно разом избавиться от белых торговцев. Не забывайте, что торговые посты — источник существования для многих навахо в смысле кредита. Чем его заменить? Чтобы уничтожить несправедливость, надо дать людям работу, создать тысячи и тысячи новых рабочих мест.

Аллен сообщил, что «молодая нация» стала почти самообеспеченной, продавая белому бизнесу лицензии на разработку обнаруженных на территории резервации нефти, газа, урановой руды, а также на открытие коммерческих заведений и промышленных предприятий, но нуждается в средствах БИД для содержания школ-интернатов и строительства хороших дорог, без которых не заманить сюда белый бизнес и туристов; что есть лишь один геолог-навахо, всего два доктора и ни одного адвоката, ни одного судьи с высшим образованием, что из студентов-выпускников лишь двадцать пять процентов возвращается, хотя на обучение каждого племя тратит по нескольку тысяч долларов.

— Мы против какого-либо диктата. Хотят вернуться — превосходно. Не хотят — их дело. Такое поведение мы не считаем эгоистическим. Пусть уж лучше поработают на стороне, приобретут опыт, а там, глядишь, вернутся более полезными людьми. Своя земля все-таки тянет. Многие учителя и фельдшеры возвращаются обратно. Редко кто исчезает совсем...

Перри Аллен направил меня к Руфи Сэндовал, возглавляющей отдел соцобеспечения, потом я все-таки попал к Джону Мартину, ведающему просвещением, навестил Чета Макрори, редактора «Навахо таймс», и завершил день разговором и ужином с судьей Уильямом Язи.

Руфи Сэндовал понравилась, пожалуй, больше других. Средних лет индианка, простая, откровенная, с уютной домашней улыбкой. У нее сердце матери, и по натуре она совсем не чиновница, а скорее общественница-подвижница. Нужный человек на нужном — и нелегком — месте. На главную проблему нищеты она «выходит» напрямую. Ее отдел занят помощью остро нуждающимся — талоны для голодающих на бесплатные продукты пита-

ния, пособия в случае увечий, смерти родных, развала семьи, других чрезвычайных происшествий и ситуаций. Она все время возле людской беды и горя, возле бездны неустроенности и несчастья. Нет средств, чтобы помогать всем. И расспрашивать ее, открытую, недипломатичную,— это словно нарочно бередить ее боль.

Джон Мартин, который в пивном гуле галлапского бара обличал разбой белых коммерсантов, теперь всячески избегал меня. Сделал вид, что не заметил утром в кафе. А когда не смог уклониться от встречи в своем служебном кабинете, ни словом не обмолвился ни о нашем субботнем разговоре, ни о своем обещании пригласить меня к родителям, которые живут неподалеку в «традиционном стиле». Уж не сделали ли ему внушение?

Мартин снабдил статистикой — сколько студентов-навахо получает стипендию от племени, сколько — от федерального правительства в Вашингтоне. Молодежь, оканчивающая среднюю школу, больше всего тянется в преподаватели начальных и средних школ, на втором месте — инженерные профессии и менеджеризм.

Редактор Чет Макрори, критичный и ироничный (в таком духе выдержаны и его заметки, публикуемые в каждом номере), и судья Уильям Язи не разделяли даже осторожного оптимизма Перри Аллена. По их прогнозам, правительство племени через несколько лет вполне может оказаться банкротом, так как бюджетные расходы постоянно превышают доходы и дефицит покрывается за счет все убывающих накоплений, депонированных в банках.

Редактор говорил о двух тенденциях в руководстве племени. Старая гвардия боится «прогресса», который, по ее мнению, грозит самобытности навахо и, более того, цельности племени как этнической общности. Другая группа за то, чтобы делать навахо более конкурентоспособными в американском обществе. Нынешние руководители племени, по мнению Чета Макрори, стараются совместить обе тенденции, понимая опасность потери «лица» и культуры и одновременно необходимость экономического развития. Последняя диктуется хотя бы фактом прироста населения — пять тысяч в год. Навахо уже не могут прокормиться по-старому — овцами, примитивным скотоводством. Выход — в индустриализации. Искусные ремесленники становятся хорошими рабочими на тонком производстве, требующем ручного труда. Приглашая промышленные корпорации на землю резервации, руководители племени ставят условием, чтобы при наборе рабочей силы предпочтение отдавалось навахо. Но корпорации хотят владеть землей, на которой расположены их предприятия,— без этого им трудно получать займы от банков. И в этом притязании большого бизнеса на землю — огромная опасность. Почему? Потому что племенное владение землей — это материальная основа, скрепляющая племя, позволяющая ему сохранить цельность и лицо. Если эта основа будет разрушена, наступит дезинтеграция, все пойдет прахом. Там, где эта защитная стена рухнула, индейские племена уже распались, открытые всем ветрам капиталистического общества, на которых им не устоять.

Судья Язи был последним собеседником. Подвезла меня к нему Ширли Уотчмэн, сотрудница Перри Аллена. Манерой поведения, прической, некоторой жеманностью и вообще ароматом нездешней утонченности Ширли выделялась — и выделяла себя — в непритязательном Уиндоу-Роке. И автомобиль у нее необычный — новенький, полуспортивный, тоже не чета здешним пикапам и «шевроле». В машине по дороге к судье она выделилась еще и разговором.

— Поверите или нет, но мои любимые писатели — русские, и моя любимая музыка — русская, и я мечтала быть балериной и училась у... (Я не уловил на слух две незнакомые фамилии.)

Сюрприз. Первая человеческая ниточка, хотя и не прямым путем, протянулась от Уиндоу-Рока к моей стране. Перед Ширли Уотчмэн стоял выбор: и дальше учиться балетному делу, что было сопряжено с риском материального, да и творческого неуспеха, либо избрать обычную «деловую карьеру». Убоявшись риска, она предпочла второе, работала секретаршей во Флориде. Но счастье и успех обошли ее и там. Что же привело ее сюда, в глубинку, в медвежий угол? Она ответила: «Устала от того, что довольно точно называется «крысиными гонками». Она индианка, хотя из другого племени. Неудачница, вернувшаяся если не в родное, то хоть в родственное лоно. Спрятавшаяся за той защитной стеной, о которой говорил редактор Чет Макрори.

Что касается судьи Уильяма Язи, то он рассуждал о зле алкоголизма и о том, не лучше ли торговать спиртным на территории резервации — плод не будет таким сладким, перестав быть запретным, а деньги достанутся не белым коммерсантам, а администрации племени. Интересовался, что́ в Советском Союзе знают об индейцах. Здесь это вопрос с подтекстом. В Соединенных Штатах, среди средних американцев благодаря Голливуду и телевидению гуляют стереотипные, глупые и оскорбительные представления об индейцах. И вот индейцы хотят знать, как выглядят они в остальном мире, не привились ли эти стереотипы и за американскими пределами.

Но и тут жизнь не обходится без обычной своей смеси трагикомического. Когда ужинали в доме судьи, вполне городском, по одному из телевизионных каналов как раз прокручивали очередной фильм об индейцах. Судья со знанием дела и не без обиды комментировал по ходу действия: «Это не настоящий, это загримированный белый». И, к слову, рассказал смешную и грустную историю о «настоящих» и американском кинематографе. Тут, на севере резервации, Голливуд делал очередную ленту с участием знаменитого киноковбоя Джона Уэйна. Для массовок пригласили индей-

цев, как водится, разодев и разрисовав их. Джон Уэйн, выходивший победителем из всех передряг с индейцами, в одном эпизоде появлялся на скале — верхом на коне, с винчестером в руках. И сотня кровожадных индейцев внизу. Тоже на лошадях. Готовых, по киносценарию, его растерзать. Индейцам-статистам объявили: «Сейчас он выстрелит. Как только раздастся хлопок, один из вас должен упасть с лошади — за это дополнительно десять долларов». Выстрел. Хлопок. И... с лошадей дружно упали все сто индейцев.

ПРОЩАНИЕ

Вот и все. До свидания, Уиндоу-Рок! Здравствуй, Галлап, и тоже прощай! Маршрут, составленный там, откуда не разглядеть этих мест, теперь как смирительная рубашка — тесно, больно, ни рукой, ни ногой не шевельнуть и не снять, не сбросить. Сроки истекают, и расписание поездки катапультой выстреливает меня из глубинки, сначала в город Санта-Фе, прославленный своим мексиканским колоритом, а потом и в Нью-Йорк. Все оказалось и короче, и длиннее, чем я предполагал. Короче, потому что даже не ковшом, а лишь ладонью зачерпнул из реки этой жизни, которая потечет дальше, не заметив появления и исчезновения еще одного человека на своих берегах. И длиннее, потому что в этих далеких, странных, незнакомых, но в чем-то предугаданных краях многое успело промелькнуть в сознании, о многом подумалось.

Вряд ли вернусь сюда. Земля велика, и корреспондент-международник, которого профессия гонит к новым местам, не так уж часто возвращается на старые. Как ни жалей индейцев, все-таки не в их пустые лежат главные темы и проблемы сегодняшнего дня и всего нашего тревожного термоядерного века.

Долго ли, коротко, но конец близок, и от этого чувство облегчения и впору вслед за классиком воскликнуть: «То ли дело, братцы, дома!.. Ну, пошел же, погоняй!..» Не только повеление маршрута, но и собственное нетерпение уже зовет тебя в обратную дорогу, и получается, что именно на десять дней завел ты свои внутренние часы, собираясь в Аризону к индейцам, ровно на десять суток — от вечернего приземления с небес в глубинке Флагстаффа до сегодняшнего послеполуденного часа, когда собрал вещички в номере «Уиндоу-Рок лодж» и задернул занавеску на окне, которое было еще одним — каким уже?! — окном в мир, когда разворошил носком ботинка свежий бугорок всепобеждающего здешнего песка и в последний раз закрыл эту дверь за собой.

Спасибо, мистер Нельсон, за кров и приют.

Дай бог тебе хорошего жениха, индейского или какого другого счастья, официантка из кафетерия, красивая и неулыбчивая, стесняющаяся щербатинки во рту; я видел однажды, как во все глаза смотрела ты, завидуя, на белых красавиц, слепивших улыбками с телеэкрана, и сама вдруг улыбнулась, забыв о своей щербатинке, парню с лицом туркмена и стриженым затылком — он так и таял от твоей близости.

Прощай, нерукотворный индейский сфинкс, око гранитной скалы,— может быть, и нет ничего в твоем вечно пустом взоре, кроме кусочка неба, но ты будешь и впредь взирать на этих людей, знакомых мне и незнакомых, на их офисы, которых не ожидал я увидеть в индейской резервации, жилища, машины, будешь по-прежнему свидетелем их дней и лет.

Прощай, Чарли Гудлак, тебя-то я запомню на всю жизнь, ты утомил, и даже напугал меня, и обманул, так и не взяв на рыбалку, но я не в обиде — жаль только, что не поговорили вволю, наверное, ты мог бы многое рассказать, если бы не был так занят опустошением банок с пивом «Курс»...

Прощайте и не поминайте лихом, как говорят в стране, о которой вы знаете еще меньше, чем мы о вас...

Но это был второй за день — и окончательный — отъезд из Уиндоу-Рока. А первый, с возвращением, был утром. Руфи Сэндовал не забыла о просьбе, которой я надоедал всем, и с утра свела меня с одним из своих подчиненных, неким Полом, начальником службы вспомоществования уиндоу-рокского агентства резервации. Захватив папки с заявлениями о помощи и с результатами уже проведенных обследований. Пол выезжал на места.

Я подсел в кабинку его пикапчика со следами пыли и песка на ветровом стекле.

Достигнув развилки у Галлапа, направились на север по дороге 666 до поселения Нашита. Пустыннее становилось плоскогорье, реже попадались сосны-пинии, оживлявшие пейзаж, убавилось зарослей шалфея. Злой ветер бросал песком в машину.

Пол был малоразговорчив, но тоже как бы ненароком обронил вопрос: «А что у вас знают о «диких индейцах»?» «Диких» — ирония, обида, боль. И подозрение — не приехал ли и я на поиски «диких индейцев» и не для этой ли цели присоединился к Полу в его поездке. Он одно время занимался инженерным делом в Альбукерке, но вернулся в резервацию, так как хочет помочь своему народу. Так и сказал — с пафосом. И в службу вспомоществования попросился, чтобы быть ближе к народу, его нуждам. Сам родился в районе Туба-Сити, где до сих пор живут его родители. Там жизнь скуднее, чем в восточной части резервации, земля еще бесплоднее.

Поселение Нашита, куда мы приехали,— это прежде всего школа-интернат, очаг цивилизации — с водокачкой, сосновыми на вид домами, посаженными тут и там редкими деревьями. Навахо живут в сторонке, на отшибе, подальше от дороги, поближе к песку и пустырям пустыни — в бревенчатых и каменных хоганах и в побеленных домишках типа

тех, что показал мне вчера Роберт Шарди.

На краю гряды голых холмов несколько хуторков, по три-четыре хижины в каждом. Съехав с асфальта, мы заколыхались по ухабам. Хуторки были пустыми, казалось, лишь псы, тощие, облезшие и ленивые, населяли их. Старуха показалась на пороге одного дома. Глухая. Пол кричал ей в ухо, разыскивая брошенную мужем женщину с детьми, которая просила о помощи. Ничего не слыша, старуха скалила беззубый рот. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, уверял Лев Толстой, но зрелище бедствующих семей, голой, обыкновенной нищеты, видимо, всюду одинаково. Щепки-дровишки, сложенные у домов. Через открытую дверь — ветошь одежды. И железная печка — знак теплящегося домашнего очага.

Не найдя адресата, поехали дальше, к другому хутору. И снова не было людей. Пол остановился у выложенных на земле квадратом кирпичей, подобия фундамента, намекающего на желание построить дом. В его папках была, среди других, просьба одной индианки — помочь ей достроить дом. Просительницы не было на месте. Пол объяснил мне, что по существующему порядку помочь можно лишь тому, кто возвел стены под потолок, но не имеет денег на крышу. Возле фундамента, который жалким пунктиром кирпичей просил о подаянии, Пол дал мне полистать дело просительницы. Типичное. Четверо детей, муж бросил семью. Без кормильца, без средств, без работы. Без счета в банке — об этом тоже сообщалось в подробном деле. Соцстрахованием не охвачена. Одну за другой я перебирал аккуратно подшитые бумажки. Вот первое обследование — и заключение — выдать чек на тридцать пять долларов. Там же предупреждение — это однократное, разовое пособие. Потом еще одно заключение — охватить программой помощи матерям-одиночкам. Таких матерей очень много. Мужья бегут, потому что не могут содержать семьи. Мне вспомнилась поездка в штат Кентукки — там безработные шахтеры тоже бросали жен и детей, скрывались, вынуждаемые и отчаянием, и законом, по которому фактически поощрялась безотцовщина, потому что лишь в отсутствие отца его дети имели право на пособие...

С пустыми руками мы вернулись из пустых хуторков, никому не помогши...

Отвозила меня в Галлап противница «крысиных гонок», поклонница Достоевского и русского балета Ширли Уотчмэн, предварительно заказав по телефону в тамошней гостинице «Шалимар» номер для «важной персоны», «нашего почетного гостя».

Болтала без умолку:

— Меня часто спрашивают: «Как же вы здесь живете, в этой дыре? Какие же у вас тут увеселения?» Смешные люди. Удовольствий здесь больше, чем в городе. Я поначалу работала на торговом посту близ Лаптона. Какая прелесть! Какие просторы! Чудо «крашеной пустыни», очаровательные цвета песчаника. Ах, как жаль, что вы не побывали в тех местах, по-настоящему живописных...

Прощальным, восполняющим пробелы взглядом я вглядывался в местность. Галлап лежит ниже Уиндоу-Рока. Дорога шла под уклон — и впрямь просторы. Широкое, всхолмленное, заросшее пиниями и шалфеем пространство, и на далекой границе буро-зеленого края обещанием еще одного, призывно нереального мира вздымалась дымчато-синяя стена гор.

Ширли роняла пепел с кончика сигареты, небрежно держа руль левой рукой, и, поглядывая на меня, проверяла, какое впечатление производят ее слова. Чернявая, скуластая, курносая — ее беды, наверное, проистекали от некрасивости и, может быть, чрезмерной болтливости. Ее задор не мог скрыть одиночества и неустроенности жизни. Подумалось, что только для этой жеманницы я и стал «бледнолицым братом», которому можно было и излить восторги, и пожаловаться на неотесанность уиндоу-рокских жителей, примитивность их жизни. Люди у нее делились на смешных, забавных (funny) и милых, очаровательных (charming).

Первых, конечно, было больше, чем вторых. Навахо — смешные люди, но с природным интеллектом. Галлап — забавный город, нигде так не полагаются на кредит. А смешнее всех — американские туристы: приезжая сюда, они боятся, что в них из-за каждого куста или бугра будут пускать стрелы свирепые «дикие» индейцы. А американские школьники пишут председателю племени (очаровательному человеку) забавные письма, называя его главным индейским чифом — вождем.

Там, в большом мире, где Ширли некогда жила и не смогла ужиться, куда вновь отправлялся и я после своей короткой командировки, для таких, как она, индейцев и индианок резервация оставалась последним прибежищем, спасательным кругом, за который можно ухватиться, терпя крушение в «крысиных гонках», приманкой, магнитом простой, здоровой жизни. Великий, вечный, всемирный соблазн — убежать от цивилизации, найти избушку в лесу, вернуться в счастливое, бесхитростное и безмятежное детство, где тебя будет баюкать и петь тебе колыбельные песни мать-природа. Но где это детство и эта жизнь, если человек уже прошел через искушения и изведал соблазны, изгнан из рая? И Ширли, скрывшуюся в тихую заводь резервации, все равно носило между двумя берегами, и об этом-то, в сущности, и рассказывала она мне, «бледнолицему брату», на своем забавном и очаровательном языке.

Так мы добрались до мотеля «Шалимар» («Иностранцы обычно здесь останавливаются»), и он глянул на нас не пустыми глазницами заброшенных домов на галлапской окраине, а огороженным решетчатым заборчиком, причудливо изогнутым, стерильно голубеющим бас-

сейном для плавания («О, смотрите, у них тут бассейн!»).

Поблагодарив Ширли, я простился с ней.

Шалимар — это слово перекочевало из Индии, из названия знаменитых садов близ Кашмира, а здесь, в Галлапе, обозначало мирок, отгородившийся от «всемирной столицы индейцев». Индейцы были здесь представлены лишь за зеркальным витринным стеклом сувенирного киоска, серебром и бирюзой их изделий.

С индейцами я простился, еще не покинув их столицы.

И одним из актов прощания была встреча в номере с американским телевизором. Шло рекламное шоу с типичным, развязно-лощеным ведущим, который царил на сцене и в зале, наподобие какого-то нового черта волоча за собой длиннющий хвост магнитофонного шнура.

Один номер сменялся другим — под рекламу шампуней фирмы «Карлейл». На сцене появилось четверо женихами приодетых молодых мужчин. Они и в самом деле оказались новобрачными, и ведущий, еще не объявив условий игры, подмигивал им, давая понять, что следующий номер будет не лишен пикантности. Потом сказал, что сейчас произнесет фразу, но не до конца, и каждый из новобрачных должен ее дополнить. «Итак, внимание! В первую брачную ночь я был слишком... Номер первый, ваше слово?» «Слишком нервный»,— отвечает номер первый. В зале смешки. «Номер второй?» Номер второй, как и номер третий, повторяют слова первого. «Слишком застенчив»,— отвечает четвертый номер.

Вызывают на сцену их молодых жен. Они одеты и причесаны как и положено в праздник появления на телеэкране. Они сияют от счастья. Скабрезная улыбка на лице ведущего. «Итак, внимание! В первую брачную ночь мой муж был слишком...» «Слишком агрессивен»,— одна за другой отвечают три дамочки. Четвертая угадывает ответ мужа: «Слишком застенчив». И выигрывает. Музыка играет туш. На экране — мягкий большой диван, покойные глубокие кресла, симпатичный кофейный столик и два торшера. Это — приз Победившая пара ошалело расхаживает среди неожиданно подвалившего добра, хлопает в ладоши, телекамеры смакуют кульминационный кадр. И вдруг все уступают место красотке с волнующе соблазнительными, слегка развевающимися волосами — идеальными, благодаря шампуню фирмы «Карлейл»...

Я смотрел в это окно, совсем иное, чем в скале Уиндоу-Рок, и видел жизнь без железных печек, без дыр дымоходов в потолке и тюфяков, наваленных у стены, веселую и легкую жизнь, где все, казалось, доставалось даром. Если, конечно, поверить инсценировкам телевидения, этого самого ловкого режиссера нашего времени.

◆

Антирубрика

НГУЕН ТУАН

Перевод с вьетнамского МАРИАНА ТКАЧЕВА

Сон

Итак, считая сегодняшний день, их прошло ровно четыре. Четыре дня назад я должен был закончить рассказ. Если лень — самая знаменательная черта, которой судьба наделила меня, на этот раз я, пожалуй, совершенствовал ее дольше обычного. Господи, и всего-то ведь надо написать четыре-пять страничек, но я откладывал этот творческий подвиг со дня на день, собираясь с силами и шлифуя в уме свой замысел.

Каждое утро я повторяю себе: «Пора, пора приниматься за работу...» И усевшись за письменный стол, сосредоточиваюсь над первой фразой, твержу ее про себя, мысленно переставляя местами слова и знаки препинания, и где-то к полудню готов излить ее на бумагу. О великий миг! Макаю перо в чернильницу... Да-да, именно так я и начну. А там уж все пойдет как по маслу. И я, наконец, свалю с себя это бремя. Но можно ли начинать так тривиально? Нет, рассказ с первой строки должен брать за душу! Хорош бы я был... Внутри меня словно бы возвышает критический голос совсем другой человек. Придираясь к мелочам, он не оставляет от возлюбленной мною первой фразы, а заодно и от замысла в целом камня на камне. Ну и тип! От гнева у меня захватывает дух. Вот так, с маху отвергнуть все мои придумки и находки! Теперь начинай все сначала. Да тут никакого трудолюбия не хватит. И словоохотлив, подлец, как базарная баба. Что за напасть? Разве в такой кутерьме напишешь хоть строчку?..

А человек, засевший внутри меня, пускается во все тяжкие. Улещает, насмехается, бранится, грозит под конец вовсе покинуть меня. Я, мол, ему наскучил. Потом, решив, наверно, что я не перенесу утраты (хоть я, признаюсь, охотно бы с нею смирился), утешает меня, словно малое дитя. Нет, каково?! Это alter ego оказалось ужасно докучливым.

Душа моя вот уж четвертый день подряд — поле незримой битвы. Мое Я номер один сражается с моим же Я номер два. В редкие минуты затишья я пытаюсь написать нечто, устраивающее их обоих. И тут все начинается сызнова, мое второе Я снова бросается в бой, как полководец, поднявший войска на приступ.

Но отступать дальше некуда — сегодня я должен работать. И работать в полную силу. Еще немного — и я взбунтуюсь против самого понятия «необходимость». Обуреваемый ленью и лишенный возможности предаться ей душою и телом, я думаю вдруг: «А что, если подарить мой мозг какому-нибудь знаменитому медицинскому институту?..» То-то бы ловко вышиб я из-под моего второго Я всякую опору. Какой с безмозглого спрос? До писаний ли тут? Сущее блаженство!

Да и способен ли я создать нечто такое, что взволновало бы человечество? Конечно, о подношенье моего мозга светилам медицины я говорю — пока! — лишь фигурально. Просто я не прочь побывать в шкуре доисторического человека, не ведавшего духовной жизни: счастливец, свободный и безмятежный! Он и не догадывался о муках, подобных моим... Работать без вдохновенья! Нет, не только без вдохновенья, но еще и под страхом раскаянья, а оно неминуемо

Имя **НГУЕНА ТУАНА** (род. в 1910 г.), одного из известнейших вьетнамских писателей, знакомо нашему читателю по переводам книг документальной и повествовательной прозы («Меж двумя веснами», изд-во «Молодая гвардия», 1974; «Тени и отзвуки времени», ГИХЛ, 1976), а также отдельным публикациям, в том числе и в журнале «Иностранная литература». Рассказы «Сон» и «Прекрасное расположение духа» написаны автором до Августовской революции во Вьетнаме (1945). Переводы их взяты из готовящегося к печати в издательстве «Художественная литература» тома избранной прозы Нгуена Туана, включенного в 15-томную Библиотеку вьетнамской литературы.

ждет сочинителя подобных опусов. Право, я стыжусь самого себя.

Пора, пора браться за работу. Очень уж я заболтался.

Девственно чистый лист бумаги зовет меня начертать наконец заветную первую строчку. Только с чего начать? О небо, отчего на сей раз все мне дается с таким трудом!

В любом начинании первый шаг — великое дело... Впрочем, о первой строке я уже говорил... О, я наконец чувствую себя вправе вывести буквенную вязь на все еще непотревоженной бумажной белизне. Вот уже острие пера отделяет от нее лишь расстояние величиною с мизинец. Оно опускается... Почему-то стало так трудно дышать. Люди добрые, у меня жар, я чувствую себя раскаленным паровым котлом без предохранительного клапана.

Вытерев рукавом пот со лба, решаю: нет, работать сейчас невозможно. Да в этакую жарищу девять человек из десяти вздремнули бы после полудня; все лучше, чем обливаться потом в бесплодных потугах. И я, как человек объективный, спрашиваю самого себя: «Не лучше ли поработать вечером — в прохладе и покое? Подремлю часок-другой и встану. Все одно ведь не пишется. Да и возможно ль закончить рассказ в один день?..»

С облегченьем встаю и покидаю опостылевший письменный стол. Лень здесь, прошу учесть, ни при чем. Тут дело в погоде. С природой не поспоришь; перед нею бессильны не только отдельные личности, но и целые цивилизации. И это не пустая отговорка. Вспомните, скажем, как развивались народы, живущие в тропиках, и убедитесь — я прав.

Какая уж тут работа в знойный день, особенно — работа умственная! Вот вечер — другое дело.

А сейчас я смело могу позволить себе поспать. И — будь благословен ртутный столбик термометра! — никаких угрызений совести: ложусь, поворачиваюсь на бок и закрываю глаза. С неменьшей страстью, чем минуту назад перо, сжимаю пальцами ручку веера, сплетенного из бамбуковой дранки. Взмах-другой — и вот уже я погружаюсь в дрему — точь-в-точь знаменитый правитель Наньке [1].

В полусне мерещатся мне три последние ночи. Ноздри вдруг снова щекочет аромат духов и пудры; перед глазами плывут клубы табачного дыма и, словно налившись неведомой тяжестью, садятся на бокалы, полные пенистого вина; в ушах отдается звучание терзаемых смычком четырех струн викэма, недаром они сделаны из кошачьих кишок. Музыка сливается в какую-то чудовищную гамму с дребезжащим, надтреснутым смехом красоток — их затолкали сюда, в эту комнату, освещенную зелеными, фиолетовыми, красными лампочками, рассеянный свет кажется каким-то нереальным. Все видится неясным, расплывчатым, у людей и предметов исчезли очертания, грани, углы. Наконец я засыпаю. Надо же отоспаться за все бессонные ночи... И тотчас является мне старый метранпаж из типографии — назовем его П. (никаких личных нападок!). Молча входит он в мою комнату и направляется прямо к кровати. Суровый взгляд его холоден и прям; он простирает ко мне свои жилистые руки, наклоняется пониже и говорит тихо-тихо, будто слова с трудом проникают сквозь густую завесу его бороды и усов:

— Типография ждет вас, сударь. Новый французский линотип простаивает с самого утра. Есть у вас хоть страница? Для нас это было б спасеньем, сделаем набор по частям. Я обращаюсь к вам с просьбой уже в четвертый раз.

Затаив дыхание жду — что я скажу во сне ему в ответ?

Старый метранпаж, наклоняясь еще ниже, впивается взглядом в мои зрачки; лицо его по-прежнему сурово, как у человека, всю жизнь неотступно идущего стезею долга.

Над нами нависло небо непроницаемо темное, как в новогоднюю ночь,— бездушно черное и лоснящееся, точно типографская краска.

Просыпаюсь я весь в поту и немедленно вспоминаю о своей работе — не сделана и малая ее частица.

Вползаю в кресло и роняю налитую свинцом голову на край письменного стола. Мысль моя, по вполне понятному сцеплению обстоятельств, сейчас же обращается к почтенному П., вот уже десять лет надзирающему у нас в газете за набором и печатаньем номера. Я в жизни никого так не боялся. Это я-то, прославленный своей удалью! Кто, как не я, смело строил куры жене французского артиллерийского капитана, известного ревнивца? Можно сказать, стал мишенью для целого дивизиона. Не я ли — что значит кураж! — притянул к суду другого француза (правда, черной масти) за нарушение долговых обязательств? А теперь трепещу перед каким-то старым наборщиком. Вы скажете — чудо? Что ж, такова жизнь...

Сколько раз я спасался бегством от старого П., как от чумы. А он выслеживал меня, словно детектив, твердо решивший получить награду за голову опасного преступника. Не скрою, я пользуюсь в редакции заслуженной репутацией первого лентяя и волокитчика. Я не горжусь этим, но все же... Старый П., однако, схватив меня где-нибудь в уголке, бывал на верху блаженства, упивался моей растерянностью: а я беззвучно, как рыба, раскрывал рот: от волнения голос изменял мне, и все мои объяснения, оправданья и обещанья пропадали втуне. Наверное, точно так же несостоятельный должник вымаливает у дряхлого ростовщика многолетнюю отсрочку.

Помню, бывало, поутру, после нескольких веселых ночей я заявлялся в редакцию, благоухая модным одеколоном «Слон»; парфюмерный дух перешибал

[1] Намек на новеллу китайского писателя Ли Гунцзо (770—850 гг.), герой которой во сне женится на дочери государя и получает пост наместника в Наньке. Проснувшись, он обнаружил, что спал под огромной софорой (именем ее и называлось государство, виденное им во сне), а меж корнями софоры увидел огромный муравейник и понял, что побывал в стране муравьев, где все было в точности как у людей.

даже запах бумаги и типографской краски. Шатаясь от усталости, я потихоньку вытаскивал ящик своего стола, извлекал оттуда маленькое зеркальце и, оскалясь, сам не знаю зачем, изучал в который уж раз свои желтые прокуренные зубы. И тут меня охватывало смутное предчувствие беды, в зеркальце возникала какая-то тень.

Я оборачивался. Так и есть, старый П. Он явился поторопить меня с рассказом. Ну не убийца ли?

Дорогие коллеги, рассевшись рядом за письменными столами, хихикали, внимая моим пространным извиненьям и неумолимым доводам метранпажа. Для них зрелище это было почище утреннего спектакля. Старик твердыми как железо пальцами поправлял скособочившийся узел моего галстука, крикливый узор которого удачно дополняли пятна губной помады. И, презрительно процеживая сквозь зубы слова, пытал меня — точь-в-точь злоехидная супруга, допрашивающая из-за запертой двери загулявшего своего мужа:

— Так вы и этой ночью, сударь, изволили развлекаться?..

Не дожидаясь ответа, он переходил к соседнему столу, заливаясь негромким скрипучим смехом или храня негодующее молчанье. И если хоть что-то могло еще внушить мне мимолетную мысль о работе, так это скорбное лицо престарелого П. Со временем я понял: смех его означает согласие подождать с рассказом до вечера, а то и до завтрашнего утра. Но молчанье значило — все, номер выходит без моего шедевра. Я поспешно отводил взгляд; рот наполнялся горечью, будто я надкусил ненароком плод мыльного дерева; позвоночник — так бывает когда тебе пересчитают дубиной кости — ныл и надламывался. Я падал на стул и тотчас принимался с бешеной скоростью водить пером по бумаге (бедные, ни в чем не повинные канцелярские принадлежности!).

Когда же я наконец приносил в типографию готовый текст, старый П., величественным жестом принимая рассказ, говорил с пренебреженьем:

— В другой раз извольте представить вашу вещь пораньше.

В другой раз... и опять же в следующий... Понимай — речь идет о сегодняшнем дне. То есть, я всегда безнадежно опаздываю?..

Небо висит совсем низко, словно господь-бог накрыл город огромным перевернутым котлом. Воздух насыщен электричеством. Вспоминаю, как отец, я тогда еще жил дома, говаривал: «Запомни, нет ничего хуже, чем спать днем. Особенно когда проваляешься до сумерек — хандра тебе обеспечена. Если уж храпишь чуть не до заката, непременно постой на сквозняке, а еще лучше — у воды, над рекой. Пусть прохватит как следует».

Лишь теперь уразумел я до конца этот его совет. Я вижу: небосвод окрашивается какой-то неприятной желтизной — таким бывает цвет кожи у шлюхи, когда ей, после курса инъекций гонокрина, врач диспансера разрешает позагорать на солнышке, и, глядя на эту увядающую желтизну, чувствую вдруг, что опостылел сам себе, мне опротивело все и даже сама жизнь. Такое бывает иногда с тяжелейшего похмелья. Глянув на себя в зеркало, обнаруживаю: вид у меня самый что ни на есть похоронный; хоть сейчас обряжайся в траур, не хватает только покойника. И я понимаю, что действительно утратил всякий вкус к жизни. Подобные порывы вселенской скорби, думал я раньше, привилегия нынешних модных философов и древних летописцев.

Царящий в ванной аромат лотосов (его источает мыло) и колючие струи холодного душа постепенно примиряют меня с жизнью. И вот уже каблуки мои бодро стучат по уличному асфальту.

В китайской ресторации «Милости просим» я смакую стакан крепкой водки, а вокруг за столиками сидят семьи эмигрантов из Поднебесной, они перебрались сюда, в Ханой, спасаясь от бедствий войны[1]. Все они, как и я, попивают спиртное. Они пьют молча, как люди, одержимые ностальгией; кажется, им не по себе оттого, что, покинув родину, они вынуждены искать здесь приюта. И на обратном пути я все сравниваю их судьбу со своей — кому из нас хуже?..

Нет уж, в эту ночь буду бодрствовать до утра и работать, работать. По дороге домой покупаю молотый кофе, сахару, сигарет и трубочного табаку, печенья. Весь этот запас «фуража» предназначен поддержать мои духовные и физические силы — сколько их мне придется растратить в порыве неистового вдохновенья!

Чтоб не терять времени на докучные уличные встречи, вскакиваю в коляску рикши и прямиком мчусь домой, не глядя по сторонам. Не хватало еще заприметить кого-нибудь из закадычных приятелей или приятельниц — заговорят, заморочат, отвлекут от работы. Такова жизнь...

Ну вот, наконец-то я в своей комнате наедине с собою, бодрый, исполненный волненья — хоть сейчас за дело. Но куда торопиться? Конечно, с едою лучше повременить, а чашечку кофе не грех и выпить. Кофе удивительно стимулирует интеллект. Я принимаюсь кипятить воду, варить кофе, засыпав его в фильтр с сетчатым донышком. Капля за каплей падает в чашку; к десяти часам она наполняется до краев. Вид печенья, разложенного на тарелке, вызывает у меня аппетит; я опустошаю тарелку. Начну я писать чуть раньше или чуть позже — неважно; главное — чтоб не остыл творческий накал. Напившись и наевшись, устремляю взор на девственно белый лист, верхний в лежащей на столе стопе писчей бумаги.

Я улыбаюсь. Близится, близится священный миг, не будем его торопить. У меня впереди целая ночь. Я чувствую необходимость прилечь. Ненадолго, всего на пару минут. Набиваю трубку табаком, чиркаю спичкой и укладываюсь на топчан. Пересчитываю ящериц, вьющихся друг подле друга в освещенном электрической лампой кругу на потолке.

Легкий прохладный ветерок подхватывает кольца табачного дыма, прохлада делает еще приятнее процесс моего пищеварения. Нет, я покуда не тороплюсь цели-

[1] Речь идет о войне, развязанной милитаристской Японией против Китая в 1937 г.

ком погрузиться в круговерть моего будущего рассказа. Все равно, в свое время первые строки улягутся на бумагу. Ночь станет моим рабочим днем, и в конце ее я встречу рассвет. Нет ничего прекрасней первых лучей зари, падающих в окно, в особенности когда они застают тебя за работой: в твоем мозгу рождаются мысли одна прекрасней другой, перо неустанно скользит по бумаге, и ты с изумлением вдруг замечаешь, что ночь прошла. О, каким исполином кажешься ты — и по праву — себе самому. У тебя есть отныне все законные основания презирать большую часть человечества, все еще цепенеющую в тупой, животной дреме.

Тут наконец-то я весь, без остатка, углубляюсь в свой внутренний мир...

Едва открыв глаза, я привстаю с топчана: странное небо за окном — лазурное и розовое. Пока я тру веки, цвета эти обретают золотистый оттенок. Потом на белый бумажный лист падает яркий блик света. Солнечный зайчик!

В углу стола поблескивает кофейный фильтр и высится на тарелке новая порция печенья. На подушке сереет кучка табачного пепла. О небо! Выходит, вчера вечером я освежался под душем, подкреплял свои силы печеньем и с помощью черного кофе стимулировал интеллект для того лишь, чтобы оцепенеть в тупой животной дреме!.. Ах, отчего мой сон не продлился века? Отчего я не успокоился навсегда под хладной сенью гробницы? По мере того как вокруг становится все светлее, в душе у меня сгущается зловещий мрак. Нет, не исполином кажусь я себе теперь, а пигмеем. Я — лжец, подонок! Меня охватывает отчаянье, какое, наверное, должен испытывать незадачливый часовой, уснувший ночью на посту у городских ворот и обнаруживший поутру над крепостной стеною другое знамя, а в цитадели — нового властелина. Но нет, я не достоин подобных сравнений: воинские атрибуты, знамена, царственные особы... Скорей я похож на добропорядочную девицу, которая, выпив лишний глоток вина, просыпается на другой день в чужой постели.

Никогда еще я так не презирал себя. О, как я хотел забыть о своем собственном существованье! Я мечтал убежать, скрыться от себя самого.

Потому что... скоро, совсем скоро...

Старый метранпаж... Назовем его П...

Типография.

Бездействующий французский линотип...

Прекрасное расположение духа

Иногда мы испытываем ощущение счастья настолько сильное, что сами собою забываются все до единой утраты и горести прошлого, даже если прошлое это — всего лишь вчерашний день. Пусть счастливые мгновенья недолги, только они и дают нам возможность почувствовать всю полноту жизни. А бывает, благоухание счастья распространяется на весь день — с утра до ночи.

Скажем, такой день, как сегодня.

Я и встал-то сегодня рано. Словно некое предчувствие возвестило в ночи: знай, выпал счастливый денек, а их на твою долю отпущено мало. Как было мне после этого не вскочить еще затемно с постели? Нет, такой день надо продлить подольше и уготовить ему достойную встречу.

Я ликовал, едва протерев глаза.

Отбросив прочь одеяло (мы в эту ночь накрывались им вдвоем — у меня заночевал подгулявший приятель), с маху сую ноги в сандалии на деревянной подошве. Клац! Клац!..

Ну и холодина. Друг мой, ворча сквозь сон, тотчас опять укрывается с головой. Я гляжу на него с состраданьем: увы, ему недоступен окрыливший меня порыв. Что ж, каждому свое. Улыбаясь, бегу в угол за скакалкой: решено, сегодня делаю сто прыжков. Дом сотрясается в такт моим скачкам. Кровь разогрелась и быстро побежала по жилам. «Если прыгать так каждый день,— мозг мой плещется и пузырится, как похлебка в кувшине на коромысле, но работает, само собой, безотказно,— если прыгать так каждый день, скоро, волей-неволей, окрепнешь. Только в тщедушном теле — хилый дух!..»

Шум и грохот, поднятый мною, будит даже моего друга; он, приподняв одеяло, орет, челюсти его выворачивает зевота:

— Ты что, спя-ятил?! Болван! Дай лю-дям поспать!..

Я поворачиваю голову на скаку и обливаю его презрением. Он хлопает глазами; кажется, веки его стучат, как деревяшки. Господи, как он скрючился под одеялом! Ну и видик. Жаль, никто не увидит меня с ним рядом — красивого, гордого, сильного.

— Вставай! — я снисходительно улыбаюсь.— Вставай, попрыгай; может, и ты похорошеешь...

— Ну, чего скалишься, обезьяна?! — отвечает он.— Перебудил всю улицу.

Я пожимаю плечами и присвистываю. «В здоровом теле,—говорю я себе теперь,— здоровый дух».

Подпрыгиваю в последний раз и мчусь под душ. Струи холодной воды — как никак, зима! — звонко рвутся из металлической груши.

Брюки, рубашка, носки, башмаки, галстук. Все самое новое и нарядное; я, как говорится, при полном параде. Конечно, и белье на мне свежее. В такой день нужно быть чистым и прекрасным. Наконец, выхожу из дома. Еще не совсем развиднелось.

Уличные фонари пока не погашены. По безлюдной улице катят к вокзалу рикши — охотиться на седоков. Серое зимнее утро словно присыпано остывшей золой. Но моего пыла ничто не охладит. В отличие от обычных сиречь невеселых дней, я шествую по тротуару выпрямившись, расправив плечи, как главнокомандующий на параде; мерно и звонко печатаю шаг, с удовольствием внемля перестуку собственных каблу-

ков. Жаль только, приходится то и дело отклоняться от идеальной прямой по вине прохожих, рикш, автомобилей и мусорных куч, и четкая дробь каблуков сбивается с ритма. Зато в узеньких улочках эхо моих шагов гулко отскакивает от стен и убегает далеко вперед, возвещая мое появление. Лишь на перекрестках сладостный этот звук умолкает, и я начинаю тревожиться, словно исчез добрый привычный спутник.

Так дохожу я до памятника павшим офицерам. Хризантемы, хризантемы — желтые и белые, дремлют, окропленные тысячью росинок. О, как хороши хризантемы; цветы эти достойно увековечили память погибших. Мне чудится, будто душа моя стала прекрасной благоуханной хризантемой. Что значит лицезренье прекрасного — по жилам пробегает электрический ток, точь-в-точь как после стаканчика доброй водки.

Вот уже и совсем светло. Я останавливаюсь передохнуть у Западного озера. Далеко-далеко белые купы облаков окружают вершину Трехступенной горы — Бави. Потом наползают мутновато-серые тучи и обволакивают ее подножье.

Сделав изрядный круг, возвращаюсь к храму Куантхань [1], с великим волненьем разглядывая лежащие под ногами палые листья банга — большие и красные; я впиваюсь глазами в каждый лист, словно в нем заключена некая тайна.

Листья бангов устилают дорогу сплошным ковром, сухие и словно вовсе невесомые Утренний ветер — ах, как он здесь кстати — трогает и шевелит листья. Они, шелестя и шурша, ползут по тротуару. Слушаю шорох их, мягкий и ласковый, и чудится мне, будто я где-то в деревне или в заброшенном провинциальном городишке и сегодня Лунный новый год. Но даже грустный убаюкивающий шепот опавшей листвы не в силах омрачить мое ликованье.

Я счастлив; в ногах и руках, в мыслях, в сердце какая-то необыкновенная легкость.

Впервые бог знает за сколько времени я ощущаю вдруг вкус табака. Нет, я курю, и курю много; смолю сигареты одну за другой, как французский солдат, шагающий прочь от казармы с увольнительной в кармане Но курение стало просто привычкой постоянно вдыхать и выдыхать дым, исключая время, потребное для приема питья и пищи. А нынче утром я упиваюсь сладостью дешевой сигареты (по шесть хао [2] за пачку).

Ко мне подходит какой-то расфранченный тип и с развязностью, свойственной южанам, цедит сквозь зубы:

— Дайте-ка огоньку

О, будь это в другой раз, уж я бы отбрил его как следует, а не то и развернул бы да вмазал коленкой под зад. Поверьте, так просто ему б от меня не уйти.

Но сегодня великодушью моему нет границ И я любезно вручаю невеже коробок со спичками. Мне ли, купающемуся в волнах хорошего настроения, замечать неучтивость случайных прохожих!

Ханойские улицы вдруг несказанно похорошели. Недолгий ливень отмыл до блеска крыши, стены, тротуары и мостовые. Утренний воздух прозрачен и ясен, как хрусталь — сущее царство стерильности и гигиены, даже микробы, все до единого, попрятались в неприметные щели. Листья бангов блестят, словно кто-то протер их влажной тряпкой.

Улицы заполняются народом.

И каждый при деле, каждый на своем месте. И примелькавшаяся уже старуха, торгующая вразнос похлебкой из разваренного риса с соевыми лепешками; и дошлый мальчишка со стеклянным коробом, набитым французскими конфетами; и величественный полицейский на перекрестке, жонглирующий белым жезлом... В жизни царит гармония, и все мы вносим в нее свою посильную лепту — даже когда, как старуха с ее лепешками и супом, уклоняемся от уплаты налогов.

О небо, неужто жизнь может быть так прекрасна? Ужель мне дано увидеть эту ее красоту? Позвольте, позвольте, желаю немедля выразить свою благодарность! Но кому и по какому сокровенному адресу направить свою признательность мне, сроду не исповедывавшему никакой религии?

Шествуя неспешно мимо приятных и счастливых житейских сцен, я говорю себе:

— Сколько слыхал я от верующих восхвалений творца — Христа ли, Повелителя неба или пресветлого Будды. Но сам я — мыслитель высшего полета, атеист. И верую только в Жизнь. Ей благодарен за все сотворенное и содеянное, за сегодняшнее утро, открывшее мне смысл бытия. Отныне, ежели возропщу и поддамся скорби, позабыв о гармонии и счастье жизни, грош мне цена, мне и моей вере. — Оглянувшись снова вокруг, восклицаю:— Да, сегодня самое время возжечь в своем сердце светильник радости! Он озарит мой путь и прогонит прочь все сомненья, порожденные несовершенством моего «я». И душа моя вострепещет, видя царящее в мире добро и вдыхая сладостное его благоуханье.

Лютый духовный голод сочувственным эхом отозвался в закоулках желудка; и вот уже я стою подле буфета на колесах, прихлебываю кофе, закусываю в свое удовольствие и, без малейшего смущенья разглядывая прохожих, нахожу во всем этом особую прелесть. А бывало... К черту предрассудки! Собрать бы их в одну кучу и сжечь.

По-прежнему счастливый и безмятежный, шагаю сквозь толчею. И чувствую: я мог бы сейчас же, сию минуту полюбить всех людей — полюбить преданно и бескорыстно. Каждому пешеходу, направляющемуся в мою сторону, шлю я приветливый дружелюбный взгляд. Мне и нужды нет знать, кто он и что он. Я лишь желаю в каждом увидеть лучшие, прекраснейшие его черты.

Вон, скажем, очень хорошенькие ножки у торопящейся куда-то девицы со школьным портфелем, округлые, стройные; а как изящно убраны волосы на затылке у той молодой особы... ну и так далее.

В это утро слух мой не улавливает ни

---

[1] Куантхань (букв.: Святая обитель даоса) — храм заложенный в начале XII в.; славится статуей духа из черной бронзы высотой около 4 м; с храмом связано много поверий и легенд.

[2] Хао — десятая часть основной денежной единицы Вьетнама — донга.

единого бранного выкрика; все совершается благозвучно и благопристойно. Одно слово — Гармония.

И убежден, обратись я к первому встречному с вопросом, у него заготовлен заранее самый исчерпывающий, вразумительный и вежливый ответ.

Сам я тоже, на всякий случай, придумал впрок немало изысканных фраз, достойных пособия по придворному политесу, пусть только кто-нибудь первым откроет рот.

Вдруг на другой стороне улицы я вижу большой красный мяч, он вот-вот скатится в канаву с водой; за мячом никак не поспеет малыш, совсем еще кроха, видно, только что научился ходить. Стремглав перебегаю улицу, наклоняюсь и успеваю подхватить мяч в самый последний момент. Обмахиваю — на всякий случай — лоснящийся краснобокий шар чистым платком, сгибаюсь в три погибели и вручаю игрушку маленькому ее владельцу; сердце мое при этом полнится поистине материнской лаской. Старая нянька берет ребенка на руки и пялится мне вслед. А я оборачиваюсь и посылаю всем троим — младенцу, мячу и няньке — благосклонную улыбку.

Сердце мое — бутон, и ему пришло время раскрыться. Сколько чистоты, аромата и красоты готовы вырваться из него наружу ко всеобщему восхищению.

Но, как всякий распускающийся цветок, сердце мое способно еще и вобрать в себя многое извне — доброе и злое, благость и отраву. Впрочем, мне ли и в такой ли день, как сегодня, осторожничать и сдерживаться.

Хотя, если б какой-нибудь хам набросился вдруг на меня с побоями, я бы отнесся к ним спокойно, не стал отвечать насилием и помышлять о мести.

Я полон всепрощения, оно вот-вот перельется через край моей души. Желаю распространить его на весь людской род. Любые проступки и злодеянья (в том числе против меня лично), совершенные и только еще задуманные,— все оправдываю и прощаю.

Даже мысль о социальной несправедливости—нет-нет, не здесь, не у нас! — преисполняет меня оптимизмом; надо лишь твердо уповать на прогресс, и тогда, рано или поздно, мы неизбежно придем ко всеобщему процветанию, благополучию и — в такое-то утро грех бояться красивых слов— неземному блаженству.

А ноги сами несут меня на базар Донгсуан [1], и вот уже я выбираю букет с приятным, но не резким запахом, и выдержан он в скромных неярких тонах. Короче, это красные розы. Обычно букет таких роз, даже под Новый год, стоит никак не больше трех хао. Но я за свои цветы плачу пять. Плутовка цветочница, видя мое эйфорическое состояние, назвала эту цену, и я заплатил, не торгуясь. Мне ли в этакий день мелочиться. Я с утра готов был швыряться деньгами, а тут вдобавок и сумма всего ничего.

Со свежего букета на мой ослепительный костюм упали капли воды. И я, усевшись в коляску рикши, стряхиваю их ладонью, понимая, что цветочница сейчас втихомолку посмеивается надо мной. Наверняка ошалела от радости: вот, мол, околпачила недотепу. Но я нисколько не удручаюсь. Попробуйте простоять весь день на базаре с корзиной цветов (ее еще надо сюда дотащить), пытаясь всучить прохожим букетик, небось и не так обрадуетесь, надув меня на два хао. Я люблю иной раз прикинуться простаком, живот надорвешь от смеха, глядя, как тебя надувают.

Нет, одного букета явно мало для такого-то дня! Решаю купить еще что-нибудь.

Ага, книжный магазин. Приказываю рикше остановиться.

Вторую остановку мы делаем у кондитерской.

Старый рикша, доставив меня домой, тотчас требует прибавки. Не задумываясь, даже глазом не моргнув, выкладываю деньги.

— Ну,— говорю я только,— у вас всегда одно на уме.

Друзья, снимающие вместе со мною квартиру, еще не вернулись с прогулки. Ах, да, ведь сегодня воскресенье; так сказать, праздничное утро.

Втыкаю мой багряный букет в стакан для чистки зубов; жаль, некому хоть словечком почтить этакую красоту.

Беру ручку и вывожу на титульном листе только что купленной книги: «Сей фолиант приобретен в ознаменованье прекрасного дня. Нынче утром все прохожие на улице радовали меня, и сам я в их взорах читал всяческое расположение.

А небо — небо сегодня сияло радужными красками Грядущего; я дышал хрустальным целебным воздухом — ни пылинки, ни мути, ни злого запаха.

И люди, которых встречал я сегодня, все, как один, олицетворяли Всеобщую гармонию.

Город Ханой стал огромной гостиницей, достойной посещения небожителей, будь они покинули бы на время райские кущи»...

Выведя в заключенье затейливым росчерком свой автограф и дождавшись, покуда высохнут чернила, открываю коробку печенья и с наслаждением надкусываю хрусткий и сладкий бисквит. Съев печенье, выпиваю глоток кипяченой воды,— вот она, чистая и благая пища, так бы питались сегодня святые отшельники. И вдохновленный этой мыслью, я падаю на кровать: надо же пробежать глазами обретенную вновь книгу — разрежу страницы и прочитаю.

Но в мыслях какое-то беспокойство, паренье...

Кладу раскрытую книгу на грудь. Легкий утренний ветерок перелистывает страницы. Они источают сладостный, неповторимый дух типографской краски...

О, как я счастлив; радость переполняет сердце! Как я люблю всех и вся! Клянусь: отныне не сотворю зла, не солгу, никого не обижу.

Вновь постигаю я суетность всех и всяческих религий и культов; да, ты единственное святое мое божество — Жизнь!

Снимаю свирель со стены и вывожу немудреную трель.

Пою по-французски.

Читаю чеканные строфы старых китайских стихов.

[1] Донгсуан (букв.: Весеннее поле) — центральный рынок Ханоя.

Наши гости

Сулейман Лаек
(АФГАНИСТАН)

— Как стали вы поэтом? Что побудило вас писать стихи? — первый вопрос нашему гостю, известному поэту Афганистана Сулейману Лаеку.

Лаек задумывается, словно размышляя, с чего начать. Он будто всматривается в далекое прошлое, пытаясь припомнить, как все было...

— Я родился в 1931 году в семье муллы. Вся моя жизнь до двадцати лет прошла в разъездах. Теперь мне кажется, что первые стихотворные строчки мне нашептывала природа родной страны. Надо было только успевать записывать:

Палатка — скитаний дырявая лодка,
Какая тебя соблазнила звезда?
Плывешь по бескрайней пустыне, не
Плывешь по бескрайней пустыне...[1]

Воспитанник медресе, прозрением своим Сулейман Лаек более всего обязан самообразованию. Вот как рассказывает он о «своих университетах»:

— Политикой я начал заниматься в старших классах медресе, за что меня не раз выгоняли оттуда. К сожалению, я довольно поздно узнал, что такое марксизм-ленинизм: Афганистан долгое время был чем-то вроде запертого сундука, а потом крышка приоткрылась, и к нам начали проникать прогрессивные современные идеи.

Первые попавшие в руки книги по теории марксизма потрясли Лаека, открыли ему новый мир. Он понял, что за светлое будущее своего народа нужно бороться и быть готовым к жертвам в этой борьбе.

Активный деятель Народно-демократической партии Афганистана со дня ее основания, Сулейман Лаек работал в подполье и писал стихи:

Объединимся, сблизимся, друзья!
Возьмемся дружно, перетрем канаты,
Тяжелые оковы разобьем
И темные разрушим казематы...[1]

— Я считаю, что поэзия — важнейший инструмент в деле пробуждения народа. Поэзия — часть моей политической жизни. Пишу я на двух языках: в детстве я говорил и писал на пушту; приехав в Кабул, выучил дари. Правда, в начале моей политической деятельности мне редко удавалось печататься — власти находили мои стихи опасными.

Можно не печатать стихи, но заставить поэта не писать невозможно. И рождались стихи, и шли они к слушателям, если не могли попасть к читателям.

Приближение перемен все больше и больше чувствовалось в воздухе Афганистана.

В 1973 году Сулейман Лаек приехал в Советский Союз в составе афганской делегации на V Конференцию писателей Азии и Африки в Алма-Ате. Конференция проходила в дни сразу после свержения в Афганистане монархии. Делегаты Афганистана были полны надежд: король свергнут, демократизация страны позволит народу вздохнуть свободней... Но прошло совсем немного времени, и стало ясно, что по существу в стране мало что изменилось.

И с новой силой и энтузиазмом действует Народно-демократическая партия Афганистана. И вот пришла настоящая весна — апрель 1978 года. Двадцать седьмое число.

— Никогда не забуду,— рассказывает Лаек,— день революции. Мне поручили на-

[1] Перевод В. Краско.

[1] Здесь и далее перевод А. Шараповой.

писать гимн. Я написал его сразу, на одном дыхании, потому что он жил во мне. Мне хотелось кричать: «Слушайте все, послушайте, как поет Революция!»

Лаека назначают директором радио и телевидения республики. С радостью включается поэт в работу по строительству свободного нового общества в Афганистане, общества без эксплуатации и гнета.

Но революции был нанесен удар в спину. Амин предал революцию — по его распоряжению были уничтожены или брошены за решетку лучшие партийные кадры. Оказался в тюрьме и Сулейман Лаек.

Но борьба продолжалась. После свержения узурпатора Амина в декабре 1979 года Лаек, как и сотни других политических заключенных, был освобожден из тюрьмы.

«Дитя революции было залито кровью»,— писал Лаек советским друзьям по выходе из тюрьмы.

— Я вышел живым из могилы под названием Пуличархи, чтобы вновь включиться в борьбу... Находясь в тюрьме,— вспоминает поэт,— я ни минуты не сомневался в том, что кончится террор Амина. Я бесконечно благодарен советским коллегам, которые поддержали меня в трудную минуту: можете представить себе, как приятно получить дружескую весточку в тюрьме, да еще весточку поэтическую. Вы знаете, мне посчастливилось несколько раз бывать в Советском Союзе. И куда бы я ни приехал, я чувствовал дружеское тепло и любовь: меня поражает всенародная любовь к литературе у вас в стране, любовь и уважение к книге. Но если хотите, больше всего я был поражен тем, как знают и слушают стихи в СССР, особенно в Таджикистане. Таджики — и молодые и пожилые — не слушают, они пьют стихи, как вино. Ничего подобного я не встречал нигде. Вообще вследствие языковой близости с Таджикистаном меня связывает особенно теплая и давняя дружба. Я дружил с Мирзо Турсун-заде, дружу с Мумином Каноатом, с другими таджикскими поэтами. В Душанбе у меня даже есть тезка, тоже поэт, и хороший поэт — Лаек Ширали. Нас, знаете ли, сегодня три поэта Лаека на Востоке — Лаек пакистанский, Лаек таджикский и я — Лаек афганский. Мы переписывались втроем. Сейчас, к сожалению, мы потеряли из виду нашего пакистанского тезку. Но с Лаеком Ширали наша творческая и человеческая дружба крепнет год от года.

Придя в себя после тюремных испытаний, Сулейман Лаек попросил направить его на работу. Он становится Президентом Академии наук Афганистана. С головой ушел он в новое для него дело. Но все ему казалось, что мало, недостаточно делает он для своей революции. И вот он — на одном из самых напряженных участков: возглавляет борьбу с контрреволюцией с оружием в руках в южной «зоне ответственности». Постановлением революционного совета ДРА в июне 1981 года партия назначает своего поэта министром по делам национальностей и племен. В условиях многонационального Афганистана это один из важнейших участков работы партии, а дружба народов внутри страны — залог процветания нового афганского общества.

Сулейман Лаек взращен поэзией и революцией, это проявляется в каждом шаге его, в каждом деле, в каждом поступке. Недаром так любят его поэзию на родине, недаром так прислушиваются к каждому слову, сказанному поэтом-трибуном.

С огромным сочувствием относится поэт к женской доле, к беспросветной еще недавно жизни афганской женщины.

— Чадра — не покрывало,— говорит Лаек,— чадра — это тюрьма. Можете себе представить общество, в котором вся женская половина сидит в тюрьме. Так еще совсем недавно было в моей стране. Тяжело было горожанкам. Но когда я попадал в деревню, я всегда думал, что если в городе афганки под чадрой из ткани, то в деревне эта чадра соткана из горя. И тем не менее горе не сломило афганскую женщину: надежды, помыслы свои и мечты о счастье она воплощала в поэзию. Есть такая форма афганского народного стиха — ландай. Если бы вы знали, какие это прелестные, выразительные, поэтические строки. Я давно интересуюсь фольклором моей страны и собираю ландай. Я записал их уже десять тысяч. И знаете, что выяснилось? Большинство ландай написаны женщинами. К сожалению, мало времени остается на эту работу. Я думаю, не записаны еще тысяч пятьдесят ландай.

Как и другие афганские писатели и поэты, Сулейман Лаек широко использует в своем творчестве фольклорные мотивы.

Вспоминаются его строки:

У горян любовь горяча, сильна,
Высока, прочна, точно небосвод.
Озорна, вольна, словно в шторм волна,—
Высится, шумит, на простор зовет...

В конце встречи заходит разговор о том, насколько знакомы афганцы с русской и советской литературой. Лаек еще до апрельской революции перевел некоторые стихотворения Пушкина и Лермонтова (по мнению советских афганистов, перевод получился блистательный).

— Конечно, совершенно недостаточно знают у нас в стране русскую классическую и советскую литературу,— говорит афганский гость.— Работа по серьезному и планомерному ознакомлению афганского читателя с этой литературой будет длительной и нелегкой. Пропаганда советской литературы в сегодняшнем Афганистане — дело большой политической важности. Это все нам предстоит сделать. А пока задача номер один для интеллигенции, для всего афганского народа — оказывать всемерную поддержку НДПА в деле строительства новой жизни, в деле борьбы с контрреволюцией. Как сказал ваш поэт: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо».

В. ФЕОНОВА

◆

Среди книг

Издано в СССР

НА ЗЛОБУ ДНЯ — ПРОТИВ НОЧИ!

Янко Есенский. Стихи. Перевод со словацкого. Составление Л. Будаговой. Предисловие и примечания С. Бэлзы. Москва, «Художественная литература», 1981.

Биография писателя лишь тогда интересна, когда она раскрывается в его произведениях, становится фактом литературы. Ведь каждая человеческая жизнь неповторима. Бывает, что по-своему оригинальные, а порой и невероятные судьбы оказываются в изложении тусклыми и скучными. Зато как расцветает, как волнует даже скромная и небогатая событиями биография, ставшая и фактом литературы.

Словацкий поэт Янко Есенский проявился как личность в конце прошлого столетия и дожил почти до середины нашего двадцатого века. Он творил неустанно и вдохновенно. Первая книга его стихов датирована 1905 годом, последние произведения — 1945-м.

До недавнего времени советский читатель знал лишь прозу Янко Есенского — у нас были изданы его роман «Демократы» и сборник «Провинциальные рассказы». Не хочу втягивать читателя в дискуссию: что полнее выражает личность автора — поэзия или проза. Скажу только что сборник стихов Янко Есенского раскрывает перед нами увлекательную и поучительную историю жизни ярко одаренного сына братского словацкого народа.

Почему поучительную? Да потому, что последовательность и принципиальность — всегда пример и для современников, и для потомков, а жизнь и творчество Янко Есенского, как бы они ни оказывались сложны, представляют собою очень четко выраженную линию. Порою мы ставим писателю в заслугу метания как признак творческой личности, противоречивость — как двигатель творчества. Не из упрямства и ограниченности, но как-то естественно и просто Янко Есенский шел навстречу бурям века, оставаясь собою, не подстраиваясь и не приспосабливаясь. Он умер накануне великих социалистических преобразований своей родной Чехословакии, своей любимой Словакии, но можно без преувеличения утверждать, что новая жизнь Словакии была подготовлена, выстрадана, предугадана лучшими сынами словацкого народа, среди которых почетное место занимает Янко Есенский.

Родившийся в городе Мартине, и ныне являющемся хранилищем словацкой культуры, Есенский был одним из ее строителей и защитников во все периоды многострадальной истории страны. Национальная ограниченность не связала его крыльев — он был интернационалистом, любящим свою родину. Отличительной чертой, а точнее — линией жизни поэта всегда была трогательная верность и близость русской культуре, понимание ее как могучего крыла культуры славянской.

Словацкий поэт еще в молодости полюбил Пушкина и Лермонтова. Они стали и его поэтами. Драматичным однако, оказалось первое свидание Есенского с «землей Пушкина и Лермонтова»: он должен был в мундире австро-венгерского солдата идти воевать против русских, добровольно сдался в плен и очутился сперва в тюрьме, а потом в лагере. Не о такой встрече он мечтал.

Его одиссея — это Харьков и Забайкалье, Киев, Воронеж и Петроград. Наверное, можно было бы создать интереснейшую работу о писателях Чехословакии, оказавшихся в австро-венгерской армии, а с нею — в России, о влиянии этого крутого поворота судьбы народов на их творчество. Разумеется, я не берусь и не имею намерения обобщить и привести к одному знаменателю творчество, скажем, Ярослава Гашека и Янко Есенского однако изыскания и раздумья в этой области — дело не праздное. Поэт остро чувствовал Время. В сонете, написанном в Петрограде 27 сентября 1917 года, он думает и говорит об освобождении своего народа, «когда, подняв глаза, он скажет слово». 27 октября 1917 года стихами, сочиненными в Петрограде, словацкий поэт призывает своих соотечественников сбросить шапку с военной кокардой, призывает к вольности.

Стихи объясняют душевное состояние Янко Есенского в те времена: да, он оказался в эпицентре революционной бури, но

главное для него — возвращение на несчастную и безгранично любимую родину, он и в исторических событиях обретает прежде всего надежду на возвращение. Но на знаменах Революции было провозглашено освобождение всех народов, в котором так нуждались военнопленные! И эту задачу и роль Революции Есенский, несомненно, понял, воспринял сразу. Ну, а позже он не раз проявлял любовь к России, и не просто к России, а к Союзу Советских Социалистических Республик и в стихах (что важней всего для поэта), и в литературной и общественной деятельности. Еще в 1934 году он создал словацкую версию «Двенадцати» Александра Блока, позже подготавливал обширную антологию советской поэзии, что было в тогдашней Словакии делом не просто трудным, но и опасным. Есенский познакомил словацкого читателя с сокровищами русской литературы девятнадцатого века, с Пушкиным (он перевел «Евгения Онегина»), с Лермонтовым...

Выпущенный издательством «Художественная литература» сборник с избранными стихами из шести книг замечательного словацкого поэта позволяет обозреть его творчество за сорок лет, проследить путь его развития. С каждым годом, с каждым десятилетием лирика Янко Есенского все тесней и естественней сочеталась с политикой. Став гордостью своего народа, понимая свою роль, опираясь на свой авторитет, поэт смело говорил не только о великом и вечном, но и о делах и волнениях сегодняшнего дня. Не мелкие, бытовые вопросы, а судьбы страны и нации волновали его, и поэзия стала трибуной. Не случайно одну из своих главных и последних книг он назвал смело и прямо — «На злобу дня». Можно себе представить, как снобы и гурманы, ревнители «чистой» поэзии встретили в далеком 1929 году заряженные иронией, полные сатирического пафоса краткие и острые стихи прославленного лирика, стихи, обличавшие буржуазную демократию и происки хитрых клерикалов, клеймящие шовинизм и национализм, носивший в буржуазной Словакии античешский характер. Но если иронические стихи 1929 года способны были только раздражать, то антифашистские сатиры 1939 года могли навлечь на автора жестокую кару, как от рук оккупантов, так и от рук предателей словацкого народа.

Бывший вице-президент Словакии, бывший председатель Союза словацких писателей, человек активного общественного темперамента, Есенский в годы фашистской оккупации и позорного участия словацких подразделений в походе на СССР (я помню, как они сдавались в плен, как переходили к нашим партизанам) внешне как бы замкнулся, отошел от всякой деятельности. Но это был уход не от жизни, а в собственное подполье, уход для борьбы. Главным своим оружием — стихами сражался престарелый мастер литературы с фашизмом и фашистами, в какой бы мундир они ни были облачены.

Наверное, воспоминания о собственной судьбе в России, некое солдатское чувство позволило поэту написать обращение к своим соотечественникам, гибнущим в полях Украины:

Прочь, ребята, из России,
есть у нас дела другие,
нам до пасхи, дорогие,
господам свернуть бы выи!
(«Песня солдата», перевод Ю. Вронского)

Это написано 28 января 1942 года. Через сорок лет я, некогда батальонный комиссар, находившийся как раз на том участке фронта, где «с той стороны» шли на нас и словаки, досадую: вот бы тогда иметь нам на вооружении стихи Есенского — какая убедительная листовка могла быть подготовлена и разбросана с самолета, она бы наверняка пополнила ряды добровольно сдающихся словаков.

Процитированное мною стихотворение «Песня солдата» в те военные дни, кажется, не дошло до фронта, но известно, что некоторые боевые стихотворения Есенского тайными путями добрались до британских берегов, чтобы радиоволнами вновь вернуться на страдающую землю поэта.

О трагедии Лидице ныне знает весь мир. Об уничтоженном фашистами, стертом с лица земли чешском поселке созданы пьесы и поэмы, песни и кинофильмы. Но первое слово в искусстве о пепле Лидице, стучащем в человеческие сердца,— самое первое и гневное и поистине стреляющее во врагов человечества стихотворение — принадлежит перу Есенского и создано оно 15 июня 1942 года, сразу же после того, как фашисты цинично объявили о своей кровавой акции.

Поэту было уже под семьдесят. С какой страстью, с каким обличительным пафосом, с какой убийственной иронией клеймит он фашистов:

Не поклониться ль обезьянам этим,
не преклоняться ль перед ними впредь?
Пусть Лондона не удалось стереть им,
так удалось хоть Лидице стереть.

Любуются содеянным вандалы.
Еще и пепел не успел остыть.
Им Лондон видится в селенье малом —
вот так бы всю Европу закоптить!
(«Лидице», перевод Ю. Вронского)

Янко Есенский скончался в 1945 году. Он видел своими глазами и приветствовал стихом Освобождение родного края, героев Словацкого восстания и советских воинов. Его литературное наследство осталось народу, как проявление народной исторической сущности.

ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ

«ОЩУТИТЬ СЕБЯ ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ...»

Мигель де Унамуно. Избранная лирика. Перевод с испанского С. Гончаренко. Предисловие И. Тертерян. Москва, «Молодая гвардия», 1980.

Из современной испанской поэзии. Перевод с испанского. Предисловие. В. Столбова. Составление А. Мансо и В. Столбова. Москва, «Прогресс», 1979.

Уже давно захватило и не отпускало меня желание написать об этих двух книжках. Но ведь

для того, чтобы сколько-нибудь глубоко и серьезно рассказать об испанских поэтах, представленных в них, говорил я себе,— о поэтах ярких и сложных, а в случае с Унамуно, поэте великом надо быть испанистом, человеком, специально занимающимся испанской культурой. Ты же занимаешься не ею, убеждал я себя, и хотя Испания властно влечет тебя к себе, суждения твои не могут быть ничем иным, как любительщиной. И я откладывал книги в сторону. А потом — снова и снова перечитывал их. В конце концов разве не вправе я, пусть и не будучи испанистом, попробовать выразить то, что может почувствовать русский читатель, советский литератор в этих стихах?

Сразу скажу: прочитанное отлично звучит по-русски. Сличая то или иное стихотворение с испанским оригиналом (я это делал несколько раз на выборку), можно, конечно, подметить, где что потерял тот или иной переводчик. Но общий уровень переводов высок. И у С. Гончаренко (вся небольшая книжечка лирики Мигеля де Унамуно состоит из его переводов, а в антологии «Из современной испанской поэзии» он представил нам лауреата Нобелевской премии, маститого Висенте Алейсандре и поэтов «моего» поколения, «пятидесятилетних» — Хосе Агустино Гойтисоло и Хосе Анхеля Валенте); и у Н. Горской (она перевела поэтессу Глорию Фуэртес); как всегда, эмоционально выразительны строки Ю. Мориц-переводчицы; одержали безусловные переводческие победы над трудноподатливым материалом и В. Столбов, и Б. Дубин, и Н. Ванханен, и А. Гелескул — все, потрудившиеся над переводами. Причем работа их свидетельствует о сердечной взволнованности о жажде воссоздать искусство не посредством ремесла, пусть и виртуозного но посредством душевного сопереживания, без чего нет искусства и в переводческом деле.

Вот хотя бы четыре примера, из десятков возможных.

Мигель де Унамуно, сонет «Зеленое пламя», великолепнейший по пластичности и мыслительно-образной мощи и оригинальности (в переводе С. Гончаренко):

Гудит, как пламя, пальма на ветру,
корнями попирая мертвый камень.
Зеленый факел долгими глотками
из неба пьет гремучую жару.

Приник зенит к зеленому костру,
к стволу, где под набухшими узлами,
как брага, бродит солнечное пламя,
пролившееся в крону и кору...

Леон Фелипе... «простой» стих, материально-зримый и осязаемый, но будто нарочито отказывающийся от «непрямой» образности, стих экспансивный, почти экстаз, почти заклинание:

Быть в этой жизни бродягой,
быть одиноким бродягой, с вечной тягой
и новой дорогой...

(*«Одинокий бродяга», перевод Ю. Мориц*)

Луис Сернуда музыкален, тонок, изящен; он уподобляет арфу «клетке невидимой птицы», подмечает, как «солнце... оживляет зеленым смехом нищету пропыленных олив», а его стихотворение «Фонтан» — это и рисунок, где уловлен сам ритм падений и взлетов водяных струй, и философическое размышление. Вот как передано все это русским анапестом, к которому прибегнул Б. Дубин:

В неслабеющей тяге к бирюзовому небу,
В несмолкающем плеске среди веток зеленых
Я — тугая колонна, что сломили на взлете
И, смирив, увенчали водяной диадемой...

И тоже естественно по-русски звучат задыхающиеся вопросами, пропитанные горечью и сарказмом верлибры Анхеля Гонсалеса:

Путь скажет человек другому:
— Стой!
И может быть,
его он остановит.
Но кто, ответьте мне,
посмеет ветру
дать приказ утихнуть? Или словом
остановить морской прилив?
Кто криком сдержит камень,
на землю падающий с высоты?..

(*«Подождите до нового дня», перевод В. Столбова*)

Я мог бы — и хотел бы! — цитировать и цитировать. Цитировать поэтов сильных и своеобразных, к чьей силе и к чьему своеобразию приобщили нас русские переводчики...

Своеобразные поэты многообразной Испании!

Ну, конечно, средь прочитанных первый — и по хронологии творчества, и по масштабности дарования — Мигель де Унамуно, один из крупнейших представителей испанской культуры, философ, эстетик, историк, прозаик и поэт, как говорится у нас, поэт с большой буквы. О его трудной судьбе Инна Тертерян написала умную статью-предисловие, в которой доступно для читателей «молодогвардейской» популярной серии «Избранная зарубежная лирика», доступно, однако никоим образом не упрощенно, рассказано и о своеобычности поэтического творчества Унамуно, широте и цельности его образно-лирической системы.

Унамуно не был демократом-антифашистом, но он был писателем-гуманистом. И потому его не жаловали испанские фалангисты; потому он был опасен для солдафонов, диктаторов и «инквизиторов» XX века. В сборнике Унамуно представлена и такая «извечно» испанская тема, как трагика смерти, ухода из бытия (с исключительной силой написано стихотворение «Нагрянет ночью»); есть здесь и тонкие, но не акварельные, а будто тонкой иглой прорисованные на медной пластине пейзажи; обильно представлены в сборнике поэтические декларации: томительная мелодия любви поэта к родным местам, к Бискайе и Саламанке, мелодия любви-воспоминания, прерывается мгновенно запечатленным интимным трепетом сердца:

Близится, нарастая,
эхо морского гула.
Снова волна крутая
солью в лицо дохнула.
Снова под скрип штурвала
и просмоленной снасти
сердце затрепетало
парусом старой страсти.

И вдруг — как удар бича или как выпад шпаги, или как выстрел — совсем иная миниатюра, «Фашизм»:

Вы даже не свора,
Вы — сволота.
Фашизофрении бацилла.
За вашим «да здравствует!» —
пустота.
За пустотой —
могила.

Унамуно-поэт — это могучий ваятель, творящий в словесной материи свободно и уверенно, передающий словом все, чем полна его душа, чем она могла и хотела излиться людям.

Леон Фелипе, Луис Сернуда, Висенте Алейсандре — следующее поколение испанской поэзии. Унамуно уже известнейшим деятелем культуры вступил в борьбу против семилетней (1923 — 1930) диктатуры генерала Примо де Риверы; двое из названных поэтов принадлежат «поколению двадцать седьмого года» (оно было названо так потому, что в двадцать седьмом отмечалось трехсотлетие со дня смерти великого Гонгоры — его наследство, сложную метафоричность его поэзии молодые брали себе на вооружение); у Леона Фелипе первый сборник был напечатан в двадцатом году.

Начало их пути — сильно, хотя и книжно (наряду с влиянием трагических фигур испанской классики — французский «модерн», сюрреализм и общеевропейская тенденция экспрессивного слова). Социальная жизнь учила литературу, поэзию жизненности — литературу, поэзию, вставшую за Республику или хотя бы близкую к антифашистскому республиканизму. Она приобретала все более отчетливый этическо-общественный пафос, она открывала для себя необходимость быть народной, открывала н а р о д н о с т ь как необходимый з а к о н б ы т и я искусства, ну, а что до форм, то, как мы знаем, форм проявления народности в искусстве может быть множество. И опыт прогрессивной испанской поэзии 30—50-х годов — поэзии изгнанников-антифашистов и внутренних оппозиционеров режиму — подтверждает это сильно и убедительно.

Мы знаем об этом опыте по хорошо нам известным произведениям Федерико Гарсиа Лорки, Мигеля Эрнандеса, Антонио Мачадо, Рафаэля Альберти. Теперь вот узнаем иные стили, иные формы искусства демократии (именно так!) в творчестве Леона Фелипе, Висенте Алейсандре, Луиса Сернуды (хорошо было бы прибавить к представленным в антологии поэтам «поколения двадцать седьмого года» еще и Д. Алонсо и Х. Гильена, скажем, но и впрямь необъятного не обнимешь).

Опять же — какие это хорошие и разные поэты!

Трудно себе представить что-либо резче различающееся нежели, например, стихи Леона Фелипе и Висенте Алейсандре! Первый — жесткий, яростный, порою надрывный. Образ сердца (знаменитейший, канонически-обязательный, излюбленнейший el corazón, без которого не обошелся ни один испанский поэт, да, кажется, не обошлась и ни одна народная лирическая песня в Испании), этот образ у Л. Фелипе — трагически опустошен:

Сердце мое...
Ты — покинутый замок.
Старый замок,
пустой посреди пустоты.

(«Сердце мое», перевод В. Столбова)

Стихи Фелипе — всегда боль и всегда вскрик. У Алейсандре стихи — это часто боль, но редко вскрик. Он изысканно-успокаивающий, наблюдательно-аналитичный. Он хочет выразить изящным и точным словом как бы не отношение свое к предмету, а сам предмет, даже невыразимо всеобъемлющий (цикл «Бессмертие» о «стихиях» — «Земля», «Огонь» «Воздух», «Море»).

Фраза Фелипе настаивает, спорит; фраза Алейсандре свободно струится, длинная, гибкая, льнущая к предметам, явлениям, мнимо спокойная, потому что и в ней дается выход внутреннему чувству поэта, его страсти:

Счастье, струящееся у меня в ладонях,
лицо любимой, вместившее мир,
в котором сквозят неуловимые птицы,
улетая в страну, где ничто
не бывает забыто.
Абрис любимого тела, алмаз и рубин,
солнечный луч, заключенный в объятья,
бездна, влекущая вниз колдовским заклинаньем,
ворожащим призывом влажных зубов...

(«Единство, обретенное в ней», перевод С. Гончаренко)

Но это он, такой вот чувственный лирик Висенте Алейсандре, некогда сюрреалистически темный в метафорах, сказал в блестящем стихотворении — кредо «Площадь» те ясные слова, которые я вынес в название своей рецензии:

Как прекрасно, как просто и прочно,
как животворно это великое чувство:
ощутить себя вместе со всеми —
солнце над головой,
а тебя несет и толкает, влечет, увлекает
людская стремнина...

(Перевод С. Гончаренко)

Понятно, что это выражение огромной общеевропейской, мировой лирической темы — самоосознания поэзией смысла своего бытия в мире. Но это — и путь самого Висенте Алейсандре.

Конечно, тема Испании — прежде всего это тема родной земли, ее прекрасной и горькой судьбы, ее еще не до конца выясненного предназначения в мире,— объединяет поэтов, представленных в антологии, диктует им схожие по эмоциональности и смысловой концентрации «сквозные образы». Такова уже упомянутая символика сердца; каменистых, выжженных испанским солнцем дорог; слез (слез Испании, «выплакавшей все слезы» и со слезами и очи»); маски («исконной» испанской маски скрывающей трагизм в улыбке пикаро). Таков и символический образ ветра — по выражению Унамуно, это «жизнь в ее порыве», и это же ветер Родины, вздымающей «крыло» поэзии; «мир крыла» — это

«жизнь в ее пределе», скажет и Луис Сернуда в одном из горчайших своих стихотворений, полных муки изгнанничества. Ветра ждет поэт, ветра, который «подхватит» его и покончит с одиночеством (Леон Фелипе).

У Унамуно и следующих за ним поэтов конкретность испанской темы усиливается не только автобиографическими мотивами, но и особым пафосом понимания необходимости стать устами испанского народа, пафосом открытия, трудного и далеко не мгновенно осуществленного открытия истины, которая утверждает потребность для подлинной поэзии стать оружием демократии — всеобщей и испанской особенно!

Ты лишь тогда святое слово скорби
произнести сумеешь как пароль,

достоинства при этом не утратив,
когда тебя насквозь пронзает боль,
пронзившая насквозь твоих собратьев.

Это — отрывок из сонета Унамуно «Общая боль». Сказано веско и четко. Сказано человеком, с порога отвергшим искушения «чистого искусства» и герметической замкнутости. Но, может быть, все-таки сказано это и слишком общо — о «собратьях»? И несомненно — слишком безоговорочно. Поэты «поколения двадцать седьмого года» драматичнее смотрят на эту проблему. Они должны были пройти путь, говоря словами Элюара, от горизонта одного к горизонту всех, прорваться сквозь скорбь самоизоляции — не кокетничая ею не играя в нее, но преодолением противоречий выстрадывая новое, демократическое мирочувствие.

«Я буду лучше одиноким бродягой»,— кричит Леон Фелипе, и он же рыдает:

Как же я одинок, господь!
Как же я одинок, раздавлен —
слепую судьбу вслепую
вечно искать заставлен!

(*«Как же я одинок, господь!»*, *перевод Ю. Мориц*)

В ряде картин-фантасмагорий, заставляющих вновь и вновь вспоминать о Гойе (при чтении современной испанской поэзии — это как указание почвы, где произрастают образы определенного стилевого толка), крик и рыдание Фелипе сливаются воедино — и вот он приходит к правде понимания и взаимозависимости, взаимонеобходимости слова и жизни, поэзии и народа.

Не сердце твое
и не разум — нет,
слепили крылья тебе, поэт.
Подарили тебе их не боги,
не ковал их Гефест хромоногий.
Люди простые
руками рабочими
крылья к плечам твоим
приторочили,
и в оперенье любви и мечты
в небо поэзии ринулся ты.

(*«Не сердце твое...»*, *перевод В. Столбова*)

А с другой стороны...

...Мой только
древний голос земли,
все остальное — твое.
Ты оставляешь меня нагим,
лицом к дорогам земным...
Но я оставлю тебя немым...
ты понимаешь?.. Немым!

И как ты станешь седлать коня
и в поле точить косу,
и как ты будешь сидеть у огня,
если песню я унесу?

(*«Брат... С тобою твое добро...»*, *перевод А. Гелескула*)

Пониманием такой взаимонеобходимости Леон Фелипе, мне кажется, больше похож на следующее поколение демократически настроенных поэтов, чем, скажем, Сернуда и Алейсандре, которые тоже открыли для себя, что «поэт поет для всех». Так называется одно из программных стихотворений Висенте Алейсандре, и есть там следующие знаменательные строки:

Отрекись от собственной боли,
и подлая спазма
ослабит хватку, сдавившую сердце.
Сердце твое сольется с сердцами
других,
и общая кровь отверзнет тебе очи,
нальет собою вялые жилы, наполнит
воздухом грудь.

(*Перевод С. Гончаренко*)

Поэты, пришедшие на рубеже пятидесятых — шестидесятых, не желали заставлять себя «отрекаться от собственной боли». Их боль — боль памяти, детской еще памяти об ужасах гражданской войны, юношеского осознания подлости того «образа жизни», который установили террором и демагогией победившие,— эта боль гнездилась и в народном сердце; оживила сердца народа и его поэтов общая кровь.

Пожалуй, наиболее сильное впечатление среди отобранных в антологию стихов Глории Фуэртес, Хосе Агустина Гойтисоло, Хосе Анхеля Валенте оставляют произведения, в которых вполне конкретно воссоздается биография собственной души, вписанная в реальный мир естественно и неуклонно, так, что ни философствовать, ни морализировать здесь уже ни к чему. В этом смысле стихи Глории Фуэртес непосредственнее всех других, это поистине «дневник» женщины, испанской женщины-труженицы, которая стала, не могла не стать поэтом («Биографическая заметка», «Писать не поэволяют», «Растекается вечер», «Я делаю стихи, сеньоры», «Приходит Разлука», «Я — только женщина»). Здесь нет размаха и тягот мысли, стремящейся постичь противоречия времени, но сами противоречия и тяготы реальности здесь есть, они выражаются непосредственностью бытия этого, конкретного человека, этой «женщины простой закваски». При всем том эта женщина — испанский поэт, и потому ее слово, ее интонация внутренне патетичны (иногда пафос, как лава, вырывается и наружу, застывая в отчетливой, с блеском, форме). О простом воспроизведении эмпирии жизни тут речи быть не может — этому противодействует, помимо всего прочего, четкая демократическая позиция поэта, защитника бедняков, выразителя их чувств:

Я слышу, о чем говорит землепашец,
псалму виноградаря я внимаю,
понимаю, о чем рыбаки мечтают,
чувствую, что происходит с вами,
знаю, сколько поденщикам платят,
и знаю,
что вам живется несладко...

(*«Письма»*, *перевод Н. Горской*)

Так говорит бывшая служанка, учительница, журналистка, университетская преподавательница в США, испанский поэт Глория Фуэртес.

Анхель Гонсалес тоже был журналистом, и служащим, и университетским преподавателем за границей, в тех же Штатах. У него за плечами большой жизненный опыт, и в его стихах — множество конкретных реалий действительности, особенно часто — характерных для «цивилизации изобилия», лживые фасады которой поэт ненавидит. Но главная сила основная стихия А. Гонсалеса, я бы сказал, в высоком, страстном риторстве (например, оно звучит в стихотворениях «Металлолом», «Введение в молчание»). Это не уловки абстрактного красноречия. Это возвышенно произнесенное слово человека, взыскующего правды и несущего его людям:

Любили мы плакать,
а нынче
давайте забудем про слезы,
запасемся терпением
и снова начнем изучать
жизнь, которая нас окружает,
пока не найдем
сокровенный предел,
ту границу,
что вчерашнюю суть отделяет
от нынешней сути,—
предел, по которому можно судить
о силе и скорости времени.

(*«Все меняется», перевод В. Столбова*)

Эта позиция есть, в сущности, и позиция Хосе Агустина Гойтисоло и Хосе Анхеля Валенте — пожалуй, лично мне наиболее близких. Иронично-сдержанного, любящего парадоксы и прямой призыв — первого; нервно-открытого, возбужденно эмоционального и тоже говорящего без обиняков то, что надо ему сказать,— второго.

Скорость изменений жизни во времени не столь велика: доброе, новое не является так быстро, как нам бы хотелось,— отсюда трагические ноты у этих двух поэтов не только тогда, когда их взор обращается в прошлое, в детство и юность, в трагику войны и франкистской ночи над Испанией, но и когда они пишут о настоящем. Им ненавистна ложь официальщины, им дорога честность и прямота дружбы; одиночество... да, они бывают и одиноки, но это момент жизни, а не ее суть. Не может быть одинок поэт, если он встал под знамена поэзии, сражающейся «с этими проклятыми силами» — горем, голодом и ложью (Хосе Агустин Гойтисоло), если он чувствует себя наследником тех, кто поднял меч испанской поэзии, «пламенный меч над твоим обезлюдевшим полем» (Хосе Анхель Валенте — в стихотворении, посвященном Антонио Мачадо).

Реальности! Правды во что бы то ни стало! — вот их девиз.

Я пишу о том, что я вижу,
а мог бы писать о том, что выдумал,
если бы у меня не было глаз,
если б не жил я в царстве
горькой золы, развеянной ветром...

(*«Не видеть», перевод С. Гончаренко*)

И далее идут, нагнетаясь, эти «если бы...» — биографические, из горького детства, и обобщающе образные, «если бы вместо пощечин меня наделили хлебом и маслом...», «если бы каждый был сам по себе. Если бы ночь была неприступной...».

В том-то и дело, что ночь не вечна! И если ее нельзя победить приступом, то не подойдет ли осада? Постоянная, каждодневная, знающая не только продвиженье вперед осаждающих, но и моменты торжества осажденных... Хосе Агустин Гойтисоло («Что-то все-таки происходит»):

...Они знают, что одеты не по росту,
их мучит бессонница,
они глотают пилюли
и переводят деньги в Швейцарию,
даже не подозревая, что опасность
так близко, что она притаилась
вовсе не в Анголе и не на Кубе,
а в их собственном доме,
в их собственных детях,
в их собственных конторах
и даже в церкви,
ибо история неумолимо
движется вперед, потому что
есть люди, вроде вас, которые
верят в жизнь и тем самым
изменяют мир, изменяют
без единого выстрела.

(*Перевод С. Гончаренко*)

Демократии можно нанести поражение, демократию нельзя победить...

«Я вообще верю в счастливую судьбу поэзии в мире. Она приобретает все большее значение как непосредственный способ общения людей»,— сказал Хосе Агустин Гойтисоло, отвечая на вопросы корреспондента нашей «Литературной газеты».

«Непосредственный способ общения людей...» Я перечитываю стихи прекрасных испанских поэтов и думаю как же это верно и точно сказано моим другом.

ЮРИЙ СУРОВЦЕВ

БЕССМЕРТНАЯ ПТИЦА НАРОДНОЙ ПЕСНИ

Датские народные баллады. В переводах Веры Потаповой. Москва, «Художественная литература», 1980.

«Старый скальд схватывает свою арфу, ударяет по струнам ее,— писал Ганс Христиан Андерсен в одной из своих чудесных сказок «Птица народной песни».— На том месте остался только зеленый холм да голые камни без надписей. Но над ними взвилась, одновременно с последним ударом скальда по струнам, прелестная птичка. Она как будто вылетела из самой арфы... то была бессмертная птица народной песни!.. Птичка поет нам не только суровые богатырские песни, но и нежные мелодии о любви и верности северян».

Отжил свой век «суровый богатырский» эпос северо-западных стран Европы с его размеренно-величавым строем, набегавшим, как морские волны. Примерно в середине нашего тысячелетия на смену сагам и рунам пришли баллады, порожденные карнавальной стихией народного танца. Недаром слово баллада происходит от провансальского balar — «плясать». Она, как говорят про музыку балета, «дансантна», под ее напев было легко танцевать. С юга Европы на север шла баллада, но у каждого народа получала свой неповторимый колорит и передавала свой душевный настрой.

У баллады кованый, четкий ритм, она окрылена рифмой, перекличкой созвучий, повторами, рефреном, всеми богатствами народного мелоса. Сюжеты баллад увлекательны, они призваны тронуть сердце, зажечь воображение. И какие они разные, баллады! Героические, фантастические, шутливые. Короткая драма в острых диалогах, поэтическая сказка или забавный эпизод, выхваченный из самой жизни.

Прославлены английские баллады с их веселым героем Робином Гудом и ватагой вольных стрелков в зеленом Шервудском лесу. В нем как будто всегда веселый май и щебет птиц.

Всемирно известные шотландские баллады пленяют богатством воображения, силой экспрессии, красотой и подлинностью чувства. Они послужили источником вдохновения для Роберта Бёрнса, Вальтера Скотта, Пушкина.

Один из героев шотландских баллад певец Томас Лермонт из Эрсилдуна, по прозванию Рифмач, полюбил королеву фей и получил от нее трудный дар: всегда говорить только правду. Этот Лермонт числится одним из отдаленных предков Михаила Лермонтова. В одном своем юношеском стихотворении Михаил Лермонтов, вполне в духе баллад, посещает в образе Ворона заброшенный замок своего предка:

«И арфы шотландской струну бы задел...»

Велик и разнообразен золотой фонд европейских баллад в русских переводах, но в нем еще оставались досадные лакуны. До сих пор были мало известны баллады народов Скандинавии. Но в «Кануте» А. К. Толстого был удивительно верно поэтическим чутьем угадан дух датской баллады.

Как богат и разнообразен скандинавский фольклор, об этом говорят норвежские сказки в пересказе Асбьернсена, повести шведской писательницы Сельмы Лагерлёф, сказки великого Андерсена... Баллады — это фольклор в остро эмоциональной, сгущенно поэтической форме.

Жанр баллады продолжал работать в литературе, как могучий фермент. Из баллад выросли ренессансные пьесы. Баллады великих поэтов — не копия народных, это гениальное соревнование.

В стихах Жуковского, Пушкина, Лермонтова, в этом многоголосом оркестре, звучит и арфа певца. В наши дни на смену арфе пришла гитара, и песня-баллада все еще живет полнокровной жизнью.

Сборники старинных баллад неизменно пользуются большой популярностью у читателей. Нередко происходит фольклоризация полюбившейся баллады, она снова становится песней в другом облике.

И вот наконец произошла встреча со скандинавской балладой. В изящной небольшой книге тридцать пять датских народных баллад, подобранных так, что они образуют прекрасное соцветие волшебных, любовных, исторических, рыцарских и шуточных. Здесь представлены все темы и жанры.

Природа Скандинавии — море, фьорды, дубравы — словно создана для волшебной сказки. В зачине книги:

Я знал хорошо этот царственный лес,
Что рос вдалеке у фьорда.
Там пышный навес до самых небес
Деревья раскинули гордо.

Деревья там гордо раскинули сень.
Звались они липой да ивой.
Там зверь благородный, чье имя — олень,
С ланью играл боязливой.

(*«Дева в птичьем оперенье»*)

И везде слышен голос моря, ветер странствий надувает паруса викингов. В степях всего дороже конь, на море — ладья.

Я вдоволь дам серебра и злата
Тому, кто мне назовет супостата.
И больше того: за услугу свою
Получит он с доброй оснасткой ладью.

В волшебных балладах появляются сказочные существа: грозные эльфы — похитители людей с их неумолимой владычицей. Баллада «Святой Олуф и тролли» с ее припевом «Как червонное золото, солнце горит над Тронхеймом» переносит нас в мир музыки Эдварда Грига.

Арфа в руках певца всемогуща («Сила арфы») и способна сокрушить царство троллей.

Вера Потапова — мастер оркестровки, стихи в ее переводе динамичные, звучные, по-народному дерзкие, не просто читаются глазами, но как бы выпеваются, ложась на внутренний слух. Злой тролль похитил у арфиста Виллеманда прекрасную деву:

Виллеманд стал над бурной рекой
И струны златые тронул рукой.

Такую сноровку имел он в перстах,
Что замерли певчие птицы в кустах.

И так ударял по струне упругой,
Как будто гром гремел над округой...

Персонажи баллад — люди сильных страстей. Они горды, независимы, вольнолюбивы. В ту пору, когда слагались баллады, они уже стали романтическими героями далекого прошлого. Мрачный кровавый колорит песни «Юный Энгель» смягчен припевом: «Неужели заря никогда не разгонит мрак?» И сама месть юного Энгеля оказалась бесплодной.

«Меч-мститель» носит имя Ярый Пламень и жаждет пролить кровь даже своего хозяина. Это меч из круга легенд о наделенных страшной жизнью воинских мечах и топорах палачей. В рыцарских балладах со звоном сшибаются мечи, этот звон передается энергической модуляцией припева:

«Если посватались двое к невесте
— Мечи из ножон! —
копья скрестить за нее — дело чести».
«Держись»! — молвил Йон.

«Мир средневековья, удивительный и противоречивый, откроет вдумчивому читателю датская народная баллада, в своей сумрачной первозданной красе и трагической проникновенности»,— пишет Вера Потапова в кратком, но содержательном предисловии.

Жестокая месть, но и нежнейшая любовь, алчность, но и бескорыстная верность. Самое страшное, непростительное — измена, предательство. Презрение клеймит труса.

Баллада поднимается до вершин героического эпоса, когда повествует о борьбе датчан за свою независимость:

Кто в землю датскую к нам войдет.
Тот в землю датскую ляжет!

Легендарный предводитель датчан Хольгер Датский сродни кельтскому королю Артуру. Народ верил, что славный герой не умер, но спит зачарованным сном, он проснется и придет на помощь в час беды.

Птица народной песни, как говорил Андерсен, «заставляет говорить умершие поколения, и мы узнаем их житье-бытье; оно воскресает перед нами».

Как светло, как празднично звучат песни о любви!

Все вокруг словно подпевает счастливым влюбленным. Но счастье в балладах не просто слепая удача, оно дается в руки только смелому.

О каких бы удивительных событиях ни повествовали народные баллады, рассказ всегда звучит достоверно. Волшебные образы живописны, они «увидены», диалог всегда натурален, а фантастика подкреплена яркими деталями.

Шуточные баллады брызжут юмором. Достается и спесивой деве-насмешнице, и, конечно же, монаху.

Посрамление монаха — одна из любимых тем средневекового фольклора. Но и в других балладах, и рыцарских, и любовных, народ вершит свой суд над злом при помощи острого оружия сатиры.

Вера Потапова перевела баллады темпераментно, смело, сочно, нигде не сгладив неповторимого своеобразия народной песни. «Датские баллады» даже не хочется зачислять в рубрику переводной поэзии, это поэзия первозданная, подлинная.

Такое случается не часто. Для того, чтобы датские баллады как бы вновь родились на русском языке. надо было привлечь на помощь несметные богатства русской народной поэзии и русской литературы. Усредненный язык губителен для переводов фольклора. Народность иноязычной поэзии можно передать только средствами своего народного языка, чужое национальное богатство через свое богатство. Вера Потапова разрешила эту трудную задачу с чувством меры, вкусом и тактом, нигде не впадая в русификацию.

В кульминационных моментах ей удалось сохранить суховатую мощь оригинала, не забивая пазы ватой, с предельным лаконизмом. Народная песня не терпит вялых длиннот. В датских балладах каждое слово на счету, но зато слова эти полновесны, красочны, музыкальны. Музыка ведет в балладе, все время меняя регистры, и передана она способами тончайшей звукописи.

«Датские баллады» — это большая удача талантливого переводчика, настоящее поэтическое событие.

В. МАРКОВА

Издано за рубежом

ГОЛЬФ, ЛЮБОВЬ И АБСУРДНЫЙ МИР

Walker Percy. The Second Coming. New York, Farrar. Straus. Giroux. 1980.
Уокер Перси. Второе пришествие. 1980.

Уилл Барретт, герой нового романа американского писателя Уокера Перси [1], из налаженного ритма повседневности выпал в самом буквальном смысле слова: играл в гольф, нагнулся изучить положение мяча после удара и вдруг не то чтобы споткнулся или оступился, а прямо как стоял, так и упал. Это первое чудо. А второе — в том, что упал-то вполне нормальный член общества, блестящий профессионал, юрист, только что решивший удалиться от дел, чтобы «насладиться жизнью» (благо накопленного и унаследованного от недавно скончавшейся жены не то что на одну — на три жизни хватит), а поднялся удивленно озирающийся, вконец растерянный человек, охваченный ощущением, будто явно что-то стряслось — то ли с ним самим, то ли с миром вокруг, вдруг показавшимся ему на удивление нелепым, абсурдным, лишенным какого-либо смысла и оправдания.

Скотт Фицджеральд как-то заметил, что у каждого писателя есть одна-единственная история, но рассказывает ее он много раз, в различных вариантах. Уокер Перси в большей части своих романов подчиняется этому «закону Фицджеральда». Ситуация и действующие лица его книг зачастую обладают безошибочным, «фамильным» сходством. Нормальные и благополучные члены общества под влиянием тех или иных — как правило, совершенно случайных и внешне пустяковых обстоятельств — выпадают из привычного образа жизни и с великим недоумением вглядываются в причудливые очертания реальности, ранее воспринимавшейся как нечто само собой разумеющееся. Удивившись тому, что открылось их «новому ви́дению», они обычно предпринимают некий «поиск» (слово весьма популярное у персонажей Перси), цель которого — во что бы то ни стало пробиться к правде, к тем сущностям, что ускользают от внимания их ослепленных видимостью соотечественников.

Впрочем, стратегия «выпавшего из общества» наблюдателя, главное отношение которого к миру описывается словом wonder, что означает «удивление-недоумение», вовсе не Уокером Перси придумана. Это давняя традиция американской литературы, отмеченная такими именами, как Торо, Марк Твен, Шервуд Андерсон, а в совсем недавнем прошлом — Сэлинджер. Сложная социальная действительность с ее многочислен-

[1] Рецензию на его предыдущий роман «Ланселот» см. в «ИЛ» 1979 № 1.

ными и запутанными правилами, законами, обрядами судилась и оценивалась глазами юного героя, только-только вступавшего в жизнь. Не раз раздавалось сакраментальное: «А король-то голый!», не раз выяснялось, что очень многое из того, что почитается обществом,— самая настоящая «липа», как выражался сэлинджеровский Холден Колфилд. Наивность героев, не связанных социальными условностями и ритуалами, была движущей силой своеобразного эффекта очуждения, оказывалась той самой художественной маской, за которой скрывался весьма искушенный и зоркий автор, который видел свою писательскую задачу в том, чтобы выводить читателей из состояния «автоматизации», когда привычное кажется истинным именно потому, что оно привычно. «Естественная точка зрения» словно напоминала о всепроникающей силе этой самой «липы» и слишком легком примирении с ней умудренных житейски взрослых (мол, всегда была «липа» и будет, а жить-то все равно надо...).

«Новый» Уилл Барретт размышляет и вопрошает. Его внутренние монологи — бесконечная цепь вопросов. Задавать вопросы простые, с точки зрения здравого смысла вроде бы вполне уместные и законные, но тем не менее самих носителей здравого смысла то и дело ставящие в тупик,— привилегия «выпавшего из общества» героя, постоянный элемент литературной традиции «удивления». Мы помним, как Холден Колфилд хотел знать, куда же деваются утки в пруду Центрального парка зимой, когда пруд замерзает. Утки здесь, в общем-то, понятие чисто символическое, это своего рода общая модель «дурацкого вопроса», до которого озабоченным «настоящими» проблемами взрослым дела нет. Но слишком часто оказывается, что пренебрежение «утками» не проходит даром, мстит за себя пустотами, которые в один прекрасный день открывает в себе нормальный и благополучный человек.

Итак, рассуждает Уилл Барретт, одно из двух: либо он рехнулся, а с миром все в порядке, либо, напротив, он прав, а вот с обществом «что-то случилось», и погруженные в обычные житейские хлопоты соотечественники только притворяются, что все идет отлично, хотя сами внутренне ощущают, что благополучие мнимо и столь желанный комфорт непрочен. А может и так, продолжает герой: он, Уилл Барретт, и правда не в себе, но и мир сошел с ума,— ведь, как известно, в наши дни все больше и больше людей страдают от нервных и психических расстройств.

Безумие, однако, безумию рознь. Есть классическое умопомешательство, когда субъективное разрастается до гигантских размеров, заслоняя собой объективную реальность. Вместе с тем существует и сумасшествие иного рода — недуг, получивший особое распространение именно в XX веке. Это гипертрофия «объективного», когда личность наполняется готовыми, стандартными, общими для всех реакциями, чувствами, суждениями, которые она по ошибке принимает за свои собственные, а неповторимое, индивидуальное уменьшается или вовсе исчезает. Такой новый человек — «массовый» — как две капли воды похож на соседа, коллегу, приятеля, причем именно в том, что, казалось бы, совпадать как раз и не должно бы. «Человек в наши дни,— приходит к выводу Барретт,— всего лишь на два процента является собой... Как восстановить остальные девяносто восемь процентов?»

Разумеется, выводы, к которым приходит Барретт, не блещут новизной. Проблематика романа Перси вполне вписывается в круг проблем современной западной философии и социологии и касается удела личности в условиях прогрессирующего отчуждения, каковое несет цивилизация потребления. В этой связи вряд ли случайно ничего не делающий случайно автор вывел своего героя тезкой и однофамильцем американского философа-экзистенциалиста, напомнив и о системе координат, в которой надлежит воспринимать откровения героя, и об иронической дистанции, на которой находится он сам, Уокер Перси. Роман интересен, собственно, не как очередная вариация на актуальную для культурной ситуации Запада тему, а как документ, проливающий свет не столько на проблемы «личности изображенной» — персонажа, сколько на парадоксы, возникающие перед «личностью изображающей» — писателем.

«Второе пришествие» в согласии с традициями философской прозы уделяет внутренней жизни героев внимания столько, сколько нужно для раскрытия психологии их мироощущения. Важное действующее лицо романа — мироощущение интеллигента-гуманитария (Перси-Барретта), остро переживающего распад системы ценностей, не одно столетие вдохновлявших и направлявших западную культуру. И прежде всего крушение ведущего мифа — христианского.

Столь частый для романов Перси «поиск» Уилл Барретт осуществляет опять же вполне буквально. В уединенном месте — в заброшенной пещере — он ищет бога. Вернее, ждет, что последний подаст ему знак, заявит тем или иным способом о своем неявном присутствии в этом мире, о негласном контроле над его судьбами. Если же знака не последует — стало быть, мир лишен бога, лишен смысла, и тогда единственный выход — покончить с собой (и с тяготами существования в абсурдном, жестоком мире). Новоявленный отшельник пребывает в ожидании, но единственное, что ему достается,— невыносимая зубная боль, положившая конец его попыткам выйти на связь со всевышним.

Знака не последовало. Впрочем, как бы подсказывает иронически комментирующий действия своего героя автор, и зубную боль, и последовавшие за тем мучительные скитания «богоискателя» вполне можно — было бы желание — истолковать как долгожданный знак. Как-никак в результате предпринятого поиска Уилл Барретт встречается с девушкой, в которую влюбляется.

Итак, снова любовь — сколько уж сегодня об этом писано стихами и прозой (художественной и философской) на Западе — выступает в роли палочки-выручалочки, амулета от грозных и опасных сил отчуждения, на которое обрекает буржуазность? Так — и не совсем так. Не любовь правит в художественном царстве Уокера Перси, а всеразъедающая ирония, ставящая под сомне-

ние любое положительное суждение или устремление. Предавая анафеме «живую смерть» (или современную действительность, по всему напоминающую смерть — смерть, на которую обречена живая самостоятельная личность), Барретт произнесет монолог, где возвестит, что «живая смерть» ему не страшна — он научился распознавать ее обличья. В качестве таковых он назовет веру (христианство во всех его разновидностях) и безверие, миф великой Америки и всевозможные «измы» (либерализм, консерватизм и прочее), брак и семью. Это, впрочем, понятно. Куда неожиданней для него, окрыленного любовью, занесение под ту же рубрику и таких «мифов», как любовь и «новая жизнь», на основе любви возможная. Впрочем, так ли уж неожиданен этот лозунг героя? По его мысли, в чем автор с ним вполне солидарен, истинно и необходимо все, так сказать, индивидуальное, исходящее от сердца и совести, а то же самое (любовь, вера и безверие и прочее), обращенное в схему, готовый рецепт,— ложно и пагубно.

Барретт и Перси, однако, умолчали еще об одной разновидности «живой смерти» — и напрасно. Это «миф мифоборчества», очень характерный для той части нынешней западной литературы, что именуют «серьезной» (в противовес коммерческой, массовой). Этот миф опасен тем, что разоблачение клише и стандартов официальной идеологии имеет тенденцию обретать характер самодостаточной, положительной, что ли, деятельности, в известном смысле кровно заинтересованной в том, чтобы всегда было что разоблачать. Опасность такой позиции в том, что декларированная художником борьба с хаосом превращается в любование хаосом, в своеобразное удвоение распада посредством его художественного воплощения. Уокер Перси, как это явствует из романа, отнюдь не гордится положением иронического и все понимающего специалиста по распаду, видит двусмысленную силу такого оружия, как бесконечная рефлексия, разлагающая любую положительную точку зрения. Вместе с тем, оставаясь в пределах либерального мышления, он не видит ничего достойного, что бы могло заполнить образовавшиеся в результате работы иронического сознания пустоты и бреши. Свести две «одинокие души», пожелать им счастья и тотчас же напомнить им (Аллисон и Барретту) о труднодоступности, если не сказать недостижимости, такого счастья — по сути дела продолжение движения в том же заколдованном кругу мифоборческих мотивов, которые — и это, похоже, Уокер Перси вполне отчетливо понимает — сами скоро станут общими местами, стереотипами, неминуемо подлежащими ироническому переосмыслению.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

КНИГА ИНДИЙСКОГО КРИТИКА

Равиндрадас Т. С. Вимарсана сидаралхаль. Мадрас, «Вандана падиппахам», 1980 (на тамильском языке).
Равиндрадас Т. С. Критические заметки. 1980.

Начало нового десятилетия предполагает прогнозы, и литература в этом смысле — не исключение, особенно если она находится на подъеме. В данном случае речь идет о тамильской литературе, создаваемой народом, удаленным от нас на тысячи километров и обитающим на крайнем юге Индии.

Монография «Критические заметки» принадлежит перу Т. С. Равиндрадаса, заместителя главного редактора крупной мадрасской газеты «Джана сакти» («Народная сила»), центрального органа индийских коммунистов штата Тамилнад. Филолог по образованию, Равиндрадас уже не один год выступает с эссе, статьями и обзорами в газетах и журналах штата. «Критические заметки» ценны тем, что в них обобщен опыт южноиндийской литературы за последнее десятилетие. Шестнадцать острополемических эссе Равиндрадаса подтверждают справедливость ленинского тезиса о наличии двух культур в рамках одной буржуазной нации.

«Критические заметки» отражают систематическую работу исследователя над вопросами литературы и, в отличие от очень многих сочинений подобного рода, содержат принципиальную и критическую оценку произведений тамильской литературы. Рассматривая ряд романов своих соотечественников, Равиндрадас показывает также, чем ценен, с его точки зрения, гуманистический опыт русской и советской литературы в социальном и литературном плане для сегодняшней Индии.

Подчеркивая свой принципиальный подход к литературному делу, критик причисляет себя к представителям марксистской школы индийского литературоведения. «Литературная критика, по моему убеждению, должна служить самой жизни, насущным интересам трудящихся»,— таково кредо Равиндрадаса. События недавние и давно свершившиеся, зафиксированные в литературе разных народов, приобретают у Равиндрадаса живую связь с сегодняшним бытием и, по мнению критика, достаточно четко помогают убидеть контуры будущего.

В монографии «Баради и Шелли» Ч. Рагунадана, одного из крупнейших индийских литературоведов. убедительно раскрыто, считает Равиндрадас, духовное единство двух поэтов и воздействие Шелли на Баради (1882—1921).

Баради первым в Юго-Восточной Азии приветствовал в своих стихах победу Октябрьской революции и первым в Индии опубликовал статьи о В. И. Ленине, о целях и задачах большевиков, вдохновенно выступал на митингах и в прессе, разоблачая клевету английской печати о новой России. Баради не был и не мог быть коммунистом, как Шелли не был социалистом. Английский поэт не дожил двадцати шести лет до появления «Коммунистического манифеста», но он заслужил высокую оценку К. Маркса и Ф. Энгельса, считавших его великим поэтом и провидцем. Баради, испытавший воздействие Шелли, заслуживает, по словам Равиндрадаса, не менее высокой оценки. «Баради воодушевила и восхитила Великая революция в России, и будь он жив, он непременно примкнул бы к передовому отряду индийских рабочих»,— замечает критик.

Бесспорно, что подавляющее большинство индийских литераторов все дальше отходит от созерцательности и механического сум-

мирования жизненных фактов и наблюдений. Трезвый, порою даже несколько подчеркнуто рационалистичный взгляд на реальную жизнь, заметная «политизация», особенно в жанре романа, не ускользают от взгляда Равиндрадаса. Как Баради и Шелли представляются ему и Ч. Рагунадану «сыновьями одной матери», точно так видятся ему братьями одной большой индийской семьи герои различных произведений последних лет. Страстная жажда обновления жизни роднит ставшего на путь экстремизма Малейянди из повести Д. Джеякантана «Из каждой деревни по сотне» [1], и двух молодых экономистов из романа И. Парттасаради «Кровавый поток» [2], стремившихся подвигнуть крестьян на борьбу с кулаками, но, в результате неумелых действий, вместе с жителями деревни ставших жертвами кровавого потока, инспирированного богачами. Такими же близкими им по духу видятся сельский учитель Канапшан (роман «Черная земля» Поннилана [3]), приехавший в глубинку учить не только грамоте, но и бороться за лучшее общество, и выпускник колледжа Венкатраман, в знак протеста против безработицы сжигающий свой диплом и затем примыкающий к Коммунистической партии Индии (роман Витталя Рао «Злословие»).

Равиндрадас подчеркивает, что из этих произведений видно, как молодежь страны и лучшие представители индийской интеллигенции ищут и находят (пусть не всегда и не сразу), порой даже подвергая себя смертельной опасности, свое место в бурном и неустроенном мире. Не удивительно, что ключевым вопросом для них представляется проблема выбора методов и форм борьбы. На тревожный вопрос: что требуется делать, чтобы вывести общество из тупика? — ни авторы, ни критик, сознавая всю сложность проблемы, не дают однозначного ответа.

И все же прогрессивный национальный и интернациональный опыт социальных и литературных движений не ускользает от внимания Равиндрадаса. Зная, сколько напрасных жертв понесли соотечественники вследствие ошибок и собственной незрелости, индийский критик приходит к недвузначным выводам.

Опыт прошлого, ленинское учение, подкрепленное практикой сегодняшнего дня, помогают индийскому критику дать анализ многих сложных вопросов современной литературной жизни страны. Если следовать образу единой семьи применительно к индийской литературе, то, читая эссе Равиндрадаса о романе Манияна «Тридцать лет страсти», невольно вспоминаешь грустную поговорку о семье не без урода. Ибо этот роман относится к числу низкопробных образцов «массовой культуры», которые утверждаются на индийской земле и широко импортируются из стран Запада. «Задача задач литературы Индии — изобличать подобные поделки»,— считает критик.

Однако преобладающее число произведений тамильских авторов опирается на гуманистический опыт мировой и, в первую очередь, русской и советской литературы, пишет Равиндрадас, специально останавливаясь на романе «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина и повести Б. Васильева «А зори здесь тихие». Переведенные недавно на тамильский язык, эти книги получили широкий резонанс среди индийцев. Познакомившись с «Господами Головлевыми», индийский читатель начинает понимать причины, которые привели народ России к революции 1917 года, говорит Равиндрадас. Ясно и то, что без таких великих фигур, как Пушкин, Лев Толстой, Щедрин, Чехов, Горький, не был бы возможен столь великий социальный переворот в России, добавляет критик. Когда деградация и разложение общества становятся позорной очевидностью, о чем свидетельствует книга великого русского сатирика, значит, для такого общества пробил смертный час.

Примечательно и высказывание тамильского литератора Синивасана по поводу этого романа: «Сегодня русским должно быть удивительно знакомиться с головлевыми. Советские люди должны отшатнуться и воскликнуть в изумлении: да неужто в самом деле когда-то были у нас такие люди? Но еще более поразительно, что все то, о чем писал сто лет тому назад Щедрин, живо и по сей день в Индии!»

Индийские головлевы, подобно своим почившим русским прототипам, судорожно цепляются за частную собственность. Однако, как ни грустно это признать, замечает Равиндрадас, тамильские писатели пока не создали ничего подобного «Господам Головлевым».

Особое внимание уделяет критик повести «А зори здесь тихие», относя ее к произведениям, созданным в высокотрагедийном ключе, но наполненным жизнеутверждающей силой. В безграничной преданности своей социалистической земле черпали героизм хрупкие советские девушки. Им, говорит индийский критик, было за что сражаться. Такой высокочеловечный оптимизм присущ в целом литературе социалистического реализма. Героини Б. Васильева являют собой «пример для нынешней и завтрашней молодежи Индии — ведь это ей предстоит завоевать себе и будущим поколениям право любоваться тихими зорями на рассвете нашей родины».

«Критические заметки» Равиндрадаса отражают лишь отдельные моменты в бурной литературной жизни Индии конца 70-х годов. Но они помогают осмыслить сложные процессы, происходящие в литературе многоязычной Индии.

В. ФУРНИКА

[1] Джеякантан. Урукку нуру пер. Журнал «Мехала», октябрь 1978.

[2] См. о романе: Соврем. художественная литература за рубежом, 1978, № 4.

[3] См. о романе: Соврем. художественная литература за рубежом, 1980, № 1.

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

ЮРА ЗОЙФЕР — «ЗАНОВО ОТКРЫТЫЙ»

«16 февраля 1939 года в концлагере Бухенвальд умер заключенный № 9697. Причина смерти, указанная в свидетельстве, — сыпной тиф. В этом свидетельстве нумерованный заключенный вновь получил свое имя: Юра Зойфер».

Так начинает критик Ульрих Вайнцирль свою статью в газете «Франкфуртер альгемайне», посвященную погибшему писателю-коммунисту. Статья связана с выходом в венском издательстве «Европа» полного собрания сочинений Зойфера, которое подготовил Хорст Ярка.

Юра Зойфер приобрел известность еще в начале тридцатых годов как автор коротких пьес для венских политических кабаре. Тексты пьес проходили через строгую цензуру. «Но не в последнюю очередь благодаря этому,— отмечает критик,— Зойфер сумел высоко развить технику подтекста, маскировки, умение придать важному и острому содержанию легкую форму».

После войны пьесы Зойфера не раз ставились на австрийских сценах, и популярность его год от года росла. Однако только теперь становится по-настоящему ясно, что в лице Зойфера австрийская литература потеряла не только блестящего драматурга, но и одаренного прозаика. В собрании сочинений впервые публикуется его оставшийся незаконченным роман «Так умирала партия» — о судьбе австрийской социал-демократии в феврале 1934 года. «Даже то, что удалось восстановить по рукописям (а это всего около 130 крупноформатных страниц), доказывает, что перед нами прозаик высокого уровня,— пишет критик, называя Зойфера «заново открытым писателем».— Именно эта насильственно оборванная работа делает особенно чувствительной тяжесть потери, которую понесла, не подозревая о том, немецкоязычная литература со смертью Юры Зойфера».

АЛЖИР

НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Журнал «Ас-Сакафа» сообщает о выходе в свет в Аль-Джазаире новых сборников рассказов алжирских писателей. Первый из них, «Огни и мыши», принадлежит новеллисту Мустафе Фаси, второй, «Расстрелянные колонны»,— Захиру Алляфу. Новые сборники рассказов свидетельствуют об успешном развитии новеллистики в современной арабоязычной алжирской литературе.

Журнал сообщает также, что в Париже опубликован роман молодого алжирского писателя Набиля Фареса «Смерть Салахбея».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

НОВОЕ ИЗДАНИЕ «ДАВИДА КОППЕРФИЛЬДА»

О личности Диккенса существует огромная литература. Казалось бы, нет такого аспекта, который ускользнул бы от внимания специалистов. Однако проблема Диккенс-художник освоена в критике еще недостаточно. Причина тому — невнимание к рукописям писателя, пишет рецензент «Бритиш бук ньюс», известный литературовед Д. Слейтер.

С этой точки зрения чрезвычайно ценна работа, которую начал профессор Джон Батт, взявшийся за новое, комментированное издание произведений Диккенса на основании подробного и тщательного изучения рукописей писателя. Теперь, после смерти Джона Батта, его работу продолжила Нина Бёрджес. Сейчас в издательстве «Кларендон пресс» вышел «Давид Копперфильд». В предисловии к внушительному тому (932 страницы) Нина Бёрджес приводит историю создания этого «любимого детища» Диккенса, воспроизводит в приложении черновики, планы, изменения, которые вносил Диккенс в текст романа уже в гранках. Добавления по-новому прочерчивают характеры таких диккенсовских персонажей, как Бетси Тротвуд, мистер Дик.

Очень интересны, пишет критик, соображения Нины Бёрджес об исчезнувшем автобиографическом отрывке, с которым был знаком друг и биограф Диккенса Э. Форстер. Н. Бёрджес полагает, что Диккенс превратил документально-автобиографические страницы в художественную автобиографию, иными словами, добился «весьма сложного переплетения правды и вымысла». Как известно, замечает Д. Слейтер, сам Диккенс очень гордился тем, как ему удалось видоизменить автобиографию. Под этим «как» Диккенс прежде всего имел в виду «отход» от себя: Чарльз, таким должно было быть первоначально имя героя, стал Давидом, родители превратились в чету Микоберов, образы которых только усилили «правду о его детстве».

Текст нового издания воспроизводит текст 1850 года. Здесь сохранены и ошибки, которые не были замечены Диккенсом в гранках. Превосходен аппарат, сопровождающий том. Отдельного упоминания, пишет Д. Слейтер, заслуживают иллюстрации Физа, причем в издание включены и наброски, например, колоритный рисунок, изображавший приезд маленького оборванного Давида в дом его тетушки.

ВЕНГРИЯ

ПИСАТЕЛИ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Журнал «Уй тюкур» рассказал на своих страницах о экспонировавшейся в Будапеште выставке портретов писателей, выполненных известным венгерским художником Йожефом Риппль-Ронаи (1861—1927).

В одном помещении как бы вновь «собрались вместе» сгруппировавшиеся в начале 20-х годов вокруг прогрессивного венгерского журнала «Нюгат» литераторы Михай Бабич, Жигмонд Мориц, Леринц Сабо, Фридьеш Каринти, Аладар Шёпфлин, Эрнё Ошват, Анна Седеркеньи...

На снимке: портрет Эрнё Ошвата работы Рипль-Ронаи.

(*Журнал «Уй тюкур»*)

Шестьдесят лет назад, когда эти портреты экспонировались впервые, еще при жизни самого художника, Деже Костолани писал, что «...самое выразительное на портретах Рипль-Ронаи — глаза. Они у него всегда отражают не только внутреннее состояние изображаемого им человека, но и его характер, его наклонности».

Помимо живописных портретов в зале была представлена и книжная графика художника: рисунки — иллюстрации к книгам, среди которых знаменитый акварельный портрет актрисы Лили Дарваш, сделанный к книге Ференца Молнара «Любовь небесная и земная», эскиз обложки книги «Трое», в которой были собраны произведения Анико Х. Седеркени, Лайоша Харасти и Ференца Гёндёра, автолитография пригласительного билета, плакаты и многое другое.

«Организатором и устроителем этой интересной и уникальной выставки,— как пишет журнал «Уй тюкор»,— был известный литературовед Йожеф Таши, и надо отдать должное той его энергии и эрудиции, с которой он собрал и систематизировал произведения, являющиеся непреходящей ценностью венгерского изобразительного искусства XX века».

ГДР

ПРЕМИИ ПИСАТЕЛЯМ

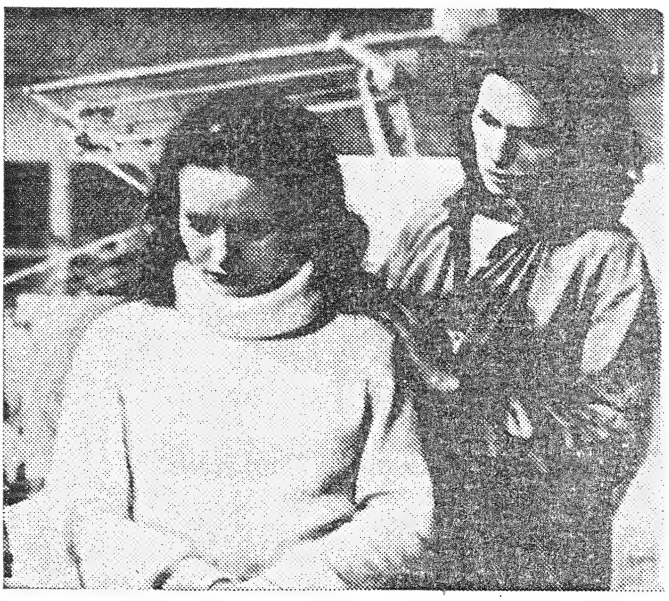
Национальные премии за 1981 год присуждены писателю Эрику Нойчу «за все творчество в целом» и писателю Бенно Плудре «за заслуги в развитии детской литературы».

Премии имени Лиона Фейхтвангера за 1981 год удостоен писатель Гюнтер де Бройн. При вручении премии были особо отмечены его книги «Жизнь Жан-Поля Фридриха Рихтера» и повесть «Бранденбургские изыскания», которая публикуется в этом номере нашего журнала.

По рассказу Эрика Нойча «Дело Норы С.» телевидение Германской Демократической Республики показало фильм «Нора С.» (режиссер и автор инсценировки Георг Шиман). В центре фильма — молодая женщина, трудности, с которыми она сталкивается на производстве, ее личные проблемы.

Главную роль в фильме исполняет актриса Светлана Шёнфельд. На снимке: кадр из телевизионного фильма «Нора С.».

(*Газета «Нойес Дойчланд»*)



ГРЕЦИЯ

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

1981 год был отмечен в Греции как «год Сикелианоса» в связи с 30-летием со дня смерти этого выдающегося поэта.

Творчеством Ангелоса Сикелианоса (1884—1951) открывается литература греческого антифашистского Сопротивления. В годы фашистской оккупации и гражданской войны 1946—1949 гг. поэт был председателем Общества греческих писателей, принимал участие в издании нелегального журнала «Элефтэриа» («Свобода»). Его динамичные, пронизанные боевым духом стихи распространялись в народе в рукописях.

Юбилейный комитет, в который вошли представители правительства, общественные деятели, известные литераторы, провел в течение года по всей стране серию литературных вечеров, диспутов, выставок, встреч с друзьями и близкими поэта. Торжественно был отмечен «год Сикелианоса» на острове Лефкас — родине поэта, а также в Дельфах, где Сикелианос, мечтавший о возрождении «золотого века», в 20-е годы стремился создать своего рода всемирный культурный центр. В мае греческое телевидение показало немой документальный фильм, снятый в 1927 году в Дельфах, во время представления «Прикованного Прометея» Эсхила в постановке Сикелианоса и его друзей. Увидели свет новые издания произведений поэта, исследования его творчества, в частности, подготовленная издательством «Кедрос» монография А. Панселиноса «Ангелос Сикелианос, или Политическое обличье богов».

В Афинах Общество греческих писателей провело большой юбилейный вечер. «Ангелос Сикелианос, — сказал, открывая вечер, председатель Общества, известный прозаик Зисис Скарос,— воспел национальное Сопротивление и тем самым завоевал любовь и признание всего народа. В нынешнем году, когда мы празднуем сорокалетие легендарного движения Сопротивления, этот юбилей приобретает символическое значение».

С докладом о жизни и творчестве А. Сикелианоса на вечере выступил прозаик Герамимос Григорис. Он, в частности, отметил, что поэт был одним из первых художников слова, которые в начале 40-х годов осознали необходимость приобщения к борьбе народа, необходимость общественного действия.

В творчестве А. Сикелианоса, как указал в своем выступлении на вечере вице-президент Общества писатель Аристотелис Николаидис, особенно рельефно проявилась одна из наиболее характерных черт греческой поэзии XX века — стремление перенять и развить жизнеутверждающие традиции древнегреческого наследия.

ДАНИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ В 1981 ГОД

Мотив проникновения героя в иные, удивительные миры через подземный ход, пишет рецензент газеты «Ланд ог фольк» Ларс Бонневие, пожалуй, столь же стар, как и сама литература. Для Клауса Рифбьерга, известного датского поэта, прозаика и драматурга, обращение к этому «традиционному» мотиву в новом его романе «Святые обезьянки» — прием, с помощью которого он стремится выразить гневный протест против военного безумия, охватившего сегодня западный мир.

...Лето 1941 года. Два мальчика — Мик и Нильс — играют в развалинах старой крепости и обнаруживают подземный лаз, откуда доносятся странные звуки. В друзьях просыпается дух исследователей. Велико же их изумление, когда, выбравшись на свет, они видят местность, «распаханную» шестирядной автострадой: Мик с Нильсом очутились в 1981 году!

Через восприятие простодушных десятилетних мальчуганов, перенесшихся в наши дни из сорок первого, Клаус Рифбьерг показывает современную Данию, где развитие промышленности приводит к постепенному уничтожению окружающей среды, где все выше и выше поднимается волна насилия, а военная истерия способствует нарастанию ядерной угрозы в глобальных масштабах.

Пребывание Мика и Нильса в этом «удивительном мире» оборачивается кошмаром. Поступки и высказывания мальчиков — вполне благопристойные, нормальные для детей 40-х годов — навлекают на них ненависть и агрессивные действия людей 80-х годов. Чужаки, подвергаемые гонениям, Мик с Нильсом не могут приспособиться к новому окружению. Но Рифбьерг, писатель-моралист, подчеркивает Ларс Бонневие, не был бы верен самому себе, если бы не изобразил одиссею Мика и Нильса как мучительный путь от блаженного неведения к тягостному прозрению.

Однако Мик с Нильсом на совсем одиноки. По воле Рифбьерга проводником двух друзей в мире хаоса становится их сверстник, маленький наркоман. Он зовется Тенью, олицетворяя собой оборотную сторону всего детски чистого. Настоящее имя Тени — Кай: быть может, у него, как и у Кая из «Снежной королевы» Х. К. Андерсена, в глазу сидит осколок дьявольского зеркала, мешающего проливать слезы над чужими горестями. И все же Кай — единственный, кто до конца не утратил человечности в безумном мире, «апофеозом» которого становится атомный гриб.

По мнению Ларса Бонневие, в «Святых обезьянках» Клаус Рифбьерг не просто возрождает мотивы сказки, он как бы испытывает на прочность сказочную тематику, слагая современный миф о крахе и надежде. В датской литературе редко встретишь произведение, где вымысел и реальность в такой степени дополняют друг друга. Как отмечает рецензент, это многократно усиливает гуманистический призыв автора к активной борьбе за сохранение жизни на Земле.

Одна из самых популярных пьес Августа Стриндберга «Фрёкен Юлия», написанная в 1888 году, обошла многие сцены мира. Сейчас пьеса обрела второе, музыкальное дыхание — в Дании, на сцене Ютландского оперного театра с большим успехом идет опера молодого композитора Антонио Биало «Фрёкен Юлия». Недавно опера транслировалась по датскому телевидению.

«Несмотря на свой почтенный возраст, пьеса «Фрёкен Юлия» очень современна,— пишет театральный обозреватель газеты «Ланд ог фольк».— Сейчас она прочитывается не только как классическая драма любовного треугольника. Это трагедия взаимного непонимания мужчины и женщины».

На снимке: сцена из оперного спектакля. В главных ролях: фрёкен Юлия — Эдит Гильом, Кристина — Гертруд Сплид, Жан — Ингольф Ольсен.

(Газета «Ланд ог фольк»)

ИЗРАИЛЬ

РАССКАЗЫ МОШЕ БАРЗИЛАЯ

По сообщениям израильской прессы, издательство «Шалом» в Тель-Авиве выпустило сборник рассказов на английском языке писателя-коммуниста Моше Барзилая под названием «Палестинские и израильские рассказы».

Рассказы посвящены жизни трудящихся Израиля и оккупированного Западного берега Иордана и призывают к взаимопониманию и дружбе между евреями и арабами, к их совместной борьбе против реакционной политики правящих кругов Израиля.

Моше Барзилай известен не только как писатель-новеллист, но и как поэт: им выпущено несколько сборников стихов на иврите и английском. Ряд его стихотворений переведен на итальянский и немецкий языки.

ИНДИЯ

В ТРАДИЦИЯХ КРИТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

Индийская литература пополняется новыми именами. Идет естественный процесс смены поколений: от актив-

ной творческой деятельности отходят художники старшего поколения, на авансцену выходит литературная молодежь — писатели, чьи имена лишь недавно стали мелькать на страницах газет и журналов.

Одним из представителей нового поколения писателей хинди, ныне все более определяющих лицо этой литературы, является молодой прозаик Гьянпракаш — сборнику его рассказов под названием «Репортер», только что вышедшему в одном из издательств Аллахабада, газета «Джан юг» посвятила обстоятельную рецензию, озаглавив ее «Рассказы, наносящие сокрушительные удары по социальному злу».

В сборнике 15 рассказов, и каждый из них, отмечает рецензент, разоблачает социальное зло, в каком бы обличье оно ни выступало и в какие бы маски ни рядилось, а взятые все вместе, эти рассказы звучат как обвинительное заключение тому социальному строю, который это зло порождает. «Теперь не время для прямодушных и честных людей, — говорит писатель устами одного из своих героев.— Сейчас процветают те, у кого ни чести не осталось, ни совести и кто при случае не прочь преступить закон».

О чем бы ни писал молодой автор, продолжает рецензент,— о тяжелой ли судьбе новобрачной, попавшей в чужую семью, о деревенском пареньке, пришедшем в город на заработки, или об отце-алкоголике, пропивающем последние деньги, на которые он должен был вызвать врача для тяжелобольной дочери,— все его рассказы озарены взглядом писателя-гуманиста. «В его рассказах нет того, что сейчас считается модным: безысходного отчаяния, грубого секса или повествования «ни о чем». Написанные в лучших традициях критического реализма, они не только разоблачают царящее в обществе социальное зло и его носителей, но и зовут на борьбу с ними. Именно в этом,— заключает рецензент,— главная особенность сборника».

ИТАЛИЯ

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Италия продолжает отмечать столетие любимой книги многих поколений юных читателей — «Приключения Пиноккио», написанной в 1880 году Карло Коллоди. Настоящая фамилия автора была Лоренцини, он начал публиковать свое сочинение в детской газете под названием «Приключения Пиноккио, история марионетки». Через два года «Пиноккио» вышел отдельной книгой во Флоренции, и имя Коллоди (он взял псевдоним по названию родного селения своей матери в Тоскане) облетело весь мир. Книга эта переведена ныне на 27 языков, несколько раз экранизирована, по ней поставлено множество спектаклей. Пиноккио воздвигнут памятник, он стал одной из самых любимых детских игрушек, стал даже символом европейского футбольного чемпионата.

Ныне создан специальный комитет по проведению празднования столетнего юбилея. Инициатором празднеств выступает область Тоскана. «Фонд Коллоди» в городе Пеша собирает все издания книги, намечен созыв международной конференции. Празднование продлится три года и завершится большой выставкой, посвященной книге Коллоди, в 1983 году во Флоренции.

Различные издательства и организации учредили литературные премии. в частности для молодых детских писателей; «Академия делла Круска» выпускает новое издание «Приключений Пиноккио» с критическими статьями и комментариями; готовится альбом с иллюстрациями различных художников, посвященными «Пиноккио». В числе мероприятий — выпуск специального номера «Курьера ЮНЕСКО», проведение кинофестиваля и конференции кинокритиков, возобновление музыкального спектакля, поставленного впервые в 1966 году режиссером Карло Бене на музыку композитора Сильвано Буссотти.

«Пиноккио,— пишет газета «Унита»,— скромный и простой герой, такой же, как Золушка, Красная Шапочка, Робин Гуд, он отождествляется со всеми нами и неподвластен времени».

КУБА

ЮБИЛЕЙ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ И ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

Исполнилось 20 лет со времени создания на Кубе Союза писателей и деятелей культуры (УНЭАК). Это событие было отмечено в Гаване и других городах страны собраниями общественности и многочисленными публикациями в печати.

Созданию УНЭАК предшествовала встреча представителей кубинской интеллигенции с Фиделем Кастро в 1961 году. Выступление на встрече вождя кубинской революции, известное как «Слово к интеллигенции», явилось исходным пунктом всей культурной политики нового правительства. «В рамках Революции — все, против Революции — ничего» — эти слова стали квинтэссенцией отношения новой власти к вопросам творчества в самом широком смысле слова.

Все двадцать лет своего существования УНЭАК неизменно оставался верен духу и букве Гаванской декларации, содействовал сплочению лучших сил кубинской интеллигенции; огромен его вклад в дело распространения за рубежом произведений кубинских авторов, защиты интересов и прав своих членов. На съездах Компартии Кубы неизменно отмечалась возрастающая роль кубинских писателей в общественной и политической жизни страны. Президент УНЭАК Николас Гильен был избран членом Центрального Комитета Компартии Кубы.

ЛИВАН

КНИГА О ХАЛИЛЕ АС-САКАКИНИ

Как сообщает газета «Аль-Иттихад», Всеобщая федерация палестинских писателей и журналистов опубликовала книгу Юсуфа Айюба Хаддада о видном палестинском писателе, педагоге, публицисте и общественном деятеле Халиле ас-Сакакини под названием «Халиль ас-Сакакини: жизнь, взгляды, творчество».

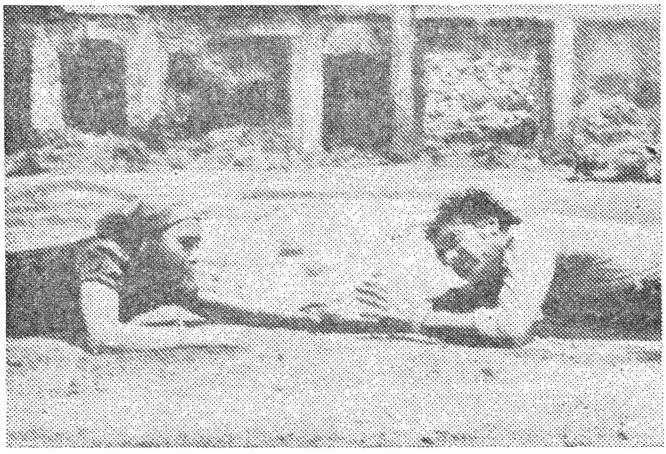
Как говорится в предисловии, Халиль ас-Сакакини, чья литературная и общественная деятельность началась еще до первой мировой войны, в эпоху турецкого владычества, а закончилась после раздела Палестины в 1948 году, во многом способствовал формированию национального сознания и пробуждению революционного духа у палестинских арабов.

ФИЛЬМ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В ЛИВАНЕ

Еженедельник «Аль-Хурийя» опубликовал рецензию критика Роберта Шахина на фильм «Убежище» ливанского режиссера Рафика Хажжара.

«Убежище» — первый фильм Р. Хажжара. Его действие происходит в Бейруте в 1976 году, в самый разгар кровопролитной гражданской войны, спровоцированной правыми ливанскими экстремистами и их зарубежными покровителями. Герои фильма — ливанцы, принадлежащие к различным классам и социальным группам, которые во время уличных боев скрываются в подземном убежище. Они не могут выйти оттуда и попасть домой из-за снайпера, который все время держит выход из убежища на прицеле.

По словам критика, несмотря на простоту сюжета фильма, в нем много напряженных драматических кадров. Режиссеру и актерам удалось психологически достоверно показать, как люди, в зависимости от социальной принадлежности и воспитания, по-разному от-



На снимке: Рене Дик и Рияд Иезбека в фильме «Убежище».

(Журнал «Аль-Хуррийя»)

носятся к происходящим событиям и по-разному действуют в одних и тех же обстоятельствах.

МАРОККО

«ФРОНТ НАДЕЖДЫ»

Бейрутский еженедельник «Нидаль аш-шааб» поместил рецензию своего обозревателя Хильми Салема на новый сборник стихов известного марокканского поэта Абд аль-Латыфа аль-Лааби «Фронт надежды». В сборник вошли стихотворения и поэмы, написанные аль-Лааби с 1969 по 1979 год, в основном в тюрьме, куда он был заточен как политический заключенный. (Недавно поэт был освобожден из тюрьмы, проведя там более восьми с половиной лет.)

Аль-Лааби не только поэт, но и крупный общественный деятель. В 1966 году он вместе с группой прогрессивных марокканских поэтов и писателей основал журнал на французском языке «Суффль», который с 1971 года стал выходить также на арабском языке под названием «Анфас». Этот журнал стал подлинной трибуной передовой марокканской интеллигенции.

Впервые аль-Лааби выступил в литературе более пятнадцати лет назад, опубликовав в 1966 году свой первый сборник стихотворений под названием «Первые поэмы эпохи варварства». Вслед за тем им были опубликованы роман «Глаз и ночь» (1969), сборники стихов «И зацвело железное дерево» (1977), «Дневник ссыльного» (1978) и «Дело семи распятых» (1980).

Сборник стихотворений «Фронт надежды» вышел первоначально на французском языке. Арабский перевод сборника, выполненный самим аль-Лааби, был опубликован в Бейруте под редакцией известного ливанского поэта Адониса.

Как пишет автор рецензии, стихотворения аль-Лааби, вошедшие в новый сборник, свидетельствуют о том, что поэт в своем творчестве от индивидуального бунта пришел к правильному революционному видению действительности и это сказалось на художественной и идейной стороне его творчества.

Поэт, отмечает далее рецензент, затрагивая в своих стихотворениях серьезные проблемы, подходит к ним не только как марокканец, но и как представитель всего арабского мира и всей Африки, как гражданин «третьего мира», как друг всех угнетенных людей на земле.

В сборнике аль-Лааби тема империалистического грабежа стран Африки и «третьего мира» тесно переплетается с темой раскола арабского мира, с темой Палестины — «этой незаживающей раны арабов», с проблемами Египта и Вьетнама, всего Востока.

Рецензент, отмечая влияние на творчество аль-Лааби, с одной стороны, революционной поэзии Арагона и Элюара, с другой — франкоязычных негро-африканских поэтов, подчеркивает интернациональное и классовое звучание его стихов.

ПОЛЬША

НОВАЯ АНТОЛОГИЯ

В краковском издательстве «Выдавнитство литерацке» вышла в свет антология польской новеллы с 1918 по 1978 год. Как сообщает печать, это очень солидное издание, представляющее достижения новеллистики шести поколений польских прозаиков. В антологии, состоящей из трех частей,— свыше полутора тысяч страниц. Она включает произведения восьмидесяти одного автора.

В первой части, которая открывается новеллой Стефана Жеромского «Висла», опубликованы такие выдающиеся писатели, как Мария Домбровская, Поля Гоявичиньская, Мария Кунцевич, Густав Морцинек и другие.

Вторую часть составляют произведения, показывающие участие поляков в борьбе с фашизмом во второй мировой войне, будни оккупированной страны, жизнь в концентрационных лагерях, лагерях для военнопленных, Варшавское восстание, партизанскую борьбу, трудное формирование, еще в годы войны, будущей Польши. Это рассказы Станислава Дыгата, Зофьи Налковской, Тадеуша Боровского, Ежи Ставинского, Витольда Залевского.

Третья часть посвящена послевоенной прозе, где главные темы — восстановление разрушенной страны, борьба за новые общественные отношения, освоение западных земель, последствия войны в сознании людей, насущные проблемы и будни поляков. Здесь собраны новеллы Богдана Чешко, Ежи Путрамента, Ежи Брошкевича, Тадеуша Ружевича и более молодых — Марека Хласко, Марека Новаковского, Януша Гловацкого, Эдварда Редлинского. Заключает антологию прекрасная проза Ярослава Ивашкевича — «Ежедневные путешествия. Мазовше».

Большой популярностью среди польских и зарубежных зрителей пользуется Анна Сенюк, известная советскому зрителю по фильмам «Обратный билет», «Панны из Вилька». Очень успешно актриса сыграла и в фильме «Ночная бабочка» Томаша Зыгадлы, демонстрировавшемся на последнем Московском кинофестивале. На снимке: Анна Сенюк.

(Журнал «Фильм»)

САЛЬВАДОР

ИНТЕРВЬЮ РЕЖИССЕРА

Диего де ла Техара, режиссер и один из авторов сценария фильма «Сальвадор: народ победит!», получивший Золотой приз на последнем XII Московском кинофестивале, дал интервью газете «Гранма».

— Мы хотели не только рассказать о 400-летней истории нашей страны и о сегодняшнем Сальвадоре, сражающемся за свободу и национальную независимость, мы стремились прежде всего показать зрителям других стран сальвадорскую действительность глазами очевидцев — самих сальвадорцев. Ибо правящая реакционная хунта при поддержке американского империализма ныне воздвигла информационный барьер: средствами массовой информации искажаются не только факты, свидетельствующие о росте в нашей стране национально-освободительного движения за последние годы, но фальсифицируется сама история свободолюбивого сальвадорского народа, вписавшего в нее немало героических страниц. Работа над этим цветным документальным фильмом стала возможной лишь после создания в мае 1979 года Киноинститута революционного Сальвадора, в результате чего у нас появились необходимые технические средства.

В основу киноленты положены хроникальные и архивные материалы. Съемки фильма, начавшиеся в мае 1980 года, проходили в труднейших условиях. Солдатами хунты был схвачен кинооператор и затем подвергнут чудовищным пыткам. Однако это не сломило волю мужественных кинематографистов: рискуя жизнью, они сняли эпизоды боев патриотов с правительственными войсками.

«Неизгладимое впечатление оставляет этот фильм о Сальвадоре, весь народ которого, включая детей, поднялся ныне на борьбу против кровавой диктатуры хунты,— говорит обозреватель газеты «Гранма» Карлос Сельва Йеро о премьере киноленты «Сальвадор: народ победит!», состоявшейся в Мадриде.— Глубокое волнение охватило зрителей во время демонстрации кадров, запечатлевших боль и гнев крестьянского мальчика, который над трупом отца говорит: «Пуля, убившая его, оставила след в моем сердце на всю жизнь...» — и клянется стать бойцом Фронта национального освобождения им. Фарабундо Марти, чтобы наравне со взрослыми сражаться за свободу своей родины. И не случайно появляются в финале киноленты фотографии четырех героически погибших руководителей Фронта. Фильм, проникнутый глубокой верой в революционный потенциал сальвадорского народа, звучит как призыв к дальнейшей борьбе».

На снимке: кадр из фильма «Сальвадор: народ победит!». Мальчик над телом погибшего отца клянется заменить его на боевом посту.

(Газета «Гранма»)

В связи с выходом книги «Избранные письма 1917—1961 годов» Эрнеста Хемингуэя американский еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью» публикует одну из редких фотографий писателя. На страницах этого же издания делится с читателями своими воспоминаниями о встрече с ним известный колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес. Он пишет о значительности личности Хемингуэя и неизменной притягательности его книг. Вспоминая, как однажды он увидел книжку Хемингуэя на сиденье в машине Фиделя Кастро, сказавшего Маркесу: «Это мой учитель — Хемингуэй», он пишет в заключение своей статьи: «И сегодня, 20 лет спустя после его смерти, Хемингуэй вечный и неуловимо обаятельный, как в то майское утро, когда я увидел его впервые».

(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»)

США

«СВЯТИЛИЩЕ» ФОЛКНЕРА: ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ

В издательстве «Рэндом хаус» вышел в свет никогда до сих пор не издававшийся первоначальный вариант пятого романа Фолкнера «Святилище» (редактор издания Н. Поук). Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью» поместил статью известного американского критика Малькольма Каули, который отмечает, что долгое время широкие читательские круги в США, да и литературоведы относились к этому роману с известным равнодушием. По мнению М. Каули, такое отношение к «Святилищу» явилось главным образом результатом «излишнего доверия» к точке зрения самого писателя, который в предисловии ко второму изданию романа (1932) писал о том, что эта книга создавалась второпях, как «коммерческое» произведение. Фолкнер утверждал, что написал роман за три недели и что он старался «придумать самую что ни на есть ужасную повесть, какую только могло создать мое воображение». Известно было также, что первый вариант романа, который Фолкнер послал своему издателю, осуществившему публикацию «Шума и ярости» (см. «ИЛ», 1973, № 1, 2), не был принят к печати, так как издатель посчитал книгу слишком «вызывающей».

Все эти обстоятельства, подчеркивает М. Каули, и создали несколько превратное представление об этом произведении. Прежде всего Фолкнер не «придумал» историю, о которой рассказывается в романе: сюжет основывается, как теперь выяснилось, на реальных фактах и событиях, о которых писатель случайно узнал, находясь в Новом Орлеане. К тому же Фолкнеру были достоверно известны нравы преступного мира Мемфиса, американской «столицы убийств». Наконец, судя по датам, выставленным на рукописи, положенной в основу настоящего издания, работа над романом велась не «три недели», а четыре месяца. Так что, пишет М. Каули, «при помощи своего редкостного воображения он сумел из скудного набора отдельных фактов создать впечатляющую книгу». Переделывая роман, Фолкнер писал издателю, что он, не решившись уничтожить отвергнутую рукопись, намеревался создать вещь, «которую не стыдно было бы подписать именем автора романов «Шум и ярость» и «На смертном одре». «Прасвятилище» (так американские критики окрестили первую редакцию романа) трудно, по мнению М. Каули, сопоставить с самим «Святилищем», да в этом и нет необходимости: «Перед нами две разные книги». Центральным персонажем первой редакции романа является Хорэс Бенбоу. Как в «Шуме и ярости», Фолкнера интересуют глубинные переживания героя, навязчивые психические комплексы, которые владеют его сознанием. Первый вариант «Святилища», отмечает М. Каули, в еще большей степени, чем вторая редакция, доказывает справедливость оценки, данной «Святилищу» Андре Мальро. «В этой книге,— писал французский романист,— мы видим, как классическая греческая трагедия вторгается в детективный сюжет». Едва ли можно ожидать, пишет в заключение М. Каули, что этот том найдет дорогу к широкому читателю, «привыкшему» ко второй редакции. Но для всякого исследователя творчества Фолкнера издание, подготовленное Н. Поуком,— бесценный материал.

ТУНИС

ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР «КЫСАС»

Вышел пятидесятый юбилейный номер двухмесячного журнала «Кысас», издаваемого в Тунисе «Клубом новеллы» имени Абу-ль-Касима аш-Шабби.

На страницах номера помещен ряд рассказов писателей Туниса и других стран. Журнал, кроме того, опубликовал библиографию всех вышедших в Тунисе рассказов, как напечатанных в газетах и журналах, так и в составе отдельных сборников.

ФРАНЦИЯ

ТЕРРОРИЗМ В ВЕНЕЦИИ

В издательстве «Сёй» вышел новый роман Эмманюэля Роблеса «Венеция зимой». «В нем,— пишет Андре Вюрмсер в «Юманите»,— изображена Венеция, отмеченная зловещим присутствием «красных бригад», падением нравов в правящих классах, коррупцией, бесчеловечной эксплуатацией». «Венеция зимой» — это Венеция под снегом, холод, запах гнилой воды, наполовину пустые отели, дождь, убийства, периодически совершаемые террористами.

Молодая француженка Элен гостит у своих итальянских родственников. Она приехала для того, чтобы освободиться от измучившей ее любовной связи с богатым и влиятельным дельцом, по отношению к ней проявившим себя черствым и эгоистичным человеком. В Италии Элен залечивает свои душевные раны и вскоре встречает человека, который достоин ее любви. Но жизни ее избранника, фоторепортера по профессии, грозит опасность, так как он был свидетелем одного из преступлений террористов. «Новизна романа,— пишет Вюрмсер,— в актуальности изображения сегодняшней Италии, где терроризм вторгается буквально во все области жизни».

ФИНЛЯНДИЯ

«МЫ — ДЕТИ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ»

Так называется новый многосерийный художественный фильм для детей и юношества совместного производства телевидения Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции.

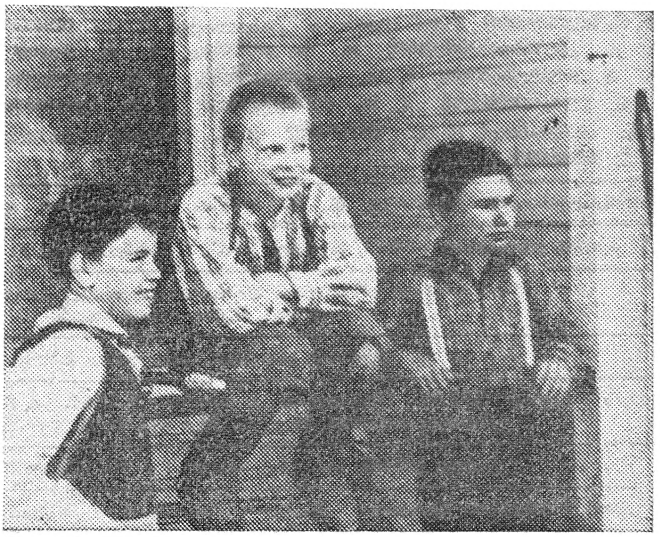
В интервью корреспонденту газеты «Ланд ог фольк» главный режиссер-постановщик фильма Йорген Мельгор рассказал, как возник замысел этого сериала. Несколько лет тому назад телевидение Скандинавии подготовило художественную телесерию о второй мировой войне — «Север сражается», для которой каждая из скандинавских стран сняла эпизод, относящийся к событиям 1944 года. Фильм имел огромный успех, и было решено выпустить еще одну общескандинавскую ленту, обратившись на этот раз к кризисным тридцатым годам.

Одновременно решили, что героями фильма будут дети — «дети рабочего класса». Именно сейчас, когда надвигается очередной кризис, подчеркнул Йорген Мельгор, в фильме, предназначенном для детей, крайне важно показать их сверстников, которые жили заботами и тревогами мира взрослых и наравне с ними активно участвовали в борьбе за преобразование общества.

Все страны — соавторы телесерии, сказал далее Йорген Мельгор, получили «свой отрезок времени», в основу каждой серии положены подлинные исторические факты (норвежский фильм, например, посвящен одной из крупнейших в истории Скандинавии забасто-

На снимке: кадр из финской серии фильма «Мы — дети тридцатых годов».

(Газета «Ланд ог фольк»)



вок — начавшейся в 1931 году двадцатимесячной стачке горняков, отголоски которой докатились до берегов Америки). Таким образом, телесерия в целом с достаточной полнотой воссоздает атмосферу тридцатых годов.

Йорген Мельгор дал высокую оценку финской серии (автор сценария — Микаэль Хульдén, режиссер — Рольф Нордгреен). Этот, по его мнению, прекрасно сделанный фильм рассказывает о подпольной деятельности финских коммунистов и «охоте» на них (Компартия Финляндии находилась в тридцатые под запретом), о проникновении в страну фашизма, а также о тех, кто отправился в Испанию сражаться на стороне республики против франкистов.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

СТО ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. ОЛЬБРАХТА

В январе 1982 года исполняется 100 лет со дня рождения одного из наиболее известных писателей Чехии XX века Ивана Ольбрахта. Писатель-коммунист, он стоял у истоков чешского социалистического реализма.

Творческое наследие И. Ольбрахта необычайно разнообразно — он писал романы, пьесы, киносценарии, рассказы, фельетоны. Создал огромное количество злободневных газетных статей (долгое время он работал редактором в «Руде право» — органе Коммунистической партии Чехословакии, а также в других коммунистических газетах). Известно и имя И. Ольбрахта-переводчика. Писатель был большим другом СССР, и его книга репортажей «Картины современной России» (1920) одной из первых рассказала читателям тогдашней Чехии правду о Советской стране.

Имя Ивана Ольбрахта, наряду с именами Ю. Фучика, К. Чапека, Я. Гашека, М. Майоровой, В. Ванчуры и целого ряда других чешских прозаиков, хорошо знакомо нашему читателю. Широко известны его романы — и прежде всего «Анна-пролетарка» (1928), давно и прочно вошедший в число лучших романов о рабочем классе в мировой литературе.

К столетию со дня рождения писателя приурочен выход в свет новых изданий его произведений; публикации, посвященные И. Ольбрахту, его творчеству, появляются во многих периодических изданиях ЧССР. «Литературни месичник», орган Союза чешских писателей, напечатал в своем разделе «Документы» две небольшие статьи И. Ольбрахта, написанные им в 20-х годах. В заметке, предпосланной статьям, подчеркивается, что, хотя они откликаются на события в тогдашней политической жизни Чехословакии и являются остро публицистичными, но тем не менее представляют несомненный интерес и для современного читателя.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 5.11.81. Подписано в печать 23.12.81. А 04886, формат 70×108¹/₁₆.
Печать высокая, 16 п. л., 22,4 усл. п. л., уч.-изд. л. 27,65

Тираж 449.000 экз. (1-й завод: 1 — 400 000 экз.) Зак. 3610.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Рыбак

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394